РАИСА БЕРГ

СУХОВЕЙ

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1983

РАИСА БЕРГ

СУХОВЕЙ

Воспоминания генетика

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1983

Raisa BERG

MEMOIRS OF A GENETICIST

На задней обложке — портрет автора,
фото Льва Полякова

Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Manufactured in the U.S.A.



АНДРЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ САХАРОВУ

СОДЕРЖАНИЕ

"Из чего твой панцирь, черепаха?" —
Я спросил и получил ответ:
"Он из мной накопленного страха;
Ничего прочнее в мире нет".

Василий Гросман

НЕЧТО ВРОДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Солженицын не без умысла выбрал для своего повествования благополучный день из лагерной жизни Ивана Денисовича и самого Ивана Денисовича сделал не избалованным интеллектуалом, а рядовым советским человеком, колхозником, солдатом, работягой. Он не хотел действовать на воображение читателей кровавыми зрелищами, а хотел представить жизнь такой, какая она есть, в обыденной повседневности. Языком своего Ивана Денисовича Солженицын описал будни несколько приукрашенного ада.

Один из персонажей моего повествования – Эрвин Зиннер – рассказывал мне, сравнивая свои лагерные переживания с жизнью Ивана Денисовича, о своем начальнике лагеря. Так тот заставил зэков летом, пока почва не промерзла, рыть себе могилы, а потом гонял их зимой и летом на работы мимо этих могил. Смертность среди заключенных достигла рекордных цифр.

Правда о жизни в Советском Союзе прозвучала со страниц книг, написанных великими страдальцами и страдалицами – Солженицыным, Евгенией Гинзбург, Надеждой Мандельштам. По сравнению с их судьбами и их писательским даром моя судьба и мои возможности описать ее ничтожны. И все же я беру перо и пишу, и художественный прием, к которому прибег Солженицын в своей повести поддерживает меня. Самая обыкновенная жизнь, описанная самым обыкновенным языком. Исключительно счастливая жизнь – по количеству прекрасных людей, которых посчастливилось встретить и полюбить. Некоторые наиболее трагические события моей жизни я обхожу молчанием – всего не расскажешь. Да и задумана книга была, чтобы рассказать не о себе, а о других, а потом, волею судеб и игрою случая превратилось мое повествование в мою биографию.

Я родилась в России "при царе". Я эмигрировала из Советской России на пятьдесят восьмом году ее существования. Описана моя жизнь там. Как возникла идея уехать и что ждало меня за границей, я расскажу, быть может, в другой книге.

Несколько отрывков из книги напечатаны в журнале "Время и мы", №№50, 64, 65. Я получила несколько писем с указанием на мои ошибки и несправедливости. Я внесла исправления. Их я оговариваю в тексте.

В ПРЕДДВЕРИИ РАЯ

Страх стоял у моей колыбели, страх потерять ребенка: в данном случае – меня. В том году, когда я появилась на свет, и в той стране, где произошло это значительное в моей жизни событие, 287 детей из 1000 не доживало до года. Год – 1913, страна – Россия. Не было неурожая, голод не косил человеческие жизни, еще царил мир, статистика не была фальсифицирована. Каждый третий ребенок умирал, не выйдя из колыбели.

Меня растили: бабушка – Клара Львовна Берг – вдова нотариуса и отец – Лев Семенович Берг – профессор Московского сельскохозяйственного института. Мы жили в Москве на Долгоруковской улице в роскошном доме. Электричество. Газ. В те-то времена. Швейцар в ливрее у лифта. Бабушка и отец выработали жесткие правила выращивания потомства с минимумом риска отсева. Потомство кроме меня включало еще моего брата Симона, Симочки. А я не была Раечка. Я была Раиса.

Сим старше меня на год и пять месяцев. Няня, говоря о нем, иначе, как ангелом небесным, его не называла. Только этот ангел небесный не желал жить среди смертных. Я уже сама ела, а его все еще кормили с ложки, и няня приговаривала: – "жуй, жуй, жуй...",– а то не стал бы жевать. Кротость его нрава была необычайна. Не любить его было невозможно.

Про витамины тогда не знали и авитаминозов не боялись. Боялись инфекции. Строжайше противопоказаны были сырая вода, сырое молоко, нечищенные фрукты. Исключались абсолютно все контакты с детьми во избежание заразы. Нельзя было пойти на кухню – там газ, утюги и самовар с горящими углями, дети могут надышаться угарным газом. Когда отправлялись на дачу, до железнодорожной станции нас везли в свадебной карете. Большую часть дня мы проводили на воздухе, гуляя с няней.

Няня – Мария Филипповна Маслова, старообрядка из богатой крестьянской семьи, единственное человеческое существо, с которым мы общались. Няня при всем религиозном своем фанатизме гигиенические правила до абсурда не доводила. Когда комок грязи из-под копыта извозчичьей лошади попадал ребенку на лицо, она вынимала из кармана платок и, поплевав на него, стирала грязь. По контрасту с бабушкиными повадками, я понимала, что это не дело.

Отец – последователь Льва Толстого, пацифист и вегетарианец – хотел вырастить детей в неведении зла. Мы должны были знать, что жизнь человека, животного, растения неприкосновенна. Губить растение ради минутной забавы так же предосудительно, как мучить животное. На Рождество нам не устраивали елку, и мы не знали о существовании этого обычая. Мы не ходили по траве, не рвали цветов. В доме ни растений, ни животных. Убийство и лишение свободы приравнены друг к другу. Нас не водили в зоологический сад и в магазин игрушек.

Безвинные узники не служили нам забавой. Деревянные солдатики и ружья могли навести нас на мысль о войне, об убийстве. О том, что идет война мы не должны были знать.

Соблюдать эту физическую и моральную стерильность не всегда удавалось. Мне было четыре года, когда, движимая симпатией ко всему маленькому и беспомощному, я поцеловала двухгодовалую внучку швейцара, и она кашлянула мне в лицо. Я заболела коклюшем. Кроме моего коклюша, ни я, ни Сим никогда и ничем не болели. Мы никогда не видели доктора. Температуру нам мерили постоянно. Столбик ртути в термометре рос, конечно, за счет притока вещества. Мне очень хотелозь знать, откуда оно берется. Когда у меня сделался коклюш, брата изолировали, и он не заразился. Няня гуляла с ним, а бабушка со мной. – "Не подходите к этой девочке, у нее коклюш", – сказала бабушка девочкам в сквере, когда они, заигравшись, приблизились ко мне.

Меня эта фраза поразила не тем, что бабушка заботилась о чужих детях, – странно было, что она не назвала меня по имени и говорила обо мне в моем присутствии в третьем лице.

И о войне мы знали. Кружевная юбочка, швейцарского шитья, вся в дырочках, оповестила меня о войне. По выражению няни, она была немцами прострелена.

Во все уши я слушала разговоры взрослых. Бабушка и отец были самых либеральных взглядов. Имена Троцкого и Ленина произносились с надеждой и симпатией.

Помню, отец сказал няне:

– Не называйте нас с матушкой барином и барыней, а по имени-отчеству. Теперь времена другие.

– Что вы, барин, – сказала няня, – я не цареубийца.

Двадцать пять лет няня прожила в семье моего отца после революции. Двадцать пять лет она называла отца барином. Он был одно время депутатом Городского совета, и когда ему звонили по телефону, чтобы пригласить его на заседание, она иной раз, если он отдыхал после обеда, говорила:

– Вам кого, барина? Оне спят.

"Оне", а не "они"! "Они" было бы высшей старинной формой вежливости, "оне" по старой орфографии было множественным числом от "она" и прилагалось для обозначения нескольких предметов или лиц женского рода или пола. "Оне" в применении к одному мужчине выражало уже не крайнюю форму вежливости, а крайнюю форму преклонения.

Первого мая 1918 года нам с Симом сделали красные флажки, и мы гуляли с бабушкой на Никитском будьваре, и я положила флажок на скамейку и бегала. Молодой красноармеец поднес мне мой флажок и сказал:

– Барышня, вы забыли ваш флаг.

Идиллия нашей физической и моральной гигиены кончилась в том же 1918 году. Мы голодали, и отец решил отправить нас с бабушкой к своей сестре Марии Семеновне Райх на Украину в город Мелитополь.

Тетя Мусинька была замужем за владельцем аптеки, богатым человеком, великим гуманистом Григорием Моисеевичем Райхом. В дороге мы с Симом заразились чесоткой. Большую плетеную корзину с нашими вещами украли. Няня осталась в Москве. Она писала письма. Бабушка читала их нам. Няня писала, что скучает. Горшочки с пипишками не выливала, пока не завоняли.

Украина была оккупирована немцами. По сравнению с голодной Москвой здесь царило невообразимое изобилие продуктов. Запомнился мне кубик сливочного масла, украшенный розочками, сделанными из масла. Его подали к завтраку на следующий день по приезде. Какого размера мог быть этот кубик? Сторона его заведомо не превышала 12-ти сантиметров. Кубик поразил мое голодное воображение и запомнился мне гигантской глыбой со стороной не менее 30-ти сантиметров.

И все же оставаться в Москве было куда безопаснее. В городе свирепствовали эпидемии. Очень боялись сыпняка – сыпного тифа. Я слышала, как кричал сосед, умиравший от холеры. Тетя Мусинька говорила, что двое сирот осталось.

Уберечь нас с Симом от кошмарных впечатлений войны с немцами и гражданской войны не было никакой возможности. Немцы чинили на площадях суд и расправу. Заподозренных в краже граждан публично секли розгами.

Немцы исчезли. Началась гражданская война. Город семь раз переходил из рук в руки. Белые, красные, махновцы, зеленые занимали город. Соблюдать гигиенические правила становилось все труднее.

Ни белые, ни красные не трогали дядю Гришу. Для белых он был буржуй, заведомо враждебный красным. Для красных он был тем, чем он был на самом деле – человеком, готовым помочь бедняку в беде, великим доброжелателем всякого правого дела. Но вот в Мелитополе появилась Маруська – предводительница банды махновцев, как они себя называли, хотя не имели никакого отношения к анархическому движению, связанному с именем Махно. Маруська явилась грабить дядю Гришу. Потом уже рассказывали, что она сорвала с груди тети Мусиньки золотую брошку. Девять бриллиантов. Фамильная драгоценность. Она не брала хлама. Голландское полотно – скатерти, простыни – она смотрела на свет, не протертое ли, стоит ли брать.

Мы с Симом спали. Бабушка разбудила нас. Вместе с нею в комнату вошли два здоровенных казака в бурках и папахах. Винтовки были у них в руках, не за плечами. Штыки примкнуты. Света не было. Электростанция города вышла из строя. В комнате было светло. Город горел. Мы нисколько не испугались. Бабушка была совершенно спокойна. Каждого из нас, очень бережно, одного за другим, она взяла на руки и перенесла на диван. Казаки вспороли штыками наши матрацы. Подозрение, что золотые клады запрятаны в детских матрацах, не подтвердилось, ничего не звякнуло при ударе штыком, и они ушли. Силуэты людей в папахах и бурках, квадраты их плеч, винтовки и штыки на фоне больших, освещенных пожаром, окон, отнюдь не были моим самым сильным впечатлением той ночи. Самым сильным впечатлением было

прикосновение жестокой обивки дивана к коже. Бабушка, сажая, не одернула ночную рубашку и посадила меня на грязный диван, конечно же грязный, слишком грязный для ребенка, которого всю жизнь купали прежде чем уложить в постель. Прикосновение грязной обивки дивана к моей голой коже было мерилом бедствия. Бабушка не была спокойной, происходило нечто ужасное. Бабушка боялась за нас. Грабежей дядя, тетя и бабушка не боялись. Добром не дорожили. Пропало – и черт с ним. Работяги – наживем. Да и много ли надо. Но настало время и им задрожать. На улицах шли бои. Слышна была канонада. Комнаты с окнами на улицу стали необитаемы. Происходило то самое, что поэт описал словами:

А в наши дни
И воздух пахнет смертью,
Открыть окно,
Как жилы отворить.

Потом разнесся слух, что в Мелитополь идут не то китайцы, не то латыши, кто что говорил. Об этнической принадлежности войск мнения расходились, но их цель, согласно всем версиям, была одна – резать еврейских детей. Мы с Симом были крещеные. Отец крестился в лютеранскую веру, и мы были лютеране. Но не показывать же погромщикам-китайцам свидетельство о крещении. Сперва решили прибегнуть к мимикрии. На нас надели золотые кресты. Но потом решили, что вероятность потерять ребенка все же слишком велика и что лучше покинуть Мелитополь. Всем семейством – дядя, тетя, бабушка и мы с Симом – отправились в Бахчисарай. Сняли помещение в увитом виноградом доме на окраине города. Города я не помню. Бахчисарай в моем воспоминании – это увитая виноградом веранда, цветущие маки до горизонта, низкие горы, овцы, овечий помет, бесчисленные раковины, усыпающие степь, – остатки древнего моря, – заброшенный дворец татарского хана с фонтанами слез, и среди дворцового парка древняя карта – маленький бассейн, изображающий два моря: Черное и Азовское. Сим упал в бассейн и плакал.

Лето мы прожили в Бахчисарае. Осенью вернулись в Мелитополь. Все еврейские дети, которых не скосили эпидемии, были целы. Слух был ложным.

Знатоки утверждают, что армия Деникина разложилась. Приход к власти Врангеля ознаменовался восстановлением дисциплины в армии. По-видимому, это касалось только боевых действий.

В Мелитополе я видела Врангеля, въезжающего на автомобиле в отвоеванный у красных город. Я видела его разложившуюся армию развратников и пьяниц. Часть квартиры дяди Гриши экспроприировали, и там в лучших комнатах обитала веселящаяся банда белогвардейцев.

Дядя прятал красноармейца с женой и больным ребенком в комнате за кухней. Бабушка носила туда еду.

Я видела парад Красной Армии на главной площади Мелитополя, куда выходили большие окна лучшей, освободившейся от белогвардейцев, комнаты. Красноармейцы шли нескончаемой цепью, не рядами, гуськом. Парад длился долго. Казалось, численность войска огромна. Я смотрела и ждала, что вот кончится шествие. Тут я приметила маленького рыжего солдатика. Это был тот же самый, которого я видела минут пятнадцать назад.

– Хотите я сосчитаю, сколько солдат участвует в параде? – сказала я.

И я сосчитала – их было несколько сот. Нескончаемое шествие оказалось камуфляжем, военной хитростью.

Мне было шесть лет, когда я читала огромный плакат, написанный огромными буквами, – аграрную программу левых социал-революционеров, которая потом на короткий отрезок времени, пока Сталин не взял курс на полное закрепощение крестьян, стала программой большевиков. Земля – беднейшим крестьянам. Я думала, что это очень хорошо – помогать беднейшим.

Советская власть победила. Дядю Гришу вышвырнули из его прекрасной квартиры. Аптеку он сам передал в собственность государства и остался работать в ней фармацевтом. Дядя Гриша умер в 1937 году, а тетю Мусиньку в 1941 году убили немцы в числе пятнадцати тысяч мелитопольских евреев.

Отец приехал за нами и забрал нас с братом и бабушкой в 1921 году, когда гражданская война на Украине кончилась, и до того как разразился страшный голод. Разочарованию отца, когда он снова обрел своих, выращенных в неведении зла, среди чистоты и порядка, детей, не было границ. Мы бегали по улице с соседскими детьми, они швыряли в нас камнями, и мы швыряли камнями в них, с ними мы лазили через заборы, ми говорили на чудовищном русско-украинском жаргоне, друг для друга мы были Райка и Симка, у нас была большая собака, дворовая собака, с которой мы были неразлучны. И звали эту собаку – о, ужас! – Дамка. Мы были предельно грязны и вульгарны. Дома, однако, царила все та же идеальная чистота.

Преисполненный горечи, отец увозил нас и бабушку, не имея надежды приблизить нас к своему идеалу.

В Москве мы воссоединились с няней и вскоре впятером в теплушке отправились в Петроград. Чтобы преодолеть те 600 километров, которые отделяют Москву от Ленинграда, нам понадобилось 8 дней. С Московского вокзала до угла Английского проспекта и набережной реки Мойки, где нам предстояло жить, мы шли пешком. Все дворцы города были выкрашены в красный цвет. Когда это произошло – не знаю. Перед вокзалом на площади стоял памятник Александру III – великолепное произведение искусства работы скульптора Трубецкого. Царь сидел неподвижно на огромном битюге. Хвост битюга подрезан. Самодержец одет в мундир, обут в русские сапоги, на голове его меховая шапка.

Верхушку этой шапки можно видеть и сейчас за стеной. Прибежищем царя стал двор Русского музея, музея Александра III , как он раньше

назывался. Царь-мужик – символ кондовой России времен его правления. Воздвигнут памятник его сыном, Николаем II, последним монархом России. В исполнении гениального скульптора колосс смахивал на карикатуру. Памятники царям и полководцам сохранились в Ленинграде. Два Петра Первых, Николай Первый, Екатерина Вторая, символический памятник Суворову где стояли, там и стоят. Их исполнение не противоречит канонам социалистического реализма – искусства идолопоклонников. Когда в России колесо истории искусства повернулось вспять, и соцреализм пришел на смену Ренессансу, новаторский памятник русскому консерватизму был снят. Соблюдай Трубецкой традиции, и стояло бы на привокзальной площади его творение и поныне.

Незадолго до Октябрьской революции декретом Временного Правительства был основан первый в России Географический институт. В числе организаторов и профессоров этого Института – мой отец. Институт помещался на углу Английского проспекта и набережной реки Мойки во дворце великого князя Алексея Александровича. Князь благополучно сбежал в первые дни революции за границу, а его дворец, построенный в мавританском стиле, с флигелями, конюшнями и парком, стал достоянием Географического института. Флигели дворца, где жили придворные и челядь князя, стали жильем для студентов – лучшие помещения были предоставлены им – а что похуже, досталось преподавателям и служащим института.

Отец, наверное, принимал участие в распределении квартир. Сужу по тому, что ему досталась квартира дворника, весьма убогая. Мы жили в ней пока Географический институт не преобразовали в Географический факультет Ленинградского университета. Студентов перевели в общежитие Университета. В 1923 году отец получил часть квартиры генерала – начальника свиты великого князя. Был, оказывается, такой.

Приехав из Мелитополя, убежав от страшного голода, поразившего Украину в середине 1921 года, мы попали из огня да в полымя. Есть решительно было нечего. Няня стала главной кормилицей в семье. Она ездила в окрестные деревни и меняла свои юбки, нажитые при царе, на картошку и молоко. Военный коммунизм в моем воспоминании – это декрет выдавать заработную плату (отец неизменно называл ее жалованием) не деньгами, а в виде продукта. Однажды отец принес ящик гвоздей. Появились деньги, плохо отпечатанные, в огромном количестве – купить на них что-либо не удавалось. Декрет снабжать ученых продуктами питания не улучшил нашего положения. Отец почему-то не попал в список снабжаемых. Мы буквально дохли с голода и ужасно страдали от холода.

Спасение пришло от организации по имени АРА, тогда я знала только, что Америка прислала голодающим русским продукты питания. Теперь я знаю, что АРА – это American Relief Administration. Соединенные Штаты Америки пришли на помощь Советской России.

Отец получил муку, сахар и банки сгущенного молока. Бабушка открыла банку, дала мне ложку и сказала: "Ешь из банки". Но я не ела. Есть своей ложкой из общей банки – это все равно, что вытереть

губы чужой салфеткой или руки – чужим полотенцем. Бабушка не могла такое позволить.

– Ешь, – сказала бабушка, видя мое замешательство, – если налить в стакан, на стенках стакана останется.

Бабушка жертвовала гигиеническими правилами ради экономии. Экономия исчислялась не граммами – молекулами. Ложку можно вылизать. Стакан вылизать нельзя.

По мере того как крепла власть и Революция уходила в прошлое, становилось все яснее, что разговоры о свободе были только разговорами. Победившая власть заставляла бояться ее. Огнем и мечом насаждалась стадность. Уже не было царя, аристократии, капиталистов – не с ними шла борьба. Теперь искоренять взялись не монархизм, не аристократизм, не защиту капиталистической системы. Врагами были объявлены индивидуализм, аполитичность, нежелание отказаться от права на собственное мнение.

В своем холодном сыром кабинете, в убогой длинной комнате отец повесил над письменным столом две литографии. На одной Бербанк – американский садовод из народа – с огромным цветком в руке. На другой – Архимед, склонившийся над геометрическими фигурами, начертанными на песке. Меч убийцы уже занесен над старцем. Под картиной стояли слова по-латыни: "Не трогай мои чертежи", – согласно преданию – последние слова Архимеда.

Бербанк – иностранец. Архимед и его слова – "Не трогай мои чертежи" – апофеоз творческой мысли, непричастной повседневной жизни.

Картины повисели, повисели в кабинете отца и исчезли. Видимо, стало опасно афишировать, хотя бы и столь скромным образом, свою непричастность к кровавым превратностям строительства коммунизма. В генеральской квартире начальника свиты великого князя, куда переселился отец, картины не появились. Но непокоренный дух, утверждающий свою независимость, остался, и его изобличала маленькая картинка-литография, романтическое изображение молодой прекрасной женщины, смело глядящей вперед. Волосы ее распущены, она одета в рубище, ее руки связаны за спиной. Под картиной стоит по-французски "Ведьма" (La Sorcère). Дарвин, Кеслер, Книпович, отец отца – Симон Григорьевич Берг, составляли компанию осужденной на смерть ведунье.

Мы дожили до НЭП'а – новой экономической политики, введенной Лениным в 1923 году. Наступило превеликое изобилие. Великолепные царские огороды, земля которых принадлежала теперь крестьянам, производили самые изысканные овощи в мире. Супермаркеты Италии и Америки не могли удивить меня ассортиментом овощей. Няня приносила с рынка цветную и брюссельскую капусту, спаржу и порей, каротель и лопаточки зеленого горошка. Заработали немецкие и французские кондитерские и пекарни. Зазвучали снова слова: "наполеон", "эклер", "буше", "пралине", и забытый вкус пирожных, венских булочек, птифуров, рогаликов мог стать в нашей семье повседневностью.

Мог, но не стал. В семье произошли великие перемены. Отец женился. Бабушке предложили уехать в Мелитополь.

Страх потерять ребенка сменился страхом, как бы ребенок не съел лишнее. Из любимых детей мы превратились в бездельников и дармоедов, в досадную помеху счастливого союза. Я могу смело утверждать, что я выросла на задворках высококультурной семьи. Каспар Гаузер, живший с раннего детства в затворничестве, вне общения с миром, – мой прототип. Нет, дело обстояло не так уж плохо. Нас было двое, и мы дружили. Няня была при нас, и мы учились в немецкой школе. Нас немного подучили дома немецкому языку, и мы поступили на немецкое отделение Реформатской школы. Теперь она называлась тридцать четвертой советской трудовой школой-девятилеткой. Нравы оставались старомодными. Отец в свое время боялся, чтобы няня называла его барином. Мы называли наших учителей не по имени-отчеству, а Herr Sadovsky, Fräulein Held, Fräulein Ludvig, Herr Seewald. Приветствуя учителей, девочки должны были делать полуреверанс – книксен. Писали мы готическим шрифтом.

Я была задира. "Warum hast du eine Palme auf dem Kopf?" спросил меня учитель гимнастики. "Das ist keine Palme," – ответила я, – "das ist ein Springbrunnen." Когда Herr Seewald вызвал меня однажды декламировать стихи Rolands Horn, и рог умирающего Роланда звучал "hinklagend über See und Wald", я трагическим голосом продекламировала: "Hinklagend über Seewald." "Lass bitte meinen Familiennamen in Ruh," – сказал Зевальд. За шалости не наказывали. Сошла с рук и моя защита Толстого. Преподаватель русской литературы господин Стрижешковский цитировал Ленина: "Толстой – интеллигентский хлюпик". Я сказала, что уйду из класса, если он не прекратит. Господину Стрижешковскому я многим обязана. Благодаря ему я узнала стихи Есенина, Клюева, Северянина, Гастева, Блока, стихи запрещенных, затравленных, уничтоженных, либо уничтоживших себя поэтов.

Первоклассное обучение шло на немецком языке. Любой декрет, а один декрет следовал за другим в сумасшедшем галопе, проводился в нашей школе в жизнь. Трудовое воспитание – так трудовое воспитание. Специализация – так специализация. Нас по-прежнему обучали четырем языкам, в переплетных мастерских мы получали трудовое воспитание. Нас обучали черчению, топографии и картографии, чтобы мы кончили школу, имея специальность. Наша школа в полной мере оправдывала всеобщее убеждение, что нет средств сделать немца бездельником.

Великая дружба, сплоченность, верность объединяли учеников нашего класса. Между нами и нашими прекрасными учителями, которых мы при всем том, конечно же, любили, шел непрерывный бой, велась настоящая классовая борьба. Договариваться о стратегии этой борьбы, вырабатывать свой кодовый язык, прибегать к каким бы то ни было средствам конспирации не было никакой надобности. Нужно было просто не предавать товарища. Нельзя родителям рассказывать того, что творилось в школе. Родители могли выдать учителям. А творились вещи

довольно-таки необыкновенные и возможные только в условиях нашей великой дружбы.

Мы противостояли тирании не только учителей, но самого государства. Нам навязывали специализацию. Мы сопротивлялись. Я не хотела быть ни чертежником, ни топографом. Необходимость тратить время на чертежи и карты ограничивала мою свободу и мешала мне развиваться в том направлении, в каком я хотела. Я хотела писать сочинения. Ни одной карты, ни одного чертежа я не изготовила за все годы обучения. Но на районных выставках лучших ученических работ висели чертежи и карты, подписанные моим именем. Те, кто стали потом первоклассными чертежниками и топографами – Аля Нейман и Юра Вальтер – делали за меня всю работу и делали ее для меня лучше, чем для самих себя. А я по-русски, по-немецки, по-французски и по-английски писала за других сочинения. И не обязательно за тех, кто помогал мне. Кто нуждался – за того и писала. Я говорю о себе для примера. Разделение труда было всеобщим явлением. Никто ни разу не попался. Не было ни одного случая предательства. Подлог не был главной формой взаимопомощи. Помогали друг другу всячески.

Пионерская и комсомольская организации не пользовались авторитетом, и я не была членом ни той, ни другой. В душе я была пламенной коммунисткой. – Вот навалились бы всем миром, – думала я, – пошли бы на великие лишения и построили бы коммунизм, воплотили бы в жизнь великие гуманистические идеалы на благо всего человечества и будущих поколений. – Я верила тому, что писали в газетах. – Вот поступлю в университет и стану комсомолкой, – думала я.

ОБУЧЕНИЕ ХОРОШЕМУ ТОНУ СОВРЕМЕННОСТИ

Я окончила школу в 1929 году, в год Великого перелома, как назвал его Сталин в Кратком курсе ВКП(б), подводя в 1938 году итоги своей кровавой деятельности. Мне было 16 лет. В университет принимали с семнадцати. Я поступила работать в Гидрологический институт вычислителем и высчитывала среднюю силу ветра по данным метереологических станций, не пользуясь никакими счетно-вычислительными устройствами. Я ушла из дома и снимала вместе с подругой гадкую комнату на набережной Мойки.

Условия приема в университет не давали мне никакой надежды на поступление. Приемные экзамены производились по-разному для представителей разных классов. Для рабочих, бедных крестьян и их потомков экзамены легкие, для детей служащих и интеллигентов – трудные. Один из сорока этих несчастных имел шансы поступить. Заботливые родители нанимали учителей. Я брала уроки и платила учителям из своей крошечной зарплаты. На еду не оставалось почти ничего. Только как бы ни готовилась я по математике и по общественным наукам, шансов на поступление у меня не было. Я не осознавала своего дефекта. В моей немецкой школе меня научили писать грамотно по-немецки, но не по-русски. Выпускники немецких школ имели шансы поступить в ВУЗ, только обладая прирожденной способностью к языку, либо имея заботливых родителей. На экзамене по русскому языку и литературе – а он был на всех факультетах – меня ждал неизбежный провал.

В 1930 году я подала на биологический факультет Ленинградского университета и была принята. Держать экзамены мне не пришлось. Их отменили. Принимать стали исключительно по классовому принципу. Поступающий должен предъявить документы об окончании школы, рабфака (рабочего факультета при заводе) или школы крестьянской молодежи и свидетельство своей классовой избранности. Как я попала в число будущих интеллигентов нового типа?

Счастливый поворот моей судьбы продиктован страхом. На этот раз страшиться пришлось властителям. Боялись они саботажа и вредительства со стороны преподавателей ВУЗов, чьи дети лишены возможности вкушать плоды просвещения. Мой отец был профессором университета. Ленинский принцип задабривания врага с целью использовать его, прежде чем уничтожить, сработал. Только враг существовал не в действительности, а в воспаленном мозгу пришедших к власти.

Страх и власть очень способствуют воспалению мозгов.

Я попала в число избранных.

Теперь вновь поступивших везут в деревню "на картошку" – копать картошку на колхозных полях. Колхозники не справляются с уборкой урожая. Тогда нас повезли в порт на Ленинский субботник, который длился не менее десяти дней подряд. Мы грузили "балласт" – деревянные

чурки на иностранные суда. За простой государство платило валютой. Нам выдавали кусок колбасы и булку. Иной оплаты не полагалось.

Дано: мы полны энтузиазма. Энтузиастам не платят. Что касалось меня, организаторы не ошибались.

Потом были военные занятия. Девушек и юношей разделили. И я оказалась в чрезвычайно изысканной компании. Большинство юношей было из рабочих и крестьян, большинство девушек – из интеллигенции. Тут мне и представился случай вступить, наконец, в комсомол. В конце занятий по административной организации Красной Армии к нам пришла препротивная женщина и предложила членам комсомола остаться. Никто не ушел – все были комсомолками, все – кроме меня. Испытывая угрызения совести за свой обман, я осталась. Вот сейчас, думаю, и попрошу эту женщину помочь мне вступить в комсомол.

– Ваша задача в качестве комсомольцев – преданных строителей коммунизма – вести классовую борьбу, выявлять классовых врагов, – сказала эта женщина. – Вы должны разговаривать с вашими товарищами, со всеми, кто окружает вас, и сообщать в партийную организацию обо всех идеологических шатаниях.

Девицы молчали. Все разошлись, ушла и я. Начало и конец моей партийной карьеры совпали во времени и пространстве.

Началась "учеба". Властвовали студенты. Усваивать знания мы должны были, соединившись в производственные бригады. Экзамены отменены. День расписан с девяти утра и до одиннадцати вечера. Следовать расписанию обязательно, за опоздание грозит исключение из университета. Решение об исключении принимает комсомольская ячейка. Проверка знаний производится с помощью "академбоя" – академического боя. Делалось это так: группа разделяется на две подгруппы, и они ведут бой друг с другом. Представитель одной подгруппы задает вопрос. Ну, скажем, экзамен ведется по зоологии беспозвоночных. Вопрос – строение медузы. Отвечать может любой из членов вражеской подгруппы. Ответ дан. Наступает очередь отвечавших спрашивать. Академбой сводился к соревнованию двух лучших представителей подгрупп. Зачет получали обе враждовавшие стороны, все члены обеих подгрупп без исключения. В нашей группе была очень сильная студентка, Нина Рябинина. Нас с ней всегда в разные подгруппы помещали. Победа обеспечена тем, среди кого она.

Ни администрация, ни сами студенты не стремились к равенству. Деление на чистых и нечистых не ограничивалось классовым принципом. Среди угодных были особо угодные – ударники, выделяемые из своей среды студентами. Это мелкая рыбешка по сравнению с китами – выдвиженцами. Ударник добывал привилегии усердием, если не в учении, то по части выявления чуждой идеологии. Выдвиженцы назначались какими-то органами свыше, и их будущее обеспечено. Очевидно, они имели какие-то заслуги перед властями и награждены за них правом сперва числиться студентами, потом аспирантами, потом занять посты директоров в каких-либо учреждениях. Нередко эти выдвиженцы оказывались людьми способными, иной раз это были полнейшие тупицы.

Первый тупица-выдвиженец, с которым я встретилась в университете, – Давыдов. Карьеры он не сделал. Пережитки капитализма в его сознании погубили его. Ему под тридцать, пора жениться, а тут интеллигентные девочки прямо со школьной скамьи. Он женился на Оле Топоровой. Папа и мама врачи, преподаватели Медицинского института. Из общежития он переселился в их квартиру. Пережитком капитализма в его сознании была ревность. Он ударил топором в висок свою молоденькую жену. Ее спасли, и она ушла с факультета. Я увидела ее тридцать четыре года спустя, 13 марта 1964 года, на общественном суде над Бродским, "над тунеядцем Бродским", как именовали поэта Иосифа Бродского анонсы в фойе клуба, где шел суд. Оля Топорова была его адвокатом.

Давыдова арестовали, но через два года он снова появился на факультете. Потом он исчез навсегда с моего горизонта.

Другой выдвиженец – Коверга – был куда удачливее. С первых дней своего пребывания в университете он повел классовую борьбу. Мишень: профессор ботаники, знаменитый путешественник, будущий президент Академии Наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров.

На вводной лекции он говорил о той многообразной пользе, которую приносят растения человеку – слушать его была сущая радость жизни. В качестве полноценной пищи он назвал ржаной хлеб с луком – пищу русского крестьянина. Коверга взыграл. Это явно была контрреволюционная пропаганда, замаскированная диверсия с целью продемонстрировать высокий уровень жизни крестьян в дореволюционной России и тем самым дискредитировать революцию.

Комаров получил взыскание. Но он и сам был членом партии, чтение лекций было с его стороны большой самоотверженностью, во время своих путешествий по Дальнему Востоку он очень болел, и последствия болезни давали о себе знать. Лекции он читал в черных перчатках. Он потребовал извинений со стороны клеветника. Извинения были принесены. Читать лекции нам он отказался. Коверга продолжал процветать. По окончании аспирантуры он был назначен директором Никитского Ботанического Сада на берегу Черного моря. Я видела его в 1968 году. Он был на пенсии и жаловался мне, что зря прожил жизнь. Он оставался убежденным сталинистом.

Помимо обязательного посещения лекций на студента возлагалось множество других тягот и все, все без исключения, под надзором добровольных стражей – из числа своих же товарищей студентов. Заниматься общественной работой обязательно. Я занималась ликбезом – ликвидацией безграмотности, обучала грамоте работниц фабрики-кухни и рабочих инструментального завода. Заставлять меня не нужно было. Я любила это дело. Ходить на собрания обязательно. Собрание за собранием. Сегодня нам предлагают выступать с осуждением вредительской группы – судят членов Промпартии, и нам предлагают голосовать за смертную казнь. Мне было 17 лет. Ни жива, ни мертва сидела я на этих митингах, не поднимала руку ни за, ни против, ни на вопрос – кто воздержался. Я понимала, какое чудовищное беззаконие творится у меня на

глазах, в котором под страхом исключения из университета, я должна участвовать. Никто не протестовал, за смертную казнь голосовали единогласно.

Много лет спустя, когда потихоньку от мачехи возобновилась моя дружба с отцом, я выразила ему недоумение по поводу того, что никто не протестовал. Отец сказал, что ему известен один случай. Дело происходило на собрании в Академии Наук. Также голосовали за вынесение смертного приговора кому-то из безвинных. Когда председательствующий спросил, кто воздержался, поднялась одна рука. Это был гениальный ученый, основатель биогеохимии Владимир Иванович Вернадский. Его тут же спросили, в чем причина. "Я в принципе против смертной казни", – сказал Вернадский. "А ты?" – спросила я отца. "Я на эти собрания не ходил", – сказал отец.

Так вот, сегодня собрание по поводу суда по делу Промпартии, завтра общественный суд по делу Мордухая-Болтовского и его группы. Посещение обязательно. Наиболее ценимая общественная работа – надзор за посещением всего того, что посещать обязательно. Примерно пятая часть студентов занята именно ею. На каждые 15-20 человек приходится парторг, комсорг, профорг и староста. Все они – надзиратели. Общественный суд идет в Актовом зале университета. Зал человек на 900. Студент Мордухай-Болтовский – сын знаменитого профессора Ростовского университета Мордухая-Болтовского писал своему отцу письма из Ленинграда в Ростов. Он обронил неотправленное письмо, оно попало в бюро комсомола, а автор попал на скамью подсудимых.

Чтобы было похоже на процесс Промпартии, сколотили группу обвиняемых все больше из интеллигентных семей. В качестве общественных обвинителей выступали профессор И.И. Презент и аспирант Э.Ш. Айрапетьянц. Импровизированные прокуроры метали громы и молнии, обвиняя подсудимых в бытовом разложении, пьянстве, саботаже общественных мероприятий, в антисоветской пропаганде и клевете на советскую власть. Защитников на процессе не было. Весь гнусный фарс был фланговой атакой на профессоров университета, которые якобы поощряли разврат и антисоветские настроения студентов. Никто не вступился за обвиняемых, а из обвиняемых защищался только один. И этот один был генетик, Дмитрий Михайлович Кершнер. Во время речи презента, в том ее месте, где, бичуя разврат, прокурор гневно восклицал: "Стол был уставлен бутылками", – поднималась рука одного из тех, кто сидел на скамье подсудимых. Председатель суда должен дать обвиняемому слово. Очень медленно Кершнер вставал и обращался к председателю:

– Гражданин председательствующий на общественном суде по делу Мордухая-Болтовского и его группы, разрешите дать фактическую справку по ходу ведения общественного суда для уточнения данных, приведенных в речи общественного обвинителя на общественном суде профессора Исаи Израилевича Презента.

Председатель давал разрешение уточнить. Кершнер обращался к Презенту:

– Гражданин общественный обвинитель на общественном суде по делу Мордухая-Болтовского и его группы, профессор Исай Израилевич Презент, разрешите уточнить данные, приведенные в вашей обвинительной речи. Вы сказали, что стол был уставлен бутылками. Бутылок было две.

Кершнер садился.

Пылая гневом по поводу антисоветских настроений обвиняемых, Презент говорил, что на развратных сборищах группы враги Советской власти пели антисоветские песни. И снова поднималась на скамье подсудимых рука и снова Кершнер тягучим голосом без интонаций просил разрешения уточнить и, получив разрешение, по всей форме обращался к Презенту и заканчивал свое выступление словами:

– Мы не пели антисоветских песен, мы пели латинский гимн "Гаудеамус игитур". В переводе это значит: веселитесь же, друзья, пока молодость с вами.

Их повыгоняли из комсомола. Кершнера выгнали из университета. Он сразу попал в армию, был восстановлен в университете через четыре года и закончил его с опозданием в эти четыре года. Дорого обошлись ему эти уточнения.

И.И. Презент – один из главных изничтожателей цвета русской интеллигенции. В тот самый год, когда я поступила в университет, он вел огонь по В.И. Вернадскому и по моему отцу.

Великий расцвет русской культуры совпал с началом двадцатого века. Борьба за свободу – неотъемлемый элемент духовного подъема нации. Революции вершились в музыке и в живописи, в литературе и театре, в точных и в гуманитарных науках. Вернадский прославил свое время в веках как геолог, Берг сделал его достойным имени русского Ренессанса, будучи географом.

Будь плановое хозяйство целью властей, книга Берга "Ландшафтные зоны" стала бы настольной книгой деятелей Госплана, а не поводом для травли. Отец рассматривал человека в единстве с его средой, с его географической средой. Ее надо знать и беречь.

География как наука разваливалась на части. Климатология, геоморфология, гидрология процветали. География прекращала свое существование. Отец возродил ее. География стала наукой о взаимодействии живых и неживых элементов ландшафта, включая человека. Научная полемика вырождалась в то время, в тот год "Великого перелома", в год "революции сверху" в политический донос, за которым следовала кара без суда и следствия. Так было в подавляющем большинстве случаев, а суды, если были, оборачивались сфабрикованными фарсами. Заплечных дел мастер в этой полемике – Презент. Незадолго перед моим поступлением в университет он затравил Юрия Александровича Филипченко – основателя первой в России кафедры генетики. Филипченко покинул свое детище. Через несколько месяцев после этого, в мае 1930 года, он умер от туберкулезного менингита, проболев три дня. Десять лет спустя жертвами Презента пали Г.Д. Карпеченко и

Г.А. Левитский – краса и гордость русской науки, профессора Ленинградского университета. В начале тридцать первого года в университетской газете "Ленинградский университет" появилась статья Презента, срывающая маску с классового врага – географа Берга. Его ландшафтоведение – ничто иное, как скрытая борьба с марксизмом, отрицание классовой борьбы, проповедь мира с целью порабощения рабочего класса и беднейших крестьян капиталистами и помещиками, поповщина, идеализм и мракобесие. Карикатура изображала отца в виде мужика в русских сапогах и в косоворотке, подпоясанного веревкой. Огромная фигура высилась над убогой деревенькой – кучкой покосившихся изб. Отец вздымал к небу две книги: "Номогенез" и... Ремарка "На западном фронте без перемен".

"Номогенез, теория эволюции на основе закономерностей" – это книга отца, его научное кредо, противопоставленное им дарвинизму. Отец отказывался признать естественный отбор, борьбу за существование причиной прогрессивной эволюции органического мира. Книга Ремарка символизировала пацифизм.

Критикуя Берга, Презент особенно усердствовал в разоблачении его ламаркистских заблуждений. Следовать Ламарку – крамола. Дарвин причислен к лику марксистских святых, и критиковать его – значило посягать на святая святых марксизма. О взаимопомощи, царящей в живой природе, нельзя и заикнуться. Идеализм, оружие врага, ниспровержение марксизма, замаскированное желание дискредитировать идею классовой борьбы, которая в условиях строительства коммунизма не затухает по мере перестройки общества на бесклассовых началах, а все разгорается и разгорается, – вот что такое разговоры о взаимопомощи.

Я думаю, что отца больше всего оскорбило обвинение в идеализме. Отец, помимо философского смысла вкладывал в это слово морально-этическое содержание. Для него идеализм – бескорыстное служение идеалу. Презент употреблял это слово в качестве брани. Материализм, притом диалектический – это хорошо, идеализм – плохо. Отец отказался от заведования кафедрой и покинул университет. Сделай он это несколькими месяцами раньше, и не видать бы мне университетского образования, как своих ушей.

Пре́зент – презе́нт первому курсу, как на французский манер называли мы его с братом, – знал, что среди студентов есть дочь Бе́рга. Он читал нам введение в философию диалектического материализма, пламенно агитируя в пользу классовости человеческого сознания и необходимости борьбы с идеализмом с классовых позиций. На первой же лекции среди классовых врагов был поименован Берг. Странным и непонятным образом профессор обращал свою лекцию не к почти тысячной аудитории студентов – дело происходило в Большой физической аудитории университета, – а к одной студентке, красавице Наталье Владимировне Ельциной. Ботичелли рисовал с нее своих нежных Мадонн. Так случилось, что мы одновременно с ней подошли после лекции к

Презенту спросить рекомендованную литературу. Презент спросил, кто я. Я назвалась. Он круто повернулся к Мадонне и воскликнул:

– Так разве не вы Берг?

Палач был не без садизма. Он имел ясное представление о том, какова должна быть дочь идеалиста.

Ясно было, что он доберется и до меня. Первая попытка исключить меня из университета обошлась, однако, без него.

Классовая борьба в разгаре. Борются все со всеми. Студенты друг с другом. Студенты с преподавателями. Преподаватели со студентами. Даже выявлять идеологические шатания не нужно. Преследователи стоят на позиции жесткого детерминизма человеческого сознания со стороны социальных условий. Примат материи по отношению к духу понимался в буквальном смысле – было тебе или твоим родителям хорошо до революции, значит ты враг революции и подлежишь уничтожению. Ты заявляешь, что готов служить трудовому народу, ты – волк в овечьей шкуре, с тебя надо сорвать маску. Будто и не было никогда самоотверженной подвижнической русской интеллигенции, великой русской литературы, великих социальных движений прошлого и нынешнего веков, движений, в которых интеллигенты увлекали за собой рабочие и крестьянские массы. Будто не было проблемы отцов и детей.

В разговоре с товарищем, Букин его фамилия, я сказала, что интеллигенция сыграла большую роль в оформлении классового и революционного сознания пролетариата. Я была предупреждена парторгом группы, Зоей Федоровной Федоровой, что меня будут "прорабатывать" на собрании комсомольской ячейки и что мне грозит исключение. И исключили бы, если бы не спасла меня Нина Рябинина, неизменно одерживавшая победу надо мной в академбоях. Нина знала толк не только в строении медузы и чередовании поколений у гидроидных полипов. Пародируя лозунг революции "Цель оправдывает средства", она говорила:

– Я лгу редко и, если лгу, то с пользой для пролетариата.

Но говорила она это мне, а не Букину. К ней не привязывались. Она умела держать язык за зубами. Но и у нее был социальный идеал, ежеминутно оскорбляемый практикой строительства коммунизма. Ее отец, профессор-геолог, и в особенности дядя, известный палеонтолог Рябинин – великие почитатели моего отца, а Нина не имела причины скрывать от родителей то, что происходило в университете. Представители буржуазной интеллигенции снабдили ее книжкой Ленина "Что делать?", и там на семьдесят второй странице черным по белому (нет, по серому, ибо издание двадцатых годов, а бумажный кризис не преодолен в Советском Союзе поныне: бумагу, сделанную из тех самых чурок, которые в тридцатом году мы, движимые энтузиазмом, грузили на иностранные суда, по сей день ввозят из Германии и Финляндии) – в этой убого изданной книге стояло, что революционное сознание привнесено в пролетариат буржуазной интеллигенцией. Книгу эту я взяла на собрание. Я мало кого знала из присутствующих. Одну студентку знала – она давала мне в начале года направление на завод имени Казицкого и

на фабрику-кухню заниматься ликбезом. Меня не спрашивали ни о чем на этом судилище. Сами говорили. Я, оказывается, сказала, что интеллигенция – гегемон революции. А я и слова-то такого – гегемон – не знала. И еще – я не занималась общественной работой, а я только ею и занималась, а то не видать бы Нине победы, бои шли бы вничью, превзойти ее невозможно, она знала решительно все. Голосовали. Кто за исключение? Принято единогласно: исключить. Тогда я, не соблюдая тех формальностей, которые так тщательно исполнял Кершнер на общественном суде по делу Мордухая-Болтовского, взяла слово.

– К смертной казни приговаривают за убийство с корыстной целью, – сказала я, – и то преступнику принадлежит последнее слово в суде. Это неправда, что я не занималась общественной работой. Спросите ее, она знает. Рабочие обоих заводов по своей инициативе послали благодарность в университет за мои уроки. Почему она молчит? А что касается роли интеллигенции в революции, так я сказала, что интеллигенция сыграла роль в оформлении революционного сознания пролетариата, а Ленин говорит, что оно привнесено в пролетариат буржуазной интеллигенцией. – И я прочитала по книжке. – Да как оно могло быть иначе, – говорила я, – ведь пролетариат отторгнут от средств не только материального производства, но и от духовной культуры, а идея революции – высшее достижение духовной жизни.

Никто мне не возражал.

– Я уйду сама из университета, чтобы не служить мишенью для упражнений в стрельбе по классовому врагу, – говорила я.

Из университета меня не исключили.

С парторгом группы, бывшим слесарем, выдвиженкой Федоровой, у меня были престранные взаимоотношения. В студенческой столовой она с любопытством и симпатией наблюдала, как я с превеликим аппетитом уписываю пшенный суп с гнилой рыбой, который она ела с отвращением. Она спросила, где же моя избалованность профессорской дочки. Я сказала:

– А при чем тут избалованность? Вы стремитесь повышать свое материальное благосостояние, а я осуществляю победу духа над бренной плотью.

"Вы" в данном случае относилось не к Федоровой, а к пролетариату. Студенты говорили друг другу "ты". Это гордое, совершенно не свойственное мне заявление сошло мне с рук.

В противоположность традициям Санкт-Петербургского университета, выпускавшего широко образованных ученых, нас специализировали с первого курса. Студенты с момента поступления распределялись по отделениям факультета. Существовали зоологическое, ботаническое, физиологическое отделения. На разных отделениях читались разные курсы. На зоологическом отделении не было геологии и палеонтологии, микробиологии, лишились мы и курса ботаники. Политические предметы были на каждом курсе в каждом семестре: политэкономия, истмат, диамат, диалектика природы. Презента слушали студенты всех отделений, а введение в философию диалектического материализма – студенты всех факультетов. Срок обучения сокращен до четырех лет, а

для выдвиженцев – до трех. Интеллигенция нового типа, т.е. специалисты узкого профиля, создавались ударными темпами. При переходе на второй курс нам надлежало выбрать узкую специальность. Свобода выбора ограничена. Из десяти кафедр зоологического отделения прием только на трех. Согласно директиве, группы студентов должны быть большими – человек по 15-20. Нечего представителям буржуазной интеллигенции проводить занятия с четырьмя-пятью студентами. Свобода выбора для студентов? Многого захотели!

Нам предоставлялся выбор между кафедрами гидробиологии, генетики и зоологии позвоночных. Нина выбрала гидробиологию, я – генетику. Той кафедры, на которой я мечтала бы получить образование, в Ленинградском университете – и ни в одном университете мира – тогда не было. Я хотела изучать технические усовершенствования, ведущие органический мир по пути прогресса: капилляры, рычаги, весла, ракетные двигатели, линзы... Отец провозгласил существование закономерностей эволюции. Что они существуют, он знал и привел доказательства в пользу их существования. Что они такое, он не знал. А я знала. Законы эволюции – это законы технического и технологического изобретательства. Мой первый труд, написанный мной в 12 лет и опубликованный в школьной стенной газете, посвящен рычагам растений. Цветки шалфея пользуются ими, чтобы локализовать пыльцу на тельце насекомого – переносчика их пыльцы.

В университете я надеялась получить образование по бионике, как теперь называется интересовавшая меня область знания. Моя бионика должна быть эволюционной. Бионики нет. Наиболее близка к теории эволюции генетика. Я избрала ее.

Николай Николаевич Медведев вел большой практикум по генетике. Дрозофила, знаменитая дрозофила, служила нам подопытным животным. За все время существования человечества только два объекта изучения были под запретом – человек и плодовая мушка – дрозофила. Человек – во времена инквизиции, муха – в сталинское время. Впрочем, изучение человека запрещено в Советском Союзе и поныне. История, социология, педагогика влачат жалкое существование, этология – наука о поведении, психология, медицинская генетика едва оправляются от ударов, нанесенных в те времена. Тогда не то что человека, животных нельзя было изучать со всех этих крамольных – этологических, психологических, генетических – точек зрения. А уж о генетических основах поведения животных нельзя было и думать.

Но в 1931 году, когда Николай Николаевич вел большой практикум по генетике на Кафедре генетики и экспериментальной зоологии Ленинградского университета, дрозофила еще не была под запретом. Когда в 1933 году в Ленинград по приглашению директора Института генетики Академии наук Н.И. Вавилова прибыл крупнейший американский генетик Г. Дж. Меллер, Николай Николаевич рекомендовал меня ему в качестве лаборанта. Я явилась к Меллеру ни жива, ни мертва от благоговения перед великим первооткрывателем законов природы. Он спросил меня, нуждаюсь ли я в заработке, и я солгала, что не нуждаюсь.

Стипендию я не получала, детям богатых родителей не полагалось. Я зарабатывала изготовлением таблиц – иллюстраций к лекциям.

Меллер пожалел меня, и вместо того, чтобы стать его лаборантом, я получила тему и рабочее место в Академии наук. И еще трое студентов нашей группы получили темы: Рапопорт, ныне один из крупнейших советских генетиков, Ковалев, очень способный человек и хороший товарищ – он погиб во время войны с немцами, и Федорова. В Академии работал студент нашей кафедры, совсем молоденький Паншин. Он числился студентом Меллера, но его тема не была предложена Меллером, как у всех у нас, а своя, начатая до приезда Меллера. Война выбила затем из колеи этого способнейшего ученого.

В 1934 году (я была уже на четвертом курсе и работала над дипломом в Институте генетики) Презент читал нам курс под названием диалектика природы. Курс – тезка книги Энгельса.

Каждая отрасль биологии подвергалась ревизии с классовых позиций, выявлялось то, что порождено буржуазной или клерикальной идеологией и предавалось анафеме вместе с именами великих представителей русской науки, обвиняемых во всех смертных грехах. Дошло дело и до генетики. Презент отстаивал взгляд, что от условий жизни зависят не только признаки организма, но и характер передачи признаков из поколения в поколение. "Я выдвигаю смелую гипотезу, что сцепление и перекрест определяются внешними условиями", – говорил Презент. Мы не были широко образованными биологами. Мы были узкими специалистами в своей области, в генетике. Но генетику мы знали. Время академбоев давно миновало, пятилетний курс обучения восстановлен, с нас спрашивали на экзаменах знаний, и мы владели ими. Первоклассные преподаватели, ученики и сотрудники Ю.А. Филипченко, покойного основателя кафедры генетики, читали нам курсы. Первоклассные учебники, написанные Ю.А. Филипченко по общей и частной генетике, в нашем распоряжении. Я в особо выгодном положении. Нет учебника на русском языке, я могла воспользоваться немецким или английским. Белар "Цитологические основы наследственности" не был еще переведен на русский язык. Я читала его по-немецки.

В Академии Меллер читал курс генетики. А.А. Любищев и Г.Д. Карпеченко переводили его. Я прослушала весь курс. Мы знали отлично, что сцепление и перекрест генов зависят от их положения в хромосомах. Сцеплены друг с другом и передаются совместно гены, расположенные в одной хромосоме, а те, что в разных – комбинируются свободно. Гены одной и той же хромосомы сцеплены тем теснее, чем ближе они расположены друг к другу. Перекомбинация генов одной хромосомы – результат перекреста хромосом-гомологов. То, что говорил Презент – элементарное невежество. Скажи мы такое на экзамене по цитологии наследственности – ученейший Иван Иванович Соколов нам читал этот курс, – провал неизбежен. После лекции я подошла к Презенту и спросила его, когда впервые он выдвинул гипотезу о влиянии внешних условий на сцепление и перекрест.

– Что вы имеете в виду? – спросил Презент.

– Я имею в виду опыты Плу по влиянию температуры на величину перекреста у дрозофилы, – сказала я, – и опыты Меллера и Альтенбурга по перестройке хромосом под воздействием Х-лучей. Внешнее воздействие создает новые группы сцепления.

– Я ведь специальной литературы не читаю, а критикую принципиальные установки науки, – сказал профессор.

– Опыты Плу у Моргана в его "Структурных основах наследственности" описаны, книга на русском языке есть. Филипченко еще в 1926 году перевел и издал, – сказала я.

. Презент нисколько не смущен:

– Да разве одни только сцепление и перекрест, независимые от внешних воздействий, пребывают в арсенале нелепостей? – риторически спросил он. – А что вы скажете о такой чепухе, как линейное расположение генов в хромосомах?

– Но это же факт, – сказала я, – и он получил новое блестящее подтверждение совсем недавно. Пайнтер обнаружил у личинок дрозофилы в клетках их слюнных желез гигантские хромосомы. Теперь можно указать место гена в хромосоме прямо на препарате, глядя в микроскоп. Да вы приходите в Институт генетики, я вам покажу.

Наш разговор был прерван ассистенткой Презента. Гроза разразилась на слудующей лекции Презента. Читал он, как всегда, в Большой гистологической аудитории. Он начал было читать, внезапно прервал свое чтение и обратился к аудитории:

– А теперь пусть Берг расскажет нам марксистско-ленинскую теорию познания.

Я знала то, о чем спрашивал Презент: взаимоотношения субъекта и объекта, познаваемость мира, наличие объективной истины, практика как критерий истины. И о том, что не просто бытие, а социальное бытие, определяет сознание, и поэтому природа сознания классовая, я могла говорить. Нина Рябинина говорила, что университет – это Институт благородных девиц, где нас обучают хорошему тону современности. "Материализм и эмпириокритицизм" Ленина я знала наизусть.

По всем общественным предметам, включая курс диалектического материализма, у меня почти неизменно были пятерки, а "почти" определялось не моим незнанием, а классовой борьбой преподавательницы Южниной с чуждым элементом среди студентов. Я излагала политэкономию капитализма слишком близко к тексту "Капитала" Маркса, что с несомненностью доказывало мою неспособность понять суть дела. В объяснения по поводу тройки, которую она мне влепила, она, конечно, со мной не входила, и я узнала о моей неспособности понять "Капитал" Маркса – слова которого звучали для меня музыкой сфер, – из похвал, расточаемых ею по адресу Чемекова. Он чуваш, по-русски плохо знал, но его ответы много лучше моих заученных фраз.

Выйти и начать читать перед аудиторией, насчитывающей не менее 200 человек, не имея ни минуты, чтобы собраться с мыслями, я не могла.

– Я не могу без подготовки, – сказала я.

– Вы отказываетесь отвечать? – спросил профессор.

– Да. – сказала я.

– Кто ответит? – спросил Презент.

Отвечать вызвался выдвиженец Л.Е. Ходьков. Он кричал, что вот, вредители утверждали, что без формул, без из каких-то "фи", нельзя построить Волховстрой – первую электростанцию, построенную после победы коммунизма, – а рабочие и без формул, и без "фи" ихнего построили. Одна из студенток пискнула: "А при чем тут теория познания?" Презент прервал своего доброжелателя и сказал:

– Я прошу общественные организации факультета ударить по рукам зарвавшегося классового врага – студентку Берг, которая срывает активный метод преподавания, который я применял и буду применять и впредь.

Он лгал – это был первый случай его обращения к аудитории. Я прервала поток брани, низвергавшийся на мою неповинную голову, и громко и твердо сказала:

– Профессор Презент, вы слишком много внимания уделяете мне в вашей лекции.

Воцарилась гробовая тишина. Чтение лекции возобновилось.

Презент требовал моего исключения из университета. Но я не была исключена. Статья в газете "Ленинградский университет" слово в слово повторяла брань Презента по моему адресу. Но и это не возымело желаемого действия. Из университета меня не исключали.

Партийная организация Института генетики Академии наук, где я заканчивала дипломную работу и где собиралась демонстрировать Презенту гигантские хромосомы дрозофилиных личинок, потребовала моего удаления из института. Вавилов сам пришел ко мне поздно вечером и сказал, что ему не удалось отстоять меня, но он и не очень старался. Институт в ближайшее время переезжает в Москву. Я перешла работать в университетскую лабораторию.

Одна из причин, почему меня не вышвырнули из университета по требованию Презента – чрезвычайная занятость этой выдающейся личности. Трофим Денисович Лысенко стремительно шел в гору. Малограмотный агроном занял пост научного руководителя Всесоюзного Института генетики и селекции в Одессе и избран действительным членом Академии наук Украинской Республики. Презент поспешил стать под его знамена, чтобы поставить ему на службу свой великий дар палача. Пока Презент был в Одессе, экзамен по его курсу принимал его ассистент Кирилл Михайлович Завадский. С видом следователя задавал он мне вопросы и предлагал отвечать искренне то, что я думаю.

Сейчас, вот сию минуту, казалось ему, я выдам свое пренебрежение теорией, свое отрицательное отношение к диалектике природы, свою приверженность эмпирическому, а не диалектическому методу познания. Он с легкостью выведет меня на чистую воду. Смелость подведет меня. Представление у него обо мне ложное. Я не пренебрегала теорией. Он бил мимо цели. Расставленные капканы не срабатывали. После экзамена я вышла в университетский коридор и с любопытством раскрыла зачетную книжку, где Завадский поставил оценку. Оценка "хорошо".

Через несколько дней в приказе по университету мне объявлен строгий выговор с предупреждением за игнорирование курса диалектики природы. Произошла маленькая неувязка. Я подала заявление в ректорат с просьбой отменить выговор, учитывая оценку, полученную мной на экзамене. Выговор остался в силе.

Последний раз меня гнали из университета, когда я была на пятом курсе. Моя дипломная работа завершена и опубликована в "Докладах Академии наук". Я – председатель генетической секции Студенческого научного общества – работала с группой студентов по теме, предложенной Меллером. Мы изучали соотношение между дозой облучения и частотой внутрихромосомных перестроек у дрозофилы. Работали мы за городом, в Петергофском биологическом институте, во дворце графа Лейхтенбергского, убежавшего во время революции за границу. Петергофский институт служил университету летней базой для практических занятий со студентами. Дело было зимой. Во дворце нет электричества. Мы работали при керосиновых лампах. Две хорошо горящие лампы, две колбы с водой, подкрашенной медным купоросом, два пучка света, сходящиеся на фарфоровой пластинке, вполне заменяют осветитель лучшей в мире фирмы. Уверяю вас. Работать с бинокуляром при этих условиях можно. Термостатом служила комната, обогреваемая керосиновыми лампами. Заведующий кафедрой, Александр Петрович Владимирский, просил нас развернуть исследовательскую работу там. Городские власти грозились отнять дворец у университета, раз он зимой пустует. Лаборатории заработали, в их числе наша. Дворец мы отстояли.

Меллер, по пути из Москвы в Париж, куда он ехал, чтобы возглавить Международную конференцию по радиационной генетике, приехал в Ленинград и посетил нашу лабораторию в Петергофе. Мы первыми в мире показали, что внутрихромосомные перестройки возникают под действием Х-лучей в результате двух разрывов. Доклад Меллера в Париже включал наши данные. В столовой Петергофского института подготовились к встрече высокого гостя. Котлеты в тот день были гигантские.

А в это самое время в университете всем студентам, поступившим без экзамена, решили устроить экзамен по русскому языку. Университет не пожелал выпускать малограмотных специалистов. Из нашей группы в 16 человек без ошибок диктовку написали два – Рапопорт и Ковалев. Я была лучшей среди провалившихся. Назначили занятия по русскому языку, где нас стали обучать правописанию. Петергоф давал мне право на свободное расписание. Но эта свобода не распространялась на русский язык. Да я и не собиралась пользоваться ею. Настало, наконец, время восполнить пробел в моем образовании. И я с большой охотой ходила на занятия. Но несколько уроков пришлось пропустить. Меня исключили из университета за непосещение занятий по русскому языку. Товарищи по группе, Федорова в их числе, позаботились об этом.

В первый раз я поверила, что исключена и что хлопотать о восстановлении бесполезно. Может быть, непрерывная травля, Дамоклов меч, висящий на тоненькой ниточке над моей головой, привели к нервному срыву. Я пошла на Ломоносовский фарфоровый завод, надеясь стать художником по фарфору. Меня согласились взять, не спрашивая об образовании. Директор завода, увидав мои рисунки, позвонил в художественный отдел. "Приходите, я вам что-то покажу, – говорил он, – это почище нашего Воробьевского". Пришли скульптор Данко и художник Скворцов. Меня повели в мастерскую и в музей, и я увидела Воробьевского, расписывающего блюдо традиционными волнами в русском стиле, и работы Воробьевского, выставленные в музее завода. Смотрела и думала: "Что касается Воробьевского, быть почище его немудрено". Там были другие. Их работы поражали смелостью, новизной, изяществом.

Прежде, чем я приступила к расписыванию чашек, я узнала, что не исключена из университета. Сообщение о моем исключении, переданное товарищами по группе, – утка, пущенная, чтобы сбить меня с панталыку.

Я защищала дипломную работу, и товарищ по группе – Чемеков, тот самый Чемеков – великий знаток политэкономии – все пять лет я помогала ему в трудном для него деле овладения знаниями – не сводил глаз с циферблата часов, сидя передо мной в первом ряду аудитории, где шла защита, чтобы оборвать меня, когда мое время истечет. Но я подошла к финишу в назначенное время, минута в минуту. Я получила оценку "отлично". Три статьи, опубликованные в журнале Genetics в США, три статьи, опубликованные в трех разных журналах в СССР, – это моя дипломная работа.

Великий бой выдержал заведующий кафедрой А.П. Владимирский, чтобы оставить меня в аспирантуре при своей кафедре. Общественные организации наложили на мою кандидатуру вето. В газете "Ленинградский университет" появился пасквиль. Меня снова упрекали в отсутствии общественной работы. И опять это была неправда. Я преподавала генетику и общую биологию студентам младших курсов, отставшим по болезни или в силу семейных обстоятельств от товарищей. Студенты, мои ученики, узнав из газеты причину моего отвода, хотели писать протест, но я их отговорила. Я чувствовала, что обойдется.

Из Москвы приехала комиссия проверять классовый состав выдвинутых в аспирантуру. Меня вызвали. Ректором по научной части университета был Э.Ш. Айрапетьянц, один из общественных обвинителей на суде по делу Мордухая-Болтовского и его группы. Он знакомил членов комиссии с будущими аспирантами. Снова началась процедура срывания маски с классового врага, овечьей шкуры с волка. Национальная гордость народа-строителя коммунизма обильно питалась тогда полетами Чкалова, исследованиями стратосферы, дрейфующей станцией исследователей Северного полюса. На льдине дрейфовал П.П. Ширшов, гидролог, один из членов группы Мордухая-Болтовского. Национальная гордость, сознание технической и военной мощи своего государства,

патриотизм с позиции силы, мыслились и мыслятся посейчас заменой свободы личности и человеческих условий жизни. Беспосадочные перелеты и исследования Севера с успехом камуфлировали перед лицом мирового общественного мнения голод и кровавые расправы над миллионами невинных.

Знать их – обязательно. Незнание изобличало. Меня спросили о беспосадочных перелетах. Не знать их невозможно: все уши прожужжали этими перелетами. Но с меня было довольно. Я сказала, что не имею солидных знаний в этой области, т.к. занята своим делом – мухами. Мне объявлено, что комиссия тем не менее не будет возражать против моего оставления в аспирантуре, учитывая заслуги моего отца. "Раз мой отец имеет заслуги, вы его и оставляйте в аспирантуре", – сказала я и ушла. В приеме в аспирантуру мне было отказано.

Владимирский и двое других преподавателей кафедры заявили, что уйдут из университета, если я не буду оставлена при кафедре. Только никто и ничто не сыграло бы никакой роли, не приди к тому времени Географический факультет университета в полный упадок. В университете решили просить отца вернуться на факультет. Отец вернулся. Меня приняли в аспирантуру.

БРОНЗОВЫЕ И ЗОЛОТЫЕ РЫЦАРИ

И наступили блаженные четыре года, когда я беспрепятственно могла заниматься наукой, и Дамоклов меч не висел над моей головой и в газете не появилось ни одного пасквиля, срывающего маску с лица классового врага. Я постаралась сузить границы моего общебиологического невежества. Я слушала курсы сравнительной анатомии беспозвоночных В.А. Догеля и сравнительной анатомии позвоночных Гавриленко и курс общей протистологии Ю.И. Полянского. Роза Андреевна Мазинг, преподавательница кафедры – речь о ней впереди – проводила свои исследования в тесном контакте со мной.

Главные события этих лет – отъезд Меллера и мое вступление на стезю популяционной генетики. Это произошло в один и тот же год, в кровавый 1937 год. Террор этого года затмил и превзошел все мыслимое, все чудовищные кровопролития прошлых лет.

Институт генетики переехал в Москву, но я поддерживала связь с Меллером, ездила к нему, результаты опытов показывала.

Вклад Меллера в мировую науку огромен. Он один из создателей хромосомной теории наследственности. Первым в мире он применил ионизирующие излучения для искусственного получения наследственных изменений – мутаций. Он разработал методы, позволяющие различать вновь возникающие, новые мутации и те, что в скрытом виде предсуществовали в половых клетках подопытных животных – дрозофил. Он сперва поставил мутационный процесс под строжайший количественный контроль и только тогда подверг дрозофил температурным и лучевым воздействиям. Лучи Рентгена повысили частоту возникновения мутаций в сотни раз. Меллер первым указал на опасность, грозящую потомству лиц, подвергающихся облучению. По его предложению приняты меры сократить сколько возможно применение облучения с диагностическими и лечебными целями. Он разгадал природу радиационной опасности. Его опыты по искусственному вызыванию мутаций – исток новой отрасли науки – радиационной генетики. В качестве ее основателя он награжден Нобелевской премией.

Но как ни велик вклад Меллера в науку, не исследование природы было целью его жизни. Молодой ученый горел желанием улучшить род человеческий, избавить страждущее человечество от физических и духовных бедствий. Он – ярый враг любых ограничений свободы личности – боролся с теми течениями, которые в Германии завоевывали права гражданства и находили приверженцев и в других странах, в том числе в Америке. Бесстрашный среди бесстрашных, он считал, что только переустройство общества на социалистических началах позволит внести улучшения в частную жизнь человека. Он жаждал революции, которая свергла бы капитализм. Гегемон переустройства новой жизни, носитель морали будущего – пролетариат. Взгляд Меллера с надеждой обращен к Советскому Союзу. Он хотел быть в той точке земного шара, где

вершились судьбы грядущего Коммунизма. Он поехал в Германию, которая, казалось ему, стоит в преддверии великих прогрессивных перемен. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, он покинул Германию. Незадолго перед тем он был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук СССР и с благодарностью принял почетное звание. В том же году Вавилов пригласил Меллера занять пост заведующего отделом общей генетики в Институте генетики Академии наук СССР. С директором института Николаем Ивановичем Вавиловым Меллера связывали узы пламенной дружбы. Американский генетик Бентле Гласс, одновременно с Меллером стажировавшийся в Берлине, говорил ему, что все тоталитарные режимы на одно лицо и что в России он найдет гитлеризм в его развернутой форме. Меллер и слышать не хотел.

В 1933 году Меллер стремился в Россию. В 1936 году он поехал в Испанию, чтобы отдать свои силы сражающимя за свободу. В составе Канадского подразделения он занимался переливанием крови. В Мадриде он спасал из горящего здания университета библиотеку.

Во время его краткого пребывания в США Меллер подвергся нападению ку-клукс-клановцев. Его хотели раздавить машиной. Его сбили с ног. Пальто его было порвано. Он сам мне рассказывал.

Меллер переехал в Ленинград в момент, когда воссоединились две могучие деструктивные силы – Лысенко и Презент, и генетика повисла над бездной, куда пятнадцать лет спустя ей предстояло рухнуть.

В начале тридцатых годов Меллер написал книгу *Out of the Night*, "Из ночи". Из ночи современности он призывал человечество сделать все возможное, чтобы приблизить светлое будущее – будущее коммунизма. Сам человек подлежал изменению. Доброта и ум должны стать критериями оценки человеческого совершенства. Мера, которую можно применить в самом ближайшем будущем, – искусственное осеменение спермой тех, кто соответствовал критериям совершенства.

Приехав в Советский Союз, Меллер добился, чтобы перевод его книги был показан властям. Власти отнеслись к его проекту улучшить человечество крайне отрицательно. Понять их не трудно. Во-первых, они обладали средствами улучшить популяцию своей страны. Кнут и пряник служили им для этой цели. Пряник, и один только пряник – для избранных, кнут – для прочих. Английской модели "stick and carrot" этот способ действий не соответствует. Групповое уничтожение потенциальных врагов с этой уютной моделью ничего общего не имеет. Так обстояло дело на деле. А, во-вторых, и это было на словах, строители коммунизма – рабочие и колхозное крестьянство Советского Союза – ни в каком улучшении своей природы не нуждались. Преисполненные энтузиазма и любви к своему правительству, они только что выполнили Первый пятилетний план – пятилетку – в четыре года. Они завершили всеобщую коллективизацию и героически проводили в жизнь индустриализацию. Они уничтожили в своей среде врагов Советской власти, миллионы зажиточных крестьян – кулаков и кровопийц, и многие тысячи буржуазной интеллигенции, вредителей и саботажников. Они неустанно вели в своей среде классовую борьбу, которая все разгоралась

и разгоралась. Они уничтожали пережитки капитализма в сознании людей. Все это и есть создание человека нового типа. Коллективный труд, по принципу наследования приобретенных в течение жизни признаков порождает коллективную совесть, коллективное сознание, групповую волю, всеобщий энтузиазм. А тут Меллер с его генами и банками замороженной спермы лучших представителей рода человеческого!

Поражение Меллера следовало за поражением. Он ринулся в полемику с Лысенко и с Презентом. В 1936 году на дискуссии по вопросам генетики на очередной сессии Академии Сельскохозяйственных наук имени Ленина вместе с А.С. Серебровским и Н.И. Вавиловым выступал Меллер. Они метали не бисер – жемчуг и бриллианты метали они перед свиньями. Оппоненты великих ученых – Лысенко, его прихлебатель – Презент и их клика.

Ламаркизм в его карикатурном варианте стал теперь их знаменем. Касаться генетики человека запрещено. Дискуссия ограничена вопросами сельского хозяйства. Серебровский и Вавилов подчинились запрету. Меллер единственный, кто нарушил его. Он говорил, что принцип наследования приобретенных признаков на руку расистам. Представители богатых рас и эксплуататорских классов, вкушая из поколения в поколение плотские прелести бытия и плоды просвещения, живя в довольстве и холе, совершенствуют из поколения в поколение свою породу. Бедные народы и все эксплуатируемые элементы высокоразвитых стран обречены, согласно этому принципу на деградацию.

Меллер, помимо атаки на ламаркизм, приводил новые доказательства хромосомной теории наследственности и показывал изображения гигантских хромосом в клетках слюнных желез личинок дрозофил. На экране в свете прожектора возникали те самые картины, которые я собиралась демонстрировать Презенту в Институте генетики Академии наук СССР.

Серебровский и Вавилов говорили о пользе, которую уже сейчас приносит генетика сельскому хозяйству. Презент жонглировал словами. Ламаркизм Берга был в свое время поповщиной. Ламаркизм Лысенко именовался теперь творческим дарвинизмом. Речь Лысенко была профанацией науки. Скрывать свое невежество он не имел ни малейшего основания. Зал бешено аплодировал, и я в том числе, когда А.С. Серебровский рассказывал, как он покупал гены. Он поехал за кроликами породы "Рекс" в Германию. Он заведовал тогда кафедрой генетики и селекции в Институте кролиководства. Стоят эти "Рексы" дорого и выносливостью не отличаются. Платить надо валютой. Серебровский купил двух плебейского вида, дешевых, выносливых кроликов, зная, что они гибриды и что в их генотипе содержится ген, придающий кроличьей шерсти драгоценные свойства породы "Рекс". В Москве гибридам предоставили возможность плодиться. Часть их потомства имела чудошерсть.

– Нет наследования признаков. Признаки развиваются в каждом поколении заново в результате взаимодействия генотипа и среды, – говорил Серебровский. – Из поколения в поколение передаются не

признаки, а гены. Вероятность, что ген будет передан следующему поколению, не зависит от того, выявился или не выявился соответствующий ему признак. Мы знали не только, что в потомстве гибридов родятся нужные нам крольчата. Мы могли предсказать сколько их будет.

Серебровский мог убедить аудиторию, но не правительство, не прессу.

Пребывание Меллера в Советском Союзе ставило под удар не только его самого, но и Вавилова. В 1937 году Вавилов сказал Меллеру, что ему лучше уехать.

В сентябре этого года я только-только вернулась из экспедиции, уехала со своими мухами в Петергоф и днем и ночью сидела за бинокуляром. Как я сменила радиационную генетику на анализ популяций я расскажу потом. В канцелярию Петергофского института позвонил мой отец и попросил передать мне, чтобы я немедленно ехала в Ленинград. Вавилов приглашает меня к нему домой к шести часам вечера. Дело было утром, я поехала. Жила я в то время в квартире отца и мачехи. Отец сказал, что Меллер уезжает, и Вавилов приглашает меня на проводы.

В Петергофе к тому времени уже провели электричество, но ни ванн в общежитиях, ни бани не было. Я грязна, как сапог. Я мылась, сушилась, а отец негодовал, боясь, что я опоздаю.

– Я не стал бы звонить тебе, если бы знал, что ты будешь вести себя так безобразно, – говорил он в огорчении.

Но я не опоздала. Я пришла в квартиру Вавилова и застала там Меллера, одного. Вавилов где-то на заседании. Когда Вавилов вошел в свой кабинет, он застал картину, которая привела бы моего отца в полнейшее расстройство. Я лежала на диване на животе, Меллер стоял на коленях рядом с диваном. Мы чертили кривые и схемы скрещиваний на одной и той же бумажке, всецело поглощенные научной полемикой. О смущении не могло быть и речи.

К ужину Вавилов пригласил несколько человек. Помню среди них Марию Александровну Розанову, профессора университета. Потом Вавилов повел нас в кино. Смотрели фильм "Петр Первый". Потом гуляли по ночному Ленинграду. Меллер провел последнюю ночь в России в гостинице "Англетер" на Исаакиевской площади. "Англетер" – прежнее название гостиницы. Теперь она зовется "Ленинградская". Она не была еще переименована, когда поэт Сергей Есенин покончил в ней жизнь самоубийством. Маяковский в стихотворении "На смерть Есенина" называет ее старым именем. У входа в нее в первом часу ночи мы и расстались.

– Завтра в пять часов утра встреча на этом самом месте, – сказал Вавилов, прощаясь.

От Исаакиевской площади до дома минут двадцать ходьбы. Спать оставалось часа два с половиной. Я разбудила няню.

– Разбудишь меня в четыре, – спрашиваю.

– Разбужу.

В пять я была в назначенном месте. Вавилов принес яблоки и угощал нас. Он выглядел совершенно выспавшимся. Чтобы выспаться, ему достаточно было трех часов. Это – его фамильная черта.

Вавилов возглавлял не только Институт генетики. Он организовал огромное учреждение – Всесоюзный институт растениеводства, и теперь директорская машина подкатила к гостинице, чтобы везти Вавилова, Меллера и меня в Детское Село, где помещался загородный филиал Института. Вавилов хотел показать Меллеру на прощание свое детище. Он возил нас по участкам, где высеяны образцы культурных растений, собранные Вавиловым буквально во всем мире – живая коллекция сортов. Великолепно, большими голубыми цветами цвели абиссинские льны. Кучки клубней лежали на картофельном поле. Нам показывали урожай индивидуальных растений. Розовые клубни напоминали поросят.

В цитологической лаборатории Левитский демонстрировал препараты. В лаборатории по изучению хлебопекарных свойств злаковых культур нас угощали маленькими хлебцами, похожими на просфору. В одной из лабораторий сервирован завтрак: чай, белый хлеб, копченая рыба и плиточный шоколад. Шофер, возивший нас, завтракал вместе с нами. Я очень обратила на это внимание. Отец, при всем своем толстовстве, не посадил бы шофера с собой за один стол.

Мы вернулись в Ленинград, Вавилов отправился на очередное заседание, и я была единственным человеком, провожавшим Меллера, когда он навсегда покидал Россию. В кабинете Вавилова Меллер оставил заявление, мотивирующее его отъезд. Он чуть было не захлопнул дверь квартиры, помедлил, вернулся в кабинет на миг, и мы вышли. Он объяснил мне причину задержки: "Я написал в заявлении, что вернусь через два года. Я переправил. Я вернусь через год".

Он не вернулся никогда.

Я продолжала заниматься природными популяциями дрозофил. Первые наблюдения над мутационным процессом у диких мух были сделаны мною. Умань – колыбель моих открытий. Там я нашла среди диких мух мутацию yellow (желтое тело), и она навела меня на мысль о высокой частоте возникновения мутаций.

Дрозофилы прекрасны. Смотреть на них в бинокуляр – одно удовольствие. Их красные фасеточные глаза подобны гранатовым люстрам, их прозрачные крылья отливают радугой, щетинки, покрывающие тело мухи, кажутся сделанными из нейлона. Последнее сравнение не мое. Аспирант Завадского китаец Шао сделал его в 1956 году. Я проводила тогда практические занятия по генетике на кафедре дарвинизма Ленинградского университета, откуда незадолго перед тем был изгнан Презент. Речь об этом впереди. Тельце мух цвета меда, старой светлой бронзы. Мутация yellow-желтая делает их золотыми. Как бы сделанными из золота становятся щетинки и волоски, в том числе малюсенькая шерстка, покрывающая крылья, и крылья отливают уже не радугой, а золотом. Мутация yellow стала моей путеводной звездой, звездой Вифлеема. Я показала, еще будучи в Умани, что желтые мухи стали встречаться среди

диких мух так часто, потому что мутация yellow стала возникать с большой частотой. Была ли популяция Умани с ее высокой частотой возникновения мутаций исключением? Проводив Меллера, я отправилась в Никитский Ботанический сад на берег Черного моря. На его винодельне и на винном заводе "Магарач", что у самого моря среди кипарисов, – кипарисовая аллея, изгибаясь, ведет к заводу – я ловила мух. Желтые попадались и здесь, мутация возникала и здесь с большой частотой. В цитологической лаборатории института (Никитский Сад – филиал Института растениеводства и подчинялся Вавилову) я обосновалась со своим бинокуляром и пробирками с мухами. Преграды возникали одна за другой. В состав мушиного корма входят дрожжи. Сухие дрожжи я достать в Ленинграде перед отправлением в экспедицию не могла, взяла свежие, прессованные. Их я попросила положить на лед в леднике институтской столовой. На протяжении тридцати пяти лет я двенадцать раз ездила к мухам Никитского Сада и жила каждый раз по месяцу и дольше. Всякий раз я питалась в его столовой. Хуже этой столовой я ни одной забегаловки никогда и нигде не встречала. Но на другой день после моего приезда в столовой появились прекрасные пышки. Когда я пришла в ледник за дрожжами, оказалось, что они исчезли.

– Где дрожжи?

– А вы пышки ели?

Я лишилась возможности работать. Самый дефицитный товар из бесчисленного числа дефицитных товаров в Крыму – дрожжи. Жить в Советском Союзе было бы невозможно, если бы не существовало могучего рычага советской жизни. Рычаг этот – блат, знакомство. В институте работала женщина, дочь заведующего продуктовой базой в Ялте. Она написала записочку. Я отправилась в Ялту на автобусе. Только отъехали – остановка. Горный обвал, дорогу завалило лавиной. Даже пыль еще не осела. Две нарастающие с хвоста вереницы легковых и грузовых машин и автобусов образовались по обе стороны запруды. Стадо коров взобралось на лавину, и одна корова, стоя к нам задом, задрала хвост и добавила кое-что к груде камней и земли. Писать об этом не стоило бы, но ничтожность события искупается его давностью. Сорок шестой год пошел с той поры. Я перебралась вслед за коровами через лавину. В хвосте вереницы грузовики поворачивали назад в Ялту. На одном из них я добралась до продуктовой базы. Влезая на грузовик, я порвала юбку. Иголки и нитки у меня с собой. Нужна заплата. Один из пассажиров дал мне галстук. С галстуком на бедре я предстала перед начальником базы. Дрожжи есть, целый ящик, но он в подвале, никто не пойдет доставать: в подвале полчища крыс. Крысы – утка, обычный способ получить взятку под видом оплаты тому, кто, рискуя жизнью, спустится в подвал. В те времена, хотя и было мне уже 24 года, я верила, конечно, в смертельную опасность, стоящую на пути к дрожжам. Я спустилась в подвал и обрела желаемое, не встретив ни одной крысы. Обратно в Никитский Сад я шла пешком – двадцать миль, приблизительно. Варить корм мухам, мыть и стерилизовать пробирки взялась супружеская чета рабочих Сада. Когда подошла пора сбора винограда,

они, не предупредив меня заранее, отказались работать, если я не увеличу оплату. Их условия были для меня непосильны. Директор Петергофского биологического института, известный эколог Калабухов дал деньги на экспедицию, хотя идея экспедиции возникла внезапно и не была предусмотрена планом. Деньги мизерные, и те на исходе. Выручила меня из беды молодая татарка – цитолог, лаборантка лаборатории, где я днем и ночью считала мух. Она согласилась заменить мне покинувшую меня чету и бесплатно делать для меня всю черновую работу. За это она попросила прочитать ей те стихи, которые я вслух читала, когда думала, что нахожусь в лаборатории одна. Я читала Мандельштама, Есенина, Блока, Ахматову, Пастернака, Маяковского, Клюева, Гумилева..., кого только я не читала.

"Я пью за военные астры,
За все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму..." –

читала я по ночам. Барская шуба, астма – это то, чем корили Мандельштама. Из воспоминаний его жены теперь знаю. При чем тут военные астры – золотые шнуры, свисавшие наподобие лепестков астр с эполет высших чинов царской армии, – ума не приложу.

Поэзия спасла меня.

В конце первого года исследования я имела материал для сравнения двух популяций дрозофил: Умани и Никитского Сада и одной лабораторной линии по имени "Флорида". Высокая мутабильность диких мух отличала именно дикарей. Мухи лабораторной линии стабильны.

Трех великолепных помощниц подарила мне судьба. Это были К.Ф. Галковская, В.Т. Александрийская и Э.Б. Бриссенден. Об этой Бриссенден речь впереди.

Сохранится мутантный ген или будет выброшен из популяции в процессе смены поколений? От чего зависит его судьба? Что способствует повышению численности мутантных индивидов, и какие силы препятствуют мутантам вытеснить прежнюю норму? Эти традиционные вопросы популяционной генетики интересовали нас. Я изучала численность желтых самцов среди мух в местах их вылупления и среди мигрировавших мух. Желтые самцы встречались среди номадов реже.

Александрийская – это ее дипломная работа – исследовала, как конкурируют желтые и нормальные самцы друг с другом за самок. Золотые рыцари имели мало шансов в соревновании с бронзовыми. Не наличие лат дает мне повод назвать самцов дрозофилы рыцарями, а способ их ухаживания за самками. Их галантность ничего общего не имеет с грубыми повадками комнатных мух. Желтые оказались менее активны. Мутационный процесс, а не отбор, – причина того, что желтые самцы встречались среди диких мух с такой поразительной частотой. В окружении самцов дикого типа в естественных обиталищах мух отливающие золотом мутанты не имеют никаких шансов оставить потомство.

Но не эти вопросы были для нас главными и отличали нашу работу от того, что сделано до нас. Мы исследовали свойства нормальных генов в популяции, и эти свойства мы изучали в их взаимосвязи.

Частота, с которой возникают мутации, определяется свойствами нормального гена. Будет мутантов мало или много зависит, прежде всего, от свойств нормального гена, от его стабильности. Мы изучали оборотную сторону медали – мутабильность. Но не ее одну. Судьба мутантного гена зависит от множества причин. Одна из них – взаимоотношения мутантного гена с его немутантным нормальным партнером. Нормальный ген подавляет, как правило, действие мутантного. Но это подавление неполное. Чем оно полней, тем более укрыты от действия отбора и тем более скрыты от нашего глаза мутации. Мы установили, что нормальные гены популяций гигантов и гены лабораторных линий отличаются по способности подавлять вредоносное действие этих новшеств. Гены диких обладали меньшей способностью подавлять действие мутаций, чем гены лабораторных линий. В некотором отношении эти различие не усугубляло различия между полчищами диких мух и малочисленными лабораторными отводками, а парадоксальным образом способствовало их сходству. Скрытые вредоносные мутации насыщали их в одинаковом количестве. У дикарей они часто возникали, но и отсев больше, в лаборатории все наоборот. Мутабильность мала, но мал и отсев. Количество скрытых мутаций должно быть приблизительно одинаковым. И так оно и оказалось на самом деле.

Лето и осень 1938 года я провела в Никитском Ботаническом саду.

Весной 1939 года я защищала диссертацию на степень кандидата биологических наук. Название диссертации длинное: "Сравнение генетических свойств природных популяций и лабораторных линий дрозофилы. Гипотеза генетических корреляций". Мой великий покровитель, заведующий кафедрой генетики и экспериментальной зоологии, прекрасный педагог и ученый, сын священника и член Коммунистической партии, великий молчальник, когда творились у него на глазах декретированные беззакония, Александр Петрович Владимирский скоропостижно скончался. Он начал свою ученую карьеру ламаркистом. Повторял он опыты Каммерера, только на другом объекте. Каммерер изучал изменения окраски саламандр в зависимости от окраски субстрата, на котором обитали их родители. Каммерер считал, что ему удалось доказать наследование признаков, приобретенных в индивидуальном развитии. Владимирский работал с капустницей. Куколки этой бабочки меняют окраску в зависимости от окраски фона. И Владимирскому, как и Каммереру, казалось, что различия в окраске, приобретенные в течение жизни, вызванные средой, передаются потомству. Бабочки, вылупившиеся из светлых куколок, порождали бабочек со светлыми куколками, а бабочки, вышедшие из темных куколок, давали потомство, развивающееся в темных куколках. А будет куколка темной или светлой зависело от фона, на котором окуклилась гусеница. Владимирский

доказал, что отбор, а не наследование приобретенных признаков, – причина заблуждений Каммерера. Отбор чуть было не ввел в заблуждение и его самого. Он поместил окукливающихся гусениц на один и тот же фон. Он отобрал светлые куколки и те, что потемнее, и получил от бабочек, вылупившихся из этих куколок, потомство. Потомство светлых имело светлые куколки, потомство темных – темные. Различия были наследственные, врожденные, генотипические. Принцип: разделяя, властвуй – гнусный в политике, безотказно служит делу познания. Владимирский стал дарвинистом.

Только мне не ясно, зачем они оба, и Каммерер и Владимирский, делали все это. Принцип наследования приобретенных признаков – это отрицание ненаследственной изменчивости, а ее наличие в самом начале века с предельной убедительностью доказано Иоганнсеном в его опытах по отбору в популяциях и чистых линиях бобов.

Я защищала диссертацию, когда Владимирского уже не было в живых. Его преемник из выдвиженцев – Михаил Ефимович Лобашев, никогда не простивший мне моей знатности, – отца он почитал, а дочери его, профессорской дочке, всю жизнь чинил преграды – стал, если не номинальным, то фактическим вершителем судеб кафедры. В 1935 году Владимирский, выдвигая аспирантов, назвал пятерых: Новикова, Баранчеева, Ковалева, Рапопорта и меня. Лобашев оспаривал кандидатуры мою и Рапопорта. Рапопорт намного превосходил способностями всех нас. Как удалось Владимирскому отстоять меня, описано выше. Рапопорта ему отстоять не удалось. Но Рапопорт и не добивался аспирантуры в Ленинграде. Он поступил в аспирантуру в Институт экспериментальной биологии и под руководством его директора, одного из основателей генетики в Советском Союзе, Николая Константиновича Кольцова, начал свои знаменитые опыты по искусственному получению мутаций химическими препаратами. В 1939 году, когда Владимирского не стало, Лобашев дал понять, что моему пребыванию на кафедре пришел конец.

МОРАЛЬ БУДУЩЕГО И БОМБЫ

После отъезда Меллера я очень болела и, лежа в постели, читала ученые книжки. Я прочитала книгу И.И. Шмальгаузена "Пути и закономерности эволюции" и поняла, где мое место. Мне надлежало ехать в Москву и поступить работать в Академию наук в Институт эволюционной морфологии животных им. А.Н. Северцова, которым руководил И.И. Шмальгаузен. Путь Шмальгаузена в генетику лежал через эмбриологию. Закон гетерономного роста открыт им одновременно и независимо с Джулианом Гексли, и великий англичанин воздает в своей книге должное русскому соткрывателю. Закон гетерономного роста – это независимость темпа роста одних частей эмбриона по отношению к другим частям. Нужен смелый ум, чтобы вмешаться в зародышевое развитие и постичь взаимодействие частей развивающегося организма, уловить сигналы, идущие от одной части к другой. Шпеман, Гольдфреттер, Филатов обессмертили себя открытиями организаторов зародышевого развития. Ум, способный вскрыть независимость одних частей по отношению к другим частям и не только вскрыть ее, но и понять ее эволюционный смысл, этот ум должен быть сверхсмелым и притом парадоксальным.

Закон гетерономного роста лег в основу теории стабилизирующего отбора Шмальгаузена. Когда Шмальгаузен в 1938 году выступил с этой теорией, его плохо понимали. Теперь понимают такие вещи отлично.

Хотите – объясню. Вы не пугайтесь терминов: так объясню, что все станет понятным. Три города. В каждом обитают мыши. В каждом есть мышеловки, но мышеловки разные. Город первый. Мышеловки имеют маленькое входное отверстие. Мелкие мыши попадаются, крупные выживают – не войти. Приходит приказ из Госплана увеличить отверстия. Их увеличивают чуть-чуть. Наименьшие среди крупных погибают. Самые крупные выживают. Мыши города становятся все крупнее и крупнее. Это движущая форма отбора, сдвигающая среднюю величину признака. Форма кривой распределения мышей по весу не меняется. Город второй. Дверцы мышеловок пропускают средних по размеру и мелких мышей. Крупные выживают. Но крючки с приманкой, за которые мыши должны тянуть, чтобы дверца мышеловки захлопнулась, расположены так высоко, что дотянуться до них могут средние мыши, а мелюзга не может. Средние гибнут, мелкие, так же как и крупные, вкушают сладкую привычку жить. Это дисруптивная форма отбора. Отбор создает две нормы: мелких и крупных мышей. Кривая распределения мышей по весу двувершинная. Провал – на месте прежней нормы. Город третий. Мышеловки двух типов. У одних дверцы маленькие и крючки расположены низко. Они ловят только маленьких, средние и большие не могут добраться до приманки. Другие мышеловки имеют большое входное отверстие, войти могут все, но погибают только большие. Крючки слишком высоко держат приманку, и средние не могут дотянуться.

Отбор идет в пользу средних. Средняя величина не сдвигается. Кривая распределения как была одновершинной, так и осталась, но форма ее изменилась. Она круто и высоко вздымается вверх, крайние варианты отсечены отбором. Вот это и есть отбор в его стабилизирующей форме – отбор стандартного.

Под действием стабилизирующего отбора зародышевое развитие перестраивается. Прогресс – это увеличение надежности бытия. Стабилизирующий отбор – один из его главных двигателей.

Вам претят воображаемые примеры? Хорошо. Обратимся к природе. Число яиц в кладке соловья или пеночки. Яиц мало – что же тут хорошего? Мало шансов оставить потомство. Яиц много. Но ведь и птенцов много, а родителей все то же число – двое. Всегда есть риск, что от недокорма погибнут все. Отбор идет в пользу золотой середины, и она недаром зовется золотой.

Быть стабильным, обладать максимумом надежности – значит быть независимым от превратностей бытия, сохранять стандарт при случайных изменениях среды. Независимость темпа роста одних частей организма от темпа роста других частей навела Шмальгаузена на мысль об адаптивной ценности стандарта и о путях, которыми он достигается в эволюции.

Еще до того как я защитила диссертацию, я отправилась в Москву наниматься в Институт эволюционной морфологии. Взяла переплетенный экземпляр диссертации, оттиски статей, напечатанных в Genetics и в "Докладах Академии наук", надела свое лучшее платье и предстала перед директором института. Платье мое досталось мне не без труда и забот. В няниином сундуке среди прочих ценностей, нажитых еще при царе, не менее тридцати лет хранился отрез батиста, белый с голубым узором. Художник заведомо "почище Воробьевского", и я страстно хотела, чтобы няня подарила мне этот отрез. Но она не соглашалась и сшила себе из него нижнюю юбку. Вдруг она передумала и подарила мне юбку, чтобы я сшила себе из нее платье.

Шмальгаузен спросил, какова моя специальность. Я сказала, что я генетик. Генетика стремительно катилась к гибели. За несколько месяцев перед тем, как происходил этот разговор, Лысенко избран действительным членом Академии наук СССР. Путь ему разметен статьей в "Правде", которая поносила двух других кандидатов в Академию – моего отца и Николая Константиновича Кольцова. Об этом речь впереди. Лысенко теперь не только академик, но и член Президиума Академии наук. Кольцов снят с поста директора созданного им института. Медико-генетический институт – самое лучшее, по свидетельству Меллера, учреждение этого рода в мире, уже за три года до этого закрыт. Его директор С.Г. Левит и его сотрудники И.И. Агол и В.Н. Слепков арестованы и сгинули с лица земли. Седьмой Международный Генетический Конгресс, который должен был состояться в 1937 году в Москве, отменен. Он был созван в 1939 году в Эдинбурге. 40 генетиков, я в их числе, послали тезисы и заявили доклады. Вавилов – Вицепрезидент Шестого Международного Генетического конгресса (его проводили в

США, в Итаке) – предложил Москву в качестве места следующего конгресса. Президентом Седьмого конгресса избран Вавилов. Он, великий путешественник, объездивший весь мир, чтобы создать свою многотысячную коллекцию сортов культурных растений, Президент Географического общества, не получил разрешения возглавить конгресс. На посту президента Академии сельскохозяйственных наук его сменил Лысенко.

– Вы хотите переменить специальность, учитывая катастрофическое положение в генетике? – спросил меня Шмальгаузен.

– Нет, я хочу продолжать работу по генетике популяций.

– У вас есть печатные работы? – спросил он.

Я подала ему оттиски. Он глянул и сказал:

– Я имею честь быть знакомым с вашим отцом. Хоть наследственность теперь не в чести, гены Номогенеза будут учтены при вашем зачислении. Я могу предоставить вам место докторанта. Вам предстоит экзамен по марксизму. Держитесь.

И я держалась. Программа по марксизму-ленинизму содержала 84 названия рекомендованной литературы. Я зубрила все лето. Было еще два экзамена по двум иностранным языкам.

Языки я сдала на отлично. На экзамене по немецкому языку экзаменатор спросил меня, не держу ли я экзамен в докторантуру по немецкой филологии. На экзамене по марксизму-ленинизму я чуть было не провалилась. Что ни скажу – все не так. В программе сочинения Канта, Гегеля, Фейербаха, французских материалистов. Но на вопрос "Кант" надо излагать не "Критику чистого разума", а убогие рассуждения Ленина и Энгельса об ошибках Канта. На вопрос "теория познания", а по иронии судьбы мне задан и такой вопрос, надо опять повторять то же самое. Но на мое счастье мне задан вопрос "книга Энгельса 'Людвиг Фейербах' ". Было бы преувеличением сказать, что проткнув книгу иголкой, я могла бы сказать, через какую букву на каждой странице она пройдет. Но рассказать все по порядку, листая в уме страницы, я могла. Экзаменаторы в восторге. Я поняла, чего от меня хотят. Последний вопрос – роль географической среды в развитии общества. Я готовилась рассказывать о Руссо и французских материалистах, об Элизе Реклю и Вернадском. Вместо этого я сказала:

– На такой-то странице "Краткого курса истории ВКП(б)" по этому вопросу сказано то-то, а на такой-то странице – то-то.

Краткий этот курс появился в 1938 году. Читать его без омерзения невозможно. Знать его нужно наизусть. Зубря, я не испытывала ничего кроме надежды, надежды поехать в Дилижан к мухам. Мне нужны не какие-либо дикие мухи, а дикие мухи Дилижана. Путь в Дилижан лежал через экзамен по марксизму-ленинизму. Я знала "Краткий курс" наизусть. Я получила наивысший балл и рекомендацию философов. После этого место в докторантуру было упразднено. Шмальгаузен обращался в Президиум Академии – президентом тогда был В.Л. Комаров, вице-президентом О.Ю. Шмидт, математик, астроном, исследователь Севера. В докторантуру я поступила. Я переехала в Москву и через несколько дней уехала в Дилижан.

Сравнивая диких и лабораторных мух, я нашла, что дикие более изменчивы. Они более разнообразны, и мутации среди них возникают чаще. Казалось бы, жизнь в неволе, стандартный корм, постоянство условий сделали лабораторных мух стабильными. Я думала иначе. Мне казалось, что изоляция – причина утери узниками наследственной пластичности. Высокая пластичность мух в природе – результат отбора на пластичность. Отбор этот групповой. Если под влиянием инфекции часть мушиных поселений погибнет, а часть сохранится, произойдет отбор наиболее мутабильных групп. Вероятность, что среди них найдутся мутанты, обладающие повышенной стойкостью по отношению к инфекции, больше, чем у низкомутабильных групп. Эти выжившие во время мушиного мора представители более пластичных групп, воссоздадут высокую численность своего поселения, а их потомки заселят опустевшие очаги размножения. Повторяясь из года в год, этот процесс межгруппового соревнования по наследственной пластичности приводит к ее повышению. Чтобы проверить эту гипотезу, нужно исследовать мутабильность популяций, изолированных не в лабораторных, а в естественных условиях. Такая изолированная популяция – мухи-обитатели Дилижана. Но и этого мало. Популяция Дилижана – не просто одна из популяций, которые следовало изучить для решения задачи. Дилижан – нечто единственное в своем роде.

История популяционной генетики в России начинается с теоретической статьи С.С. Четверикова, напечатанной в 1926 году. С.С. Четвериков – один из основоположников генетики в России. Трое других – преданный анафеме Ю.А. Филипченко, заплеванный и смещенный с поста директора Н.К. Кольцов и Н.И. Вавилов, доживающий свой последний перед арестом год.

Четвериков стал генетиком по настоянию Кольцова. Он не обладал могучим организаторским даром Кольцова. Не будь Кольцова, и Четвериков всю жизнь оставался бы энтомологом, специалистом по бабочкам. Он великий эволюционист, и одна из лучших работ по закономерностям эволюции, какие мне довелось читать, принадлежит ему. Она посвящена тем преимуществам, которые дает наружный хитиновый скелет насекомым. Это то, чем я мечтала заняться: технические и технологические основы прогресса и регресса в органическом мире.

Кольцов поручил Четверикову читать курсы генетики и статистики на Кафедре экспериментальной биологии Московского университета, которую Кольцов основал сразу после Революции и которую возглавлял до 1930 года. В 1925 году Четвериков по предложению Кольцова возглавил лабораторию генетики Института экспериментальной биологии.

История культуры изобилует скоплениями талантов: Флоренция времен Лоренцо Великолепного, Париж середины девятнадцатого века, когда его художники повернули к зрителю мир его сверкающей гранью, "могучая кучка" русских музыкантов, плеяда поэтов, включающая Пушкина, и другая плеяда поэтов с Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом, Маяковским, Есениным среди них. Таким

скоплением талантов была лаборатория генетики Кольцовского института. Что ни имя – то имя: Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Петр Фомич Рокицкий, Дмитрий Дмитриевич Ромашов, Борис Львович Астауров и семеро других – все знаменитости, все, кого не раздавила Советская власть на заре их научной деятельности. Рано или поздно чудовищным репрессиям подверглись почти все за одним исключением. Исключение – Сергей Михайлович Гершензон. Он мог бы рассказать многое, но не расскажет. В аду Данте он среди тех, чьи рты зашиты.

Основав лабораторию генетики Кольцовского института, Четвериков и его группа создали новую отрасль науки и всецело посвятили себя ей. Отрасль эта – экспериментальная генетика популяций.

Генетика популяций существовала и раньше. Выдающиеся люди создавали ее. Предмет ее – изменчивость отдельных признаков в поселениях животных, растений, человека и анализ наследования этих признаков. Пример: исследования Вейнберга групп крови человека. Четвериков изучал не отдельные признаки, а генетическое разнообразие вида. Объект – дрозофила. Одна единственная популяция одного единственного вида. Процедура прямо противоположна той, которую в свое время применил Мендель, чтобы поставить под контроль распределение признаков в потомстве гибридов. Растения гороха, размножающиеся самоопылением, Мендель принудил воспроизводить потомство путем перекрестного опыления. В противоположность его предшественникам Мендель следил не за различиями вообще, а за различиями потомков по одному определенному признаку.

Дрозофил, вступающих в естественных условиях в браки, не разбирая степени родства, Четвериков принудил к родственным бракам. Учет разнообразия потомства этих родственных браков он вел по всем признакам, будь то окраска тельца мух, форма глаз или число и размер щетинок. В своей теоретической статье Четвериков писал, что вид, размножающийся с помощью неродственных браков, способен накапливать скрытые наследственные дефекты, впитывать их, по его словам, как губка. Наблюдения дали блестящее подтверждение его прогноза. Новая отрасль генетики – экспериментальная генетика популяций – вступила в строй.

Много важных открытий сделано за те четыре года, которые просуществовала эта лаборатория. А она существовала всего четыре года.

Никто не знает, кто сфабриковал донос и какую ложь он содержал. В 1929 году Четвериков был арестован и без суда и следствия отправлен в ссылку. Его лаборатория расформирована. Арест Четверикова был ударом по Институту экспериментальной биологии и персонально по его директору Кольцову. Четвериков в 1935 году был приглашен в город Горький заведовать кафедрой генетики Университета. Шесть лет он скитался, лишенный возможности заниматься наукой. К популяционной генетике он не вернулся никогда. Для Кольцова 1929 год – начало конца. Великому политикану, прирожденному дипломату,

великой умнице, каким был Кольцов, мало сказать изменил дар дипломата. Именно этот дар подвел его. На место изгнанного Четверикова он пригласил Николая Петровича Дубинина, выдвиженца среди выдвиженцев, только что вышедшего из комсомольского возраста, но уже прославившего себя на арене борьбы с вражеской идеологией. Среди бичей карателей вместе с кнутом Презента свистела и плеть Дубинина. Он бичевал идеалистические пороки Филипченко, Серебровского, Левита, всех, кому завидовал и чье место стремился занять.

Его социальное происхождение тонет во мраке неизвестности. Окончил он школу, будучи воспитанником детского дома, где работала его мать. Кем – не знаю. Из его автобиографии (первое издание выпущено в 1973 году "Госполитиздатом" под названием "Вечное движение") мы узнаем, что детский дом, где он воспитывался, был под эгидой органов государственной безопасности, и об их деяниях он пишет с неизменным одобрением. Шестнадцати лет он поступил в Московский университет. Его учителя – Кольцов, Четвериков и Серебровский. Серебровский было взял его на работу в свою вновь организованную лабораторию в Биологический институт имени Тимирязева, но быстро раскусил природу юнца и выгнал его. Это смелый шаг. Через несколько месяцев лаборатория Серебровского была закрыта. Перст, хотя и не Божий, но всемогущий, указывал Дубинину быть профессором. Двадцати пяти лет он стал им, возглавив кафедру генетики Института свиноводства.

В 1932 году Кольцов основал "Биологический журнал" и стал его главным редактором. Страницы его он предоставил Дубинину для борьбы с идеалистическими извращениями в генетике. Открытая борьба велась с Филипченко и Серебровским. Для Кольцова и Четверикова у Дубинина было другое оружие.

В 1932 году Дубинин возглавил генетический отдел Института экспериментальной биологии. Выдвиженец должен был служить щитом, и он служил, пока не настало время перековать щиты на мечи. Тогда острие меча оказалось направленным на Кольцова. В автобиографии Дубинин повествует о том, что в 1939 году нападки на Кольцова усилились до такой степени, что стало необходимым спасать Институт экспериментальной биологии, и чтобы предотвратить катастрофу, изгнать его основателя и директора Кольцова. Институт основан в 1917 году до Февральской революции, и первые месяцы своего существования жил на частные средства. 22 года Кольцов возглавлял его.

Собрание Института, на котором "прорабатывали" Кольцова, вел Дубинин. Резолюция собрания гласила: снять с заведования. Президиум Академии наук, членом которого был Лысенко, освободил Кольцова от занимаемой должности. Вскоре Кольцов скончался от сердечного приступа в Ленинграде в номере гостиницы. Жена его покончила с собой. Трое сотрудников бывшего Кольцовского института – Б.Л. Астауров, В.В. Сахаров и И.А. Рапопорт, трое бесстрашных – приехали в Ленинград, чтобы сопровождать своего учителя и друга и его жену на последнем пути в Институт.

Из откровенных признаний Дубинина, которые он не стыдится делать, мы узнаем, что на следующий день после разгромного собрания, на котором Кольцова изгнали из Института, партийная организация Института выдвинула Дубинина на пост директора. Но Президиум Академии наук, в состав которой, под новым названием Института эмбриологии, гистологии и цитологии, вошло кольцовское детище, не утвердил Дубинина директором. Дубинин пишет, что виною тому происки его врагов – лысенковцев. Он прав. Ибо враги Лысенко – не Вавилов, Серебровский, Филипченко и Кольцов. Врагом был именно этот маленький, молодой, лысый выдвиженец. Его личные качества отлично гармонировали с его социальной миссией, как он понимал ее и как понимали ее стоявшие за его спиной всесильные силы.

Он рвался к власти. Лидерство – его цель. Воспользоваться изгнанием Кольцова Дубинину не пришлось. Лидером стремился стать не один Дубинин. На ту же роль претендовал Лысенко. Социальная миссия их обоих одна и та же. Они – рычаги революции, нет, ножи ее гильотин, отсекавших головы представителям буржуазной интеллигенции. В своем безудержном стремлении к власти они разметали дорогу друг для друга. Каждая их победа была их поражением. Ею пользовался соперник. Диалектика природы в действии.

Директором Кольцовского института стал лысенковец. Стремительный бег времени, смена правителей разбросали сперва Дубинина и Лысенко по разные стороны баррикады, а затем соединили в трогательном альянсе. Дубинин на девять лет моложе Лысенко, но он оказался представителем первой послереволюционной формации интеллигенции, той интеллигенции нового типа, которая создавалась ударными темпами и вербовалась по классовому принципу. Лысенко принадлежал уже ко второй. Их схватка в борьбе за лидерство полна глубокого смысла. Дубинин воплотил ленинский идеал интеллектуала, Лысенко – исчадие сталинского ада. Тринадцать лет отделяют время создания Лениным брошюры "Что делать?" – она издана в 1906 году – от времени создания им проекта программы партии большевиков.

В 1919 году, когда создавалась эта программа, Революция победила. Не нужно больше призывать все классы общества сплотиться для борьбы за свержение самодержавия, за демократию. Теперь та самая интеллигенция, которая привнесла идею революции в пролетариат, объявлена Лениным врагом революции. Ее следовало силою оружия заставить служить новой власти, у нее нужно учиться и, чтобы ослабить ее сопротивление, ее нужно подкармливать. Проект программы содержал эти рекомендации. Буржуазная интеллигенция – и не было всем тем, кто получил образование до революции, другого названия, кроме этого, бранного – нужна Ленину для создания рабоче-крестьянской армии интеллигентов, способных поставить достижения западной науки на службу строительства коммунизма. Интеллигент этого нового типа – Дубинин. Лысенко – интеллигент новейшего типа. Нет, он вообще не интеллигент, как не была лошадь Калигулы человеком – членом Сената, в котором она заседала. Согласно политике Сталина, на смену

уничтожаемых профессоров должны прийти крестьяне-колхозники и рабочие, воплощающие в жизнь то, что надлежало воплотить. Практика строительства коммунизма, будучи критерием истины, и есть наука. Посягнули было на математику и физику, но, по понятным причинам, ленинская политика в этой сфере осталась в силе.

В схватке Дубинина и Лысенко конечная победа досталась Дубинину. Борьба длилась 30 лет.

В 1932 году Дубинин создал новую группу генетиков-популяционистов, и они занялись сравнительным анализом наследственного разнообразия естественных популяций мух. Показано, что не только мутации, меняющие внешний облик мух, но и совсем уж вредоносные наследственные болезни, убивающие мушиных зародышей, присутствуют в скрытом виде в популяциях дрозофил. Обнаружены различия между популяциями. Разные популяции впитали в себя разные мутации и в разном количестве. Название статьи Дубинина и соавторов, в которой подведены итоги работы его группы, гласит: "Анализ экогенотипов дрозофилы". Это значит: исследование наследственного разнообразия популяций в зависимости от условий их жизни. Но условия жизни никто не изучал.

Различия между популяциями – дело случая. Будет мутация впитана популяцией, или популяция утеряет ее, зависит, согласно Дубинину, исключительно от случайных причин. Различия между популяциями доказывали наличие этих случайных процессов и ничего более. Была даже найдена популяция, совершенно лишенная груза вредоносных мутаций. Популяция эта заселяла Дилижан.

Мои опыты показывали, что популяций, лишенных наследственного скрытого разнообразия, в природе нет и быть не может. В 1938 году мы с Галковской, Александрийской и Бриссенден послали статью в "Биологический журнал". В том же году на семинаре Института экспериментальной биологии я делала доклад. Я говорила о различиях между нормальными генами диких и одомашненных дрозофил. Способность нормальных генов создавать нормальный признак в присутствии мутантного гена называется доминированием. "Доминирование – вещь коварная, – говорила я. – Оно спасает носителя мутантного гена, единичного представителя вида, от гибели, но оно же ставит популяцию в очень невыгодные условия. Неисчислимое количество вредных генов накапливается в популяции под прикрытием нормальных генов. Пусть их действие подавлено, пусть редкие родственные браки среди дикарей способствуют их отсеву. Огромный груз накопленных вредных мутаций мешает популяции использовать полезные изменения. И вот оказалось, что там, где мутации возникают часто, они часто проявляются у гибридов, а где редко возникают, там редко и слабо проявляются. Но раз так, груз накопленных мутаций должен быть один и тот же в диких поселениях мух и в лабораторной линии. У дикарей мутации возникают часто, но слабо защищены. У одомашненных мух все наоборот".

Программа на будущее включала изучение популяции дрозофил Дилижана. Меня слушали очень внимательно. После доклада Дубинин отозвал меня в сторону и сказал:

– Не советую вам ехать в Дилижан. Автобусное движение между Дилижаном и Ереваном прекращено. Вы не доберетесь. И мух не найдете. Там мух очень мало.

– Не доберусь? – спросила я. – Не беспокойтесь. Доберусь. Если бы мне поставили условие, что добраться не то что из Еревана, а из Ленинграда, до Дилижана я могу только ползком, катя носом горошину, я сказала бы: "Дайте скорее горошину".

Дубинин ничего не сказал, разговор окончен.

В сентябре 1939 года я ехала в поезде к мухам Дилижана. В вагоне-ресторане поезда за одним со мной столом оказался заграничного вида огромный молодой человек. Он обратился ко всем соседям по столу на трех языках и просил сделать для него заказ. Я предложила свои услуги. Это был датчанин Эббе Хагеман. Говорили мы по-немецки. Его соседом в купе оказался немец. Оба они ехали в Тегеран через Баку.

– Was eigentlich haben die Deutschen gegen die Juden? – спрашивает датчанин. – Что, собственно, имеют немцы против евреев?

– Man sagt, dass sie den Krieg des fierzehnten Jahres auf dem Gevissen haben, – отвечал представитель гитлеровской Германии. – Говорят, что война четырнадцатого года на их совести.

Датчанин вскидывал руки вверх и как будто отталкивая кого-то, кто наступал на него, восклицал:

– Propaganda!

Мы обменялись потом с датчанином письмами. В Москве его письма исчезли из моего портфеля. Я боюсь теперь за себя, за ту, от которой я отделена сорокалетней давностью. А тогда не боялась, хотя следовало бы.

Ехала я с пересадкой в Тбилиси до Кировокана, помня, что автобусное движение между Ереваном и Дилижаном прекращено. В Кировокане нашелся попутчик, молодой армянин, ехавший в Дилижан лечиться. Печень у него болела, а в Дилижане первоклассные санатории для туберкулезных и печеночных больных. Автобуса до Дилижана не было. Пока ждали попутного грузовика, играли в веревочку. Я благополучно добралась до Дилижана. Я очень боялась, что не найду мух. Я обратилась в Сельскохозяйственное управление города с просьбой помочь мне найти мух.

Дилижан расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря среди невысоких, поросших дубом и грабом гор. Сады Дилижана снабжают прекрасными яблоками всю Армению. Из яблок здесь делают вино и гонят крепкий напиток, наподобие водки. Называется он чача. Мух множество, но добраться до них нелегко. Домашние крошечные винодельни есть у всех, но гнать вино запрещено законом и постороннего человека, да еще приехавшего из России, к чанам, где бродят фрукты, не допускают. В мой первый приезд в Дилижан мне помог Миша, агроном, приставленный ко мне для поисков мух. Он повел меня на винодельню совхоза. Там под навесом стояли бочки с яблочной мязгой. Кишмя кишели мухи. Миша помог мне снять комнату в доме неподалеку от винодельни совхоза. Родители художника-декоратора

Ереванского театра и двое его детей – Шмидт и Джульетта – обитали в этом доме. Шмидтик (он назван в честь покорителя Севера Отто Юльевича Шмидта) маленький, а Джульетта постарше. На балконе их дома был установлен бинокуляр.

По пути в совхоз Миша занимал меня приятной беседой в армянском духе. Он рассказывал, как любят армяне русских. Агрономическая станция, где он работает, проводит опыты по указанию и в соответствии с идеями Лысенко.

– И контроли у вас есть? – спросила я.

– Конечно есть, – сказал Миша, – два участка засеваем. Где хорошо вырастет – опыт, где плохо – контроль.

– Вот оно как! – подумала я.

Популяция Дилижана оправдала мои ожидания. Ей, по идее, полагалось быть менее мутабильной, чем популяции Умани и Никитского Сада. Она изолирована в горной долине, и групповой отбор ограничен в своем действии. Желтые мухи попадались и здесь, но реже, чем в Крыму и на Украине. Возникали мутации и в их числе желтая с меньшей частотой. Насыщенность популяции скрытыми вредоносными мутантными генами оказалась отнюдь не ниже насыщенности популяций Умани и Никитского Сада.

Выяснилось, что автобусное движение между Дилижаном и Ереваном никогда не прерывалось, и через Семеновский перевал мимо самого высокогорного озера в мире, прекрасного Севана, я добралась до Еревана. И там на знаменитом винном заводе "Арарат" я ловила мух. Мухи жили в подвалах завода, где в огромных бочках стареют вина. Четыре этажа подвалов уходят в глубь земли. Мух мало. Желтые самцы попадались и здесь.

Уезжала я из Еревана теплым октябрьским днем. Я приехала на вокзал рано и ждала поезда, сидя в сквере перед вокзалом. Я рисовала карандашом тоненький узор на маленьком листе бумаги. Две девочки подошли и смотрели, как я рисую.

– Тебе нравится? – спросила я ту, что постарше, лет восьми.

Она кивнула.

– А что тебе нравится больше всего?

Она показала на то место рисунка, где узор тоньше всего. Потом она вынула из кармана горсть семечек, протянула их мне и сказала:

– На.

Флейта нищего музыканта зазвучала в моих ушах, когда я с благодарностью принимала ее дар.

Подошел пожилой армянин.

– Зачем тут сидишь? Пойдем ко мне.

Я отлично знала, как отражать такого рода атаки.

– Скажите, – спрашивала я, – разве у армян принято, чтобы женщина на улице принимала приглашение незнакомого мужчины?

– Зачем обижаешься? – говорит он галантно.

Он говорит мне "ты", потому что в армянском языке, видимо, нет этих "ты" и "вы" русского языка, а русского обычая обращаться на "вы" он не знает.

– Разве что плохое предлагаю? Разве кусок мяса из тебя хочу вырвать? Завтраком хотел угостить: помидор, сыр. Подумаешь, какая линия Мажино.

Уже шла война между Францией и Германией, но линия Мажино еще не была прорвана.

В Москве я изучала потомство дилижанских и ереванских мух. Надлежало снова заниматься марксизмом-ленинизмом. Заходит в лабораторию молодая женщина:

– Какое произведение классиков марксизма-ленинизма вы сейчас изучаете? Сколько страниц проработали?

Она готова внести меня в список. За стол она не садится – собирается писать стоя. Скорей, скорей. В институте больше ста сотрудников и лаборантов. Учет – не социологическое исследование, а полицейская мера, насаждение единомыслия.

– Присаживайтесь, – говорю я ей, – я вам продиктую названия книг и статей.

– Некогда присаживаться, говорите скорей.

– Но это займет около двух часов, – говорю я, – я собираюсь продиктовать вам не менее восьмидесяти названий.

Она махнула рукой и ушла. И с официальными занятиями по философии, обязательными для докторантов всех институтов, ничего не вышло. Группа состояла из меня, Кушнера и Бабаджаняна. Я – докторант Шмальгаузена, Кушнер – докторант Вавилова, Бабаджанян – Келлера. Трое, но более разношерстной компании представить себе невозможно. Кушнер – генетик, умелый полемист в защиту генетики, будущий предатель-лысенковец, Бабаджанян – лысенковец, жеребенок, рожденный лошадью Калигулы. Профессор-философ – Арношт Кольман, тот самый Кольман, который в декабре 1939 года получил из ЦК предписание организовать в редакции журнала "Под знаменем марксизма" очередную дискуссию по вопросам генетики. Журнал этот философский. Упоминание это отнюдь не лишнее. Под знаменем марксизма сражались все: агрономы и гинекологи, инженеры и музыковеды. Любой журнал в любой области мог носить это гордое имя. Кольман – его главный редактор. На первом же занятии произошло столкновение между мной и Бабаджаняном. Наши точки зрения непримиримы, и никакая диалектика не могла их примирить. Кушнер молчал. Больше Кольман нас не созывал. Занят, изучает генетику, которую ему велено разгромить.

Инструкция организовать дискуссию шла из высших сфер. "Широкие массы трудящихся" ничего о закулисных махинациях по подготовке разгрома не знали и знать не могли. И никогда бы я не узнала, что происходило в Отделе науки ЦК незадолго до дискуссии, финал которой должен положить конец существованию "служанки капитализма" – формальной генетике, если бы не статья в декабрьском номере журнала Nature за 1977 год, написанная английской журналисткой Верой Рич. Вера Рич сообщила, что Арношт Кольман, тот самый Арношт Кольман, бывший главный редактор журнала "Под знаменем марксизма",

а ныне эмигрант, выступил, и не где-нибудь на Ученом совете какого-нибудь Института советологии США, а на Биенале в Венеции. И Биенале на этот раз не обычная выставка картин. Были и картины, но только определенных художников. Биенале 1977 года посвящена диссидентскому движению стран Восточной Европы. В своей покаянной речи, в mea culpa, Кольман раскрыл тайну. Ему было приказано организовать дискуссию и выдать ее организацию за инициативу своего журнала. Официальную поддержку запрета лженауки – генетики – ему гарантировали. Должно было произойти то самое, что случилось девять лет спустя, в 1948 году, когда пришел конец всем исследованиям в области генетики, а все, кто не стал под знамена лысенковщины, лишились работы. Должно было произойти, но не произошло. Дискуссия состоялась. Снова выступали Вавилов и Серебровский, защищая генетику, и Лысенко и Презент, громя ее. Пресса была всецело на стороне громил, но запрета не последовало.*

Можно только гадать, почему этого не произошло. Мировое общественное мнение приковано к Советскому Союзу, и внимание это отнюдь не в пользу страны победившего социализма. Вот несколько дат. Август 1939 года: пакт о дружбе между СССР и Германией. Сентябрь: вторжение Германии и России в Польшу. Октябрь: оккупация Латвии, Эстонии и Литвы. Они были включены в состав Советского Союза несколькими месяцами позже. В октябре 1939 года по сговору с Гитлером началось переселение немцев, обитавших на территории этих государств, в Германию. 30 ноября 1939 года Советский Союз вторгся в Финляндию. В то самое время, когда в Москве в Институте философии Академии наук СССР на Волхонке (так называется улица, где помещается институт) происходила дискуссия по вопросам генетики, долженствовавшая стать финальной, Советский Союз исключен из Лиги наций. Не стоило подливать масла в огонь.

Вавилов еще был на свободе. Его мировая известность задержала на миг неизбежный ход событий. Всесильные знали, что Меллер в Эдинбурге следит с пристальным вниманием за тем, что происходит в Советском Союзе.

В 1940 году я исследовала популяции дрозофил, обитающие на северной границе ареала распространения вида. Два небольших города неподалеку от Москвы – Кашира и Серпухов – окружены яблоневыми садами. На заводах безалкогольных напитков и на фруктовых

* Арношт (Эрнест) Кольман, как я узнала после выхода в свет отрывков из моей книги в журнале "Время и мы", не только выступил с покаянием на международном форуме в Венеции, но и опубликовал в Издательстве Chalidze-Publications книгу под названием "Мы не должны были так жить". Я благодарна его вдове за то, что она указала мне на мою несправедливость. Часть вины лежит на редакции журнала "Время и мы", имеющей обыкновение вставлять в авторский текст свои бранные трактовки описываемых автором событий.

базах этих двух городов я ловила мух. Лаборатория размещена неподалеку от Каширы на Кропотовской Биологической станции. Станция помещается в небольшом помещичьем доме, брошенном его хозяином на произвол судьбы. Организована она Кольцовым и принадлежала его Институту. Сотрудники Института в теплое время года проводили там свои опыты. Когда Кольцова сместили, а Институт переименовали в Институт цитологии, эмбриологии и гистологии, станция сохранилась за этим Институтом. Помещик когда-то построил свой дом на окраине деревни Кропотово, на берегу Оки. Если вы спросите меня, где находится рай, я без малейших колебаний скажу: на берегу Оки. Леса на крутом берегу реки, поля и луга, песчаные берега и отмели, чистые ручьи, бегущие по незаболоченным лесам и лугам, нежаркое лето, сухая зима – атрибуты приокского рая. Здесь Левитан писал свою "Золотую осень", Клюев, стихам которого нас обучал господин Стрижешковский в немецкой школе, назвал эти места "берестяным раем".

Много мне довелось поездить по гигантской империи и соприкасаться с рабочими разных ее городов и разных наций. Я приходила на завод или на овощную и фруктовую базу со своим ловчим аппаратом и просила разрешения ловить мух. Командировочное удостоверение с печатью и штампом Академии наук я предъявляла в конторе учреждения. Перед рабочими представала особа с насосом для ловли мух, муха за мухой, каждая муха – вдох, ибо струя воздуха, созданная моим вдохом, увлекала муху в контейнер ловчего аппарата. Зрелище, согласитесь, странное. Рождало оно противоречивые чувства – одни и те же везде, во всех городах и республиках: смесь насмешливой снисходительности и уважения к науке. Чувства, как мне кажется, везде одни и те же, но комментарии различны. Самые умные люди обитают в Кашире. Директор овощебазы говорил мне: "У каждого овоща и у каждого фрукта своя муха. Ваши красноглазые, маленькие – на яблоках; на помидорах, мухи с маленькими головками и коричневыми глазами, тоже маленькие; на соленых огурцах этих не будет – там большие, темные". Все верно. Девушки разглядывали пробирки с пойманными мухами.

– А эта что же так раскормилась? – говорила одна.

– Много ты понимаешь, – говорила другая. – Эта большая другой породы. Ты что думаешь, если мышь до отвала кормить, она до крысы дорастет?

Муха подлетела, похожая на осу.

– Оса, – говорит одна.

– Не оса, а муха. Два крыла, а у осы четыре.

– А на осу похожа.

– Мимикрия.

А на станции работали сотрудники бывшего Кольцовского института, умные из умных. Сахаров создавал свой сорт гречихи. Астауров проводил свои опыты на тутовом шелкопряде. И жил в берестяном раю на берегу Оки русский мужик с рыжей бородой, Дмитрий Петрович Филатов.

Рыжий красного спросил:
Чем ты бороду красил?
Я не краской,
Не замазкой.
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

Так, смеясь над своей внешностью, писал мне Филатов, когда война разлучила нас. Жил Филатов в том самом доме, где помещалась станция. Мы с моим другом шли мимо его окна. Он сидел в комнате перед распахнутым настежь окном и шил.

– Вот это Дмитрий Петрович Филатов, – сказал мой друг, – подойди, протяни ему руку, он рад будет с тобой познакомиться. Только встать он не сможет. Он штаны свои чинит. Они у него единственные.

Я потом рассказала Дмитрию Петровичу об обстоятельствах нашего знакомства. "Как это он догадался?" – сказал Филатов. Догадаться не мудрено. Как сейчас слышу звук шагов его босых ног по веранде, где сотрудники станции обедали и ужинали все вместе. Он не был толстовцем, как мой отец. Он не следовал никому и ничему. Он сам такой: охотник, обитатель леса, человек из народа.

– В деревню ходил, уговорил одну женщину молоко мне носить.

– Где работаешь? – спрашивает.

– На станции, – говорю.

– Сторожишь, что ли?

– Нет, я ученый, профессор, – говорю.

Ну, как тут не подразнить?

– Зачем же вы сказали, что профессор? – спрашиваю.

– Я для нее. А то еще подумала бы, что я за молоко не заплачу.

А еще такой разговор был.

– Хотите пир устрою нам с вами? – спрашиваю. – Цыпленка зажарю.

– Нет, – говорит, – не хочу, чтобы вы среди цыплят стояли, на цыпленка показывали и говорили бы: "Вот этого зарежьте".

– А мне в деревне любая хозяйка не то что ощипанного, а и потрошенного цыпленка продаст.

– Все равно не хочу, – говорит, – цыпленка жаль.

– Да ведь вы охотник, – говорю.

– А может, больше и охотиться не буду.

– Ладно, – решаю я, – грибов наберу и зажарю.

– Только белые отдельно жарьте, – говорит.

Сказано – сделано. Сковорода одна, белые в одной стороне, прочие – в другой.

– Ишь как белые-то по всей сковороде раскидала, – говорит.

– Дмитрий Петрович, – говорю я, – я вас обожаю. А понравилось?

– Вкусно, но масла слишком много.

Для совместных обедов и ужинов у нас общественный фонд продуктов.

– А масло не общественное, а мое, сколько хочу, столько и кладу.

– А я к своему отношусь так же как к чужому, свое тоже общественное – экономить надо.

– А к чужой жене вы тоже относитесь, как к своей?

– Да, – сказал он, – мне так же больно, когда чужая жена изменяет своему мужу, как если моя жена – мне.

Он великий ученый – Дмитрий Петрович Филатов. Он основал новую отрасль науки – экспериментальную эмбриологию. Перемещая зачатки органов развивающегося зародыша друг по отношению к другу, он одновременно со Шпеманом и совершенно независимо от него и от кого бы то ни было открыл принцип организатора – управление развитием одних частей зародыша со стороны других частей. В некотором смысле он превзошел всех своих современников. Отрасль эмбриологии, в которой он первооткрыватель, – это не просто эксперимент, пришедший на смену наблюдению. Мало открыть законы взаимодействия частей развивающегося организма. Следовало понять, как меняются сами эти законы в процессе прогрессивного развития органического мира. Следовало сочетать новый экспериментальный метод со старым сравнительным методом познания.

Шмальгаузен тоже эмбриолог. Сравнивая рост разных органов цыпленка, пока цыпленок еще не вылупился из яйца, Шмальгаузен установил принцип независимости роста одних органов от роста других. Филатов показал, что независимость развития присуща высшим формам, а те самые процессы, которые у высших форм независимы друг от друга, у низших очень даже зависимы. Экспериментировал Филатов с тритонами, лягушками, жабами и изучал развитие органов чувств у их эмбрионов. Он пересаживал слуховой пузырек тритона под кожу хвоста и следил, как образуется на новом месте из тканей, предназначенных совсем для другого, слуховая капсула. Он рассказывал мне, что слуховой пузырек обволакивается клетками. "Как нос собаки паутиной, когда осенью собака идет по следу зверя", – говорил он.

Он не беден. И чины у него есть. И он начальник. Дмитрий Петрович заведовал лабораторией экспериментальной эмбриологии в Кольцовском институте, состоял в штате Московского университета, и там под его руководством работала большая группа его учеников и почитателей. Свою роль начальника он выражал словами: живи и жить давай другим. Его аскетизм – отнюдь не отказ от радостей бытия, не возврат к природе, не хождение в народ. Ему не надо возвращаться к природе и идти в народ: он и не уходил. Слитность с природой питала его радость бытия. Птичьи голоса на заре в пронизанном солнцем и полном аромата лесу стояли в его иерархии ценностей выше наслаждений, даруемых цивилизацией. Он неделями жил один в лесу. Его обожатель – Андрей Макарович Эмме, красавец-сибарит – говорил ему в моем присутствии: "А как же без бани?" Дмитрий Петрович объяснял, что организм человека с легкостью отвыкает от ежедневного мытья и сам собою остается чистым.

Его отказ от комфорта – своего рода демонстрация. Демонстрация свободы, неподкупности, служения высшим идеалам. Он и ему подобные не променяют бессмертие, презрение к судьбе, свободу духа, право иметь собственное мнение на дачу и персональную машину с шофером на ставке Академии наук СССР. И деньги, которые у него были, – гарантия свободы: если пребывание в штате учреждения станет несовместимым с велениями совести, он просуществует на накопленные гроши. Он предвидел, что черный день наступит, и страховал себя. Он отнюдь не был отщепенцем, человеком, выпадающим из структуры человеческого общества. Его оценки отдельных людей и человеческой природы вполне реалистичны.

Он говорил мне: "Не ищите признания вашей работы вашими товарищами по лаборатории. За признанием обращайтесь к миру. Печатайте". Я понимала его следующим образом: в мире есть мало людей, истинно заинтересованных в узкой области, где вы работаете. Вряд ли они найдутся среди малого количества ваших товарищей. А отсутствие интереса расхолодит вас. Много позже, пренебрегая его советом, я убедилась, что ошиблась в своей трактовке. Филатов хотел предостеречь меня не от отсутствия признания, а именно от признания, которое заканчивается обычно плагиатом. Вотще. Но он отлично отдавал себе отчет в невысоком качестве многих представителей рода человеческого. И из иерархии человеческой популяции он не выпадал.

Занятный случай выявил его способность подчиняться и подчинять. После ужина мы все сидели на веранде. Кто-то рассказал что-то смешное. Андрей Макарович Эмме, смеясь вместе со всеми, как-то невероятно смешно не то взвизгнул, не то хрюкнул. Все засмеялись сильнее. Эмме взвизгнул еще и еще, и все смеялись все громче и безудержней.

– А ну, посмеемся! – говорил Эмме и смеялся, и по его красивому носу текли слезы.

Гоготали все кроме меня. Филатов, Астауров смеялись, как дети.

– Хватит, – говорила я тихим и твердым голосом. – Прекратите этот психоз.

Смех усиливался. Внезапно Филатов перестал смеяться, стукнул могучим мужицким кулаком по столу и сказал:

– Прекратить.

И все как один перестали.

Побуждая других печатать результаты своих экспериментов, он сам печатал мало. Говорил, что ему трудно выражать свои мысли. Были у него и литературные произведения. К великому моему сожалению я не читала их. Мой друг Александр Александрович Малиновский наизусть рассказал мне сказку, сочиненную Филатовым.

Четыре медвежонка шли по лесу и набрели на потухший костер. В его золе они нашли картофелину.

– Что бы это могло быть? – сказал один.

– Бесполезно рассуждать, – сказал другой. Все равно никогда не поймем.

– Хорошо бы заглянуть, что там внутри, – сказал третий.

– Надо спросить старших, – сказал четвертый.

Тут подошла рысь. Медвежата спросили про картофелину. Рысь загородила ее собой, раскусила и сожрала. Она повернулась к медвежатам и сказала:

– В золе костра ничего не было. – И ушла. Тогда каждый из медвежат Филатова сказал по одной фразе, и они в точности соответствовали философскому складу ума каждого из них, поскольку его изобличали сказанные им раньше слова. Агностик, помню, сказал:

– Если мы и тогда, когда оно было, не имели средств познать его, то теперь, когда его нет, и подавно не познаем.

А тот, кто предложил обратиться к рыси, сказал, что вероятнее всего в костре и вправду ничего не было. И четыре медвежонка пошли дальше.

Во время войны Институт эмбриологии, гистологии и цитологии был эвакуирован в Алма-Ату. Филатов не пожелал эвакуироваться. Его дом пострадал во время бомбежки, и Филатова переселили в комнату Института. Мне рассказывали, что он жил в страшном холоде, не топил, казенные дрова на себя не хотел расходовать. Какая бы то ни было возможность экспериментировать исчезла. Филатов писал свой последний труд – трактат о морали будущего. Он писал, что прочтет его мне, когда мы встретимся. Я вернулась в Москву в ноябре 1942 года. Но Филатов не читал мне ничего. Мы пили чай, он колол сахар старинными щипцами на маленькие кусочки, чтобы пить вприкуску. Мы говорили о войне и Дмитрий Петрович предсказывал близкую победу. Он говорил, что немцы потерпят поражение под Сталинградом, и эта битва станет поворотным пунктом в войне. Как известно, он оказался прав.

– Вот кончится война, – сказала я, – и мы будем вспоминать, как мы чай вприкуску пили.

– Это неизвестно, будем ли мы вспоминать, – сказал он многозначительно, с ударением на "мы".

И тут он оказался прав. Через несколько дней, не дожив до победы на сталинградском фронте, он умер. Инсульт поразил его на улице. Милицейская машина увезла его в больницу и там, не приходя в сознание, он скончался. Ему было 66 лет.

Рукопись Филатова не пропала. Тридцать два года она пролежала в архиве под семью печатями страха. Мораль будущего в представлении Филатова нисколько не противоречит коммунистической морали. Моральные кодексы всех религий, как и веру в личное бессмертие, Филатов отвергает. И тем не менее понадобилась энергия такого смельчака, как Астауров, чтобы рукопись Филатова увидела свет. Филатов, подумайте только, какая дерзость, не ссылается на классиков марксизма-ленинизма, развивает не их основополагающие идеи, а свои собственные. Он осмеливается искать корни благородного поведения человека не в классовой борьбе, а в предыстории человечества, в животном мире. Причину подавления эгоистического начала он видит в материнской любви и в готовности матери жертвовать жизнью для спасения

ребенка. Человек, принесший в редакцию рукопись такого содержания, не только не добился бы ее опубликования, но поставил бы под удар свою карьеру.

Опубликованием рукописи Филатов обязан не одному Астаурову. Вопрос о биологических корнях альтруизма поднят другим берсерком, другим храбрецом, способным голым бросаться в бой и сражаться с закованными в латы марксизма-ленинизма воинами. Этот берсерк – Эфроимсон, недавно выпущенный из сталинского лагеря смерти – Джезказгана. Он написал статью о биологических корнях альтруизма, о том, что без взаимопомощи, самопожертвования, без подавления инстинкта самосохранения не было бы человека. Его статья напечатана в "Новом мире". Редактор журнала Твардовский и автор Эфроимсон выпустили джина из бутылки, из той самой бутылки, где лежала запечатанная семью печатями страха рукопись Филатова – замурованный джин. Астауров отредактировал рукопись, придал ей законченный вид. Она напечатана в альманахе "Пути в незнаемое", в одиннадцатом номере, в 1974 году. Называется она "Норма поведения или мораль будущего с естественноисторической точки зрения". В будущем морали не будет – утверждает Филатов. Кодекс предписаний исчезнет, сольется с нормой поведения, отождествится с ней. Добро будет господствовать, эгоистическое начало будет подавлено, как и инстинкт самосохранения. Любовь к людям станет частью любви ко всему живому. Отпадет за ненадобностью мысль о личном бессмертии. Человек будущего будет черпать высшее удовлетворение в заботе о счастье других людей, в любви к жизни в целом. И сейчас есть люди этого высшего типа. В будущем они завоюют жизнь. Их жизненная стойкость тому порукой. "Из всех житейских передряг они выходят моральными победителями, то есть удерживают свои привычные и единственно возможные для них отношения к окружающему и к окружающим".

Редактирование статьи Филатова – одно из последних дел Астаурова. О нем и о его гибели речь впереди. Имя редактора и автора предисловия стоят в альманахе в траурных рамках. В предисловии к статье Филатова Астауров пишет: "... Филатов – типичный представитель русской прогрессивной, демократически настроенной интеллигенции. Происходя из семьи очень крупного помещика, он пошел на конфликт со своим классом, раздав (точнее, формально продав за бесценок – по 5 копеек за десятину!) свою землю крестьянам. Это было причиной тяжелого личного семейного конфликта, разрыва с женой и впоследствии своего рода отшельничества и ухода в науку и философию".

Но мне надлежит вернуться к 1940-му году, когда мы так счастливо дружили с Дмитрием Петровичем, и он рассказывал мне о своих исследованиях и мы читали стихи. Дмитрий Петрович любил Тютчева.

"... Час тоски невыразимой.
Все во мне и я во всем".

По сравнению с тем, что ждало нас в будущем, "час тоски невыразимой" – лучезарное счастье. Работа шла отлично. Мухи радовали и веселили мою душу. Старые гипотезы подтверждались, создавались новые. В малочисленных поселениях мутации у мушек возникали реже, чем в популяциях-гигантах. Изоляция на границе распространения вида, будь то в горах или на равнине, имела тот же эффект, что и изоляция в лаборатории. Возникающие мутации в пограничных популяциях более разнообразны, чем в популяциях-гигантах. Мне удалось выделить линию мух, отличающуюся повышенной частотой возникновения мутаций. Желтая была среди них. Благодаря ей и удалось получить эту замечательную линию. Звали ее Кашира-6. Изучение потомства диких мух длилось всю зиму. Благополучию, однако, подходил конец. Душевное мое равновесие было нарушено. Я чуяла приближение катастрофы. Декабрь 1940 года я провела в Ленинграде. Одна ужасная новость следовала за другой. Вавилов арестован. Кольцов скоропостижно скончался в Ленинграде в номере гостиницы, жена его покончила с собой. Арестованы профессора университета Карпеченко и Левитский. Самая талантливая из моих сотрудниц и соавторов Эдна Бриссенден ушла из Университета в знак протеста. Я пригласила ее погостить у меня в Москве, но не встретилась с ней никогда больше. Ей и ее матери грозил арест. Но об этом речь впереди. Директором Института генетики Академии наук стал академик Трофим Денисович Лысенко – невежда. Нельзя без отвращения думать о международной политике своей Родины. Сталин и Гитлер приступили к переделу мира.

На осень 1941 года намечено продолжить изучение популяций Каширы и Серпухова. Я жила в Кропотове. 22 июня 1941 года мы узнали, что началась война. Много раз я подавала заявление в Военкомат, прося мобилизовать меня. У меня есть начальное медицинское образование. Не брали. А раз не брали, надо делать свое дело. В институте мне отказали в командировке на Каширский завод безалкогольных напитков – говорили, что я вызову подозрения и меня зацапают, как шпиона. Я уехала, не имея командировки. Я не успела подойти к решетке завода, как мне уже открывали ее: "Опять приехали мух ла́вить?" Многие говорили в тех местах "ла́вить" вместо "ловить". Звучало это очень по-русски – лава, облава того же корня. Меня не заподозрили в шпионаже в пользу Германии. Работать с пойманными мухами не пришлось. Не бомбежки помешали мне работать. С первого дня войны немцы бомбили Москву каждую ночь. С немецкой пунктуальностью воздушная атака начиналась в 11 часов вечера и длилась до пяти утра. Люди укрывались в бомбоубежищах, те, кто не бежал на крышу дома ловить зажигательные бомбы. Зажигалка воспламеняется не сразу. Можно предотвратить пожар, схватив бомбу щипцами и бросив в ящик с песком. Незадолго до начала войны в аспирантском общежитии, где я жила, поселился Николай Васильевич Турбин, тогда докторант ботаника Келлера, к генетике не причастный, позже ярый лысенковец – гонитель генетики, ныне чиновный представитель советской интеллигенции – покровитель генетики. Я в бомбоубежище не ходила. Опасность оказывает

на меня самое удивительное действие. Вой сирены – сигнал воздушной тревоги – вызывает во мне не страх, а непреодолимое желание есть и спать. Я бросалась на кухню согреть чаю пока не отключили газ, потом надевала ночную рубашку и ложилась спать. Рассказывали, что когда раскрывались двери бомбоубежища, первым входил Турбин, а затем уже женщины вносили грудных детей. Очень важный штришок для понимания судеб генетики. Люди, ночь за ночью лишенные сна, приходили на службу полумертвые. А я была как огурчик. На меня дивились. Я объясняла, что причина в аномалии.

Свойство это у меня фамильное. Сим в это самое время в составе своей части жил в Москве. Нарушая, вопреки своему обыкновению, военную дисциплину, он в бомбоубежище не ходил. "Очень я люблю, когда в меня, сонного, попадает фугасная бомба", – говорил он бодрым голосом, как будто расхваливал любимое блюдо.

Фугасная бомба попала в мой дом на Малой Бронной летом сорок третьего года, когда бомбежки стали редкостью. Утро. Я лежала в постели. Дом содрогнулся. Комната наполнилась белым облаком. Потолок и стены стряхнули побелку. Бомба не взорвалась.

И еще одно странное действие возымели на меня бомбежки. Пока они длились, прекратились мои мигрени.

Я лишилась возможности работать, когда началась эвакуация. 16 октября 1941 года я была свидетелем паники, вызванной очередной победой немцев под Москвой. До сих пор не могу понять, как могло быть передано по радио то лаконичное и устрашающее в своей лаконичности сообщение, которое я услышала утром: "Положение ухудшилось. Фронт прорван". Это ложь. Три линии обороны окружали Москву. Прорвана, как потом стало известно, была только первая из них, и бои шли с неослабленной силой. Но в Москве началась паника. Есть четыре признака паники в городе, ждущем врага. Грабят магазины. Начальство на казенных и своих машинах, на грузовиках, в поездах и на телегах привилегированно бежит, прекращает существование институт денег и затемнение перестает соблюдаться. Я видела и узнавала о всех четырех. Тротуары перед магазинами засыпаны мукой и сахарным песком. Два пианино спина к спине стонут на мчащемся грузовике без покрытия. Рассказывали, что директор больницы требовал у конюха отдать ему лошадь и телегу, на которых возили хлеб для больных. Конюх бил директору морду и не дал. На рынке – сама слышала уже через несколько дней – мужской голос очень бодро кричал: "Кому молоко на деньги? Молоко на деньги?" Царил натуральный обмен. Смельчак, один на всем рынке, принимал деньги. Ночью светились окна, иногда пол наискось недозанавешенного окна. Милиция, которая и раньше и потом штрафовала нарушителей, бездействовала.

Стало известно – правительство бежало, говорили в Куйбышев. Академия охвачена паникой. Директоров институтов эвакуировали еще раньше в глубокий тыл. Заправляют замы. В нашем институте – Хачатур Садракович Коштоянц, один их тех, чья подпись стояла под предвыборным пасквилем против Кольцова и моего отца. Когда я появилась

два года назад, он разлетелся было ухаживать за мной. Я ему напомнила этот маленький штришок в его биографии. Он сказал, что не писал, а только подписывал. И Нуждин, другой оборотень, при других обстоятельствах сказал мне то же. Теперь Коштоянц велел мне уничтожать оборудование, микроскопы, термостат. Я отказалась. Рассказывали, что Нуждин и Дозорцева, счастливая супружеская пара, соединившаяся по принципу chaque vilain trouve sa vilaine – каждый гад находит свою гадину, – завладели казенной машиной из академического гаража и бежали. В прошлом оба были сотрудниками Вавилова, а теперь прислужниками Лысенко. Их имена стояли бок о бок под пасквилем.

Нам, сотрудникам Института эволюционной морфологии, 16 октября 1941 года предложено собрать в заплечные мешки самое необходимое, построиться в колонну и идти по Калужскому шоссе прочь из Москвы. Я сложила было экспедиционные журналы, убедилась, что не протащу их и четырех километров, и решила не идти. Неужели в Москве не будет баррикадных боев с захватчиками? Приметы паники бросаются в глаза, решимость сражаться обнаруживается только в критические моменты. Многие остались. Через несколько дней нам объявили, что Институт будет эвакуирован в Пржевальск, в Киргизию. Я получила приказ от Шмальгаузена ехать в Казахстан в пансионат для академиков, где живет он сам и куда из Ленинграда эвакуирован мой отец. В качестве докторанта Шмальгаузена я жить в пансионате для академиков, само собой, права не имела. До Свердловска я ехала в поезде вместе с сотрудниками Института. У нас спальные места. Мне досталось нижнее боковое место, очень узкое. Я больна, лежу днем и ночью. В ногах у меня сидел старик. Он без билета ехал в Свердловск, где его сын лежал в военном госпитале. Он подсел где-то в пути. Его не хотели пускать, я настояла. Он то и дело засыпал и припадал к моим коленям. Меркурий Сергеевич Гиляров, в то время докторант Шмальгаузена, а ныне академик, специалист по биоценозам почв, цитировал по этому поводу Пушкина:

"В тоске безумных сожалений
К ее ногам припал Евгений."

В Свердловске – пересадка. И там, в Свердловске, расквартирована часть, и в ее составе Сим – мой брат. Найти его я могла через военную комендатуру вокзала. Я отправилась на ее поиски.

Уезжая из Москвы, я взяла с собой пробирки с мухами. Моя драгоценная высокомутабильная линия Кашира-6 среди них. И корм для мух: изюм и агар для изготовления мармелада. Раздобыла я изюм в институте не без приключений. Моя просьба выдать мне со склада изюм и агар, которые кроме меня никому для опытов не нужны, отклонена. Я сговорилась с пожарной охраной института, ночью мы проникли на склад, взломали ящик с изюмом, отрубили хороший кусок прессованного изюма, этак кило восемь, и собирались заколотить ящик, как нас застукали. Не заведующая складом, а одна из кладовщиц, дежурила в

ту ночь. Кража со взломом. Протокол. Милицию еще не вызвали. Возникла идея уточнить меру моего преступления. Достали амбарную книгу. В ней значилось, сколько изюма хранилось на складе до моего грабежа. Ну что бы взвесить кусок, чуть было не похищенный мною. Так нет! На мое счастье решили взвесить – сколько осталось. И – о, чудо, – оказалось, что осталось ровно столько, сколько значилось в амбарной книге. Изюм, похищаемый мною, украден работниками склада до того, как я прикоснулась к нему. Не они застукали меня, я – их. Дело происходит при свидетелях – пожарники с топорами должны подписать протокол. Ящик заколотили. Изюм ехал со мной в эвакуацию.

Пробирки с мухами наполняли деревянный ящик, привязанный полотенцами к моей груди под шубой, а то мухи замерзнут. Я шла по вокзалу в поисках комендатуры, текла в потоке толп, переполнявших вокзал. Именно ту дверь, в которую я вместе со множеством других хотела войти, милиционер закрыл перед моим носом. Нет, чуть было не закрыл. Отгоняя людей, он пихнул меня кулаком в грудь, и его кулак натолкнулся на ящик с мухами. Меня арестовали и отвели в комендатуру. Я показывала военным и милиционерам мух и рассказывала, как похожи законы наследования признаков у мух и человека. ”Вот мухи с белыми глазами. Белоглазие – болезнь. Нормальные мухи красноглазые. Наследуется белоглазие в точности так же, как гемофилия – несвертываемость крови у человека. Царевич Алексей, сын Николая Второго, болел ею. Он унаследовал ее от своей матери. У нее задаток кровоточивости был подавлен, а у него выявился. Половина сыновей царицы, будь у нее много сыновей, болела бы гемофилией. И ни одна из дочерей. И все в точности, как у мух, когда белоглазые скрещиваются с красноглазыми”. Мне разыскали адрес брата и предложили оставить мух в комендатуре вокзала. Может, в квартире брата холодно. А в распределителе для военных валенки есть – пусть брат мне купит.

Мухи остались в комендатуре. Сим купил мне валенки.

От вшей, которыми наградил меня безутешный Евгений Онегин, я в Свердловске избавилась.

ГОД НА ОЛИМПЕ

И вот я очутилась в пансионате для академиков. Кумысолечебница для туберкулезных больных курорта Боровое предоставлена в их распоряжение. Западная Сибирь. Северный Казахстан. Железнодорожная ветка отходит от Сибирского пути на юг на Караганду в Петропавловске. Посередине пути между Петропавловском и Акмолинском близ станции Щучье находится курорт Боровое – одно из красивейших мест в мире. Цвет нации: академики и члены-корреспонденты Академии Наук жили здесь с семьями. Были и одинокие академики – князь Щербатский. Были и обезглавленные семьи. Сами академики жили в другом месте. Имелись и вкрапления. Теща писателя Леонида Соболева с кривенькой старушкой – домработницей Маничкой. Мария Федоровна Андреева, старая большевичка, в прошлом артистка, подруга Горького. Именовалась она вдовою Горького. В Москве она занимала высокий пост директора Дома Ученых – очень хлебное место. Членство в этом клубе давало привилегии. Закрытый ресторан кормил членов дешево и вкусно. В Боровом Андреева возглавила Комитет, не помню как он назывался. Комитет распределял жизненные блага: комнаты, одежду и обувь, продукты, помимо тех, которые поступали прямо на кухню столовой. Столовались все сообща, как в обычном доме отдыха. Двое других членов Комитета, помимо главы его, избирались общим собранием академиков. Одним из этих двух несчастных оказался мой отец. Он и другой член – Зернов – славились аскетизмом и готовностью служить людям.

Время, военное время, играет людьми, и игры его порой весьма коварны и двусмысленны. Пансионат для академиков – миниатюрная модель коммунистического общества. Не того, что рисуется в воображении, а реального, где все по приказу равны, уравнены, но отнюдь быть равными не желают. Равные вступают в отчаянную борьбу за место в крысиной иерархии. Два раза уносили меня потоки спасающихся, нет, спасаемых от бедствия людей. Первый раз в 1941 году спасаемые – академики и их семьи, второй раз в 1974 году – евреи. Что общего между эвакуацией ученых и эмиграцией евреев? Разные и те, кто спасал, и те, кого спасали. Разные причины побудили людей сняться с места. И люди в пределах каждого из потоков, конечно же, разные. Сходство их поведения – драгоценный материал для социолога, да что там социолога, – для политика, для всех тех, кто занят переустройством общества на справедливых, конечно же справедливых, началах.

Поведение это было безобразным. Централизованная забота о людях, лишенных возможности заботиться самим о себе декретом победившей революции или в силу бедственных обстоятельств, все едино, выявляет худшие стороны человеческой природы. И они выявлялись и тут, и там. Мусор всплывает на поверхность. Наихудшие задают тон. Каждый из них – из наихудших – любой ценой стремится взять как

можно больше от спасителей-снабжающих, занять привилегированное положение среди спасаемых-снабжаемых и нажиться по возможности и за их счет. Дым Каиновых костров беспрепятственно возносится к небу. Люди обоих потоков – своего рода заключенные, а нравы заключенных с предельной точностью описаны Солженицыным. Прочтите "Архипелаг ГУЛаг". В Риме среди эмигрантов только и разговора, что о проделках собратий по алии. Стыд и отчаяние вызывали во мне сплетни о спекулянтских проделках эмигрантов. Да и на собственной шкуре, по мелочам правда, пришлось испытать. Стыд принадлежать к ним, стыд быть объектом законной подозрительности спасителей, отчаяние, что нагло, беспардонно, ради личной минутной выгоды компрометируется великая идея. Noblesse oblige – благородство обязывает. Кастовая честь. Каста – налицо. Чести нет. Девочка-эмигрантка, подросток, рассказывала мне наибезобразнейший случай и тут же у меня на глазах опустила в автомат лифта монету, привязанную к веревочке, и вынула. Во мне зашевелилось воспоминание. Когда-то давно я уже столкнулась с подобным. Да, да... более тридцати лет назад. Война. Пансионат для академиков. Там мне со смаком рассказали историю про невестку одного из академиков. Никто бы и не узнал ничего, – говорили сплетницы, – не заболей она сыпным тифом. Переносится он вшами. Откуда? Как? Оказалось, что представительница оберегаемой элиты подхватила заразу в казахской юрте. В столовую, где столовались академики, приносили огромный темно-лиловый эмалированный чайник с заваренным чаем. Не заварка, а готовый напиток. Бутылки этого чая она меняла на мотки шерстяных ниток.

И сам рассказ, и злорадство, с которым он преподносился – точь в точь, как в Риме.*

Боль моя, когда я мысленно погрузилась в сопоставление столь разных, столь похожих явлений, поутихла. Аналогия, моделирование – я испытала радость познания. Плоды от древа познания добра и зла... Не еда – помои. Но коль уж приходится хлебать, так хоть не вслепую.

Пансионат для академиков вполне заслуживает названия ведьмятника. Но жили в этом скопище нечистых и чистые. И их большинство. А у иных нечистых чистые жены или никакие. А были Ксантипы всем на удивление. Чистые держались особняком и погоды не делали. Мусор плавал по поверхности, по бурной поверхности человеческого моря. А наичистейших среди скопища привилегированных нет. Да и не быть наичистейшему академиком или членом-корреспондентом Академии.

---

* В тексте, напечатанном в журнале "Время и мы", я, основываясь на сплетне, ошибочно указала имя невестки академика. Невестка с этим именем в Боровом не жила, а была другая. К ней и относился мой рассказ. Редакция, по своему обыкновению, добавила к моему повествованию яду. Сын оклеветанной вступился за ее честь. Я принесла ему мои извинения. Редакция напечатала его протест и принесла свои извинения.

Представить себе Филатова, Любищева – о нем речь впереди – участниками предвыборных схваток с соперниками, с течением времени все более и более жестоких, абсолютно невозможно. Но и физиолога Ухтомского представить себе в этой ситуации так же невозможно. Князь Ухтомский был академиком. Двадцать лет он возглавлял Кафедру физиологии Ленинградского университета. В Боровое он не поехал, хотя имел полную возможность. В августе 1942 года он умер в осажденном Ленинграде. Ему было 67 лет. Алексей Алексеевич Ухтомский – потомок суздальских князей. Его род прослеживается в двенадцатом веке. Не думаю, чтобы Ухтомский, как и Филатов, был последователем Толстого. Он сам отродясь такой: старообрядец, аскет, искатель социальной справедливости. В мужицком одеянии Толстого – нечто маскарадное. Отец мой, вопреки карикатурному его изображению в газете "Ленинградский университет", под мужика не одевался, русские сапоги носил, считая их самой удобной обувью, но брюки в сапоги не заправлял, а под брюками и не разберешь, русские там сапоги или что, а так все обычное: пиджак, рубашка с галстуком. Карикатура передавала не его внешность, а идеологический, враждебный революции, смысл его книг. Ухтомский неотличим от крестьянина. Он даже лекции читал в своей обычной одежде не то мужика, не то священника. Бороду не брил. Женат он не был. О его жизни рассказывали легенды. Звучали они в ключе "Принца и нищего". Международный Физиологический съезд проходил в 1936 году в Советском Союзе. Банкет в самом шикарном ресторане Москвы в гостинице Метрополь. Швейцар ресторана преградил Ухтомскому путь: "Тут, папаша, дорогой ресторан". В 1939 году Академия праздновала восьмидесятилетие со дня выхода в свет "Происхождения видов" Дарвина. Заседание происходило в Институте философии Академии наук на Волхонке, в большом зале с партером и балконом. Докладывал академик Шмальгаузен. Перед началом заседания – я наблюдала с балкона – зал полон до отказа, впуск прекращен, впустили Ухтомского. Президиум еще не занял места на сцене. Молодой человек – распорядитель, впустивший Ухтомского, указал ему на пустые кресла на сцене: мол, идите, займите полагающееся вам по чину место в президиуме. Алексей Алексеевич понял иначе. Пошел в указанном направлении и сел на ступеньки лестницы, ведущей на сцену.

В 1973 году друг и ученица Ухтомского Е.И. Бронштейн-Шур опубликовала отрывки из писем Ухтомского. Чтобы проповедь альтруизма, глубоко и сердечно выраженная великим мечтателем, могла прозвучать со страниц журнала – это "Новый мир", номер один, – она приводит рассказ свидетелей о заседании в декабре 1941 года, где выступал Ухтомский. Заседание, посвященное пятидесятилетию сдачи Лениным государственных экзаменов, происходило в Ленинградском университете "под грохот обстрела и завывание сирены, когда в большом университетском коридоре были разбиты окна и лежали сугробы снега". Сохранился план речи Ухтомского. "Человека, который умел вносить всевозможное смягчение и глубокую гуманность в самые острые

моменты рождающейся исторической стихии, – вот кого вспоминает сейчас университет", – говорил он. Макиавелли на свой лад боролся с тиранией. В своем самиздатовском произведении *Prince* он высмеял пороки тиранов – последняя глава его наставления не в счет. Ухтомский и Филатов (а Филатов в своем трактате приводит пример альтруистического поведения Ленина) на свой лад старались "внести всевозможное смягчение и глубокую гуманность" в предельно жестокий строй своей страны... Подсказывали тирану, что есть добродетель, приписывая несуществующие свойства кумиру – безусловному официальному образцу для подражания.

Письма Ухтомского его ученице вполне разъясняют, почему он не покинул осажденный Ленинград и добровольно обрек себя на верную смерть. 15 мая 1927 года он писал: "... Странным для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни, ревниво и упорно не хотел жить так, как у них "принято". Никакой самый чуждый мне уклад жизни не мешал мне видеть и любить отдельных людей независимо от обстановки их жизни. Но обстановку их жизни – то, что у них "прилично и принято", – я очень не любил, видел в ней цепи и кандалы для самих этих людей и всеми силами уходил от этого. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею!..."

Особенно скептически Ухтомский относился к людям науки. В письме от 6 апреля 1927 года читаем: "Иногда мне кажется, что сама ученая профессия порядочно искажает людей! В то время как натуралистическая наука сама по себе исполнена этим настроением широко открытых дверей и принятию возлюбленной реальности как она есть, "профессионалы науки", обыкновенно люди гордые, самолюбивые, завистливые, претенциозные, стало быть по существу маленькие и индивидуалистически настроенные, так легко впадают все в тот же солипсизм..."

Рвач-солипсист – таких среди академиков и их жен превеликое множество.

Я делила академиков, живших в пансионате, на пять категорий согласно их жизненной позиции. Из нее я выводила их философию. Категория первая. Вернадский, физик Мандельштам. Люди прекрасны, улучшать их не нужно. Не служить людям, а оказывать помощь, когда в ней нужда, и тому, у кого нужда. Категория вторая. Мой отец, Зернов. Мир и люди прекрасны, а если что плохо, можно и нужно исправить. Служение добру и есть противодействие злу, предотвращение зла. Третья. Их много. Зелинский, Фаворский, Крылов, Шмальгаузен, Бернштейн. Они не заблуждались относительно человеческой природы, какова есть, такова и есть. Исправлению не подлежит. Они вне игры. В борьбе за жизненные блага и за высокий пост в крысиной иерархии пансионата они не участвовали, отгороженные творчеством от повседневной жизни. Категория четвертая. Божьи коровки. Борис Михайлович Ляпунов – славяновед, родственник Филатова, историк Тюменев. Они ничего для себя не требовали, всем были довольны, за все благодарны. Они не только вне игры. Вне оценок. Категория пятая – рвачи.

Я рассказала Шмальгаузену о моей классификации. Лукавя, я поставила его категорию на первое место. "А по-моему, отца вашего и Зернова надо поставить на первое место", – сказал он. И в нем, олимпийце, небожителе, чуждом мечтательности, жило то самое, филатовское, толстовское, каратаевское.

Из Алма-Аты прислали академикам яблок. Целый самолет. Рядом с пансионатом находился детский дом. Он принадлежал Академии. Революция внесла изменения в устав Академии. До революции устав Академии гласил: в состав Академии входят ее действительные члены. После революции в состав Академии вошли исследовательские институты и все обслуживающие Академию учреждения: столовые, больницы и поликлиники, гаражи и фотолаборатории, ученые общества и архивы, библиотеки и детские ясли и сады. Шоферы, кухарки, сторожа, дворники и работники пожарной охраны этих институтов и учреждений очутились под эгидой Президиума Академии. Столовые и больницы для высших чинов из администрации и для академиков одни, для ученых и чиновников рангом пониже – другие, а для гегемона революции – пролетариата, то есть для рабочих и мелкой чиновной сошки – опять же другие. Гараж бесплатно обслуживает только элиту. Дети высших и низших по кастам не разделялись. Так и поныне. Академики во время войны держали своих внуков при себе. В детском доме жили эвакуированные без родителей дети прочих. Член Комитета по распределению жизненных благ, мой отец распорядился, чтобы яблоки (великолепный алма-атинский "апорт") были отданы детям. Я своими ушами слышала, как Лина Соломоновна Штерн – единственная женщина-академик – говорила, протестуя против этого решения: "Мы бриллиантовый фонд страны, а из них еще неизвестно, что получится".

Сталин не очень-то дорожил "бриллиантовым фондом" страны. Одаривал, все увеличивал и увеличивал разницу между академиками и прочими и вдруг, бац, – кто был всем, становился ничем. То тот, то иной. Среди обласканных, кому шли дачи и квартиры, икра, фазаны и крабы, кому полагался бесплатный бензин и шофер на ставке Академии в придачу к казенной машине, – хочешь сам езди, хочешь домработницу на рынок посылай, – была и Лина Соломоновна Штерн. Ее сослали в тот самый Казахстан, куда во время войны она приехала с фантастической горой огромных элегантных чемоданов. Я видела. Зрелище ее богатств на перроне в Щучьем перехлестывало в фарс. Теперь она сидела на платформе полустанка одинокая, ссыльная, нищая старуха. Это достоверность. Дальше по слухам, вполне, впрочем, правдоподобным.

К ней подошел казах: "Чего сидишь, откуда приехала?" – Его жена только что умерла, осталась куча сирот. – "Иди ко мне детей моих нянчить". Она пошла. Через несколько лет, вместе с сотнями тысяч реабилитированных восстановлена в правах Лина Штерн. Свое восстановление она с полным основанием восприняла буквально. Она явилась в дачный поселок под Москвой, в Моженку или Луцино (оба поселка академические), не знаю, в котором из них ее дарованная в свое время Сталиным дача, согнала президента Академии, академика Несмеянова,

которому ее дача предоставлена Президиумом Академии, разыскала и заставила возвратить ей ее роскошную мебель. Но со своими воспитанниками ей нелегко было расстаться. Одного из них она усыновила. И еще рассказывали, что в Кремле на каком-то приеме какой-то высокий чин обратился к ней: "Присаживайтесь, Лина Соломоновна!" – "Благодарю вас, я уже насиделась", – сказала она.

Возвращаюсь к 1941 году. Алма-атинский "апорт" послужил яблоком раздора между моим отцом и Марией Федоровной Андреевой. Конфликт разросся. После моего отъезда из Борового отец вышел из Комитета. Андреева дошла до грубостей. Мое знакомство с ней произошло, когда гроза еще только надвигалась. Горизонт уже был омрачен. "Андреева хочет посмотреть твои рисунки, – сказал мне отец. – Иди к ней, только держи ухо востро". Мои картинки – узоры в узорах, вполне абстрактные – одобрены. Готовится выставка. Мое участие не исключено. Я держала ухо востро, язык за зубами. Со мной были чрезвычайно милостивы. Но к тому времени, когда организована была выставка, я порвала знакомство с Андреевой. Она не только назначала кому что есть, не только направляла поток жизненных благ в угодное ей и ее закулисным властителям русло. Она властвовала над жизнью и смертью обитателей пансионата. Она дорвалась до крови. Пришел приказ мобилизовать молодежь, членов семей академиков и членов-корреспондентов Академии Наук на добычу угля в шахты Караганды.

Среди академиков выделялся, не укладывался ни в какие рамки, не поддавался классификации, был единственным в своем роде один академик – китаевед Василий Михайлович Алексеев. Может быть, за пределами пансионата и жили его аналоги. Заварзин, думаю, относится к той же категории, но в пределах – не попадались. Академики, в сущности, делились на два крупных таксона, два типа: на согласных довольствоваться минимумом жизненных благ ради спокойствия совести и на рвачей. Алексеев – великий свободо- и жизнелюбец, человек высочайшей морали, намного превосходившей христианскую с ее культом страдания, не относился ни к одному из этих типов. Он говорил, что не желает быть трамплином для подлеца. Свои мнения он выражал открыто. Одевался очень изящно. Любил поесть. Отец мой вегетарианец. Он не ел себе подобных. А степень подобия себе оценивал по строению сердца животного. Он не ел тех, у кого, подобно человеку, сердце четырехкамерное, а таковы млекопитающие и птицы. А рыб ел. Голод, не голод – он следовал своему принципу. Я подсмеивалась: из диеты Берга должен быть исключен крокодил – сердце его четырехкамерное. Крокодильи слезы, которые высокоорганизованная рептилия льет, поедая человека, добавляют к комизму ситуации. "Тут и с четырехкамерным-то досыта не наешься, а уж без четырехкамерного и вовсе невозможно", – сказал Алексеев, узнав о принципе моего отца. Он не хотел, чтобы его и всех прочих безропотных грабила присосавшаяся к снабжению, привилегированная клика. Трамплином для подлеца он становился, как мы увидим, скорее, чем кто-либо другой.

Вклад Алексеева в науку необозрим. Он историк, лингвист, филолог, знаток всех без исключения отраслей китайского искусства, включая те, которым нет аналогов в искусстве Запада. Четыре года своей жизни – 1907, 1908, 1912, 1926 – он прожил в Китае и коллекционировал народные лубочные картины и образцы выразительной каллиграфии. Он произвел революцию в мировом китаеведении. Это не мое мнение, а запоздалая, увы, посмертная, оценка знатоков. Он вышел из старой санкт-петербургской школы китаистов. Их интерес был прикован к чиновничьему, показному, официальному Китаю, к его придворной конфуцианской экзотике. Алексеев сделал китаеведение наукой о культуре народного Китая. Великое сострадание к нищете народа, к его каторжному труду, к его голодному существованию послужило Алексееву ключом к пониманию смысла народных картин.

Грошовая бумажная картина – непременный атрибут дома бедняка – это либо икона, заклинание, магия, либо – кичливое самопожелание, либо украшение. Чаще всего три элемента слиты воедино. На лубках религиозного содержания все три религии старого Китая – конфуцианство, даосизм и буддизм – мирно сосуществуют. Своим истоком лубок имеет весь пласт многотысячелетней культуры Китая. Его миссия – удовлетворить тягу неграмотного бедняка к древней культуре его страны. Сюжеты картин передают содержание литературных произведений подчас тысячелетней давности. Роскошь обстановки и нарядов на картинах обязательна. Альковы, диваны, подставки для цветов, этажерки – часто в виде калиграфического иероглифа, – экраны с картинами великих мастеров, древние вазы и в них цветы пиона, ветви коралла. Изображены предметы изысканного, рафинированного досуга: шахматы и показатели учености: книги, кисти, баночки с тушью. В посмертно изданном труде, посвященном народному лубку, Алексеев пишет: "Живя в мире, поделенном на два лагеря: вечно сытых и счастливых – богатых и вечно голодных и несчастных – бедняков, трудясь и недоедая весь век... китайский бедняк может видеть на картине то богатство, изящество и опрятность, которых нет в его единственно реальной действительности. Общая тема этих нарядных, красочных картин сводится к самопожеланию: Вот в каком довольстве я хотел бы жить! Да исчезнет, как марево, нищета и грязь в моем доме!... Донельзя расфранченный старый быт не похож на быт крестьянина – основного потребителя этих картин, – как изящные дамы, понимающие толк в искусстве и предающиеся изящному безделью, не похожи на его преждевременно состарившуюся жену, вечную рабу своего нищего хозяйства, неграмотную и даже не имеющую собственного имени".

Символические композиции этих картин – полнейшее пренебрежение реальностью. Детали выписаны с предельной точностью. О примитиве не может быть и речи. Сюрреализм, фантасмагория, если тот, кто смотрит – непосвященный. Вот образец: упитанный розовый младенец, мальчик с бритой головой – только два пучка черно-синих волос над висками. Синева выбритых поверхностей головы та самая, что на картине Моне, где синее небо отражается в еще мокрых от дождя крышах

кабриолетов Монмартра. За ухом мальчика веточка цветущей яблони. Сидит он на рыбе, не просто какой попало рыбе, не на рыбе как таковой, а на культурном карпе, каких в Китае разводят в прудах и выкармливают на рисовых полях – крупная коричнево-зеленая чешуя, усики, пропорции тела раскормленного питомца образцового хозяйства – ни один ихтиолог и рыбовод не придерется. В руке мальчик держит слиток золота или серебра, завернутый во что-то узорчатое, без комментария понять нельзя ни что золото, ни во что завернуто. Картина эта значит: "Да ниспошлет мне небо или все равно какая высшая сила сына, дочери не надо, вот такого жирного, нарядного, чистого, а не грязного и оборванного уличного замарашку, и да придет вместе с ним в мой дом сытость и богатство".

Первую коллекцию народных картин Китая привез из Манчжурии Владимир Леонтьевич Комаров. Тот самый, которого выдвиженец Коверга заподозрил в желании реставрировать самодержавие. Коллекция Комарова демонстрировалась в 1896 году в Географическом Обществе на пятидесятилетнем юбилее Общества. В 1947 году на столетнем его юбилее ее выставили вновь. Отец мой возглавлял Географическое общество. Он организовал празднование с великой помпой. Видно, был у него незаурядный режиссерский дар. Открытие Съезда происходило в Большом зале Филармонии. Отец во фраке. Он председательствовал. Слово для доклада о столетней истории Географического Общества ему предоставлял Леон Абгарович Орбели в форме генерал-лейтенанта, которую он носил во время войны в качестве начальника Военно-медицинской Академии. В ознаменование океанографических исследований Географического Общества вдоль сцены под органом позади кресел президиума выстроены моряки-курсанты Фрунзенского морского училища. Военный духовой оркестр при них. Воспитанников Нахимовского училища – мальчиков лет десяти-одиннадцати – провели через весь зал парадным маршем под звуки их оркестра уже после доклада президента и выстроили у подножья сцены. Приветствие от востоковедов читал Василий Михайлович Алексеев. Академики-востоковеды стояли позади кафедры: Крачковский, Иосиф Абгарович Орбели, Струве. Алексеев выступал с речью. Выступали иностранные члены Географического общества. Награждая Большой золотой медалью картографов, Берг поднял ее над головой прежде чем вручить и сказал: "Деньги, причитающиеся вам в качестве награды, получите в казначействе Общества". Казначейство – так говорили только при царе. Оркестр Филармонии давал концерт. Исполняли, в числе прочих вещей, Мусоргского "Рассвет на Москве-реке".

На другой день в залах дворца, выстроенного в 1908 году по высочайшему повелению Николая Второго специально для Географического Общества, Василий Михайлович Алексеев давал объяснения на выставке лубочных картин Китая, привезенных полвека назад Комаровым. Собственная коллекция Алексеева насчитывала тысячи образцов. Комаров привез несколько десятков. Но Комаров первооткрыватель, и ему воздавались почести.

"Только тот, кто жил в Китае, понимает, в какой страшной нищете живут в Китае народные массы и как могут возникнуть эти сны наяву, – говорил Алексеев. – Наглядно и условным языком символов изображено на народной картине все то житейское благо, которое мерещится голодной фантазии бедного человека. И русский крестьянин конца прошлого века или начала нашего, тем более бурлак, вряд ли бы украсил свою избу литографией с картины Репина "Бурлаки". Он предпочел бы изображение царевича, мчащегося на волке".

Поясню. Картина Репина "Бурлаки" изображает группу мужиков. Они через силу тащат по помочах вверх по течению реки судно. Симовл царской России. Вечный символ России.

Символика китайской картины совсем иная и намного сложней иносказаний западного искусства. Китайский лубок предназначен не только для того, чтобы на него смотреть. Он должен быть прочитан и притом прочитан неграмотным. Народная картина Китая – особого рода ребус. "Китайский язык, – говорил Василий Михайлович, – толкает на построение этих ребусов. Одно и то же слово означает разные предметы и понятия в зависимости от контекста и соседства с другими словами. Летучая мышь – "фу" и счастье – "фу". Художник изображает грозную фигуру заклинателя духов. Над ним летучая мышь. Не надо быть грамотным, чтобы прочесть: "Привлеки радость! Дай счастье!" Символика картин, основанная на такого рода совпадениях в звучании слов, известна каждому китайцу. Орхидея – символ совершенного человека, царственный аромат которого способен влиять на чутких людей, лотос – символ благородства человека, растущего из грязи, не грязнясь, бамбук – стойкость, человек, крепкий снаружи, емкий внутри. Дракон, тигр, рыба, раскрытый гранат, жаба – все имеет значение. Цветы пиона в вазе и три лимона составляют ребус: знатно-богатый цветок и три штуки плодов, т.е. богато жить, быть знатным и иметь три обилия (много лет, много денег, много сыновей) ".

Василий Михайлович рассказывал, как ему удалось добраться до смысла этой символики. Он жил в Китае. У него был учитель-китаец – репортер газеты. Он сообщал то, что печаталось во французских, английских и русских газетах. Алексеев попросил растолковать ему смысл картин. Учитель сказал, что не знает. "Одни женщины, да и то только старые, еще помнят, что все это значит". "Есть ли у него знакомая женщина, владеющая знаниями?" "Да, его собственная теща. Но она не согласится разговаривать с посторонним мужчиной, ее женское целомудрие не позволит ей встретиться с молодым человеком". "Сколько ей лет?" "Около восьмидесяти, но это не имеет значения. Женщина есть женщина". Василий Михайлович говорил с большим пиететом об этой черте китайской жизни. Даже варварский обычай богатых семей бинтовать девочкам ноги, чтобы не росли, который Алексеев осуждал, делал в его глазах китаянку привлекательной.

На выставке народных лубков были картины, изображающие розоволиких китаянок с роскошными прическами и в роскошных кимоно.

Туалеты франтих вырисованы с большой тщательностью. Красавицы, даже служанки, нарядны как феи и, конечно, все с крохотными ножками.

– Европейская старуха идет вот так, а китаянка вот так, – говорил Василий Михайлович и сменял размашистый шаг на мелкие шажки и изящно ступал, едва прикосаясь рукой – кончиками пальцев – к стене. Похож Василий Михайлович был на китайца и толст был в меру, в соответствии с идеалом китайской живописи. А по национальности он был еврей. Он осиротел в младенчестве, и его вырастил и усыновил русский рабочий Михаил Алексеев. Аристократ до мозга костей имел пролетарское происхождение. Только пользоваться его преимуществами ему мешал аристократизм. Не в коня корм, что называется.

Чтобы проникнуть в тайники народных суеверий, понять изображения на грубых картинах, как неизменно называл их его рафинированный учитель, Василий Михайлович предложил сделку. Воплощенное целомудрие будет рассказывать, что значат картины-ребусы своему зятю, а он запишет объяснения для Василия Михайловича. За это Алексеев брался делать для него репортаж из иностранных газет.

Образцы другого искусства, отпечатки с камней, где высечены отступающие от канона иероглифы, Алексеев тоже коллекционировал. Имя этому искусству – художественная каллиграфия. И оно, так же как картина-ребус, не имеет своего западного аналога. Художник-каллиграф Китая заставляет камень петь, стонать, смеяться, выражать грустную мечтательность или твердую волю. Помню вертикальную строку одного стиха – белым по черному, таков отпечаток с камня, иероглифы, так же как знаки египетских стелл, не выпуклые, они углублены. Строка кончалась иероглифом "ах". Один из его элементов похож на восклицательный знак, вольно начертанный рукой художника. А ведь не бумага и кисть, а камень и рашпиль!

В Боровом функционировал постоянно действующий семинар, где академики докладывали в популярной форме результаты своих изысканий. Алексеев сопоставлял искусство Востока и Запада. С великим почтением он говорил о целомудрии китайского искусства. Ни одно произведение искусства во всех его бессчетных разветвлениях, вплоть до надписей, украшающих стены домов, придорожные скалы и камни, не содержит ничего скабрезного. Мадонна Литта Леонардо да Винчи с ее голой грудью – ничто иное как порнографическая картинка, если смотреть на нее глазами китайца. Дамы пансионата шокированы. Теща Соболева негодовала. Оценка канонов одного искусства с позиций канонов другого казалась ей кощунством: "Мадонна Литта – порнографическая картинка. Алексеев так говорил. Мнение китайцев? Пусть и Алексеев и китайцы держат свое мнение при себе".

Василий Михайлович переводил стихи китайских поэтов в стихах. Он был не только действительным членом Академии Наук, но и членом Союза Писателей. В Боровом он организовал литературный кружок – он сам, две его дочери Люся и Муся: Любовь и Марьянна, и я. Жил он со своей полуслепой тогда женой – катаракта у нее была – египтологом

Натальей Михайловной, урожденной Дьяконовой, и двумя дочерьми. Люсе было 19, Мусе – 12. Писали мы очерки, эссе, как называл их Алексеев. Темы назначались им. Одна из тем – Ленинград. Город, куда нам, быть может, не суждено вернуться. Осажденный город, где погибло 700 тысяч человек. Где няня осталась стеречь квартиру и погибла. Василий Михайлович написал нечто совершенно по тем временам невообразимое. Петербург – город дворцов, его изысканные архитектурные ансамбли, роскошные набережные и скверы захлестнула грязная волна обездоленных людей, опозоренных, разоренных, превращенных революцией из народа в чернь. Чернь эта – там теперь – героически гибла, не сдавалась, виною ее гибели – власть. Что правда – то правда. Ведь кричали до войны: граница на замке. Будем бить врага малой кровью на его земле. А врага изображали пострашнее Гитлера – коалиция всех стран мира против первой в мире страны победившего социализма. Армии Гитлера, дойдя до Москвы, Ленинграда, Сталинграда, на их пороге утонули, захлебнулись в русской крови. Коалиция империалистических акул оказывала помощь России.

Попадись эссе Алексеева на глаза "органам", и не только партийная Штерн, а и великий знаток Китая, попали бы в тюрягу.

Я написала, что Ленинград – это те, кто там: Нина Рябинина, тонкие пальцы у виска – мигрень, Наташа Ельцина – Мадонна Ботичелли. Няня. "Ты наверное красивая была молодая?" "Смотри на мене, мене не сто годов". Сто не сто, а восемьдесят ей было. Ни дать, ни взять – теща китайца-журналиста. "Знаю, кто кого вырастил, тот того и любит", – говорила она про кого-то. "Вот ты меня вырастила. Почему же ты меня не любишь?" "Люблю, не целовать же тебе." "А почему бы и не поцеловать?" Или еще так: Сим, входя в дом, спрашивает: "Ну, как Раиса?" Она отвечает: "Лежит". Это было в конце моей аспирантуры, когда я читала Шмальгаузена. "Навещает ли кто?" – спрашивает Сим. "Ни один кобел не ходит". "Ну да!" "И впрямь, – говорит она, – приходил один мохнорылый". Няня говорила, что не умрет никогда. Она доживет до второго пришествия, когда рай воцарится на земле. А что будет предшествовать его воцарению, она описывала красочно и точно. Великий мор изничтожит грешников. Людей будет совсем мало. Человек рад будет услышать голос другого человека. Железная проволока затянет небо и железные птицы будут летать над нею, неся смерть.

Люся писала стихи. К колоннам дома, где они жили, она прижмется мокрой горячей щекой, склонив колени, лишь бы вернуться. Дом, где они жили, у Невы, на углу седьмой линии Васильевского острова, на набережной Крузенштерна у моста Лейтенанта Шмидта. Стены этого дома покрыты мемориальными досками академиков, живших и умерших в нем. Среди них мемориальная доска Василия Михайловича Алексеева. Он умер в 1951 году. Он завещал, чтобы надпись на его надгробном камне сделала я. Не пришлось. Дружба с Китаем была в полном разгаре. Приехал китаец-каллиграф и сделал надпись.

Я вспоминаю с горечью, что никогда не была на могиле Василия Михайловича и не видела его надгробного камня.

Литературный дар Люси не заглох. Когда-нибудь ее стихи будут изданы. Посмертно, как большинство из того, что писал ее гениальный отец. Она училась на филологическом факультете Ленинградского университета, но ушла как только началась война, поступила на курсы медсестер и теперь работала в военном госпитале для туберкулезных больных. Она сама в детстве болела туберкулезом – позвоночник у нее чуть-чуть искривлен, незаметно, слава Богу, очень хорошенькие обе, и Люся, и Муся. Про Люсю нельзя сказать, что она добрая. Она сверхдобрая, то, что называется блаженная. Стремление отдать силы, деньги, вещи не нуждающемуся, а первому претенденту на них, граничит у нее с патологией.

Андреева составила список мобилизованных на добычу угля в шахтах Караганды. Весь список – одна фамилия. Люся. Были и у других академиков дочери – кровь с молоком, и они не работали. На них выбор не пал. Я решила встретиться с Андреевой и отговорить ее. Дело смахивало на недоразумение. Я попросила аудиенции. Она сказала, что сама придет ко мне. Она постучала в дверь раньше назначенного часа. У меня была Муся. Я спрятала ее в шкаф. Я привела доводы, неоспоримые с точки зрения любого человека. Люся работает и мобилизации не подлежит. Ее здоровье, слепота ее матери. Она – единственный человек в семье, способный заботиться о престарелом отце. Ее брать нельзя, а если надо кого послать, возьмите меня. Воспоследовала контратака: Алексеев монархист, чуждый элемент, так вот пусть его дочь в шахте поработает. Я знала: Муся плачет в шкафу, пока беззвучно. Описанием жертв и бедствий ее семьи я могла пользоваться лишь в ограниченной степени. О гибели сына Алексеева в первые дни войны, на которую он ушел добровольцем, я пока молчала. Пришлось прибегнуть и к этой торпеде. Вотще. Тогда я сказала, – скорее, скорее, пока из шкафа не раздались рыдания, – что говорить больше нечего: нас двое в этой комнате, но старый большевик только один, и уж никак не она.

На другой день после нашего разговора с Андреевой я получила записку – я сперва не могла понять, кто, что. "Мне хотелось вас поцеловать", – кто пишет, что за наглость? Кому это вздумалось меня целовать? Записка была от Андреевой. Решение свое она оставила в силе.

Люся уехала в Караганду. Когда друзья Василия Михайловича выхлопотали для нее возможность вернуться, она была при последнем издыхании. Ее обокрали, а что осталось, сама раздала. Зимой. В Караганде. Без теплых вещей. Сами понимаете.

Вы думаете, конечно, начиная с 1949 года судьба Василия Михайловича переменилась, и его стали почитать. В 1950 году я прямо спросила, увидели ли его творения – лучшее свидетельство дружбы китайского и русского народов – свет. "Нет никакой дружбы. Одна лживая пропаганда. Как был никому не нужен, так и по сей день", – сказал он.

Когда интересы двух стран столкнулись, мы из печати узнали, нет, в печати проскользнуло, что и впрямь никакой дружбы не было. А что

помощь Мао Цзэ-Дуну была акцией антиамериканской, а не прокитайской, эта истина в печать не проскальзывала.

Много случилось в моей жизни в тот год, когда я жила в Боровом. Много хорошего. Жить я могла самостоятельно, не обременяя бюджета отца и мачехи. Стипендия докторанта мне шла. Я прирабатывала, рисуя иллюстрации к докладам академиков. Для востоковеда Фреймана я срисовывала на оборотную сторону обоев в гигантском масштабе с рукописных книг какие-то письмена, что-то очень древнее. Чем писал писец в те далекие времена? Края начертанных им знаков изгибались. Как будто по букве шла дрожь. Воспроизводить эти зазубрины, строго соблюдая пропорции, доставляло мне большое удовольствие. Иллюстрировала я и доклад Вернадского. С Вернадским я познакомилась сразу по приезде. Он пришел узнать, что происходило в Москве. Познакомилась я и с его секретарем – Анной Дмитриевной Шаховской, дочерью князя Шаховского, историка, родственника Чаадаева и его биографа. Шаховской написал о Чаадаеве книгу. О ней и о том, что она пропала, есть упоминание в книге Лебедева "П.Я. Чаадаев", изданной в серии "Жизнь замечательных людей" в 1965 году. Шаховской – нищий князь, как его называли, – доходил в своем аскетизме до крайности. Борец за демократию. Деятель Думы. В 1937 году его арестовали и он сгинул с лица земли. Анна Дмитриевна жила в Боровом со своей матерью. Она рассказала мне, что Вернадского просят сделать доклад, а он отказывается, говорит, что его не понимают. Я сказала, что надо сделать так, чтобы понимали. А для этого подготовить текст доклада, взять среднего академика и прочитать ему доклад, все, что он не поймет, комментировать и читать тогда уже всем на семинаре. Вернадский внял. В качестве среднего слушателя избрана я. Доклад "Геологические оболочки и геосферы Земли как планеты" был прочитан сперва мне, а потом академикам. Он напечатан в "Известиях Академии Наук" в 1944 году. Отец мой – ученик Вернадского, и Вернадский говорил, что я его внучка. Я иллюстрировала его доклад. Свободная атмосфера – звалась одна из оболочек Земли. "Да здравствует свободная атмосфера!" – это так, к слову пришлось. Море, Рим и Вернадский вызывали у меня сходную реакцию. Словно рамки бытия раздвигаются, словно приобщаешься к бессмертию, ощущаешь себя бессмертным. Очень сладостное чувство. Я ходила к Вернадскому задавать ему глупые вопросы. Глупый вопрос – понятие сборное: либо задавать его глупо, либо ответ может быть только глупым. Обычно люди мгновенно распознают лукавство и отказываются отвечать. С такими людьми скучно. Гений не подозревает в собеседнике лукавства, не видит подвоха и ни один вопрос не считает глупым. "Люди хорошие или плохие?" – спрашивала я Вернадского. "А здесь в Боровом живут хорошие люди или плохие? Кто победит в войне? Сколько времени она продлится? Будут ли еще войны или эта – последняя?" Вернадский говорил, что люди хорошие, а здесь в особенности хорошие. Война скоро кончится победой России и будет последней. Но вот я спросила: "Живые вирусы

или мертвые?" Вернадский сердито сказал, что людям давно надо было бы понять, что существуют мезоморфные состояния. Мезоморфные, то есть промежуточные. Промежуточные между жизнью и смертью... Хотела я добыть определение жизни Вернадского, но не добыла. И еще Вернадский рассердился, когда я сказала, что я думаю не мозгами, а ионами кальция.

Когда в 1940 году Сталин ввел суровейшие наказания за прогулы и опоздания, я заболела. Попасть на работу к сроку стоило неимоверных усилий и времени. Ехала с Бронной на Калужское шоссе я на автобусе с пересадкой. Автобусы шли один за одним переполненные и пассажиров не брали. Получасом позже можно с легкостью добраться. До приказа Сталина я приходила позже и сидела до поздней ночи, но теперь Шмальгаузен попросил меня приходить в положенное для сотрудников время, хотя докторанты имели свое расписание. "Боюсь, – сказал, – как бы чего..." За пятнадцатиминутное опоздание полагалась тюрьма. Генетика шла к гибели. Меня, конечно же, караулили. Начались у меня кошмарнейшие мигрени. Пришлось взять бюллетень – врачебное свидетельство о временной нетрудоспособности. Прописана мне ионизация мозгов. Пропускали через мою голову ток, который нес ионы кальция. Мигрени как были, так и были, но произошло форменное чудо. Мозги мои заработали как никогда ни до, ни после не работали. Я за полтора месяца написала 5 статей. Кончилась электризация – пришел конец моему подъему.

Были у нас и серьезные разговоры. Вернадского интересовали вопросы симметрии. Момент возникновения жизни на Земле он связывал с возникновением ассиметрии в строении белковых молекул. Мои двухмерные узоры интересовали его. Он называл их – ассиметрия на плоскости. Вернадский говорил мне, что нужно использовать меченые атомы для познания самовоспроизведения хромосом. Его мысль на 15 лет опережала свое время в области, где он не был специалистом. Воплотить его мысль русским генетикам не пришлось.

В Боровом я познакомилась с Глебом Максимилиановичем Кржижановским и его женой Зинаидой Павловной. Я увидела их впервые на выставке. Андреева допустила меня.

Вход платный для всех кроме школьников и красноармейцев. Сбор средств на танковую колонну.

Две профессиональные художницы жили в пансионате: дочь Зернова – Екатерина Сергеевна Зернова и жена Зелинского, забыла ее имя и отчество. Сын ее Андрей – десять лет ему было – очень моими картинками восхищался, смотрел, как я рисую. "Это черная ревность", – говорил он про одну, вполне абстрактную. Черные и узорные клубы дыма и гари, если угодно. Я встретила его и его мать в Никитском Ботаническом саду четверть века спустя в 1966 году. Андрей стал историком. Мы все также с полслова, без слов понимали друг друга. Я тогда в канаву упала, чуть было не расколола череп. Зелинская оказывала мне первую помощь. Вполне успешно.

Коренник выставки – Зернова. Допущенные к выставке дилетанты – Филипп Исаакович Коп и я. Филипп Исаакович заведовал лабораторией, где делали анализы крови, мочи и кала. Он отказывался обслуживать академиков без очереди: "А мне все равно, чья моча, Бурденко или еще чья-нибудь". Все кроме меня – художники-пейзажисты или портретисты. Манера реалистическая, содержание вполне аполитичное. Дело было на открытии выставки. "Ну, это уж совсем нечто бессодержательное!" – прямо-таки воскликнула Зинаида Павловна, увидев мои творения. Я стояла тут же, в шубе, больная, злая. Инфекционная желтуха у меня была. Мыши ее разносят. Я мышей жалела, но хлеб свой очень от них берегла. Но, видать, не уберегла. Художник-абстракционист с желчью в крови, в военное время, в эвакуации. Меня и без брани непрерывно тошнило. Некоторые жены некоторых академиков очень изощрялись в оскорблениях. Были у меня, у моего искусства поклонники. Даже гораздо больше, чем у других, постоянно заплевываемых художников-абстракционистов. Новаторство, отказ от изобразительности в живописи, абстракционизм обычно сочетаются с новаторским пониманием красоты. Новизна, возведенная в степень. Нечто, для непривычного глаза совершенно неприемлемое. Я – абстракционист восемнадцатого века. Мое понимание красоты абсолютно архаическое. Восходит к чугунным решеткам набережных, оград и балконов Санкт-Петербурга, к швейцарскому шитью простреленной немцами юбочки. Иные враги абстракционизма делали для меня исключение. Но абстракционизм есть абстракционизм. Ожидание, радость распознать изображенное он обманывает и вызывает негодование. Зрителю кажется, что его мистифицируют. Замечу, между прочим, что его нередко и в самом деле мистифицируют. Только не я. Труд, вколотый в мои картинки, налицо. Самые беспощадные критики художников-абстракционистов – художники-реалисты, а уж о тех, кто владеет броней и оружием социалистического реализма, и говорить нечего. "Вас не понимают, – говорила мне Екатерина Зернова, – а раз не понимает народ, значит плохо". "Вы думаете, вас понимают?' – спрашивала я. – Вот картина у вас есть небольшая – волы. Сгрудились, лежат, несколько. Контур один. Рыжие все. Кругом холодная, голубая, сизая степь. На горизонте низкие горы. Солнце. Контур воловьей груды еще горит, освещенный последними лучами. Только он один. Очарование. Подходит зритель. Что изображено? Волы. Он понял. Пошел дальше. Если вас такое понимание устраивает – я вас поздравляю: вас понимают все. Только я думаю, если кто вас действительно понимает, тот и меня понимает, а вы не даете себе труда". Княгиню Шаховскую на выставку под руки привели, ей под девяносто было. Вот это был критик, так критик! Проблемы соцреализма ее мало интересовали. "Эти, видать, ранние: талант еще не созрел. Последние мне больше по душе. Очень сдержанная экспрессия. И техника совершенствуется со временем", – говорила она. Алексеев уже не на открытии выставки, а потом, увы, в мое отсутствие, лекцию прочитал скептически настроенным красноармейцам об условности всякого искусства.

Но и художник художнику рознь. В 1936 году, за шесть лет до описываемых событий, мои картины видел Филонов. Когда свершится в России величайшая из величайших перемен и будут сброшены с презрением и негодованием цепи официальной идеологии, раскроются подвалы Русского музея, и великолепные полотна Филонова будут показаны народу, для которого он творил.

Филонов – ярчайшая звезда среди созвездий русского Ренессанса, художник одного ранга с Ван Гогом и Рембрандтом.

Брат Юрия Александровича Филипченко, паразитолог Александр Александрович Филипченко, и его жена прослышали о моих картинках и пожелали их увидеть, а увидав, решили показать Филонову. Стены комнаты, где принимал нас Павел Николаевич Филонов, завешаны его картинами. Фантастические города, заселенные животными с человеческими глазами, бесполые голые человеческие пары, танцующие под открытым небом на фоне небоскребов. "Меня не понимают, – говорил нам Филонов. – Я бичую порок – мне говорят, что это порнография. Я рисую узоры на лицах людей и на животных, потому что это красиво, а мне говорят, что я не умею рисовать и прибегаю к уловкам. И я решил показать им, что я умею рисовать". Он указал нам на низко повешенную картину. Сорок четыре года хранится в моей памяти это изумительное, это жалкое произведение искусства. Краски его не меркнут, контуры не стираются. Лубяное лукошко и два яйца на ничем не покрытом столе. Одно яйцо побелее, другое розовато-желтое. Казалось, картина излучает свет, ощущение пространства, вера в реальность порождают почти непреодолимое желание протянуть руку в уверенности, что лукошко загородит ее. "Они говорят, что я отстал от жизни, от технического прогресса. Я нарисовал радиоволну". И радиоволна не в стиле Филонова, но и она великолепна. На интенсивно-красочном фоне, на его темной движущейся радуге нарисованы лица простых людей, замерших в напряженном внимании. Один поднес ложку ко рту и застыл, слушая. "Меня поймут, – говорил Филонов, – настанет день и Сталин войдет в эту комнату". Филонов бледный, худой, высокий, с очень темными глазами. Одет очень бедно. Он происходил из народа, цель его – создать народное искусство. Он не только создавал свои шедевры – картины, но и писал трактаты об искусстве будущего. Одна-единственная персональная выставка его произведений состоялась в 1966 году в Сибири, в Академгородке. Сестры Филонова привезли его картины, прежде, чем передать их в запасники Русского музея. Несколько лет спустя писатель Гранин хвастался мне, что видел. "Я спрашиваю хранителей: почему не выставляют, – рассказывал Гранин, – говорят, что тогда все прочее надо снять, совсем плохо выглядит рядом с Филоновым". Запасник Русского музея вроде закрытого распределителя – пускают только избранных. Это и есть та самая фантасмагория, которую Филонов хотел низвергнуть своим искусством.

В Доме ученых Академгородка со стен его прекрасных выставочных помещений смотрели на меня человечьими глазами узорчатые вдумчивые животные. Были и бесполые голые люди и несколько абстрактных

картин – потоки цветных геометрических фигур – воплощенная музыка, динамика и покой, слитые воедино. А "Лукошка" не было, как и "Радиоволны".

Выставка не сошла с рук поклоннику Филонова. Устроил ее Макаренко, заведующий художественным отделом Дома ученых Академгородка. Преступления Макаренко, как и радости, им доставляемые, неисчислимы: Фальк, Гойя, Неизвестный, Шагал. Выставка Фалька прошла без шума. Хулитель Фалька Хрущев из вершителя судеб превратился ко времени ее открытия в пенсионера. Изобличительные гравюры Гойи украсили выставочные залы клуба ученых. Актуальность этих гравюр предельна. Хозяйка, выметающая из кухни огромной метлой ощипанных догола живых цыплят, и ведьмы, мчащиеся по небу на свой шабаш. Макаренко едва избежал ареста. Прямых обвинений не предъявишь – прибегли к провокации. Одна из гравюр исчезла. В ответе – Макаренко. Но он извернулся – с помощью ищейки нашел гравюру и изобличил провокаторов. Выставка Неизвестного закрылась до открытия. Ад Данте. Чаша терпения полководцев идеологического фронта переполнилась. Мне посчастливилось видеть это чудо искусства. "Бежим, – сказал молодой человек, прибежавший за мной из Дома ученых, – повесили, но обком велел не открывать. Еще висит". С Шагалом дело дальше переписки не пошло. Макаренко по сфабрикованным обвинениям был приговорен к семи годам лагерей. Теперь он на Западе.

В 1968 году участь выставки Неизвестного постигла выставку Филонова. Молодой художник в самолете Новосибирск – Ленинград рассказал мне, что Академия художеств в Ленинграде устроила выставку и доклады. Запрещение пришло, когда публика уже собралась.

Филонову понравились мои картинки. Он хотел, чтобы я стала его ученицей, профессиональным художником. Славы он мне не предрекал. "Будь вы в Париже, – сказал он, – вас объявили бы мессией новой графики, а здесь ничего не будет". Он идеализировал Сталина. Он идеализировал Париж и мое искусство. Ни Филонова, ни Александра Александровича Филипченко я не видела больше никогда. Александра Александровича в 1937 году арестовали, жену его сослали, и их не стало. Филонов погиб третьего декабря 1941 года в осажденном Ленинграде. Сталина он не дождался.

В отношении народа Зернова заблуждалась. Народом иные называют менее образованные слои населения. Понимание искусства от образованности не зависит. Я получила свидетельство народного признания.

Мое пребывание в Боровом портило отцу его миссию служения людям. Предполагалось, что его аскетизм распространяется и на членов его семьи. И вот, как ни кинь – все клин. К себе в комнату взять – так ведь мачеха. Комнату предоставить – не по чину. Да и не было у него этих комнат. Люди приезжали, девать их некуда. Энтомолог Кузнецов, сослуживец отца по Зоологическому институту, спасся из осажденного Ленинграда и жил с семьей в палатке. Меня переселяли и переселяли. На одном из промежуточных этапов моего кочевья я жила в

деревянном флигеле в маленькой комнате. Дверь выходила в коридор. Я писала последнюю из серии статей, посвященных мушиным популяциям. Желтуха не проходила. Настроение соответствующее. Вдруг без стука входит женщина: "Разрешите войти". "Так ведь вы уже вошли без разрешения." "Нет, я не о себе. Я о товарищах." "Пожалуйста." Дверь открывается, толпа заполняет комнату и коридор. "Кто вы такие?" "Мы повара. Мы на курсах здесь. Повышаем свою квалификацию. В военных госпиталях будем работать." "Чем же я могу быть вам полезна?" "Мы кончаем. Благодарность преподавателям хотим выразить. Написать и разрисовать надо." "Вы не по адресу обратились. Идите к Зерновой. Она нарисует повара в белом фартуке и кастрюльку с прыгающей крышкой, и пар будет из кастрюльки вырываться." "Нет, мы хотим, чтобы вы нарисовали. Мы на выставке ваши рисунки видели." "Вам, наверное, кажется, что узоры рисовать легко. Такая работа денег стоит." "Любые деньги." Я разрисовала и выполнила калиграфически три адреса. Очень мне приятно об этом вспоминать.

Алексеев и Кржижановский много лет спустя попросили меня нарисовать для них картины. Я нарисовала.

Прибавьте девочку-армянку ереванского вокзала и ее горсть семечек – получится народ.

Люся хранит картины, подаренные мною ее отцу. В особняке на улице Осипенко, где жил Глеб Максимилианович Кржижановский, посреди его кабинета стоит тумбочка карельской березы. В нее под стеклом вмонтирована моя картина. Стоит, пишу я. Так, если огромный, отделанный деревянными панелями кабинет Глеба Максимилиановича сохранен для потомства, что весьма вероятно, и если, что маловероятно, его содержимое не подверглось цензуре. Посмертная маска Ленина в стеклянном кубе, портрет Дзержинского с дарственной надписью и моя "ассиметрия на плоскости". Показывая мне реликвии своего кабинета, Глеб Максимилианович говорил, указывая на Дзержинского: "Дон Дзерджинио-До-Гепеу".

На выставке в Боровом в ответ на восклицание Зинаиды Павловны о бессодержательности моих картин, Глеб Максимилианович возразил: "Нет, Зинушка, это, может, Коперник в живописи появился". Невдомек ему было, что Коперник стоит тут же рядом. И не знал Кржижановский, что он льет целительное зелье на широко раскрытые раны, обильно посыпанные солью.

Знакомство наше состоялось позже перед самым моим отъездом из Борового, после собрания всех обитателей Борового, работающих в Академии. "Вы кто такая, что-то я вас не знаю, – сказал Кржижановский при выходе. – А! Дочка Льва Семеновича Берга, знаю, на лешего похож, славный такой". В 1942 году мое общение с Кржижановским этими его словами и ограничилось.

Мое пребывание в Боровом подходило к концу. Меня взяла к себе Анна Дмитриевна Шаховская, и я жила с ней и с ее матерью в одной комнате. Анна Дмитриевна вскорости отправлялась за своим маленьким племянником в Малоярославец под Москву. Без слов ясно: мне

надлежит освободить помещение до их приезда. Я уехала до отъезда Анны Дмитриевны.

Князь Дмитрий Шаховской имел двух дочерей. Наталья Дмитриевна – детская писательница. Писала она биографии ученых. Те, кто читал, говорили, что очень талантливо. Она вышла замуж за еврея по фамилии Шик. Муж ее крестился и стал православным священником. Его арестовали, и след его исчез. Наталью Дмитриевну выслали из Москвы "на сто первый километр". Магический круг очерчивал Москву на расстоянии ста километров от нее. Верноподданным разрешалось оставаться в его пределах, а семьям врагов народа – нет. Самих врагов народа чертово колесо сталинской охранки отшвыривало далеко за пределы запретной зоны, чаще всего за пределы бытия. Наталья Дмитриевна с четырьмя детьми и свекровью поселилась в Малоярославце на расстоянии ста одного километра от Москвы. Немцы заняли Малоярославец, Наталье Дмитриевне объявлено, что свекровь ее и дети подлежат уничтожению как евреи. Религия не имеет значения, важна кровь. Им запрещено брать воду из колонки. В них стреляли. Маленький, семилетний, тот, за которым Анна Дмитриевна собиралась ехать, заболел после облавы. Свирепствовали молодые – Hitlerjugend. Немцы постарше жалели детей и даже тайком подкармливали. Немцы бежали из города, не успев уничтожить евреев. Семья погибала от голода. Спасение пришло от старухи. Она умирала на улице. Родственники вышвырнули ее из дома. Наталья Дмитриевна подобрала ее. Старуха умерла на руках Натальи Дмитриевны. Она завещала ей клад: сундук с серебром. Наталья Дмитриевна умерла вскоре после войны от туберкулеза.

В Боровом ее мать – княгиня Шаховская – писала мемуары. В 11 часов свет отключали. Княгиня по ночам не спала и жаловалась дочери на судьбу. Пописала бы. Лампа, керосин и свечи есть. Спичек нет. Мое присутствие упоминалось в числе бед и притеснений. Меня она не винила – стихийное бедствие. Спички, как и все остальное, давали по карточкам, а карточек у нас не было. Нас снабжал всем необходимым пансионат. Поселковый магазин к счастью не только продавал – "давал", но и покупал – "брал". Это "дают" вместо "продают" полно смысла и значения. Деньги – ноль, вот что значит это "дают" со всеми вытекающими последствиями. "Дают" – ключ к пониманию политэкономии социализма. За сколько-то там, не помню, килограммов груздей и рыжиков, вычищенных и вымытых, – и чтобы ни одного червивого, само собой разумеется, – готовых для засолки, кроме денег полагалась премия: коробок спичек. Собранные грибы я мыла в озере. И стало чем зажигать керосиновую лампу. Я уезжала из Борового в октябре и увозила мух. Они прекрасно пережили эвакуацию. Повар курорта варил им корм и разливал его по пробиркам.

СТАЛИН – СОЗДАТЕЛЬ ПЛАНА ГОЭЛРО

Конец 1942 года. Голодная, холодная Москва. Смерть Филатова. Битва под Сталинградом. Как и предсказал Дмитрий Петрович за несколько дней до смерти, сталинградская победа Красной Армии предопределила исход войны. Становилось все яснее, что силы Германии необратимо подорваны. Воздушные налеты стали редкостью. Противовоздушная оборона работала отлично. Люди возвращались из эвакуации. Общежитие на Бронной заполнялось людьми, их дружбами, их дрязгами. Ученым дали привилегированное снабжение. Вернулся Шмальгаузен и привез с собой настоящего волка.

Статьи, написанные в Боровом, выходили одна за одной из печати. Итог экспериментальным исследованиям подведен. Я засела за введение к докторской диссертации. Написала я большую книгу. Меня интересовали не одни только популяции. Вид, как целое, занимал мое воображение. Скопления сходных организмов все вместе взятые, как бы далеко друг от друга они не селились, образуют единый вид. На арену межвидового соревнования вид выступает как единое целое. Лисицы или ромашки, дрозофилы или осьминоги определенного вида – это не толпы, а боевые когорты. Соревнование идет по способности сохраниться. Но только ли сохраниться? Иной раз нужно остаться самим собой, сохранить достигнутое совершенство, отсечь все новшества, чтобы не сгинуть с лица земли. Но порой только изобретательство и спасает. Человек совершенствует технику. Животные и растения – самих себя. Изменение – риск, кто идет на него подчас побеждает. Виды соревнуются друг с другом по способности меняться. Гармоничное преобразование – достояние победителя. Сама способность меняться совершенствуется.

В азартной игре, где игроки – миллионные армии, ставка – новшество. Проигрыш – вымирание. Выигрыш – расцвет. Процветают те сонмы, которые сумели в процессе смены поколений использовать с наибольшей выгодой для себя возникающие мутации. Миллионы видов погибли. Добрый десяток миллионов сохранился. Выжили, значит достигли премудрости преобразований. Межвидовое соревнование, из которого они вышли победителями, – суровая школа эволюции. Гармония природы уходит корнями в межвидовую борьбу. Нет более непримиримых конфликтов, чем столкновение интересов близких видов. Либо строго размежевать сферы влияния, либо уничтожить друг друга. Между представителями одного вида отношения совсем другие. Диапазон огромен. От смертельных схваток, от каннибализма, где поедаемые – собственные дети, до полного отказа от борьбы, до самопожертвования. Групповое соревнование со смертельным исходом для побежденного идет и внутри вида. Популяции соревнуются по темпу и качеству преобразований.

Межвидовой отбор консолидирует вид. Межгрупповой отбор внутри вида делает популяцию целостной системой, направляет изменчивость в определенное русло, снимает с нее элемент случайности.

Книга, написанная мной в 1943 году, называлась "Вид как эволюционирующая система". Она никогда не увидела свет. Ее можно издать и сейчас под названием "Представление о целостности вида в трудах ученых первой половины двадцатого века". Мои изыскания вошли в текст как скромный ингредиент. Они показали, что делается с генетическими свойствами популяции, в частности, с частотой возникновения мутаций, если межгрупповое соревнование ослаблено или исключено.

Я не успела завершить диссертацию, как истек срок докторантуры, и меня отчислили. Отчисление означало: меня выселяют из общежития, и я лишаюь карточек и зарплаты. Пришлось помытарствовать, но Шмальгаузен уладил дело, и я получила две должности: доцента Московского университета и старшего научного сотрудника того самого Института эволюционной морфологии животных, где я была до того докторантом. Зимой в начале 1944 года я решила отправиться в дом отдыха под Москвой. Привилегированное это место называлось "Узкое". Несчастная идея. Счастливая идея. Несчастная: денег на путевку у меня не было, но это еще полбеды. Отдых мне решительно противопоказан – начинаются мигрени и конца-края им нет. Счастливая: в "Узком" я встретила Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жену Зинаиду Павловну. Деньги я раздобыла. Полученные по карточкам селедки, водку, американскую свиную тушенку, – есть их мне препятствовал мой все не унимавшийся гепатит, перешедший в хроническую форму, – продала по спекулянтским ценам девушка-почтальон. Вырученных денег не хватало. Решила занять у Шмальгаузена. "Дайте 600 рублей", – говорю. "Нет денег, – говорит, – однако уладим". "Мадам, – позвал он свою жену – прекрасную, великой доброты Лидию Дмитриевну, – есть у нас две бутылки водки? Дай ей". Потом он обратился ко мне: "Только, будьте добры, верните бутылки, а то в распределителе, где мы прикреплены, требуют сдать бутылки, а без этого водочные талоны не отоваривают". Девушка-почтальон – буду век благодарна – принесла мне деньги, 600 рублей и пустые бутылки. 600 рублей – это размер моей докторантской стипендии. Путевка стоила 1800 рублей. Пребывание – месяц.

Магазины, где отоваривают продуктовые и промтоварные карточки, расписаны по чинам. Только и разговора среди высоко- и среднечиновных: "Вы уже прикрепились? Где?" Моя приятельница – художница Вера Федоровна Матюх говорила: "Миноги так, должно быть, разговаривают при встрече: где намерены прикрепиться?" Очень емкий образ. Миноги полухищники-полупаразиты. Зубастыми присосками они прикрепляются к жертве и сосут кашицу из измельченных тканей.

В "Узком" я встретила Отто Юльевича Шмидта – академика, Вице-президента Академии Наук, героя, полярного исследователя. Я рассказала ему, что пять лет назад я в Армении, в Дилижане видела мальчика,

названного Шмидтом в его честь. Он сказал, что он ехал в поезде по Армении, и на станциях его встречали пионеры с оркестрами. Это в то самое время, как я отказалась подвергнуться экзамену по верноподданничеству, куда входило знакомство с "покорением Севера". Но об этом я в разговоре с покорителем Севера помалкивала.

Глеб Максимилианович Кржижановский и Зинаида Павловна умели мастерски рассказывать. Про Зинаиду Павловну Глеб Максимилианович говорил: "Она у меня артистка – Ермолова вторая". Зинаида Павловна рассказывала, как дочь Сталина Светлана в университет поступала. Ей говорят: "Опоздали, экзамены закончены". "А мой папа хочет, чтобы я поступила на исторический факультет". "На историческом переполнено. В виде исключения можно допустить к экзамену на экономическом факультете". "А мой папа хочет, чтобы я поступила на исторический факультет". "Папа, папа... Да кто он такой ваш папа: и то ему подай и другое. Сталин!? Ну, сразу бы сказали, так и разговору бы не было". Глеб Максимилианович – поэт и жизнелюб. "Я родился в рубашке", – говорил он мне. "Да какая там рубашка – ссылали вас", – говорила ему я. "Ссылка для меня – одно удовольствие. Я в ссылке с Лениным вместе был. И Зинушка ко мне приехала. Члены выездной сессии суда были ее попутчиками. Один из них явился ко мне и говорит: "Я ухажер вашей жены. Что теперь делать?" "Что делать, – говорю ему я, – на дуэли драться, к барьеру, батенька, к барьеру". Зинаида Павловна прерывала его сердитым голосом: "Совсем ты, Глеб Максимыч, заврался. Ведь вот какой брехун стал. И какого такого ухажера выдумал?" Глебася, Глеб Максимыч, Глеб Максимилианович – имена избирались ею смотря по обстоятельствам. Негодование Зинаиды Павловны доставляло Глебу Максимилиановичу явное удовольствие.

Другой раз он показывал мои картинки своему знакомому, директору Института автоматики и телемеханики Коваленкову и говорил: "Показывает это она свои картинки своему поклоннику и говорит ему: "Вот это изображение тех чувств, которые я питаю к вам". А он отвечает: "Меня такие чувства никак не устраивают, я совсем о другом мечтаю". Зинаида Павловна так и взвилась: "Да почем ты знаешь, брехун ты этакий, о чем они говорили – 'Он сказал, она сказала...' – сам все выдумал, ни одному его слову верить нельзя". Коваленков мягким голосом говорил: "Слова Глеба Максимилиановича – иносказания, художественная правда, арабески, подобные этим рисункам". Глеб Максимилианович сиял. Режиссура его. Мы актеры.

Но и в пренеприятнейший инцидент вовлекла меня его общительность. Я рассказала ему, что в столовой дома отдыха у меня сперва были одни только превосходные соседи по столу – две дамы постарше меня, очень обе славные, одна из них красавица Надежда Исаевна Михельсон, редактор академического журнала, где печатаются мои статьи. Но потом за нашим столом очутился художник Яковлев – портретист Ленина, и я стала мишенью его выпадов. До того, как я успела произнести хоть единое слово, он точно знал, что я из себя представляю, – воплощение нигилистического невежества, представитель молодежи, у которого,

кроме молодости, нет ничего за душой, преисполненный презрения к старшему поколению и ко всем культурным ценностям прошлого. Он вещал, а потом обращался ко мне: "Вы, конечно, со мной несогласны", – и дальше шло объяснение, почему именно. Дамы вежливо и сконфуженно молчали. Я попыталась было вякнуть, что он не обладает достаточной информацией для суждения обо мне, – только масла в огонь подлила и замолкла. Я стала приходить попозже, чтобы избежать встреч с ним. Он тоже стал приходить попозже. "Что, не вышло? – говорил он. – Правда-то – она глаза колет!" Но тут от хорошей жизни: ни одной бомбежки, еда четыре раза в день, тепло, светло – у меня начались отчаянные мигрени, и я не могла есть и в столовую не ходила.

Все это я рассказала Глебу Максимилиановичу. "Покажите Яковлеву ваши рисунки, – сказал он. – Послушайте, что он скажет". "Предсказываю, – говорю я. – Наговорит чудовищных грубостей". Так и вышло. Но среди потока брани – робкое подражание тем и тем – я имен этих не слыхала, когда рисовала, – а только потом – Чурленис, Чехонин, да и не похоже совсем, – чисто внешняя взволнованность и т.д. и т.п., прозвучали слова, которые я считаю наилучшей похвалой, когда-либо произнесенной в мой адрес. Яковлев сказал презрительным тоном: "Вы умеете сочетать черное и белое". Пушкин в письме не помню кому приводит слова своего критика: "Произведения Пушкина не обладают ни малейшим достоинством, единственное, чем он владеет, – уменьем употреблять слова в их истинном значении". Пушкин восклицает, что о более похвальном отзыве и не мечтает.

Глеб Максимилианович, узнав, что я была права, сказал, что критика профессионала, какова бы ни была – драгоценна. Я придерживалась другого мнения. Несколько дней спустя мы с Кржижановскими гуляли по заснеженным рощицам и встретили Яковлева. Глеб Максимилианович приветствовал его очень вежливо и сказал, что слышал его отзыв о моих рисунках. Тон его выражал симпатию и ко мне, и к моим рисункам, и к отзыву профессионала. На этот раз его режиссура не сработала. Актерский талант Яковлева не оставлял желать лучшего. Только плясать под чужую дудку он не собирался. Задавать тон надлежало ему. Он задавал его молча. Своим молчанием, своей шокированной миной он показывал: ничтожество, о котором вы говорите, не заслуживает ни малейшего внимания исторических личностей: ни моего, ни вашего. Он очень вежливо осведомился о здоровьи Глеба Максимилиановича и мы разошлись. Кржижановский не преуспел в своем миротворчестве, но и Яковлев не убедил Кржижановского указать мне мое место в иерархии. "Я выбросил его из моего сердца", – сказал Глеб Максимилианович после этой встречи.

Прошло два дня. В назначенное время я постучала в дверь комнаты Кржижановских, чтобы присоединиться к ним на прогулке. Зинаида Павловна приоткрыла дверь и сказала: "Какая там прогулка? Помирает ваш Глеб Максимилианович". Иду прочь, плачу. И в этот самый момент встречаю Елену Павловну Разумову. Великий дар врача-кардиолога вознес Елену Павловну на должность директора академической

поликлиники. Но поликлиника эта обслуживала не академиков, а прочих. Врачи, не умеющие делать карьеру, будь они хоть чудотворцы, хоть боги, к академикам доступа не имеют. Прочий прочему рознь. Обитатель загородного дома отдыха, по вызову которого явилась Елена Павловна, всесильный заведующий гаражом Академии Наук – кого хочу, того и обслуживаю – реальная заработная плата академиков, всех, кому по чину полагалась машина от Академии, и всех, кому машина по чину не полагалась, в значительной степени зависела от него.

– Елена Павловна, – говорю я, – идите вот сюда. Глеб Максимилианович Кржижановский здесь помирает". Она пошла.

Через два дня мне было передано, что Кржижановские зовут меня прийти. Глеб Максимилианович в халате и ночных туфлях сидел на кровати и сиял. "Стихи вам писал, – сказала Зинаида Павловна, – бумаги сколько перепортил". На бланке академика чистенько написаны стихи. Назывались они "Арабескам" и имели прямое отношение к истории, в которую меня втравил Глеб Максимилианович. Автор "Варшавянки" написал:

Пусть мудрецы тебе твердят:
Нам непонятен твой загад,
Иди дорогою своей,
Иди вперед смелей.

Прекрасны жизни арабески,
Как волн вздымающихся блестки,
Немало в жизни вещих снов –
Загадок для глупцов.

Тому, кто полон лишь оглядкой,
Вся жизнь останется загадкой.
Мы дети. Мудрость впереди.
Борись, твори, надейся, жди.

В "Узком" отдыхала в ту пору группа историков из Института истории Академии. С ними у нас дебаты. Историки лишены возможности иметь свое мнение. Я в лучшем положении. Я не только в качестве ученого другой специальности могла иметь свое мнение, конечно ошибочное, но я могла безошибочно предсказать их мнение. Источник одинединственный, и знать его надлежало не одним историкам, а всем без единого исключения. Сколько времени продлится война? Сталин вот уже более двух лет тому назад сказал: полгодика, годик, и Германия рухнет под тяжестью своих преступлений. Он очень был напуган тогда – вождь и отец народов всего мира. Братья и сестры, обращался он к обездоленному народу, и голос его дрожал, он говорил с сильным грузинским акцентом, и было слышно, что он пьет воду, и вода булькала в его горле. В январе 1944 года на вопрос, сколько времени продлится война, историки отвечали: полгодика, годик, и Германия рухнет

под тяжестью своих преступлений. Многое зависит от решений Рузвельта и Черчиля, от того, когда откроется второй фронт. Я говорила, что длительность войн, как и длительность промежутков между ними, подчинена законам. Не случайно первая мировая война длилась четыре года. И эта война продлится столько же. Интенсивность исчерпания экономического и военного потенциалов и людских ресурсов теперь больше, чем тогда. Нынешняя война должна быть короче. Но могучий фактор сокращения сроков войны теперь отсутствует. Нет революционного движения в тылах воюющих армий, нет братания в окопах, потерял притягательную силу лозунг "пролетарии всех стран, соединяйтесь". Нынешняя война продлится четыре года. Историки, как один, а их было четверо, говорили, что мое утверждение – идеализм. Слово это – идеализм – они употребляли как синоним заблуждения, а не как примат духовного начала над материальным. "Ваша концепция идеалистическая, – говорила я им. – Моя же разве что могла бы быть названа механистическим материализмом, но никак не идеализмом. Вы ставите сроки войны в зависимость от воли людей, стоящих у власти, я же анализирую причины как экономические, так и психосоциальные, длительности войн. Кто же из нас идеалист?" Глеб Максимилианович – инженер-энергетик, не историк – был на моей стороне.

Летом 1944 года Глеб Максимилианович увез меня к себе на дачу в сосновый бор на Николиной горе. Дача – не его собственность, а пожалована ему в пожизненное пользование. Бор окружал ее. И не выходя за ограду, можно собирать лесную землянику. Глеб Максимилианович сорвал цветок и спрашивает меня: "Это что такое?" Я тогда не знала, а теперь, став от горя ботаником, по памяти могу определить растение, которое он показывал мне тогда. Это была Veronica longifolia. "Вот, не знаете. А Бухарин знал. Птиц по голосам узнавал", – говорил Глеб Максимилианович. И он, и Зинаида Павловна, и ее сестра Мария Павловна, и брат – все старые большевики – знали и любили Бухарина. Глеб Максимилианович говорил, что и Ленин любил Бухарина. "Испортят мне моего Бухарчика", – говорил Ленин с сожалением.

Нечто от королей в изгнании было в этой жизни. Очень близко от солнца и все же в отдалении. Наиболее знатная фигура из четырех обитателей дачи не Глеб Максимилианович, а сестра Зинаиды Павловны – Мария Павловна. Дочь ее замужем за Маленковым. "Преемник Сталина", – говорил про Маленкова Глеб Максимилианович.

На другой день после покушения на Гитлера к даче подкатил великолепный кремлевский ЗИМ, и шофер, будто специально подобранный по аристократической красоте и осанке, протянул Глебу Максимилиановичу из окна машины газету с этим известием. Машина послана из Кремля за Марией Павловной.

Все четверо милы беспредельно. В меру возможностей царские милости сыпались на окружающих. У сына кухарки болят зубы. Глеб Максимилианович вызывает машину из гаража Академии и жара – не жара везет его к врачу в Москву.

Еще зимой в доме отдыха, когда гуляли по заснеженным дорогам, встретили раз мальчика в огромных рваных сапогах. Он нес стеклянную банку с мутной жижей. "Суп из столовой несет. Голодают", – сказал Глеб Максимилианович.

Здесь на Николиной горе я называлась "Арабески" или еще "Чайна уикли". Последнее из-за шляпы с полями. Прелесть что за шляпа была пока не промокли мы, собирая грибы с Глебом Максимилиановичем и Павлом Павловичем. Поля шляпы безобразно и как-то экзотично отвисли, и я стала называться "Чайна уикли" – китайский еженедельник. Промокла, конечно, под тем дождем не одна шляпа, но и единственное платье. Разговора никакого не было. Меня уложили в постель среди белого дня и пока я, как убитая, спала после трехчасовой, по крайней мере, прогулки, теща Маленкова выстирала, высушила и выгладила мое платье – красное, в блестящую красную же полоску, с дырочками на плечах, чтобы украсить платье собою – сама фасон сочиняла. Я спала без задних ног, а Глеб Максимилианович в отдыхе не нуждался и чуть распогодилось пошел купаться на Москва-реку. Грибами во время прогулки он себя не утруждал, какие собрали отдал встречной девочке, и рассказывал мне в отсутствие Зинаиды Павловны неприличные анекдоты.

Приходит к врачу кюре, просит сделать операцию: удалить лишний жир с живота. Врач согласен. К тому же врачу обращается женщина: "Доктор, спасите мою честь и моего ребенка. Его появление на свет должно быть тайной". Кюре приходит в себя после операции. "Поздравляю вас, – говорит врач. – Операция прошла преблагополучно, но только – вот" – и показывает ему младенца. "Доктор, – говорит кюре, – я возьму ребенка, усыновлю его. Только – никому..." Кюре растит ребенка, и вот сыну уже 15 лет, и кюре делается все печальней и печальней. "Папа, что с тобой?" – спрашивает сын. "Вот в том-то и дело, что я тебе не папа". "А кто же ты мне?" "Я – мама". "А кто же папа?" "Архиепископ Кентерберийский". По тем временам, и учитывая возраст рассказчика, это ужасно неприличный анекдот.

– Три столетия смотрят на вас, – говорил Глеб Максимилианович, когда все четверо – всем за семьдесят – были в сборе. Глебу Максимилиановичу – самому младшему – было 72 года.

"Чайна уикли" – так я и представлена Аллилуевым – родителям покойной жены Сталина. Они жили поблизости в роскошном доме отдыха. "Вот познакомлю вас с такими людьми, что после этого мне будете при встрече только два пальца подавать", – говорил Глеб Максимилианович. Ничего подобного той истинно дворцовой роскоши, с которой обставлен этот дом отдыха, я отродясь не видывала. Вазам, украшающим гостиную, место в Эрмитаже, и они и перекочевали оттуда еще до войны. Гигантские красные цветы и коричневые листья бегоний превосходно сочетались с кобальтом и золотом этих ваз.

Про Аллилуева – высокого, сухого старика, одетого с крайней простотой, Кржижановский говорил, что он революционер-подвижник. А про мадам не говорил ничего. Внучка Аллилуевых Светлана тогда

только что замуж вышла за еврея, и Аллилуев говорил о пользе гибридизации и даже кое-что положительное в этом плане усматривал и в татарском нашествии.

Аллилуевы приглашали нас обедать, и мне любопытно было узнать, чем кормят в этом дворце. Но Кржижановские отказались.

Разговор шел, в основном, между Глебом Максимилиановичем и Аллилуевой. Так расселись, что перед моими глазами очутилась ее спина. Ее телеса выпирали из одежды и обуви, как перекисшая опара из горшка. Ее беспокоило, хорошо ли снабжают Кржижановских академические распределители. Кремлевские заведомо лучше. Кржижановскому надо поговорить, чтобы его прикрепили. "Говорил", – отвечал, смотря мне прямо в глаза, Глеб Максимилианович. "Ну и как?" "Говорят, вам, батенька, помирать пора, о душе надо думать, а не о снабжении". Она принимала очередную арабеску за конкретность. Режиссура срабатывала безошибочно. "Ведь надо знать, с кем говорить", – продолжала она. "А по-моему, с кем бы ни говорить – лучше молчать", – говорил король в изгнании. Она спросила, помнит ли он те блюда, которые подавали им в доме отдыха в Грузии, на озере Рица: повар там – гений. "Помню, – говорил он, – еда удава – сама прыгает в рот. Но разница есть. Не удав гипнотизирует еду, а еда удава".

Ее возмущало, что пленных немцев провели по Москве. Десятки тысяч пленных людей в арестантских одеждах прошли тогда по улицам Москвы – сонм узников. Зрелище унижения человеческого достоинства для меня непереносимо. Но их много. Я пошла.Немцы имели случай продемонстрировать непобедимость своей армии, унизить своих победителей. Маршируй они выравненными рядами в ногу бодрым шагом, – эффект был бы потрясающий. Немцы брели, как усталое, жалкое стадо. Толпы москвичей безмолвно созерцали их. Да и будь у немцев боевой дух, они не смогли бы сорганизоваться. Птичьи стаи могут на лету соблюдать умную дисциплину, стада млекопитающих менее организованы, человек способен совершать совместные организованные действия только при наличии команд.

–"Много чести – по Москве эту пакость водить, – говорила теща Сталина. – Полить керосином и поджечь надо было". Аллилуев вскрикнул: "Что ты такое говоришь?" "Зачем же керосином поливать, лучше персидским порошком посыпать", – сказал Глеб Максимилианович, не глядя мне в глаза. "Домой пора идти", – сказала Зинаида Павловна. Персидский порошок – средство против тараканов. Мы ушли.

–"Идем с Лениным вдоль Енисея, – рассказывал Кржижановский. – Баржа с арбузами где-то повыше затонула. Арбузы плыли по течению. Я говорю Ленину: победит революция, первое что сделаем, – отменим смертную казнь". "Нет, – говорит Ленин, – революцию не делают в белых перчатках, мы не отменим смертную казнь". Глеб Максимилианович говорил, что целая группа ссыльных пыталась оспаривать Ленина. По их мнению, победа революции принесет народу свободу, равенство, и их провозглашение должно ознаменовать революционное движение. Ленин ратовал за максимальное ограничение свободы, за неравенство,

за диктатуру. Знамя революции, ее цель, ее завершение – диктатура пролетариата. "Он сломил наше сопротивление", – говорил Глеб Максимилианович.

Глеб Максимилианович рассказывал о счастливых предреволюционных годах, когда они с Зинаидой Павловной жили в Швейцарии. Хозяйка дома, где они снимали комнату, говорила им: "Плохие вы жильцы. Вот до вас были хорошие – рано вставали". "А не все ли вам равно, рано или поздно встают ваши жильцы?" – спрашивали они. Оказывается, совсем не все равно: простыни быстрее снашиваются. И еду ее они не хвалят, а те очень любили ее суп. И она повторяла их слова порусски: "Настоящие помои".

До 1929 года Кржижановский возглавлял Госплан. В 1929 году по приказу Сталина он снят с заведования. Приказ пришел, когда Глеб Максимилианович председательствовал на очередном заседании. Молотов и Каганович явились и прервали заседание.

Он защищал, уже будучи в опале, жертв сталинского террора. Разумные проекты объявлялись вредительскими, тех, кто критиковал нелепые проекты, сажали в тюрьму. Глеб Максимилианович жаловался, что не мог помочь Пятакову, когда тот просил у него защиты. Из тюрьмы по нелегальным каналам ему было передано письмо людей-противников строительства канала Каспий-Арал. Этот чудовищный по своей нелепости проект осуществлен не был. Что помешало его осуществлению – не знаю. Глеб Максимилианович в то время был не в чести. Говорил Глеб Максимилианович о своих бедствиях с чрезвычайной бодростью.

"Нелегальные каналы" – для моих ушей это звучало очень странно. Я и не подозревала, что есть что-то кроме официальщины. Самиздат, борьба за права человека, подпольные группы – духи, выпущенные из бутылки Хрущевым. Во времена Сталина о таком и не слыхали. Даже анекдотов о Сталине не было, и по сей день – ничтожно мало. Эра Хрущева войдет в историю как эра анекдота. Эра Сталина – время любви к вождю. Любовь и страх – у них есть что-то общее.

Когда кончилась война, Глеб Максимилианович ждал реформ, дарующих народу права и свободу. "Правительство, которое не может вознаградить народ за пролитую кровь, за чудовищные страдания войны, за освобождение страны от захватчиков, должно уйти в отставку, – говорил он мне. – Наступает время свободы". "Да что вы такое говорите! – говорила я ему. – Сталин приписывает победу себе и только себе. Знаете ли вы о заградительных отрядах, о цепях солдат, которые расстреливали отступавших? Знаете ли вы, что все, кто был в плену у немцев, солдаты и мирные жители, захваченные в качестве рабов, – все на подозрении как предатели. Судят, ссылают... Нет никакой свободы и не будет". "Народ имеет оружие", – говорил он. "Не беспокойтесь, меры против вооруженного народа приняты. Рядовые демобилизованы. Офицеры оставлены служить в армии на год. Уроки первой мировой войны не прошли даром, но воспользуется ими Сталин, один Сталин, а не народ".

В 1952 году Глеб Максимилианович уже не надеялся больше ни на народ, ни на Сталина. Я шла к нему на улицу Осипенко. Рано вышла из дома. Чтобы не прийти раньше назначенного срока, я зашла в кафе. Центр города, гигантские зеркальные стекла в окнах, шелковые занавески. Посижу, думаю, чаю выпью. Отца моего в то время уже не было в живых, мне по наследству досталась его дарованная ему по чину дача, в экспедиции я не ездила – генетика была намертво запрещена. Я писала книгу о путешествиях моего отца по озерам Сибири и Средней Азии. От жизни народа я совсем оторвалась. И вот, в этом кафе я увидела этот самый народ. Спиртными напитками здесь не торговали. Есть решительно нечего. Подавальщицы в кружевных передничках и наколках приносили какие-то жалкие салаты. Все столики, однако, заняты. Одни мужчины. Человек восемьдесят наполняло прекрасный, светлый зал. Дело было днем, часа в два. Все пьяны. Откровенная беспардонная матерщина, шум, крики. Присутствие женщин-подавальщиц нисколько не стесняет матерщинников. Один из пьяных, что-то доказывая своему пьяному собеседнику, то снимает возбужденным жестом с головы шапку, то снова нахлобучивает ее. Матерная брань и ритмика этих движений служат, видно, важными ингредиентами его аргументации. В гардеробе я сказала пожилому гардеробщику: "Что-то я не туда попала, куда хотела". Он понял: "А так само везде, – сказал он. – Только в дорогих ресторанах по-другому". "Кто эти люди? – спросила я Глеба Максимилиановича. – Где он, пролетариат, хозяин своей судьбы, строитель коммунизма? Пьяное отребье, люмпенпролетарии, которых я видела сейчас, – это рабы, заливающие водкой свое горе". "То, что случилось со страной, хуже татарского нашествия, – сказал Глеб Максимилианович. – У страны отрубили голову. Я сам уцелел только случайно. Стране нужен Ленин, но сто Лениных погибло в сталинских застенках".

Нет, он уцелел не случайно. Он принял кровавую мораль Ленина, и он – историческая личность – с готовностью фальсифицировал историю в угоду вождю всех народов мира – Сталину. Он рассказал мне историю бегства революционеров из варшавской тюрьмы. Они были приговорены к смерти. Их товарищи явились за ними в тюрьму в форме высоких чинов армии с типографски-отпечатанными документами и забрали их якобы на казнь. Наняли извозчика, и прежде, чем полиция хватилась, их и след простыл. "Подумать только, – говорю я, – сколько народу вовлечено и никто не предал. И те, кто доставал мундиры, и рабочие типографии, где печатались документы, и возница". "Нет, – сказал Глеб Максимилианович, – возницу убили".

А как он фальсифицировал историю, я слышала своими ушами. Я знала, как создавал он свой план электрификации России, свой знаменитый план ГОЭЛРО. Он показывал мне фотокопии писем и документов – сами документы и письма хранились в Музее Революции. Он – единственный создатель этого грандиозного плана. Централизованная электросеть была его целью еще до Революции. Владельцы фабрик и заводов противились, по его словам, созданию крупных электростанций,

понимая какая опасность грозит им в случае стачки рабочих электростанции. Продажные инженеры подпевали им. Революция дала возможность воплотить план электрификации в жизнь.

В 1947 году я уезжала навсегда из Москвы. Я позвонила Глебу Максимилиановичу, чтобы уговориться о прощальной встрече. Его племянница сказала мне, что он уехал в Дом ученых делать доклад. Я отправилась туда. Глеб Максимилианович говорил о плане электрификации России. Его создал... Сталин. Я ушла, не дослушав, и уехала из Москвы, не попрощавшись с Глебом Максимилиановичем.

Вот передо мной книжка: "Глеб Максимилианович Кржижановский". Каждому академику по чину полагается такая книжка – даты жизни, парадно представленные, правительственные награды, библиография трудов. Издана она в 1953 году, в год смерти Сталина, при жизни Глеба Максимилиановича. Вождь всех народов только-только занял почетное место в Мавзолее рядом с мумией Ленина. О его роли в создании плана ГОЭЛРО в книжке не упомянуто. На ее последней странице, где печатаются выходные данные, стоит: "Подписано к печати 29 ноября 1953 года". Девять месяцев прошло со времени смерти Сталина. Двадцать пять лет – со времени избрания Кржижановского действительным членом Академии. На горизонте маячила десталинизация. Глебу Максимилиановичу разрешили стать создателем плана ГОЭЛРО. И книжка смогла увидеть свет.

Электростанции-гиганты пугали капиталистов. Ленина и всех его последователей – Сталина, Хрущева, Брежнева – они пока не пугали. Централизованной подаче энергии противопоставлены две могучие силы: КГБ и стахановское движение. Предатели из охранки и предатели из среды самих рабочих – стахановцы – на страже лимитированного свыше предельно низкого уровня жизни. Борьба за повышение заработной платы заменена борьбой за ее снижение. Труд превратился не в источник существования, а в "дело чести, доблести и геройства". "Единственная страна в мире, которая справилась с рабочим движением", – сказала Надежда Яковлевна Мандельштам задолго до того, как Сталин провозгласил труд делом геройства.

Но централизованная электросеть существует. Настанет день, когда нынешние угнетатели задрожат и пожалеют, что дали рабам могучее оружие в борьбе за свои права. Организованная борьба польских рабочих тому залог. План ГОЭЛРО, воплощенный в жизнь ценой загубленных жизней, электростанции-гиганты, построенные на костях их строителей, еще сыграют свою роль в истории человечества.

В 1947 году Кржижановский по указке страха лгал. Я не хотела больше знать его. Любовь, однако, берет свое. Приезжая в Москву, я снова стала бывать у него. Зинаида Павловна умерла. Скончался и ее брат Павел Павлович. Глеб Максимилианович горько жаловался на судьбу. Он берег Павла Павловича, а в больнице не берегли – простудили. Теперь, когда умер его зять, он совсем одинок. Был в его одиночестве один, правда второстепенный, штрих. Никого не осталось, с кем можно было бы разыгрывать пьесы абсурда. Никого, кроме кухарки.

Сюжеты арабесок изменились. "Кухарку я на днях нанимал, – говорил Глеб Максимилианович. – Совсем уж было договорились. 'Сколько вам лет, голубушка?' – спрашиваю. 'Шестьдесят, – говорит. – А тебе, батюшка, сколько лет?' 'А мне уж скоро девяносто будет'. Она перекрестилась. 'Свят, свят', – говорит. 'Что это вы так перепугались?' – спрашиваю. 'Да ведь хороших-то людей, батюшка, Господь в свое время убирает'. И не сговорились." И так почему-то всегда оказывалось, что кухарка его именно в этот миг оказывалась в комнате. "И когда это ты, Глеб Максимыч, кухарку нанимал? Что-то я про это ничего не знаю. Небось знала бы, кабы нанимал", – говорила она. Глеб Максимилианович сиял.

А то еще так: "Жили мы с Зинушкой в доме отдыха зимой. Лет двадцать пять тому назад. Каток для отдыхающих был. Молодежь на коньках бегает, а я фигуры выделываю". Глеб Максимилианович называл выделываемые им фигуры профессиональными спортивными терминами. "Женщины у края беговой дорожки стоят с метлами: уборщицы, снег со льда сметать пришли. "Ты что такое делаешь? – говорят мне. – Те-то ведь молодые, а ты старичок. Стыдно тебе должно быть". Я, не в силах сдержать негодование по поводу этих слов, спрашиваю: "Что же вы сказали им?" "Ничего не сказал. Я – вот так!" Он берет с журнального столика номер "Огонька" и показывает мне. На обложке молодая женщина-конькобежец, вознесенная могучим прыжком в синеву поднебесья, делает полный шпагат. И в этот самый момент раздается скептический голос кухарки: "Да ты, Глеб Максимыч, и коньков-то сроду не надевал. Экий ты мастер небылицы рассказывать". Глеб Максимилианович по моей просьбе подарил мне этот номер "Огонька", и его обложка много лет веселила мне душу.

Мы с отцом посетили Глеба Максимилиановича вскоре после войны. Я жила еще в Москве. Отец приезжал из Ленинграда и в отсутствие мачехи не чаял, как бы доставить мне удовльствие. На выбор: посещение Дрезденской галереи или визит к Кржижановскому. Сокровища Дрездена хранились в запаснике Музея имени Пушкина. Их показывали избранным. Отца в 1946 году избрали в академики – мы могли идти смотреть. Умная! Я выбрала Глеба Максимилиановича. Дрезденскую галерею, перед тем, как вернуть ее Восточной Германии, открыли для всеобщего обозрения в залах того же музея восемь лет спустя. Не менее четырех часов стояли люди под открытым небом в очереди. Но что такое четыре часа стояния в очереди, если вам предстоит увидеть Сикстинскую Мадонну, автопортрет Рембрандта с Саскией, сидящей у него на коленях, и груши Ван Гога?

Мы стояли с Екатериной Сергеевной Моисеенко – правнучкой Дениса Давыдова. Нам предстояло стоять еще час или полтора, когда группа моряков, не рассчитывая на сопротивление, вклинилась в очередь прямо перед нами. Бесстрашие правнучки героя Первой Отечественной войны граничит с безумием. Она – истинный берсерк. Я решительно указала морякам на их ошибку: "Вы готовы к бою? – спросила я. – А нет, так убирайтесь!" Они ушли.

Отец и билеты мне доставал. Два раза я слушала Пастернака. Первый раз благодаря отцу. Сам он не пошел. Он современного искусства не любил и не понимал.

Пастернак был великолепен. Два раза на первом выступлении он сбивался, и весь зал, как один человек, подсказывал ему его стихи. Его спрашивали, кого он больше любит – Толстого или Достоевского. Он затруднялся ответить, но в итоге получалось, что Достоевский ему ближе. Он имел в виду, я думаю, неисповедимые глубины человеческой души. Трактовка социальных явлений в романах "Доктор Живаго" и "Война и мир" тождественны.

На второе его выступление билеты мне достала Ольга Ивановна Соболева – жена писателя Леонида Соболева, – история моей дружбы и разрыва с ним и с нею не умещается в рамки этих воспоминаний. Теща Соболева – я знала ее в Боровом, и она прощала мне мою солидарность с Алексеевым – познакомила меня со своей дочерью – самой красивой женщиной, когда-либо виденной мною, а она познакомила меня с первой женой Пастернака. Вместе с Евгенией Владимировной мы и были на выступлении. Он начал с просьбы не задавать ему вопросы: его родные сказали ему, что ответы его звучат как-то глупо. Думается мне, что не родные, а кто-то другой, предложил ему ограничиться чтением того, что уже напечатано, чтобы не превысить меру дозволенного. Он был подачкой, брошенной свободолюбцам, – этот чудом выживший Пастернак. Достоевский пребывал под запретом. Да что там Достоевский. Выступления Пастернака, будь ему разрешено отвечать на вопросы, грозили разоблачением многих кровавых тайн. Он знал слишком много.

Он читал с упоением, с радостным восторгом, и восторг его относился не к содержанию: оно могло быть и было трагическим. В его голосе – любование своим творением, изумление творца перед созданным. Он – архитектор храма – славословил не Бога, а красоту. Его голос как будто заново создавал безукоризненную форму, прекрасное звучание, легкое дыхание его стихов, неожиданные, свежие, никогда не существовавшие, точно передающие смысл словосочетания. Звенящим от радости голосом он говорил не об экзальтации любви, а о ее гибели. Ничуть не снижая ликующих интонаций, он вызывал из небытия: "... дом, где пьют, как воду, горький бром полубессонниц, полудрем, где хлеб, как лебеда". Туда он слал свои стихи, к ним он обращался:

Пусть вьюга с улиц улюлю, –
Вы – радугой по хрусталю,
Вы – сном, вы – вестью: я вас шлю..."

Стихи эти написаны его давно покинутой жене, той крутолобой художнице с улыбкой взахлеб, которая сидела рядом со мной. После концерта она познакомила меня с Пастернаком. Я сказала, что читала его перевод стихотворения Верлена "За музыкою только дело...", напечатанный в "Новом мире". Он тут же прочел все стихотворение по-французски.

Когда мы с Евгенией Владимировной вышли, она сказала: "Он гадкий, жестокий ребенок". Это относилось к стихам, где хлеб, как лебеда. Я рассказала ей о моей первой встрече с Пастернаком, вернее, о том, как я присутствовала при встрече Пастернака и Николая Асеева осенью 1937 года. Сцена разыгралась перед входом в здание какого-то издательства. Первые слова Пастернака: "Я бедствую" – те самые, которыми начинается вторая строфа поэмы "Спекторский": "Я бедствовал". Он нес томик Шекспира – старинное английское издание: "Переводами приходится заниматься". "А дальше, помните? – сказала Евгения Владимировна. – 'У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст, взглядом смерявши косым, я первую на нем заметил проседь'. Только что поженились, сын родился, а он уже мерил нашу жизнь косым взглядом. Он гадкий, жестокий ребенок".

Есть у Пастернака и другие стихи, вымаливающие у Евгении Владимировны прощение после разрыва. Там похуже: "От тифозной тоски тюфяков вон на воздух высот образцовый..." Эти стихи Пастернак не читал, а я не напоминала.

Никогда не прощу Пастернаку эту "тифозную тоску тюфяков", хоть будь в ней сто "т", а не три начальных. Я ненавижу мужчин, мужчин-поэтов в особенности, и те стихи, где торчат ослиные уши мужского эгоизма, изобличающие психологию паши. Вроде асеевского о Маяковском: "Он их обнимал, не обижая". Замечу в скобках, что Пушкин, в жизни и в письмах демонстрирующий вполне отрицательные мужские качества, в поэзии, при всем своем лукавстве и задоре – "Граф Нулин", "Домик в Коломне" – морально безупречен. Сгубленные им жизни его крепостной Ольги Калашниковой и их сына горькими слезами раскаяния оплаканы им в стихах: "Две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые" говорят ему "мертвым языком о тайнах вечности и гроба".

Неподвластность отношений между полами категорическим императивам совести, независимость "бабских дел" от всех прочих моральных принципов человеческой личности я моделировала десять лет спустя в моей докторской диссертации. Она называется: "Стабилизирующий отбор в эволюции размеров цветка травянистых растений". Но об этом потом. "Бабские дела" – взаимоотношения полов по выражению моего друга Н.В. Тимофеева-Ресовского. И о нем речь впереди.

Я написала: "Достоевский был под запретом". Непростительная неточность. Официальный запрет не нужен, когда есть иезуитские методы насаждения стадной идеологии. Достоевский исключен из школьных программ. Из планов издательств исключены не только его книги, но и литературоведческие труды о нем. С полок публичных библиотек все, написанное опальным, перекочевывает в спецхран – гуманную замену костров инквизиции и Гитлера, или втихаря идет на макулатуру. Селедки не заворачивают. Для этого служат те страницы газет, где нет портретов вождей, – покупатели сами приносят. И без официального запрета Достоевский приобщается к сонму тех, к кому во время оно обращался поэт: "И ваша память для потомства, как труп, в земле схоронена". Официальный запрет означает изъятие при обыске, срок за чтение

с надбавкой за распространение. Такая судьба постигла роман самого Пастернака "Доктор Живаго". За чтение Достоевского не сажают – значит он не запрещен.

Опять проврапась. Учили меня, учили, а все не научили. После 1958 года, когда Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, чтение Пастернака считалось крамолой, но и тогда за него не сажали. Величайший лицемер Хрущев, пришедший на смену величайшему лицемеру Сталину, провозгласил, что у нас нет политических преступников. Когда органам становилось известно, что человек хранит, читает, распространяет роман Пастернака, то есть совершает политическое преступление, ему пришивали уголовное дело или нарушение административного режима, или уличного порядка, или сопротивление милиции и тогда сажали. Утверждение, что в стране есть политические преступники, – преступление уголовное: клевета на Страну Советов – карается по статьям 70 и 193 Уголовного Кодекса. А состряпать нарушение административного режима ничего не стоит, раз плюнуть, для милиции. Сама во всей этой переделке была, чуть было не села. И не в хрущевские, а в брежневские времена. Между временем, когда меня застукали на чтении и распространении романа Пастернака, и моментом, когда я очутилась на самом краю бездны, прошло два года. Вот какие гуманные нравы царят в Стране победившего социализма? А не села я не из-за гуманности режима, а из-за бюрократической неразберихи и плохой работы органов. Может расскажу об этом как-нибудь потом. Дело было в 1968 году.

В 1946 году я вкушала одну радость жизни за другой. Сегодня выступление Пастернака, завтра визит с отцом к Кржижановскому. Лучших соучастников для разыгрывания пьес, чем мой отец и я, Кржижановский не мог и пожелать. Требуемые качества: полнейшее доверие, пока сюрреализм арабески не становится явным, и понимание смысла иносказания, когда фантазия очевидна. Мы обладали ими. Мы посетили Глеба Максимилиановича в то самое время, когда в Академии разразился грандиозный скандал. Академика Александрова – философа и главного идеолога – уличили в разврате. Его вертеп, где он растлевал малолетних, у всех на устах. Глеб Максимилианович говорил: "Бывало, кто ни увидит Александрова, тут же начинает вращаться вокруг него по орбите на почтительном расстоянии". И он ужасно смешно показывал рукой это вращательное движение. Семенящие шажки угодников он изображал, шевеля пальцами. Сила власти, способной нарушить мировой порядок, сами законы всемирного тяготения, пояснения не требовала.

Далее следовал рассказ, как проворовался какой-то военный в чине генерал-лейтенанта. В названиях чинов есть некая странность: чин майора выше чина лейтенанта, но генерал-лейтенант чином выше генерал-майора. Высокий чин построил себе дворец. Искусственный канал соединял его с Москва-рекой. Имение было конфисковано, а чин разжалован. Сталин вычеркнул слово генерал, и казнокрад стал лейтенантом. "Проснешься в один прекрасный день и, оказывается, ты уже не Кржижановский, а просто Глеб". "Упаси тебя Бог кому бы то ни было рассказывать

об этих разговорах", – сказал отец, когда мы были уже на улице. Культ личности в апогее. Глеб Максимилианович ходил по краю бездны.

Последний раз я видела Глеба Максимилиановича в 1956 году летом на даче в Моженке.

После войны каждому академику пожаловали дачу. Дарована дача в полную собственность с правом передать ее по наследству. Дачи стандартные, все как одна. Располагаются в трех поселках. Один – под Ленинградом, два – под Москвой. Один из подмосковных поселков – Моженка. Туда и переселили с Николиной горы Кржижановского. Я прошла по усаженной красными лилиями дорожке к кухонной двери дачи. Дверь открыта настежь. Унаследовав дачу отца, я отлично знала расположение комнат. Глеб Максимилианович сидел у заглохшего телевизора. Он ждал мастера. "Вот, мероприятия по преодолению культа личности прослушал, а дальше машина отказала выдавать сведения, – сказал он. – Великие перемены наступят теперь". "Перемены, конечно, будут, только не великие, – говорю ему я. – Дух Сталина неистребим, да и не в интересах власти разрушить безукоризненную систему, ее же и охраняющую. И начинает свою освободительную деятельность эта власть с декретированных словосочетаний. 'Культ личности' – одно из них. Глеб Максимилианович, – вопрошала я, – скажите, что, по-вашему, дала революция народу?" В этот миг появился молодой человек. Он пришел по вызову чинить телевизор. Ни один взрослый человек, проживший значительную часть своей сознательной жизни в сталинскую эпоху, не станет излагать свои взгляды при постороннем человеке. Сама невозможность продолжать разговор о судьбе народа в присутствии его представителя красноречивее всех слов говорила об итогах революции. Глеб Максимилианович сказал: "Революция дала возможность получить образование огромному большинству. Пример налицо". И он указал на молодого мастера. Вопрос: "А не будь Октябрьской революции, разве дело обстояло бы иначе?" – застрял у меня в горле.

Уже будучи на Западе, я узнала, откуда взялось выражение "культ личности". Оно создано... Сталиным. Прочтите страницы 1021 и 1102 русского издания книги Р.А. Медведева "К суду истории". Великий лицемер Сталин протестовал против обожествления его собственной персоны. Во время парада победы на Красной площади в мае 1945 года к его ногам бросали знамена поверженного в прах государства. Демонстрация всенародной любви к Отцу и Учителю готовилась в Институте эволюционной морфологии Академии наук с великой тщательностью. Каждому назначалось его место в колонне – ряд и номер. Правофланговые каждого ряда избирались партийной организацией института из числа самых..., как бы это сказать, – из числа самых сознательных, а следовательно, самых обласканных, наиболее привилегированных. Маршрут колонны демонстрантов точно установлен. Ближайшим к трибуне мавзолея, где будет принимать парад гений и корифей всех наук, почетный академик Сталин, окажется на марше правый фланг. Партийная организация института несет ответственность за драгоценную жизнь Генералиссимуса. Я не пошла на парад победы. Может и пошла бы – мигрень у меня была.

После смерти Сталина Кржижановский не был возвращен в правительство. Ему шел девятый десяток.

С того самого дня в Узком, когда она помогла ему выкарабкаться из лап смерти, Елена Павловна Разумова и Глеб Максимилианович стали неразлучными друзьями. Картины на стенах ее комнаты изобличали пристрастие Елены Павловны к гонимым талантам. Вот что пишет о ней Надежда Мандельштам. Последние дни перед последней высылкой из Москвы Мандельштам лежал больной. Надежда Мандельштам пишет: "Каждый день к нему приходил врач из Литфонда. Дней через десять его направили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что О.М. нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение О.М., но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным – словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным". (Воспоминания, стр. 309, Chekhov Publ. Corp. Second Print. 1971).

31 марта 1959 года "Правда" сообщила о смерти Глеба Максимилиановича.

Конец лета и осень 1944 года я провела на Кропотовской Биологической станции, изучая популяцию дрозофил Каширы. Мухи почти исчезли. Завод безалкогольных напитков, где до войны делали квас и где, хоть и не без труда, можно было добыть сотни мух, производил лапшу. Я наскребла 21 муху. Одна самка, как на грех, оказалась бесплодна. Двадцать мух послужили для опытов. Количество скрытых мутаций упало в 10 раз. Частота их возникновения осталась прежней. Добраться до Кропотовской станции, а от нее затем до Каширы стоило больших усилий. Пароходик, ходивший по Оке, – единственный транспорт, соединявший Кропотово с Каширой, то и дело ломался. Я шла пешком – миль десять. Проделать их в оба конца надлежало в один день. Электрички Москва-Кашира тогда не было. Попасть на поезд дальнего следования не так-то просто. Достать билет стоило неимоверных трудов и каторжного терпения. Билет отнюдь не гарантировал поездку. У входа на перрон проверяли не только билеты, но и документы пассажиров. Пока милиционеры копались с командировочными удостоверениями, а командированные, сгрудившись возбужденной толпой, боролись друг с другом за место в очереди на проверку, поезд ушел. Я получила разрешение пройти на перрон, только чтобы увидеть хвост уходящего поезда. На заводе безалкогольных напитков в Кашире стояли мои приманки для мух. Работа с мухами на заводе требует величайшей дисциплины. Иначе рискуешь потерять уважение персонала завода, и твои банки с мушиным кормом будут выброшены. Раздумывая, что же теперь делать, я стояла среди милиционеров, ожидавших очередных жертв. Они явились. Бабы с мешками за плечами. Прибыл пригородный поезд. Я никогда не пойму, почему в одну дверь вокзала можно войти, а вход в другую блокирован. Милиционеры грубо пихали старух,

которые еле на ногах держались под тяжестью своих не очень тяжелых мешков. "Как вы смеете так обращаться с народом? – закричала я. Или что-то в этом роде, не помню: я была вне себя. "Хамы, фашисты!" – кричала я. Это помню. Я бросилась, чтобы загородить старуху. Я очутилась в кольце милиционеров. За ними образовалось кольцо баб. Они смотрели, что будет. "Предъявите паспорт", – сказал мне мильтон в форме высокого чина, видимо, начальник отделения милиции вокзала. "Не давай, не давай!" – закричали из кольца баб. Но я недаром была потом представителем легальной ветви демократического движения. Я дала паспорт. "Пройдемте". И меня повели. Высокий чин оказался действительно начальником отделения. Он уселся в кресло, раскрыл мой паспорт. Прописка, штамп института Академии наук. "Мы сообщим по месту службы о вашем недостойном советского гражданина поведении". "А я сообщу в управление милиции Москвы о вашем поведении. А против того, чтобы вы сообщили обо мне в институт, я ничего не имею. Сообщите, пожалуйста". "Кем работаете?" Я показала ему командировку. "Старший научный сотрудник! – театрально воскликнул чин. – И это старший сотрудник Академии так оскорблял меня! Да я от самого президента Академии Карпинского ничего кроме любезностей не слыхал". "А вы имели случай общаться с президентом?" "Да, я сказал ему: 'Товарищ президент, разрешите получить ваш автограф' ". "Ну, если бы вы попросили мой автограф, я бы тоже была с вами любезна". Я умирала со смеху, нисколько не скрывая этого. "А вы, – продолжала я, – не только у меня на глазах несчастных людей оскорбляли и рукоприкладством занимались, вы лишили меня возможности уехать в Каширу. У меня из-за вас билет пропал. Я жаловаться буду". "Вы свободны", – сказал он. Я спускалась по ступенькам на привокзальную площадь, когда за моей спиной раздалось: "Товарищ Берг, товарищ Берг". Я повернулась. "Пройдемте". Чин пошел со мной в кассу, обменял мой билет в Каширу на другой, провел меня на перрон к поезду. "Милиция умеет карать. Умеет и миловать", – были его прощальные слова.

– Хотите, расскажу новеллу под названием "Тень президента"?" – сказала я дочери Шмальгаузена Ольге Ивановне. И рассказала. "Новелла эта должна именоваться "О, эти черные глаза", – сказала Ольга Ивановна, смеясь.

КАНУН РАЗГРОМА

Конец войны. 1945 год. Ликование москвичей неописуемо. Ночью с девятого на десятое мая тысячи людей на Красной площади приветствовали друг друга, незнакомые незнакомых, брали друг друга за руки, под руки, чтобы вместе гулять, целовались, смеялись, плакали. Шатер из скрещенных лучей прожекторов скрывал небо. Фейерверки вздымали фонтаны, снопы, гигантские хризантемы огней. Медленные стаи потухающих звезд уплывали прочь от того места, где они возгорались.

В 1945 году произошло мое воссоединение с отцом. В Боровом под пристальным взглядом мачехи он не очень любил меня. Разговор между мной и Симом открыл мне глаза. Я поняла и простила. Разговаривали мы в 1943 году на Малой Бронной вскоре после моего возвращения из Борового. "Ты любишь отца?" – спросила я Сима. "Люблю". "А за что?" "Жалко его. Он старик." "А не кажется тебе странным, что нам не за что любить отца, которого обожает множество людей?" "Нет, сказал Сим, – преданность науке и отцовский долг пришли в жесточайший конфликт, когда появилась Марьмиха. – Так мы звали мачеху. – Единственный выход – признать нас недостойными его заботы и внимания. Высший социальный подвиг: "Я тебя породил, я тебя и убью" – очень в духе философии отца. До убийства дело не доходило, но изгнать нас – злодеев – из своей жизни он мог, не испытывая угрызений совести. Ясность духа ему необходима для творчества. И Марьмиху нельзя осуждать. Ревность – одно из величайших страданий". Говорилось все это не без юмора. Вздох мачехи в ответ на вопрос отца "где Раиса" – изображен артистически и предельно красноречиво рисует всю глубину моего морального падения.

Отец приехал на юбилейную сессию Академии наук. Праздновалось ее 220-летие. Академиков и членов-корреспондентов награждают по чину, не по заслугам. Выше чин – выше награда. Враг народа покойный Левитский награжден по ошибке. В отношении Вавилова ошибки не произошло. Он не вошел в число награждаемых.

Множество иностранных гостей. Академия должна показать товар лицом. На приемах в Кремле и в Академии будут дамы. Среди ученых дам ходили слухи, что Президиум Академии, его Хозяйственный отдел, ведающий распределением жизненных благ, выдает дамам талоны на покупку одежды и обуви в академическом распределителе, куда они, не будучи академиками, не вхожи. Ученые дамы ясно понимали, что дело их хана. Очередная потемкинская деревня не для них. Талоны получают приближенные, придворные, купающиеся в лучах Хозяйственного отдела Академии дамы. Я готовилась отправиться в экспедицию. Для построения моей теории мне нужна еще одна популяция. Изолированных популяций и линий достаточно. Нужно исследовать еще одну большую, не изолированную. Решено ехать в Закавказье, в долину Риони и ловить мух на гигантских винных заводах города Кутаиси.

Подготовка к экспедиции шла полным ходом. Вся обувь отдана в починку. В лаборатории университета мой друг, молодой художник и поэт Игорь Александрович Нечаев готовит выставку иллюстраций к моим исследованиям. Придут иностранцы на Кафедру дарвинизма Московского университета – мы им покажем. Научное общение будет. Банкеты – к чертям собачьим. Вышло, однако, иначе.

Джулиан Гексли – один из самых важных гостей – написал в Президиум, что желает встретиться с двумя учеными: Александрой Алексеевной Прокофьевой-Бельговской и со мною. И мы предстали. Чинили и перелицовывали мы наши костюмы у одной и той же портнихи. Она мастер ставить заплаты и вообще выходить из затруднительных положений. Для всего этого служат "натачки" – ее излюбленное слово, понятие более широкое, чем заплата. Мои брезентовые туфли – единственная обувь, не нуждавшаяся в починке, вполне гармонировали со всем прочим. С весельем и взаимным пониманием поглядывали мы на жалкие туалеты друг друга, отлично понимая, в каком контрасте они находятся с парадными одеждами придворных дам. Александра Алексеевна при всей своей исключительной женственности, к туалетам относилась так же, как и я. Любила приодеться, но всему свое место. Уделяй Гексли внимание одежде, академической показухе был бы нанесен ущерб. Только по одежде самого Гексли было видно, что он не щеголь.

Я очутилась в свите Гексли.

А в Большой театр, где состоялось открытие сессии, билет мне достал кто-то из моих покровителей, не помню кто – Шмальгаузен, может быть, Орбели, Кржижановский? А, может быть, отец? Отец был членом-корреспондентом Академии. "Вот, в первый ряд партера билет дали, – сказал отец с удивлением. – К чему бы это?" Я сидела на галерке. Когда после исполнения увертюры Чайковского "1812 год" с пушечной пальбой, Марсельезой и гимном "Боже царя храни" распахнулся занавес сцены Большого театра, стало ясно – к чему. Сцену занимали действительные члены Академии. Иностранные гости в парадных мантиях своих Академий и члены-корреспонденты Академии наук СССР располагались в партере. Ничего злее того фарса, который являла сцена, представить себе невозможно. Как будто для того, чтобы подчеркнуть трагикомичность зрелища, седины, морщины, жирность одних, худоба других, черные шапочки, прикрывающие – чтобы не мерзли – лысины сонма бессмертных, и сами эти лысины утопали в море роз. Розовые розы по одну сторону, белые – по другую.

Два высоких гостя – Гексли и Эшби посетили кафедру дарвинизма Московского университета. Эшби – профессор университета в Сиднее – ехал в Лондон, чтобы занять высокий пост в Министерстве сельского хозяйства Англии. Лестницу, по которой гости должны проследовать на кафедру, устлали красным ковром и приставили двух стражей следить, чтобы никто из прочих не нарушал девственной чистоты этих ковров. Для прочих открыт другой ход. Являемся мы. С великим почтением стража пропускает иностранцев. "А вы, пожалуйста, пройдите

через другую дверь", – говорит мне цербер тихо. "Не срамитесь", – тихо говорю я и делаю перед иностранцами вид, что ничего не произошло.

Гексли и Эшби пригласили меня на лекцию Лысенко, специально организованную по случаю торжеств. Директор Института генетики Академии наук, действительный член трех академий Трофим Денисович Лысенко докладывал, Гексли и Эшби внимали, Элеонора Давидовна Маневич – биолог, в равной мере владеющая обоими языками, переводила. Зал полон.

Зал Биоотделения АН СССР, где происходило заседание, – великолепный светлый амфитеатр. За столом, покрытым красным сукном, стоял Трофим Денисович Лысенко и сидели два академика – физиолог растений Келлер и микробиолог Гамалея. Ни тени не то что стыда, а малейшей неловкости их очень разные лица не выражали. Заинтересованности тоже. Это для вас – иностранцев – новость, а мы давно постигли значимость и важность работ нашего собрата по членству в Академии. Свои высокие чины они клали на весы оценки происходящего со стороны слушателей. Выражение лица – это уже мелочь. Ею они пренебрегали. Особенно эпичен был крупный породистый Гамалея со своей косо выдающейся челюстью рядом с седеньким Келлером.

Лысенко удивительно похож на Гитлера. Даже прядь прямых волос, падающая на лоб, та же. Способность оказывать гипнотическое действие – это одно, а привлекательная внешность, видно, – другое.

Лысенко показывал снопы и говорил хриплым лающим голосом, я помню только один обрывок одной фразы: "... этот признак считается доминантным, а этот вот рецессивным, здесь, к сожалению, еще есть те, кто понимает, что это значит..." Угроза уничтожения инакомыслящих. Дальше я слушала, но не слышала. Вавилов уже более двух лет лежал в братской могиле.

Софья Леонидовна Фролова и Лидия Петровна Бреславец – знаменитые цитологи с мировым именем, не пришли на заседание, как говорила мне потом Лидия Петровна, чтобы не быть свидетелями профанации своей Родины и своей науки перед иностранцами.

Доклад Лысенко я не помню, но отлично помню вопросы, которые задал ему Гексли, и ответы Лысенко. Один из вопросов гласил: "Если нет генов, как объяснить расщепление?"

Как известно, гибриды, как правило, обнаруживают сходство только с одним из родителей. Но четверть их потомков выявляет признак другого родителя, подавленный в первом поколении. Знаменитое 3:1. Кратные отношения – вещь в науке очень важная. Им мы обязаны открытием элементарных единиц мироздания: молекул, атомов, генов. Разнообразие гибридов второго поколения называется расщеплением.

Гексли спросил Лысенко: "Если нет генов, как объяснить расщепление?" "Это объяснить трудно, но можно, – сказал Лысенко. – Нужно знать мою теорию оплодотворения. Оплодотворение – это взаимное пожирание. За поглощением идет переваривание, но оно совершается

не полностью. И получается отрыжка. Отрыжка – это и есть расщепление". Элеонора Давидовна перевела: "We know in our own persons, that digestion is not always complete. When that is so, what happens? We belch. Segretion is Nature's belching; unassimilated hereditary material is belched out." Эти слова Гексли приводит в своей книжке. (Julian Huxley. *Heredity East and West. Lysenko and World Science.* N.Y. 1949, p. 102).

После доклада два джентельмена, два немолодых сдержанных англичанина сперва в замешательстве посмотрели друг на друга, потом вдруг обернулись друг к другу, вскинули руки на плечи друг друга и захохотали. Первый акт представления позади. Второй акт – демонстрация экспериментальных участков Института генетики Академии наук. Лысенко отбыл. Парадом командовал его верный сатрап Глущенко. Он должен показать влияние подвоя на привой, могучее преобразующее действие питания на наследственность. Но, оказалось, показывать решительно нечего. Ни одного случая взаимного влияния растений, ничего, что доказывало бы верность доктрин директора института, великого преобразователя природы Лысенко, нет. Большие поля засажены, зрелище этих насаждений самое жалкое.

Третий акт должен вознаградить за все неудачи первых двух. Банкет. Не только состав участников, но и места за столом строго регламентированы. Гостей не более двадцати пяти. Еды на добрую сотню обжор. Мировая слава Гексли воспрепятствовала хозяевам банкета указать мне на дверь. Провозглашая тост за здоровье высокого гостя, Глущенко сказал: "Выпьем, товарищи, за Джулиана Гексли – внука Томаса Гексли, великого соратника Дарвина". "Я сам дедушка", – сказал как бы сам для себя Гексли.

Восемь лет прошло с того дня, когда другой директор Института генетики Академии наук принимал не менее высокого гостя. Шофер директора сидел с нами, и мы пили чай и ели белый хлеб с копченой рыбой и шоколад. Вавилов, Меллер...

А откуда брались несметные богатства, под тяжестью которых ломился стол, все эти окорока и паштеты, я знала. Один из их создателей – мой друг, поэт и художник Игорь Александрович Нечаев. Получить высшее образование ему помешала честность. Он не мог, как с легкой совестью это делала я, повторять на экзаменах по политическим предметам то, во что он не верил. Когда арестовали Вавилова, он не был изгнан: лаборантов не гнали, работал сперва лаборантом Прокофьевой-Бельговской, а когда выпихнули и ее, лаборантом Глущенко. Лаборанты чистили свинарники и кормили свиней в подсобном хозяйстве института. Окорока и паштеты происходили из этого подсобного хозяйства. Худшие части свиных туш распределялись между сотрудниками института.

Игорь Александрович – отпрыск очень интеллигентной семьи. В детстве он болел костным туберкулезом и теперь хромал. Он и его жена, теща и трое детей – два сына и приемная дочь – жили впроголодь. Он писал трагические прекрасные стихи:

Вы обманули молодость мою,
Мечты мои – вы предали меня.

Но такого весельчака и балагура, выдумщика и остряка как Игорь Александрович днем с огнем не сыскать. Он изготовлял иллюстрации для выставки на Кафедре дарвинизма за небольшое вознаграждение.

А у меня объявился поклонник – Юрий Аркадьевич Васильев. В прошлом сотрудник И.П. Павлова, выдающийся ученый, в то время референт Вице-президента Академии наук Леона Абгаровича Орбели. Ухаживания Юрия Аркадьевича носили чисто материнский характер. Он имел непреодолимое желание кормить меня. Самым неправдоподобным и фантастическим образом это желание сочеталось в нем со скаредностью. Он женат, и жена его точно такая же скряга, как он сам. Приносит мне полфунта шоколадных конфет. "Возьмите ровно половину." "Спасибо, – говорю, – разрешите мне взять только две конфеты." Он не разрешает: "Ровно половину или ни одной." "Да в чем дело?" А дело в том, что жена его взвесит оставшиеся конфеты, недостачу сочтет за обвешивание и пошлет его объясняться к директору магазина.

И вот, в то самое время, когда я и сама получаю сверхдостаточное количество пищи по моим привилегированным карточкам, а тут еще отец водит меня в Дом ученых и кормит распрекрасными обедами, приходит на кафедру Юрий Аркадьевич и приносит бутерброды с паюсной икрой. "Вот спасибо, так спасибо! – восклицаю я. – Сейчас скормим эти бутерброды Игорю Александровичу ." "Никак нет. Бутерброды вам и никому другому." "Так в чем же смысл дара? – спрашиваю. – Хотите мне удовольствие доставить? Разрешите скормить бутерброды Игорю Александровичу. Большое удовольствие мне доставите." А ему доставит удовольствие, если я съем их сама. "Не желаю ваших бутербродов. Заберите их. И пусть передохнет та рыба, из которой добывают икру, и пусть пересохнут водоемы, где та рыба ходила." "Ну что же, раз так, берите бутерброды и делайте с ними, что хотите." Все это в присутствии Игоря Александровича. Его физиономия с самого начала разговора выражала величайшее удовольствие, насквозь пронизанное иронией. Удовольствие сменилось восторгом, когда дело дошло до пересохших водоемов. Я подала ему бутерброды, и без малейшего сопротивления он тут же поглотил их. Когда Юрий Аркадьевич ушел, Игорь Александрович с большой похвалой и весельем отозвался о моих библейских проклятиях.

На следующий день он принес стеклянную банку с тушеной картошкой и кусочками свинины. У нас в лаборатории плитка была за перегородкой, сотрудники на ней разогревали еду – запах американской свиной тушенки разносился из-за перегородки. Игорь Александрович пошел погреть свое рагу. Является Юрий Аркадьевич: "Где Игорь Александрович?" "За перегородкой." Юрий Аркадьевич идет туда. "Уйдите, – говорит он. – Я сам погрею ваше рагу. Я вам кое-что принес." Он принес полкило черного хлеба и большой кусок шпига – целое состояние по тем временам. Мы были побеждены.

И вот я отправляюсь в экспедицию в Закавказье. Снабжают меня и Университет, и Академия. Трое студентов едут со мной: две девушки и юноша. Академия выдает со склада продукты и лекарства. Академия достает билеты. "Что это вы такой гадостью занимаетесь – мухами!" – говорит мне замдекана факультета, женщина, готовая отказать мне в финансировании. "Нет ничего на свете прекраснее дрозофил, – говорю я ей. – Если бы вы увидели их под микроскопом, вы никогда не сказали бы этих несправедливых слов. Их глаза подобны горящей гранатовой люстре." Она подписывает приказ о финансировании. На складе Академии я получила великое множество пищи. Ведро топленого масла. Я сделала непростительную глупость. Банки сгущенного молока я взяла с собой. Масло я загнала по спекулянтским ценам, думая, что имея деньги, я смогу купить масло в Кутаиси: там, куда лежал мой путь.

Ни молока, ни масла, ни мяса на рынке в Кутаиси не было. Мы варили кашу на сгущенном молоке. Фрукты были первоклассные и в огромном изобилии. После экспедиции я заболела фурункулезом. Худо мне было.

Добраться до Кутаиси в 1945 году было не так-то просто. Ехали с тремя пересадками: Ростов-на-Дону, Баку, Тбилиси. Чтобы компостировать билет, приходилось часами стоять в очереди. Множество обездоленных людей, тени людей стояли в очередях. Всем, кто был угнан немцами на работы в Германию, велено вернуться туда, откуда они взяты, чтобы на месте чинить над ними суд и расправу, разоблачить их преступное бегство за границу в лагерь врага. Места в очереди за билетами брались с бою. "Ишь, шеи-то понаели, а теперь им билеты подавай", – кричала мне женщина, выпихивая меня из очереди. Я была предельно худа, она – беспредельно. Посадка в поезд при наличии билета грозила смертельной опасностью. Я ехала не умирать, а исследовать. Со мной студенты, за здоровье и жизнь которых я отвечаю. Девицы хоть куда. Мальчик болезненный и слабый. Одна из девиц – Померанцева, и мальчик – Тарасов – теперь первоклассные ученые.

Все члены экспедиции Седова – исследователя Северного полюса – и он сам погибли из-за его непредусмотрительности. Он забыл взять примусные иголки.

Опасности, грозящие моим экспедициям, были того же масштаба, что и рискованность полярных исследований прошлых веков. Отсутствие весов для развешивания составных частей мушиного корма, электрических лампочек, примусов и примусных иголок и многого, многого другого могло сорвать весь безумный замысел. Бушующая стихия, покорять которую надлежало на пути к заветной цели, – экономические проблемы строящегося социализма. 1945, 1946 годы не в счет. Война создала разруху. Но и в конце пятидесятых годов нечего было и думать отправиться в экспедицию, и не в пустыню, а в город, будь то даже столица Союзной республики, не проиграв в воображении все бедственные ситуации.

Вокзальные бои предусмотрены. Меры избежать смертельной опасности приняты. Бутылки с девяностошестиградусным спиртом – важнейший ингредиент экспедиционного оборудования. Бутылка спирта – оплата наемного солдата. Он, носильщик вокзала, с боя возьмет место в вагоне.

В Баку победа, купленная дорогой ценой, оказалась частичной. Я лежала под потолком на третьей полке, той, что багажная, для лежания не предназначенная. Багажную полку напротив занимали два азербайджанца. Один из них сидел на краю полки. Ноги он протянул через проход, и его босые ступни оказались на моем животе. "Уберите ноги." Мне казалось, что он может устроиться как-то иначе. Обида страшная. "Нужна ты мне очень. Да мне деньги заплати, я с тобой не лягу!" – кричит он на весь вагон. "Обсуждение этого вопроса мы отложим до лучших времен, а пока что уберите ноги", – говорю я ему. Он повинуется. В немыслимой позе он режет дыню. Надо видеть, как он это делает! Отбор на протяжении сотен поколений только и мог создать точность и красоту его действий. Но не в красоте дело. Дыня зажата пятками его босых ног. Он орудует ножом. Ни ноги, ни руки его не прикосаются к мякоти дыни. Среди пыли и грязи то, что он будет есть, остается стерильным. Он протягивает на ноже ломоть дыни мне. "Ешь!" Мир.

Отправление поезда задерживалось. Я смотрю в окно, как завороженная. Никогда не забуду. Маленький, коренастый старик-азербайджанец, приседая под тяжестью своей ноши, фантастически изогнувшись под ее непосильным давлением, несет на спине огромный гипсовый бюст Сталина. Все: и дорога, и одежда старика, и его седины, и бюст вождя серовато-белое в слепящем свете бакинского солнца. Обладай я даром Репина, я написала бы этот вариант его "Бурлаков". Были бы не "Бурлаки на Волге", а "Сталинский бурлак". Не перо Гойи, не кисть Репина – сама жизнь шутила передо мной свои дьявольские шутки.

Один из пассажиров, узнав, что мы едем изучать плодовых мух, сказал: "Нашли тоже время..." "Представьте себе, самый сезон", – сказала я.

Популяции Кутаиси надлежало быть высокомутабильной. Частота возникновения мутаций оказалась низкой. Я решила, что я ошиблась, считая популяцию подразделенной на отдельные относительно изолированные очаги размножения. Кутаиси – город ураганов. И бушуют они как раз в сезон виноделия. Каждый винный завод – мушиный изолят, океанический остров. Высунуться за его пределы равносильно смерти. Отбор идет в пользу оседлых. Популяция Кутаиси – решила я – относится к типу изолированных. Низкая мутабильность – результат изоляции.

Шмальгаузен рвал и метал. Я должна прекратить исследования и представить докторскую диссертацию. Докторант, не представивший в срок диссертацию, бросает тень на руководителя. Но я не могла засесть за писанину. Поймите меня! Мне нужна большая популяция, суперпопуляция, подразделенная на боевые когорты, ведущие смертельный, хотя и бескровный бой друг с другом. Соревнование по наследственной

пластичности ничем, никакими преградами, никакими ураганами ограничено быть не должно.

Какое счастье, что я не послушалась Шмальгаузена. Добывание докторской степени – вот, где таилась опасность для моей теории. 1946 год – последний год моих исследований, прерванных затем на десятилетие жизненными обстоятельствами и Августовской сессией ВАСХНиЛ, когда лысенковщина одержала окончательную победу и генетика была ликвидирована.

Недаром няня, противопоставляя мой характер нежности моего брата – ангела небесного Симочки, говорила: "Раиска настырная".

Послушайся я Шмальгаузена – директора института, главы лаборатории и моего руководителя, – и не видать мне глобальных флуктуаций мутабильности. Я знала – различия в пространстве существуют. В одних популяциях мутации возникают часто, в других – редко. В 1946 году я обнаружила различия во времени. Мои географические изыскания стали географо-историческими. Большая гигантская популяция – цель моих пламенных желаний – мухи Тирасполя, Молдавии – родины моих предков. Поблизости от Тирасполя в маленьком городке Бендеры в стену дома, где родился в 1876 году мой отец, вделана маленькая мраморная мемориальная доска. Я видела ее в 1962 году, когда вместе с моей младшей дочкой Машей, названной в честь убитой немцами тети Мусиньки, я снова посетила Молдавию. Но экспедиция к мухам организуется осенью, а до осени 1946 год изобиловал событиями.

Проведя новогоднюю ночь в поезде Москва-Ленинград, я прибыла в город, медленно оправлявшийся после блокады. Контраст между Москвой и Ленинградом потрясающий. Послевоенную Москву в июле 1945 года показывали иностранцам. В Ленинграде в январе 1946 года свалки мусора и нечистот загромождали каналы, расчищен только самый центр города, а канал Круштейна, огибающий великолепный когда-то, а теперь обшарпанный до предела дворец графа Бобринского, завален гигантскими остроконечными холмами отбросов. Дворцы перемежаются с руинами. Стены домов выщерблены, будто дома болели оспой: следы обстрелов. Одна из гигантских колонн Исаакиевского собора на стороне, глядящей на Конногвардейский бульвар, еще в семидесятые годы хранила шрам оспенной язвы.

В очереди за хлебом люди рассказывали о том, как они ели трупы людей, умерших на улице. Я не буду воспроизводить эти рассказы.

В Зоологическом институте Академии наук под руководством великого специалиста по систематике мух А.А. Штакельберга я начала исследования по эволюции крыла. Крыло насекомого – гениальное изобретение гениального авиастроителя. Моя детская мечта познавать законы эволюции сбылась. Изменчивость, отбор, различия между видами – все было перед моими глазами. Я измеряла крылья мух разных родов и видов, сопоставляла размеры крыльев с расположением жилок на крыловой пластине и была счастлива.

В августе 1946 года мы с Мариной Померанцевой, моей спутницей по прошлогодней экспедиции и с лаборанткой кафедры дарвинизма

Софьей Львовной, пожилой женщиной, за глаза называемой Софочкой, уехали через Одессу в Тирасполь. Софочка задержалась в Одессе, где у нее были родственники. Мы с Мариной ехали в мягком вагоне поезда Одесса-Кишинев. В Кишиневе был съезд виноделов. В нашем купе оказался старичок-профессор, специалист по биохимии вина. "Имею честь быть знакомым с вашим всеми уважаемым батюшкой", – сказал он, когда я представилась. Он в курсе всех событий на генетическом фронте. Он читал статью А.Р. Жебрака в журнале *Science* и знал, что Жебрака судили общественным судом за эту статью. Он знал, что Жебрак – один из крупнейших генетиков-селекционеров, профессор Тимирязевской Академии и академик Белорусской Академии, не каялся, как того требовали во время этого издевательского фарса. Он прекрасно осведомлен о провалах всех без исключения сенсационных проектов Лысенко.

Мы дивно поужинали креветками и помидорами, купленными на базаре в Одессе. Старичок спал, а я, лежа на второй полке, пела. Сим обожал блатные песни и обучал меня им.

– Отчего меня девчоночки не люблять,
Отчего мене ботиночки не куплять? –

пела я в полном самозабвении.

– Манька рупь, да Катька два,
Ты бы, Любка, полтора,
Вот тебе шевровые ботинки.
Очень хочется мене жениться,
Твоим мужем стать мене хотиться.

Я фартовый Петька Клин,
Ты коса на глаз один,
Вот тебе прелестнейшая па-а-ра... –

заливалась я в полной уверенности, что стук колес и качка усыпили профессора.

– А она ему в ответ:
Я тебе не пара,
Мой миленочек шофер,
А я его шмара.

Я не успела допеть про то, как

– Измученный, истерзанный
Да Любкою косой,
Сидел Клин на толкучечке
Голодный и босой.

Вдруг видит мимо шляется
Фартовый господин.
К нему в карман рученочку
Засунул Петька Клин.

Не прозвучало и то, как застукали Петьку и как затрясся он, как индюшечка, и как он пел в тюряге: "отчего меня девчоночки не люблять". Блатные мои рулады оборвались на ползвуке. Я глянула вниз и увидела старичка. Он не спал. Вытянув шею, – складки кожи натянулись до предела, – он с отвращением на лице слушал мое пение. Он едва попрощался утром, при расставании. Он был глубоко оскорблен за всеми уважаемого батюшку, имя которого профанировалось столь бесстыдно. Отцу я об этом, конечно, никогда ни гугу. Но однажды у отца был званый ужин, я рассказывала одному из гостей историю про старичка и цитировала, не пела, конечно, эту самую песню. И вдруг я увидела отца. Он слышал все. Мы с Симом недаром были его детьми. Слова песни доставили ему величайшее удовольствие. Сказать он не сказал – по лицу было видно.

Софочка – это продукт. Служить, по ее понятиям, – репрезентативным для подавляющего большинства совслужащих, включая рабочих и колхозников, – это получать те мизерные крохи, которые платит государство, и извлекать из предприятия максимальную выгоду, минимизируя до предела трудовые затраты. У нее не было на кафедре никаких обязанностей. Числилась она лаборантом. Я нанимала лаборанта и препаратора за свой счет. Платила деньги и давала талоны карточек. Софочка не стукала палец о палец. Абраму Львовичу Зеликману, доценту кафедры, помогала усердная студентка. Он изучал преимущества низкой плодовитости в условиях голодания. Малюсенькие рачки – циклопы – были его объектом. Он работал с утра до ночи. Софочка не помогала и ему. Зельман Исаакович Берман, как и я, нанимал лаборанта за свой счет.

Может быть, вас удивляют имена сотрудников кафедры. Глава ее Шмальгаузен – немец. Все без исключения аспиранты и сотрудники кафедры – евреи.

Меня предостерегали против участия Софочки в экспедиции. Я надеялась на лучшее. Я предупредила ее, что лов мух производится далеко от лаборатории и что придется много ходить по неизвестно каким, скорее всего плохим, дорогам. Нужна соответствующая обувь. Обуви у нее нет. Я дала денег. Когда, погостив в Одессе, она с большим опозданием появилась в Тирасполе, работа была в полном разгаре. Идти ловить мух? У нее нет обуви. Да, она понимает. Деньги пришлось отдать родственникам. Сестра ее больна. И бутылку спирта, предназначенную для раздобывания билета, пришлось продать. Потому и опоздала. Она не делала ничего, паразитируя на экспедиционном бюджете. Настал день и час, когда терпение мое истощилось. Но для этого потребовались чрезвычайные события. Молдавия – страна прекрасных людей. Честность, услужливость, доброжелательство молдован – легендарны. Дом, где

помещалась наша лаборатория, находился на перекрестке пяти дорог. Председатель колхоза – Паван – он такой урожай снимал, такую оросительную систему построил, что о нем в "Правде" писали, – дал нам этот дом. Он выписывал трудодни кухарке, которая варила корм мухам. Он сказал, что двери не запираются: надобности нет. О воровстве не слыхать. Мы снимали комнаты в соседнем селе, там мы только спали. Ели и работали в доме у пяти дорог. Я договорилась с супружеской четой молдован, что они будут приносить нам молоко. Кринки будут ставить на подоконник, а деньги мы будем класть в пустую кринку, возвращаемую им. Система работала безотказно. Но вот муж и жена пришли ко мне. "Где же деньги?" Деньги, чтобы платить за молоко, я дала Софочке. Ее пребыванию в составе экспедиции пришел конец. На что она рассчитывала? Уехать в подходящий момент, до того, как махинация раскроется, а потом обвинить меня и молочников во лжи. Очная ставка – великое дело.

Мы вернулись в Москву. Софочка принимала экспедиционное оборудование, взятое с кафедры. Кое-чего недоставало. Сломалась керосинка. Я оставила ее кухарке. Софочка грозила судом. Веселая жизнь. Тут она крупно проворовалась. Представила подложные документы, доказывающие, что кафедра потратила большую сумму денег на починку микроскопов, и прикарманила эти деньги. "Прогонят?" – сказал мне Зельман Исаакович Берман. "Не надейтесь. Прогонят всех, включая Шмальгаузена, а Софья Львовна останется". Фраза риторическая. Она означала: скорее прогонят Шмальгаузена, чем проворовавшегося лаборанта. Но оказалась она пророческой. Менее, чем через два года после того, как она прозвучала, все без исключения сотрудники Кафедры дарвинизма были изгнаны, включая главу и организатора Кафедры Шмальгаузена. Софочка осталась в неприкосновенности. Она одна. Это случилось в 1948 году. Конец драмы разыгрался без меня. Я переехала из Москвы в Ленинград в 1947 году и была изгнана с другой кафедры другого учебного заведения.

С воровством в Молдавии мне, увы, пришлось столкнуться. Тетя Мотя, украинка, варила корм мухам и нам. Когда продуктам, привезенным нами из Москвы, пришел конец, а он пришел много раньше, чем ему полагалось, и причина тому воровские повадки тети Моти, она покинула нас. И ее мораль, как и мораль молдован, легендарна. Только с противоположным знаком. Она ненавидела евреев. "Скоро мы будем их кровью лакировать наши крыши", – говорила она. Кухарка, которой я отдала сломанную керосинку, пришла ей на смену.

В Кишиневе мы были проездом. Разрушения намного превосходили все, виденное мною раньше. Коробки домов без крыш, без рам и стекол высились повсеместно.

На рынке, на прилавке фруктового ларька под тентом спал среди яблок младенец в очень застиранных, очень чистых пеленках. "Он продается?" Ответ по-румынски я поняла. Так же было бы и по-французски: *Il dort.*

В пригороде Кишинева – деревня деревней – в меня влюбился аист. Черно-белая лента свисала ниже пояса с широких полей моей белой соломенной шляпы. Расцветка аиста. Он перелетал с крыши на крышу, следуя за нами, и не сводил с меня глаз. Будь на мне год назад эта шляпа, и я прошла бы по красному ковру вместе с иностранцами, не встретив ни малейшего препятствия.

Сперва казалось, что мухи Тирасполя – именно то, что мне нужно. Среди диких самцов мутантов много. Желтые самцы попадаются с той же частотой, что в Умани девять лет назад. Но вот я стала изучать частоту возникновения мутаций. Она оказалась низкой. Раз мутанты встречаются среди диких мух, значит частота возникновения только-только понизилась. Мутационный процесс нагнетал наследственное разнообразие в популяцию, и мы видим свежий след его прекратившейся, нет, снизившейся активности.

Мне следовало лететь в Умань. Марина была отправлена в Москву. Ее и так чуть было из Университета не исключили за неявку на занятия в положенный срок. Я отправилась в Умань одна. Каким-то непостижимым образом удалось выхлопотать через правительство Молдавской республики самолет. Он дан персонально мне. Маршрут Кишинев-Киев. В Умани нет аэродрома.

Первый раз в жизни я увидела вблизи самолет. Двухместная стрекоза эта имела открытую в небо кабину. Тросики не толще моего пальца вертикально натянуты между верхней и нижней парами крыльев. Допотопная модель У-2. Казалось, взлетит эта стрекоза в воздух и – "кряк" – развалится. Еще и сиденье сломано и ремней нет. Пилот, однако, что надо: Герой Советского Союза, летчик Пряхин. Катастрофы можно не бояться. Меня страшило другое. Лететь предстояло на высоте снежных шапок горных вершин. Зимних вещей у меня не было. Я завернулась в мохнатое полотенце, надела все чулки, какие были с собой. "Товарищ Пряхин, мне не в Киев, мне в Умань нужно. Ведь не по рельсам ехать. Давайте полетим в Умань", – говорю я летчику. "Маршрут Кишинев-Киев, – говорит он, – не смею ослушаться." Взлетели. Оказалось, что морская болезнь, терзавшая меня в автобусах на пути из Симферополя в Никитский сад, особенно, когда шоссе начинало виться между гор, переносится на свежем воздухе гораздо легче. Содержимое желудка вырывается из вас в поднебесьи с легкостью дыхания и рассеивается в атмосфере, не достигая топографической карты под вами. Смотреть надо в даль. Ничто не должно качаться перед вашими глазами. Я было приспособилась, как вдруг Пряхин протягивает мне записку: "Куда посадить вас в Умани?" "К вокзалу", – написала я. Морская болезнь усилилась. У-2 называется еще кукурузником. Мы приземлились неподалеку от вокзала на кукурузном поле среди редких засохших стеблей.

Меня приютил Педагогический институт Умани. На его Географическом факультете я устроилась со своим бинокуляром. Старший научный сотрудник Академии наук, дочь Берга. Географы оказывали мне царские почести. Меня приглашали послушать лекции, и преподаватели

читали их для меня по-русски. Я чувствовала себя ужасно, а тут дело еще осложнилось. Я подыхала с голоду. Я послала телеграмму в Москву с просьбой продлить мне командировку и выслать деньги. И вот нет уже ни копейки, а ответ из Москвы не приходит. Не будь этих почестей, я пошла бы на рынок, продала бы одно из платьев и баста. У меня уже черно в глазах делалось, когда я решила все же идти на рынок и продать платье. С платьем под мышкой я пришла на почту, чтобы справиться, не пришли ли деньги. Деньги пришли. Честь спасена.

Что касается мушиных популяций, Умань ничем не отличалась от Тирасполя. Мутанты встречались среди диких самцов в точности с той же частотой, как и в 1937 году. Возникали они много реже. Мутабильность понизилась и здесь, и понижение произошло совсем недавно. Изменения мутабильности в популяциях мух Умани и Тирасполя произошли одновременно.

Исследовать мух, прибывших из Умани и Тирасполя, я могла на Кафедре дарвинизма в Москве. Чтобы постигать законы инженерного изобретательства на примере мушиного крыла, я нуждалась в коллекции Зоологического музея в Ленинграде. Я ездила в Ленинград.

Эволюция крыла всех первоклассных летунов сопровождается упрощением сети жилок, оснащающих крыло. Крыло – парус, способный придать струе воздуха нужное направление. От паруса крыло отличается так же, как поэт от прозаика. Крыло – пропеллер, но во сто крат более виртуозный, чем создание рук человеческих. Задняя часть его гибких лопастей изгибается в полете по отношению к передней, сбрасывая воздух не назад, а вперед, чтобы он нес летуна к заветной цели. Нет ветра – он будет создан взмахами крыльев. Попутный ветер. Птицы и насекомые не отталкиваются от воздуха, они скользят в его струях, созданных взмахами крыльев. Жилки на крыле насекомого – залог прочности и гибкости. Разнообразие их сетей – красноречивое повествование о множестве инженерных средств достичь совершенства. Сети упрощаются, совершенствуясь.

Нить моей судьбы тем временем рвалась и запутывалась. Генетик на Кафедре дарвинизма Московского университета, генетик в Институте эволюционной морфологии – это была я. Генетиков гнали из учреждений, специально для исследований по генетике предназначенных. Ю.Я. Керкис, изгнанный из Института генетики Академии наук, когда Лысенко заместил Вавилова, пристроился было на миг в Зоологический институт в Ленинграде, но изгнан и оттуда. Всемирно известный ученый, он добывал хлеб, работая директором овцеводческого совхоза в Таджикистане. А.А. Прокофьева-Бельговская, изгнанная из Академии, стала микробиологом.

Во время одного из моих посещений Зоологического музея в Ленинграде я попросила мое московское начальство продлить командировку. В ответ на письмо получаю телеграмму: вернуться, иначе отчислят. Я вернулась. Из Университета меня отчислили.

В Институте эволюционной морфологии партийная организация потребовала, чтобы я отчиталась о своей работе по эволюционной

морфологии животных. Мои популяционные исследования не соответствуют тематике института. Доклад по эволюционной морфологии крыла произвел впечатление. Меня не отчислили. Шмальгаузен был в отъезде. Все делалось за его спиной.

На Ломоносовские чтения Московского университета я ходила, чтобы слушать доклады на отделении математики и механики по проблеме машущего крыла. Техника не знает его и поныне. Расположение жилок на крыле первоклассных летунов – пчел и мух – может сослужить хорошую службу его конструкторам. Я написала статью и послала ее в "Известия Академии наук", где редактором оставалась красавица Надежда Исаевна Михельсон, не поколебленная в своем добром отношении ко мне портретистом Ленина. Статья не увидела свет. После разгрома генетики в 1948 году редакция вернула мне рукопись с мотивировкой. Статья не может быть напечатана, так как работа сделана на объекте, не имеющем хозяйственного значения.

Объект Менделя, как известно, горох. Горох, а не какая-то там, совсем даже не вредная плодовая муха! Несомненная хозяйственная ценность его объекта не спасла покойного гения от ниспровержения. Где уж мне!

Надежду Исаевну из редакции журнала к тому времени, надо думать, турнули или принудили изменить профиль издания, как гласил официальный эвфемизм.

Зато другой моей статье, сделанной совместно с Мариной Померанцевой на Кафедре дарвинизма Московского университета, повезло. Она появилась под занавес в последнем номере "Журнала общей биологии" перед тем, как его профиль был изменен, а главный редактор, академик Шмальгаузен изгнан из его редакции. Произошло это год спустя: появление моей статьи, разгром генетики, изгнание всех генетиков и меня в том числе со всех постов, официальная победа знахарства, коронование распутинщины. Николай Второй Распутина приближал в качестве целителя царевича Алексея, но министром здравоохранения не делал. Знахарство Лысенко было возведено в ранг государственной доктрины, а он сам сделан членом Правительства. Разгромом генетики знаменит 1948 год. А пока шел 1947-ой.

Как бы ни бесился Шмальгаузен, что я не пишу докторскую диссертацию, как бы ни указывал на опасность изгнания за невыполнение производственного плана, – а в плане не истина, а труд, напрасный труд по оформлению машинописной книги, не предназначенной для печати, а годный только для бесконечной бюрократической процедуры, завершающейся получением степени доктора наук, – как бы ни советовали отец и друзья торопиться с получением степени (отец предвидел надвигающуюся катастрофу), писать диссертацию я не намеревалась.

Мухи, которых я изучала до тех пор, в сущности домашние животные, неразлучные спутники человека. Я хотела изучать настоящих дикарей, обитателей фруктовых лесов Ферганской долины. Мой путь лежал в Шахризябс. Шмальгаузен утвердил план. Противиться до конца Раискиной настырности он не мог. Во время одного из наших визитов к

нему отец спросил его: "Она вас слушается?" "Когда я делаю то, что она хочет", – был ответ.

Ферганская долина – голубые кулисы гор, уходящие к горизонту, уменьшаясь, сменяя друг друга. Дикие мухи фруктовых лесов. Мне никогда не пришлось увидеть их.

Мой муж, Валентин Сергеевич Кирпичников, демобилизовался из армии и получил место в Рыбном институте, пардон – в Институте рыбного хозяйства Министерства пищевой промышленности РСФСР в Ленинграде. Я переехала в Ленинград. Я бы не переехала ни за что, так и жили бы в разных городах, если бы не два взаимоосложняющих обстоятельства. Моя старшая дочь Лиза была в проекте, и я лишилась жилплощади. Последнее означает, что меня вышвырнули из общежития на Малой Бронной. Случилось это еще в 1945 году, в то время как я изучала мух гигантских винных заводов Кутаиси. В мою комнату вселили демобилизованную из армии сотрудницу Академии, а мои вещи и книги вынесли в коридор. Храм Баграта спас меня от отчаяния. Тысячу лет он лежал в развалинах. Горельефы с изображениями львов и виноградных листьев украшали когда-то его стены. Благородные камни порознь лежали в траве. Бог, лишившийся кровли, шептал мне на руинах своего храма слова утешения. Я снимала комнату артистов, уехавших на гастроли. Я судорожно держалась за Москву, за Институт эволюционной морфологии животных, отлично понимая, что в отношении работы меня в Ленинграде не ждет ничего хорошего. Но Лиза уже шевелилась, артисты вот-вот должны вернуться, бывший выдвиженец Лобашев, согнавший меня и Розу Андреевну Мазинг с кафедры, которой он заведовал, согласился взять меня обратно. Я переехала.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ БЕССТРАШИЯ

Что руководствоваться обещанием Лобашева, что бросаться в омут головой, все едино. Он не взял меня на кафедру. Я оказалась доцентом на полставки Педагогического института имени Герцена и читала дарвинизм на отделении, где готовили учителей начальных классов школ. Мухи мои все же удостоились чести быть на кафедре генетики Ленинградского университета. Пережившая войну, знаменитая Кашира-6 – среди них. Но мне было не до мух! Феминисты всего мира! Учтите это – мне было не до мух.

Я производила на свет детей. Лиза родилась в июле 1947-го года, Маша – в августе 1948-го. Опыты я не ставила, но линии мух берегла как зеницу ока. Вот чуть-чуть подрастут дети и снова я буду ездить к мухам. Не пришлось.

В 1948 году генетика прекратила свое существование. Разгром произошел на сессии, которая вошла в историю под именем Августовской сессии ВАСХНиЛ.

В 1723 году Джонатан Свифт описал посещение Гулливером Лапуты и Академии в Легедо. Он прослыл злым сатириком. Опиши Свифт Институт генетики Академии Наук СССР, Кафедру генетики и селекции Ленинградского университета в период, начавшийся со времен Августовской сессии ВАСХНиЛ в 1948 году, и саму эту сессию, откажись он от фантастического иносказания, он заслужил бы тот же самый упрек. Труды лабораторий, энергично работавших под руководством Лысенко, Турбина, Столетова, Бабаджаняна, М.М. Лебедева и множества других, поспешивших стать под знамена Лысенко, стенографический отчет Августовской сессии ВАСХНиЛ производят обманчивое впечатление сатиры, написанной пером безудержного фантаста. Параллели между проектами персонажей Свифта и практическими рекомендациями лысенковцев поразительны. Совпадение методологий полное.

Порок еще не порок, пока он тайный. Истинная порочность выставляет себя напоказ. Бесстыдство, или, вернее, преодоленный стыд – отрицательный эквивалент бесстрашия, преодоленного страха.

Стенографический отчет Августовской сессии ВАСХНиЛ переведен на английский язык. На картонной обложке английского издания, выпущенного в свет в Москве в 1949 году, крупными буквами пропечатано:

The Situation in Biological Science. Proceedings of the Lenin Academy of Agricultural Sciences of the USSR Session: July 31-August 7, 1948. Verbatim report. Moscow 1949.

Перевод действительно дословный, но подлинник не содержит всей правды. Нет, к примеру, реплики Рапопорта. Он прервал Презента: "Ты врешь, вонючий шакал." Не могу удержаться от отступления. Рапопорт был исключен из партии. В пятидесятые годы, когда Дубинин организовал под эгидой физиков лабораторию радиационной генетики, он

согласился взять Рапопорта при условии, что Рапопорт выхлопочет себе восстановление в партии. Рапопорт отказался.

Имея Стенографический отчет, очень легко сделать сопоставление двух Академий: той, что описана Свифтом, и той, чье заседание стенографировано. Начнем с методологии. Гулливер знакомится с Академией Проектировщиков в Легедо. Профессора вырабатывают новые способы повышения урожая. Их задача заставить все растения плодоносить в назначенное ими время и давать урожай, во сто крат превышающий нынешний... Есть множество других смелых заданий. Единственное неудобство заключается в том, что ни один из выдвинутых планов не завершен, и в настоящее время в стране царит мерзость запустения... Академики, однако же, не унывают. С удесятеренной энергией они настаивают на осуществимости своих проектов, движимые в равной мере надеждой и отчаянием. Те же, кто не желает следовать пагубным рекомендациям прожектеров, навлекают на себя гнев и раздражение. Их считают врагами общего блага, эгоистами, заинтересованными только в личном обогащении. Не реальная помощь сельскому хозяйству, не благосостояние народа важны заправилам Лапуты, а борьба с носителями вражеской идеологии.

На Августовской сессии ВАСХНиЛ великим идеологом лысенковщины, великим лапутянином двадцатого века был Николай Васильевич Турбин.

Обратимся к стенографическому отчету. Сила и значение мичуринской биологии в том, чтобы сокрушить вражескую идеологию. Речь Турбина: "Факты, которые на наш взгляд полностью подрывают основу генной теории, это прежде всего факты из области вегетативной гибридизации, которые показывают, что можно получить гибридные организмы, сочетающие признаки взятых для прививки исходных форм без объединения хромосомных наборов этих исходных форм, а следовательно, без объединения генов, локализованных в хромосомах", – говорит Турбин. И вот самое главное – "Если мичуринская генетика особое значение придает именно этой категории фактов, то она делает это вовсе не потому, что якобы академик Лысенко считает основным методом селекции вегетативную гибридизацию, а потому, что вегетативная гибридизация является главным и наиболее наглядным доказательством несостоятельности генной теории. Только этих фактов было бы достаточно, чтобы полностью отказаться от генной теории как от неверной."

Перейдем к практическим мерам повышения урожайности. Методы обработки почвы. Гулливер повествует: "В другом помещении я имел удовольствие познакомиться с изобретателем нового способа обработки почвы с помощью свиней. Плуги, рабочий скот, тяжелый труд при этом способе не нужны."

Стенографический отчет. Выступает директор Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства Г.П. Высокос: "В 1942 году академиком Лысенко было сделано выдающееся открытие, показывающее, что озимая пшеница в степной Сибири может прекрасно

зимовать, при условии посева ее по совершенно не обработанной стерне яровых культур... Простота и доступность стерневого посева открывают каждому колхозу Сибири возможность разведения озимой пшеницы и подъема урожайности... Благодаря открытию академика Лысенко суровая сибирская природа оказалась побежденной... В текущем году Министерство сельского хозяйства... установило план посева озимой пшеницы по стране в колхозах Омской области в размере нескольких тысяч гектар."

Снова отступление. Теперь поставьте себя на место председателя колхоза, которому "спущен" план сеять по стерне. Что он делает?

Я знаю из первоисточника, как поступали колхозники Ленинградской области, когда в хрущевские времена с них требовали сдавать богатый урожай кукурузы. Они сдавали его. Выращивали картофель, везли на Украину, продавали, покупали кукурузу и сдавали, как если бы она уродилась на их родной земле.

Точно так, я уверена, поступали и кинооператоры, показывающие в киножурнале "Последние новости" – его крутят перед каждым сеансом, каждый день, в каждом кинотеатре – поля кукурузы, заснятые согласно проникновенным словам диктора в Ленинградской области. Я видела в кино эти тучные поля ленинградской кукурузы, богатый урожай дезинформации.

Возвращаюсь к Легедо. Методы создания высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных. Ученый уверяет Гулливера, что пауки гораздо полезнее шелковичных червей, ибо не только прядут, но и ткут. Гулливер повествует, что он отнесся к словам академика с полным доверием после того, как академик показал ему множество мух, расцвеченных в прекрасные тона. Этими мухами ученый выкармливал пауков в расчете, что сети пауков приобретут в результате кормления расцветку мух. Разнообразие мух столь велико, что можно будет удовлетворить любые запросы. Дело за пищей для мух. Мух надлежит кормить клейкой пищей и тогда паутина пауков приобретает прочность. Точно то же в Академии Наук СССР в годы засилья Лысенко. Хиля Файвалович Кушнер – в прошлом докторант Вавилова, а затем бессменный сотрудник и прозелит Лысенко, занимался курами. Перед войной он выработал способ выращивать в кратчайший срок огромных цыплят. Цыплята его были гибридами. Он скрещивал чистопородных кур одной породы с чистопородными петухами других пород. Потомство – не новая порода, но отлично служит целям гастрономии. Став под знамена Лысенко, Кушнер не расстался с гибридизацией кур. Сменилась идеология, сменились методы получения гибридов. На смену половой гибридизации пришла вегетативная. Изменить породу надлежало теперь с помощью кормления. Кушнер не надеялся получить новую породу кур, выкармливая цыплят измельченными трупами другой породы, чьи свойства следовало сочетать со свойствами кур-каннибалов. Изменить питание цыпленка следовало до того, как он вылупился из яйца. Кушнер удалял белок яйца и переливал в него белок яйца, снесенного курицей другой породы. Согласно доктрине, цыпленок,

вылупившийся из яйца, над которым проделана эта процедура, – вегетативный гибрид. Он не только сам выявляет признаки породы, от которой он получил наследственные свойства, переданные белком, но и передает эти свойства по наследству.

О хозяйственно ценных признаках речь не идет. Вопрос решается в принципе. Признак, передаваемый через белок потомству, – окраска. Белок яйца белой курицы заменяется на белок яйца, снесенного черной курицей. Ожидается, что гибридный цыпленок, гибридный с точки зрения Кушнера, унаследует от черной курицы ее черную окраску. Пища – носитель наследственных свойств организма. Читатель! Никогда не ешьте бараньи мозги! Природа поддавалась лапутянам не сразу и лысенковцам тоже. Черные куры заставили себя подождать. Но, наконец, из яйца, снесенного белой курицей, курицей, которая ни с каким другим петухом, кроме белого петуха своей же породы не общалась, вылупился черный цыпленок. Белок яйца был перелит. Имей Кушнер контроль, он понял бы, что перед ним цыпленок-мутант. Мутационный процесс и отбор, проводимый исследователем, создали то, что несчастный труженник приписывал своим усилиям. Черные мутанты появляются среди чистопородных белых кур точно по тем же законам, по которым желтые мухи появляются среди нормальных бронзовых мух. Разводи и отбирай.

Выдающийся американский генетик, великий специалист по селекции кур – Майкл Лернер предложил через международный журнал Кушнеру приехать к нему со своими лаборантами и проделать ту же работу, используя его, Лернера, породу кур. Черные мутанты среди его белых леггорнов были, по его наблюдениям, чрезвычайной редкостью.

Я встретила Кушнера и, зная о приглашении, спросила его: "Едете в Америку? Согласились?" "Согласиться или не согласиться, – дело ЦК, а не мое", – был ответ. Поехать в США Кушнеру не пришлось.

Ну как тут не вспомнить кукушку! Кукушка – козырной туз мичуринской биологии. Пеночка, наевшись по ошибке мохнатых гусениц, рождает кукушонка. Порождение одним видом другого вида происходит в результате изменившегося питания. Студенты Рижского университета, услыхав про кукушку, сделали препарат вскрытой кукушки. Видны яичники с почти зрелыми яйцами. Они послали препарат Лысенко с этикеткой: "Какой морганист-менделист-вейсманист засунул в кукушку эти яйца?" Студенты на удочку не попались. Они поняли, что кукушка, рожденная пеночкой, вполне вписывается в самое передовое в мире учение.

А я с кукушкой опростоволосилась. Когда я услыхала, что кукушонок родится не от кукушки, а от пеночки, и что это модель овса, порождающего сорняк, овсюг, я решила, что слышу анекдот. Было это в 1951 году. Будучи выгнана отовсюду, я в это время писала книгу о путешествиях моего отца по озерам Сибири и Средней Азии и ходила в Ботанический институт АН СССР знакомиться со среднеазиатской флорой. Один раз застала там конференцию. Был перерыв. В вестибюле у столов стояли люди – книжный магазин сделал выставку новых

книг. Два пожилых ботаника оживленно разговаривали. Я их тогда не знала, а потом познакомилась. Один из них был Александр Иннокентьевич Толмачев. Отлично помню всю сцену. Один рассказывал другому о кукушке. Вот это самое, что она от пеночки родится. Я прислушалась. Они заметили и отошли – сталинское время было. Через некоторое время, на даче у опального тогда Леона Абгаровича Орбели я говорю ему, что анекдоты предсказуемы, вот про кукушку можно было предвидеть. Он на меня печально так посмотрел и ничего не сказал. А потом, в другой раз он при мне рассказывал о докладе Лысенко, когда малограмотный агроном, выпускник Сельскохозяйственного института города Умани, развивал свои соображения по общей паразитологии. Огромный зал не вмещал всех желающих, громкоговорители были установлены во всех коридорах здания. Но академики, конечно, все были в зале. Леону Абгаровичу особенно запомнилось, как Евгений Никанорович Павловский – действительный член двух Академий – Академии Наук и Академии Медицинских Наук, зоолог и паразитолог, директор Зоологического института АН СССР аплодировал. А откуда кукушка берется и как кукушонок в гнездо пеночки попадает, это даже маленькие дети знают. Орнитолог и детский писатель Виталий Бианки в книжке для дошкольного возраста описал. О кукушке подробно пишет Дарвин в "Происхождении видов", есть специальная книга, посвященная гнездовому паразитизму птиц, изучены генетические и экологические основы выбора кукушкой гнезда для своего потомства.

Но Лысенко наука не указ. Он говорил, что пеночка порождает кукушку, если она сама выросла на необычном для нее рационе – выкормлена родителями мохнатыми гусеницами. Вы думаете, наблюдения велись над кукушкой и пеночкой? Не нужно никаких наблюдений. Лысенко говорит, Павловский аплодирует.

У меня с Павловским был разговор на эту тему, но всего не расскажешь. Е.Н. Павловский зачислил в свой институт академика И.И. Шмальгаузена – директора Института эволюционной морфологии АН СССР и заведующего Кафедрой дарвинизма Московского университета, – когда тот лишился работы, и до конца своих дней Шмальгаузен был сотрудником этого Института. Шмальгаузен умер в 1963 году, через 15 лет после Августовской сессии ВАСХНиЛ. К преподаванию его так и не допустили. Чтобы иметь возможность в 1951 году зачислить преданного анафеме академика, Павловский аплодировал Лысенко.

Яйца кукушки похожи на яйца тех птиц, которым данная разновидность кукушек поручает заботу о своем потомстве. Непохожие яйца птицы выбрасывают. Сходство называется мимикрией. Аплодисменты Павловского относились именно к этой категории явлений. Он, конечно, предпочел бы затаивание, но очень уж был на виду.

Впрочем, подсюсюкнул он Лысенко и в печати, очень постыдно. Об этом у меня и был с ним разговор, когда он стал Президентом Географического общества – шестым Президентом после того, как пятый –

мой отец – оказался не в состоянии дальше жить под кровавой пятой сталинизма.

Я Павловскому пару теплых слов сказала. Разговор он начал, ему хотелось оправдаться, а я была фигура чисто приватная. Он хотел получить одобрение своему подсюсюку. Но не получил.

А теперь я вернусь к Августовской сессии ВАСХНиЛ. Она отделена от событий, с доверчивостью описанных Гулливером, двумя с четвертью веками. На противоположных берегах океана, океана времени, находятся фантастическая страна Свифта и реальная страна, закономерно и неизбежно породившая лысенковщину.

Пятое заседание Сессии. Речь В.А. Шаумяна, директора Государственного племенного рассадника крупного рогатого скота костромской породы. Прежде чем приступить к восхвалению костромской породы скота, он призывает к уничтожению врага. Шаумян убежден, что вскрыть вражескую идеологию, таящуюся за хромосомной теорией наследственности, куда важнее, чем повысить урожайность культурных растений или продуктивность домашних животных. Советский человек должен знать, что враг не дремлет. Бдительность важнее сытости. Нужно внушить советскому человеку, что виновники его голодного прозябания – интеллигенты – менделисты-морганисты-вайсманисты. Они намеренно снижали урожай и, работая на врага, вынуждали мудрое руководство повышать военный потенциал страны Советов. Августовская сессия и проходила под лозунгом бдительности, укрепления государственной идеологии. Подлинная тревога за судьбы отечества звучит в его словах, когда он вещает: "Надо же, наконец, понять, что сегодня наши морганисты-менделисты по существу подают руку и объективно, а кое-кто, может быть, и субъективно, блокируются с международной реакционной силой буржуазных апологетов не только неизменности генов, но и неизбежности капиталистической системы." Дальше идет восхваление породы скота. "Что именно обеспечило такой большой успех нашей работы? Первое и основное условие в породообразовании – это обильное и умелое кормление животных во все периоды их роста, развития и продуцирования. Второй, не менее важный фактор (я лично ставлю его наравне с кормлением) – умелое интенсивное доение... Организм коровы вынужден переключаться с образования и отложения сала и мяса на переработку основного количества получаемого корма в молоко." Согласно Шаумяну, корова становится более удойной и это ее свойство, приобретенное в течение жизни, передается по наследству. Под влиянием кормления и упражнения меняются пропорции тела животного. Сердце коровы становится вдвое тяжелее "относительно к весу животного". Заканчивает свое выступление зоотехник столь характерным образом, что я не могу удержаться, чтобы не привести заключительные слова его речи целиком. "Формальные генетики нанесли нам колоссальный вред, они пытаются обезоружить миллионы передовиков сельского хозяйства, которые своим беззаветным трудом день и ночь, не покладая рук, неустанно творчески трудятся и создают богатства для нашей Родины.

Мы сейчас должны окончательно и безповоротно развенчать эту антинаучную и реакционную теорию, и, пока мы не усилим наши "внешние воздействия" на умы наших противников и не создадим для них "соответствующие условия среды", нам их, конечно, не переделать. Я совершенно уверен, что, руководствуясь единственно правильной теорией Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и той колоссальной заботой, которой окружает людей науки гениальный Сталин, мы безусловно справимся с этой задачей." Народ не безмолвствовал. Стенографический отчет Сесси содержит указание на реакцию аудитории – аплодисменты.

Если Вы учтете, что "соответствующие условия среды", которые по мнению Шаумяна следует создать для представителей "формальной генетики" – это Архипелаг ГУЛаг, а он именно это имеет в виду, и все понимают его, сатира Свифта померкнет в Ваших глазах.

Стенографический отчет Августовской сессии ВАСХНиЛ занимает 631 страницу. Из 50 докладчиков, призывающих устроить бойню, я привела слова только трех. Речи Презента, Глущенко, Нуждина, Дворянкина, Столетова не менее грозные, чем речь Шаумяна. Вступительная речь и заключительное слово Лысенко – барабанная дробь, ритуальная музыка публичных казней. Только в заключительном слове он поведал участникам Сессии, да и то делая вид, что он отвечает на анонимный вопрос записки, что его доклад одобрен Сталиным. Нет, не одним Сталиным, Центральным Комитетом Партии. Реакция публики: "Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают."

И заключительные слова заключительного слова Лысенко вызвали ту же реакцию зала. С неизбежностью грома вслед за вспышкой молнии бурная овация следовала за словами Лысенко: "Слава великому другу и корифею науки – нашему вождю и учителю товарищу Сталину!"

Представление на этом не закончилось. Выступали с покаянными речами трое из восьми защитников генетики. Принимали резолюцию Сессии и писали письмо Сталину, дорогому вождю и учителю. Больше уже и не голосовали. Письмо кончается словами: "Слава великому Сталину, вождю народа и корифею передовой науки!" Реакция зала – "Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают."

Председатель Сессии академик Лобанов предлагает обойтись без такой менее стадной, чем рев толпы, формы поведения, как голосование. "Разрешите считать Ваши аплодисменты за единодушное принятие приветственного письма товарищу Иосифу Висарионовичу Сталину." Бурные аплодисменты выражают согласие зала.

Не забывайте, сатира Свифта – сатира. Стенографический отчет Сессии ВАСХНиЛ – образец для подражания.

Читаешь – глазам не веришь. Неужели не сатирик выдумал заключительные слова Шаумяна? Что он сказал? "Я совершенно уверен, – сказал он, – что, руководствуясь единственно правильной теорией Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и той колоссальной заботой, которой

окружает людей науки гениальный Сталин, мы безусловно справимся с этой задачей." Какой задачей? Задачей пересажать всех инакомыслящих за решетку. Сказано хотя и безграмотно и аллегорически, но достаточно ясно. Он собирается руководствоваться колоссальной заботой гениального Сталина о людях науки, чтобы ликвидировать людей науки. Более острой сатиры не придумаешь. Гениальный сатирик – сочинитель Стенографического отчета – сама жизнь, сама практика строительства социализма, переделка природы человека.

НА КРАЮ БЕЗДНЫ

Моим экспедициям надолго пришел конец. Я производила на свет детей и постигала жизнь народа. Каждое лето мы с мужем отправлялись в рыбный совхоз, расположенный поблизости от города Валдая и в непосрдственной близости от деревни Яжелбицы, той, что на тракте Ленинград-Москва по самой середине. В 1947 году мы уехали вдвоем. Мы не успели вернуться в Ленинград, чтобы я могла там произвести на свет дитя. Лиза родилась в железнодорожной больнице станции Бологое на полдороге между Москвой и Ленинградом.

На следующий год мы отправились вчетвером – с нами ехала Мария Николаевна – светлой памяти няня моих дочерей. Прибавление семейства произошло тут же, в Яжелбицах. Родилась Маша. На следующий год нас было уже шестеро. Мария Николаевна расхворалась, она ехала с нами, но мы взяли с собой Марусю, домработницу, прекрасную Марусю, которая проработала у меня три года.

Совхоз, где выращивают на продажу карпов, окружен колхозами. Крепостное право укреплялось у нас на глазах. Организационная изобретательность Советской власти беспредельна. Направлена она на усиление надзора за народом, чтобы удобнее грабить его. Сселение с хуторов, укрупнение колхозов, урезывание приусадебных участков, – один декрет следовал за другим. Укрупнение колхозов. Вы думаете разумный хозяйственник появился в одном из колхозов, сумел поднять жизненный уровень колхозников и выход товарной продукции своего колхоза, и под его мудрое руководство правительство решило отдать соседние менее процветающие колхозы? Ничуть не бывало. Мы имели случай наблюдать поведение председателя укрупненного колхоза до и после укрупнения. Поведение и до и после изобличало в нем сущего подонка. Рядом с нами жила единоличница тетя Нюша со своей нищей подругой тетей Сашей. Тетя Нюша каким-то чудом избежала коллективизации, шила на заказ колхозницам платья, имела свинью и маленький, прекрасно обработанный огород. Ухаживала за свиньей и за огородом тетя Саша. У тети Нюши водились, видимо, денежки. Председатель колхоза постоянно стоял под дверью ее, выпрашивая или вымогая, не знаю, на водку. Видели ли Вы когда-либо человека, идущего в состоянии белой горячки по дороге? Мне довелось, и не раз. Председатель укрупненного колхоза шел по дороге, с трудом перешагивая через несуществующие лужи. Бредовое зрелище. Будто смотришь замедленное кино. Режиссер не Бергман, а некто... Да, ладно, не буду, и так ясно.

Нищета окрестных деревень была вопиющей. После смерти отца я писала книгу о его путешествиях по озерам Сибири и Средней Азии. Я расписывала великие трудности его путешествий, а сама не без лукавства думала, что поездка в начале века на озеро Балхаш за тысячи километров от какого бы то ни было культурного центра куда как легче

моих дерзаний. В колхозном ларьке купить решительно ничего нельзя. Все, решительно все, – крупу, сахар, масло, – нужно везти из Ленинграда. Карточная система. Заготовить продукты нельзя. В деревне молоко с трудом можно достать. О мясе нечего и думать. Разве что случайно.

Очень оживляли жизнь цыгане. В их жизни произошел знаменательный и благотворный сдвиг. У них появились прекрасные породистые лошади-тяжеловозы. Что за чудо? В Прибалтике, только что освобожденной от немецкого ига, началась коллективизация и богатые крестьяне, прежде чем отправиться в ссылку, распродавали имущество. Часть его досталась цыганам. Ко мне обратилась молодая цыганка с крошечной девочкой, – лошадь натерла сбруей рану. Я дала стрептоцидовой мази.

В порыве благодарности и вопреки моим уверениям, что помощь ее лошади оказана мною совершенно бескорыстно, не в расчете на ее гаданье, она выпалила мне свое пророчество – твой отец скоро умрет, твой муж уже имеет другую семью и покинет тебя... Все сбылось. А пока не сбылось, меня ждали другие беды.

Мы узнали о том, что генетика разгромлена, из газет. Сперва казалось – очередная дискуссия, наподобие тех, которые, по распоряжению свыше, разыгрывались и раньше, – в 1936 году была такая дискуссия, в 1939 году. То, что генетике пришел конец, стало ясно, когда Лысенко объявил, что его доклад одобрен Центральным Комитетом Партии, или, что то же, Сталиным, и когда появилось в "Правде" покаянное письмо Юрия Жданова. Он каялся в поддержке, оказанной им генетикам. 7 августа 1947 года "Правда" опубликовала это письмо. Юрий Жданов возглавлял отдел науки ЦК.

С новорожденной Машей мы вернулись в Ленинград. Год назад, родив в железнодорожной больнице Лизу, я чуть было не умерла от сепсиса. Покойная бабушка уже приходила за мной. В деревянной избе, где принимали роды Мария Николаевна и деревенская акушерка Маруся, мы с Марьей Николаевной учинили такую идеальную чистоту, что все сошло благополучно.

В Ленинграде я узнала, что произошло на Кафедре зоологии и дарвинизма Педагогического института, где я состояла в должности доцента. Весь штат, и я в том числе, уволен, включая заведующего – блестящего ученого и лектора, Юрия Ивановича Полянского.

Лобашев, к тому времени не только заведующий Кафедрой генетики животных Ленинградского университета, но и декан Биологического факультета Университета, согнан с обоих постов Турбиным, верным сатрапом Лысенко.

Богатейший фонд линий дрозофил уничтожен. Уничтожены и мои мухи. Кашира-6 погибла.

Искусство властвовать включает умение нарушать закон на законном основании. Меня не имели право уволить. У меня был декретный отпуск, – отпуск, предоставляемый в связи с рождением ребенка. Я была уволена как совместитель. Но никакой должности, кроме как на Кафедре зоологии и дарвинизма Педагогического института у меня

не было. Я получала полставки. А раз полставки, значит совместитель. А раз совместитель – я подлежу увольнению. Закон вышел, запрещающий совместительство. Однако можно было опротестовать решение администрации с расчетом на успех. Только возбуждать дело я не намеревалась.

Здесь, в США, вышла прекрасная книга Жореса Александровича Медведева "Взлет и падение Т.Д. Лысенко".*

Медведев приводит отрывок из доноса, написанного неким профессором В. Я попросила Медведева прислать мне русский текст этого документа. Я привожу его полностью.

"... Я полагаю, что борьба против моей работы в Институте им. Герцена должна быть сопоставлена с другими событиями в жизни ВУЗов и научных учреждений Ленинграда. После удаления ряда морганистов из ВУЗов в 1948 году – центром их объединения стал Институт экспериментальной медицины, где директором является проф. Насонов. В течение января с.г. я принимала по поручению Горкома ВКП (б) участие в работе комиссии по проверке деятельности этого института. При этом обнаружились весьма серьезные вещи: на ученых заседаниях института собирались все главные представители морганизма – Ю. Полянский, Хейсин, Браун, Стрелков, Канаев, Оленов, Граевский, Светлов, Насонов и другие. Здесь, "в своем кругу", обсуждались научные доклады и давались оценки работ; обычно все работы признавались "мичуринскими", хотя в обсуждении их не участвовало ни одного мичуринца.

С этим вполне согласуется и директорская деятельность Насонова: он усиленно развивал в своем институте работы, основанные на приложении идеалистической и антимичуринской "теории паранекроза", развитой им вместе с Александровым еще в 1940 году; работы же прикладного медицинского направления были отодвинуты на задний план, в частности знаменитая Павловская лаборатория была заброшена, ее штат сокращен; такой же участи подверглась лаборатория фитонцидов (проф. Токина), в которой, несмотря на важное практическое значение тематики, было оставлено только два сотрудника.

Наряду с этим огромные государственные средства тратились на разработку никому не нужных "паранекрозов". В своем докладе комиссии Горкома Насонов откровенно сказал, что его институт занимается преимущественно разработкой проблем для далекого будущего, а не мелких вопросов сегодняшнего дня, т.е. можно понять, что идеалистическую теорию паранекроза он считает за великую науку будущего нашей страны, а задачи социалистического строительства, стоящие перед нами сегодня, – за "мелкие вопросы", не заслуживающие его высокоученого

---

* Zhores A. Medvedev. The Rise and the Fall of T.D. Lysenko. Columbia University Press. New York and London, 1969, pp. 129-131.

внимания. Едва ли можно сомневаться в политическом лице директора, проповедующего такие установки.

Насонов весьма образно охарактеризовал и содружество своего института с производством: "Раньше, – сказал он, – у нас было, как в ресторане: приходил, кто желал, и получал, что хотел, а теперь у нас, как на бирже: 'спрос и предложение', 'предложение и спрос'." – Сравнение советского научного учреждения с какой-то лондонской биржей, где спекулянты и маклаки предлагают и идут купить акции, свидетельствует о невероятных представлениях директора Насонова о связи науки с практикой и о том, что такое содружество ученых с производственниками.

Вместе с тем следует учесть, что Насонов – один из ближайших друзей Ю. Полянского: они вместе работали и вели борьбу с мичуринцами в Ленинградском университете, вместе ездили весной 1948 г. за границу, вместе пострадали после Августовской сессии ВАСХНиЛ, часто встречаются на ученых заседаниях в институте Насонова. Летом 1949 г. Насонов и Александров ездили в командировку на Мурманскую станцию, где директором Полянский и т.д.

Другом Насонова является и Александров, у которого (как и у Насонова) тесные связи с заграницей: его мать и брат живут в Палестине (Александров – еврей), а сестра – в Америке. Недалекое морганистское прошлое этих друзей, в котором они покаялись, их связи с заграницей, их "ученые" свидания на Мурманской станции и энергичная борьба, которую ведут их старые друзья и сотрудники в Институте им. Герцена против мичуринской перестройки Естфака, – все это, несомненно, звенья одной цепи, одной организации, ведущей политическую борьбу против советской науки. Насонов затратил огромные государственные средства на содержание целого штата морганистов, на беспочвенные, вредные "научные" исследования и тем самым нанес заметный ущерб советской науке и экономике. Это ли не заслуга перед Америкой? Полянский в течение многих лет был лидером ленинградских морганистов и вел ожесточенную борьбу с мичуринцами в Университете и (через своих подручных помощников) в других ВУЗах. Он воспитал в морганистском духе тысячи учителей и молодых ученых, за двадцать лет работы в Университете и Пединституте он затратил большие государственные средства на изучение инфузорий и никогда не обращал своей исследовательской работы на объекты, могущие принести пользу практике. В этом тоже немалая заслуга перед нашими врагами. Как директор Мурманской станции Полянский, вероятно, имеет в своем распоряжении сведения секретного характера, касающиеся метереологических условий нашего Севера, морских течений, карт, данные о ледовитости и т.п. При наличии друзей типа Насонова и Александрова, посещающих его станцию, эти обстоятельства приобретают особый смысл. Мурманская станция, несомненно, имеет рацию и может связываться с заграницей.

С другой стороны, Полянский был близок с А. Вознесенским, был его ближайшим помощником по Ленинградскому университету, а по поручению его сестры М. Вознесенской (секретаря Куйбышевского райкома) ведал культпросветработой в районе.

Третий друг и сотрудник Полянского – проф. Хейсин работает сейчас в Петрозаводском университете (до осени 1948 года он работал вместе с Полянским в Désинституте им. Герцена), т.е. расположился также неподалеку от наших северных границ. Говорят даже, что Хейсин в Петрозаводске превратился в финна и называется Хейсинненом. В связи с Хейсиным находятся и сотрудники моей кафедры, работавшие ранее под руководством Полянского. При приездах в Ленинград Хейсин посещает Пединститут, водится с доц. Громовой и другими сотрудниками.

Я не могу представить документальных доказательств о характере отношений и связей всех указанных лиц, но приводимые факты, как мне кажется, заставляют обратить внимание.

Профессор В.

15.2/50."

Комментируя донос, Медведев пишет:

"Справедливости ради следует отметить, что мать профессора В.Я. Александрова никогда не жила в Палестине, а погибла от голода в осажденном Ленинграде. Его единственный брат, старый большевик, был убит в 1919 году белополяками. Живущая в Америке сестра также создана больным воображением, ибо никакой сестры у В.Я. Александрова не было."

Насонов, Александров, Хейсин – выдающиеся ученые, мои друзья.

Увенчайся успехом мой протест против увольнения, и я очутилась бы под началом автора письма. Ярчайший документ эпохи создан Таисией Виноградовой. Я знать не знала, кто такая новая заведующая. Но знать и необязательно. Она оказалась угодной, когда неугодным стал блестящий ученый и лектор Юрий Иванович Полянский. На ней стояла Каинова печать.

Я подала заявление с просьбой изменить формулировку причин моего увольнения и просила отчислить меня по семейным обстоятельствам. Меня отчислили.

Теперь я уже не была генетиком. Ни одно учреждение не имело права взять меня на работу. Работа по специальности исключена. Постановление Августовской сессии ВАСХНиЛ искоренить прислужников империализма, прихлебателей буржуазии, расистов, менделистов-морганистов-вейсманистов, тысячекратно приумноженное постановлениями Академии Наук, всех исследовательских ведомственных институтов, всех университетов и всех педагогических институтов, всех издательств и музеев, выполнялось неукоснительно. Я подлежала искоренению. Предоставить мне работу не по специальности ни одно учреждение не имело

права. У меня научная степень, а должность должна соответствовать квалификации. Мои права кандидата наук свято сохранялись трудовым законодательством Советского государства. Я на законных основаниях обречена на голодную смерть. Но я дочь, а отец мой, избранный за два года до этого действительным членом Академии Наук СССР по Отделению географии, не только географ, но и самый крупный специалист по рыбам, какого когда-либо знала страна. Мой муж, соответственно, — его зять. Рыбный Институт, где он работал — детище моего отца. Кирпичникова не изгнали из Института, и мне нашлось место. Меня зачислили научным сотрудником. Должность моя, забытая Богом и людьми должность с зарплатой в 550 рублей, — дело было до реформы, — пустовала.

В конце войны привилегии сыпались на ученых как из рога изобилия. Зарплата научным сотрудникам, младшим и, в особенности, старшим, повысилась в несколько раз. А про просто научных сотрудников забыли. Их ставки остались прежними. Должности пребывали вакантными. Я проработала в Рыбном Институте почти год. Я люблю кормить людей, животных, в том числе мух. Я обожала кормить рыб. С моей легкой руки рыб начали кормить в зимовалах, а до того считалось, что рыба на холоду в пище не нуждается. Я в 1948 году во время отпуска занималась рыбоводством, проводила в отсутствие мужа на его прудах контрольные обловы, руководила стариками рыбаками и молодыми подсобными рабочими. Во время такого облова и начались у меня схватки, предвещавшие появление на свет Маши. Схватки длятся несколько часов — я успела завершить облов. Маша твердо знала, что детей вылавливают в прудах, где они начинают свою жизнь в виде мальков. В 1949 году я работала на прудах в качестве научного сотрудника. Я ушла из Института, когда заведующий отделом, глубокий старик, сказал мне по какому-то ничтожному поводу, даже не помню, что такое случилось, — мы поговорим с вами в другом месте. Времена сталинские. Лучше сидеть дома. Я решила стать зоологом, специалистом по систематике мух. Александр Александрович Штакельберг снова предоставил в мое распоряжение коллекции Зоологического Музея, назначил мне быть специалистом по агромизидам. В России не было ни одного специалиста по этой группе со времени сотворения мира, а маленькие мушки имеют, между тем, хозяйственное значение. Отрицательное, конечно. Их личинки живут в мякоти листьев. Белые ниточки их ходов утолщаются по мере того, как растет личинка и удаляется, петляя, от точки, где она вылупилась из яйца. Каждый вид кормится листьями строго определенного вида растения. Мне надлежало стать не только энтомологом, но и ботаником.

Лето 1950 года, последнее лето в Яжелбицах, на Валдае. Небо, на котором сгущались тучи моей горькой судьбы, казалось мне безоблачным. Отец содержал меня. Зарплаты мужа, конечно же, не хватало на жизнь разросшегося семейства. Незадолго перед отъездом в Яжелбицы, я получила от отца приглашение зайти. "Мария Михайловна плачет, жалуется, что ты постоянно просишь денег. Я даю тебе 400 рублей в неделю,

и больше ты не проси." Мачеха попалась с поличным. Она ведала всеми расходами, давала она мне 200. Она держала меня на полставки. Меня часто держали на полставки, там... тут...

Я действительно постоянно просила у мачехи денег – дрова надо купить, деревянные кроватки заказать, чтобы дети могли зимой спать днем на балконе, спальные мешки надо сшить... 200 рублей не хватало даже на еду. Я оставила отца при его заблуждении относительно моих вымогательств. Мачехе я сказала: "Отец отныне обещал давать мне 400." Она подчинилась. Теперь хватало и на зарплату Марии Николаевне и на билеты, чтобы ехать на Валдай. Отец категорически воспрепятствовал моему желанию получить должность в Зоологическом Институте, где он работал, и где я раньше мерила мушиные крылья, а теперь изучала агромизид. Нельзя, чтобы в одной семье два ее члена получали эти огромные ставки. У него достаточно денег, чтобы давать мне 400 рублей в неделю.

В Яжелбицах я снимала деревянную избу по соседству с избой тети Нюши.

К концу лета с шоссе Москва-Ленинград в отдалении от шоссе и от деревни на пологом зеленом склоне над рекой был виден необычайной яркости коврик – возделанный мною дворик избы.

Мария Николаевна побыла с нами в Яжелбицах недолго и уехала в Красноярск, где отбывал срок ссылки ее старший сын. Из пятерых ее детей выжили двое – два сына. Обоих покарал закон. Старший прогневил Немезиду, попав в плен к немцам, младший не уберег казенного имущества. Военную базу, которой он заведовал, обворовали. Муж Марии Николаевны погиб при обстреле немцами Дороги Жизни – пути, по которому везли из осажденного города полумертвых жителей. Оба сына Марии Николаевны – рабочие. Младший готовился стать инженером. Я писала от лица Марии Николаевны петиции в защиту обоих, прося помиловать, учитывая революционные заслуги их отца. Его партийный билет хранился в Музее революции. Сам он давно раскусил смысл словосочетания "диктатура пролетариата" и, не делая демонстраций, потихоньку вышел из партии. Младшему мы посылали книжки. К старшему Мария Николаевна уехала в Красноярск. У нас ее заменила, по соглашению с тетей Нюшей, тетя Саша. Богомольная тетя Саша замужем никогда не была и напоминала мне няню, только суровости было в ней поменьше.

Тетя Саша обожала Машу, а Маша уродилась в Сима. "Мою Маньку хоть разними", – говорила про нее тетя Саша, моя Машу в бане.

Я ловила мух, выводила агромизид из куколок и изучала растения.

Раз уж моя задача – познакомиться с флорой Валдайской возвышенности, чтобы по мухе узнавать растения, а по растению муху, дай, думаю, выясню вопрос, который занимал меня, когда я писала введение в докторскую диссертацию, – взаимоотношение видов одного рода в сообществе. Если виды вытесняют друг друга в непримиримой борьбе за источники существования, за пространство, тогда старые сообщества

отличаются от молодых. Каждый род в молодом сообществе окажется представленным несколькими видами, а в старом – только одним. Если разделить число родов на число видов, получится дробь. Старые русские лесоводы пользовались этим отношением для характеристики леса и называли его родовым коэффициентом. По мере старения сообщества значение дроби возрастает. Число видов уменьшается, пока не достигнет числа родов. Значение родового коэффициента устремлено к единице.

Луг на пологом склоне рядом с избой, где мы жили в Яжелбицах, издавна не распахивался. Богатейшая растительность покрывала землю. Для сравнения с лугом-патриархом я приметила молодые сообщества. Изучать их я решила в будущем, 1951 году.

Не менее ста видов трав заселяло пышный луг. Обладая родовым коэффициентом старого сложившегося биоценоза и уменьем быстро определить по определителю виды, я рассчитывала на будущий год с легкостью завершить работу. Я резвилась над бездной.

БЫЛОЕ НЕ УТРАТИЛОСЬ В НАСТОЯЩЕМ

Все, что в благодарность за стрептоцидовую мазь напророчила мне цыганка, сбылось. 24 декабря 1950 года умер отец. Семья моя развалилась. Жить не на что. Я обратилась к директору Зоологического Института Евгению Никаноровичу Павловскому с просьбой зачислить меня. Я прилежно работала над коллекцией мух Зоологического Музея. Я охотно бы водила экскурсии по Музею. "Вы такая знаменитая женщина, – сказал мне Евгений Никанорович, – а я старый больной человек. Я не могу вас взять." "Как поздно пришла эта слава", – сказала я. Может быть, Штакельбергу и удалось бы отстоять меня. Он тяжело болел. Когда дошла до него весть о смерти моего отца, с ним случился инфаркт. А когда отец лежал в открытом гробу в Петровском зале Академии Наук СССР, на его сердце пылали огненные цикламены – дар одной из поклонниц Льва Семеновича – мачеха неизменно называла их обожалками. Похоронили отца на Волковом кладбище, на Литераторских мостках, неподалеку от могилы Тургенева, рядом с могилой Миклухи-Маклая.

Я впала в бесчувственность. Меня покинуло не сознание, а способность чувствовать что-либо. Я не спала, но нисколько не страдала от этого, я могла есть, но ни голода, ни сытости, ни малейшего желания есть и спать не испытывала; я не чувствовала ни жары, ни холода. Я забросила и мух, и ботанику. Скамеечка, на которой я сидела у ног Бога, исчезла.

Единственно, что могло вернуть меня к жизни, – это приобщение к жизни, к былой жизни, моего отца. Его архив был в распоряжении мачехи, значит не существовал для меня. Мачеха передала архив отца в распоряжение Академии Наук. Все следы существования первой семьи изъяты. Она не плохой человек. Ревность и чудовищная скупость – ее пороки – поломки механизма, который, за вычетом ошибок конструкции, вполне добропорядочный. Сим недаром сочувственно говорил о ней. Моя любовь к ней слепа. Нет, не так. Я не была ослеплена любовью. Любовь и оценка не имели между собой ничего общего. Ангел небесный Симочка настроен куда более реалистично. Его равнодушие к жизни делало его бесстрастным и мудрым. Не сотвори себе кумира – он не нуждался в заповеди. Сотворить кумира не в его отрешенном от жизни характере. Мачеха не уничтожала следы былой любви моего отца. Она схоронила их для потомства.

Свидетельство о моем крещении, мои письма и адреса, которые я с детства преподносила отцу ко дню рождения, разрисованные и выписанные со всей тщательностью, она вернула мне в виде великой милости, оказанной мне ею.

Но то единственное, что могло вернуть меня к жизни, произошло. Я худо-бедно ухаживала за моими детьми, не испытывая ни малейшего шевеления материнских чувств в сердце, – в иное время я с радостью

вставала ночью к ребенку, радуясь возможности повозиться. Лиза болела фурункулезом. Я водила ее в поликлинику Университета, где мы были прикреплены, как члены семьи академика, пока нас не вышвырнули. На Университетской набережной мы встретили бывшую заведующую архивом Географического Общества Блюму Абрамовну Вальскую – одну из обожалок отца. Ее перу принадлежат многие труды по истории географии. Из Географического Общества ее уволили. "Как поживаете?" – бессмысленность этого вопроса была очевидной. Она сказала, что преподает географию в вечерней школе завода. Я сказала, что веду Лизу на облучение. "Идите в Архив Географического Общества, там спросите архив Игнатова. Лев Семенович ему письма писал". Я пошла.

Что это были за письма! Своим идеальным почерком отец описывал свои путешествия по Аральскому морю, свою жизнь в Казалинске, свою службу в качестве смотрителя рыбных промыслов на Сыр-Дарье и на Аральском море. Они с Игнатовым путешествовали в 1898 году вместе. Теперь они писали совместно монографию. Описывали группу озер Западной Сибири. Письма содержали всю эпопею создания первой в мире монографии по ландшафтоведению. За нее отец и Игнатов получили Малые золотые медали Географического Общества. Надпись на медали гласила – "За полезные труды". Других медалей отца я никогда не видела, а эту он дал Мусиньке, когда в 1932 году она приехала погостить. Мы с Мусинькой загнали медаль в Торгсине – отец для этого ее и давал – и я купила шерстяную кофточку и пирамидон, – иначе нельзя было достать.

Я сперва хотела издать письма отца. Однако выяснилось, что мне это не по силам. Для комментирования мне не хватало соответствующего образования. Да и чудовищные цензурные ограничения страшили. Я решила написать книгу. "У вас есть договор?" – спрашивал меня каждый, узнав, что я пишу книгу. Очень все удивлялись, что я пишу, не имея договора. Единственный раз я обратилась к Марии Михайловне по поводу архива отца. Я попросила дать мне письма Игнатова. Мария Михайловна сказала, что они сданы в архив Академии Наук. Не без некоторых затруднений я получила к ним доступ.

Игнатов двумя годами старше отца. Они одновременно закончили Московский Университет. Игнатова оставили при Университете для подготовки к профессорскому званию, как тогда называлась аспирантура. Для отца лучшего места, чем место смотрителя рыбных промыслов на Сыр-Дарье и Аральском море не подыскалось. В 1898 году по заданию Географического Общества они отправились в Западную Сибирь изучать озера. Результат их исследования – возрождение географии как науки. Климатология, геоморфология, гидрология стали элементами ландшафтоведения.

Находясь на расстоянии тысяч километров друг от друга, друзья переписывались. Лев Семенович просил присылать книги. Игнатов посылал. Благодарность за книги и восторженные отзывы о них перемежались в письмах с экзотическими подробностями. Пять кошек поименованы – четыре кота носили казахские имена, пятый звался Васька.

"Улькун оказался порядочным скотом, сукиным котом, каждый вечер съедал мой ужин, и я отстранил его и приблизил к себе черного Карабулака."

Кошачью эпопею я привела в своей книге. Редакция Географиздата выкинула ее. Любовь к животным причисляется поборниками коммунистической морали к антисоветским настроениям. Вегетарианским столовым пришел конец в тридцатые годы. Толстовство – явная крамола. Вегетарианство – за ним чувствуется мораль, выходящая за рамки классового самосознания пролетариата. Машинистка из секретариата ректора Университета печатала окончательный сокращенный вариант книги, где красным карандашом я отчеркнула то, что забраковал редактор. Она вписала фразу в текст – очень кошек любила. Она билась со мной об заклад, что не выбросят, – букет сирени победителю. Она проиграла.

После 1898 года Берг и Игнатов продолжали путешествовать, но уже порознь. В 1902 году Игнатов скончался. Он умер от туберкулеза в страшных мучениях на берегу озера Щучье. Щучье относится к той же группе озер, что и Боровое. Сорок лет спустя Лев Семенович очутился среди озер, изученных перед самой смертью Игнатовым.

Я не очень то надеялась на свои географические знания. Геолог Наливкин, гидролог Львович, климатолог Хромов согласились отредактировать мою книгу и дать отзывы.

Отзывы положительные, редакционные замечания учтены. Книга в Издательстве Географической Литературы.

Несколько глав книги печатались в журнале "Вокруг Света". В редакции журнала мне показали рецензию и сказали имя ее автора. Он писал, что выводы Берга, которые я выдаю за последнее слово науки, давно опровергнуты и что печатать очерки не следует.

До той поры я имела дело с редакциями научных журналов, которые авторам гонорара не платят. "Вокруг Света" печатает Издательство "Молодая Гвардия" и деньги за очерки выплачивают немалые. Мой очерк печатался в двух номерах. Первая часть прошла без сучка без задоринки. Со второй начались затруднения. Оказалось – пишу плохо. Рукописи мне правила Маргарита Владимировна Годлевская – внучка соратника Гарибальди, преподавательница русского языка. Она по праву и не без гордости носила звание заслуженного учителя. Орден Ленина, которым награждена внучка гарибальдийца, хранится в ее семейном архиве вместе с знаками масонской ложи, членом которой состоял ее отец. Ей нравилось, как я пишу, а редактору журнала "Вокруг Света" не нравилось. Я описывала необитаемый архипелаг среди синих вод Аральского моря, гибель его первых поселенцев, приключения тех, кому удалось выжить. От голодной смерти их спас казах, накормив умирающих от голода людей "лепешками, айраном и лошадиным мясом". Так описывал свое избавление один из спасенных – казалинский купец Кривожихин в статье, напечатанной в "Туркестанских ведомостях" через 23 года после описываемых событий. Статья увидела свет в 1905 году. Добраться до нее стоило мне неимоверных усилий. Газетный зал Публичной

Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина – хранилище секретной информации. Каждый читатель на подозрении – знаем мы этих правдоискателей, небось истинность утверждений гениального создателя Краткого Курса ВКП (б) Сталина вздумали проверять. А я – безработный прислужник Уолл-Стрит. Даже непогрешимые допускались в зал только имея поручительство служебного начальства. Мне дали ходатайство в Географическом Обществе. Кривожихину надлежало быть писателем. Редактор "Вокруг Света" исправил лошадиное мясо на конину. Я протестовала. "А вот Пушкин описывает, как он пил чай в калмыкской юрте. Он пишет: 'Я попросил что-либо, чтобы заесть это. Мне дали сушеной кобылятины. Я был и тому рад.' – так вы эту кобылятину тоже переправили бы на конину?" "Конечно переправил бы", – отвечал редактор. Хромов ушам своим не верил, когда я рассказывала ему о моих злоключениях в журнале. Разгадка таинственного поведения редактора пришла много-много позже. Подруга вдовы Ферсмана рассказала мне, почему в таком изобилии и так великолепно издаются книги покойного Ферсмана. Наследница делится гонораром с издательством. Конина вместо лошадиного мяса, отброс вместо деликатеса, – так и напечатано в моем очерке! Взяток я не давала. А тут еще отзыв профессионального географа, ученика Берга. Когда я услыхала имя рецензента, я обомлела. Это – Геккер – титульный редактор моей книги. Я его не видела ни разу. Только по телефону с ним разговаривала, и он изъяснялся в любви к своему учителю Бергу и рассказывал, как Лев Семенович помог ему в свое время – он нанял бедного студента книгоношей, деньги платил, а книги приносить не поручал. Книги были предлогом. Студент не должен считать себя должником. Я позвонила лукавому титульному редактору и нежным голосом попросила порекомендовать мне новейшую литературу относительно периодических колебаний климата и назвать мне имена географов, опровергших палеоклиматологические выводы Берга. "Таковых нет", – сказал рецензент. Я и без него знала, что нет. "Вы не знаете ни одного?" – настаивала я. Нет, он не знает ни одного. "А я знаю, – сказала я. – Одного." "Кто же это?" "Это вы, милостивый государь. Не кажется ли вам, что при сложившихся обстоятельствах вам следует отказаться от обязанностей титульного редактора книги." Он согласился. Географгиз обратился к другому ученику Льва Семеновича, к виднейшему светилу на географическом небосклоне, Маркову, с просьбой быть титульным редактором. Он с готовностью согласился. Я привезла ему рукопись. Он почитал. В следующую встречу оказалось, что у него есть ко мне просьба. Издается том – Пантеон русских и советских географов и путешественников. Его просят написать статью "Лев Семенович Берг как географ". Он только что писал о Льве Семеновиче для академического издания. Не соглашусь ли я написать статью для Пантеона. Это было нечто чудовищное. Ученик, отмахивающийся от памяти своего учителя. Мало того. Его предложение означало, что нет никого, кто может и хочет написать такую статью. Но и этого мало. Чувствовалось, что его предложение – сделка. Он будет титульным редактором книги при условии, что я напишу

за него статью. Будь я географом, еще бы ладно, но я генетик, от географии далека. Я не чувствовала себя в силах написать такую статью. Моя книга охватывала маленькую часть необозримой деятельности отца, небольшой отрезок его жизни. Я согласилась. Ничто в жизни, ни до того, ни после, не далось мне таким тяжким трудом, как эта статья. Фамилия автора, поставленная мной на рукописи, – К.К. Марков. Он только это и исправил. Статья пошла под двумя фамилиями. Вроде бы я написала биографические данные, а он про науку.

Теперь дело за ним. Я позвонила, выждав казавшийся мне приличным срок, чтобы узнать как подвигаются дела с редактированием. Я не чувствовала под собой ног, слушая его похвалы. Он сделал все, что мог. Мне надлежит зайти к его секретарше за рукописью. Он возглавлял Географический факультет Московского университета. Его секретарша, – сущая королева, милая и любезная, вручила мне рукопись и до самой той минуты, когда я познакомилась с содержимым пакета, я не чувствовала под собой ног. А в пакете, кроме рукописи, содержалось письмо в редакцию, в котором К.К. Марков отказывался быть титульным редактором за неимением времени.

Редакция обратилась к Хромову. Он согласился. Книгу он отредактировал еще раньше, до того, как она поступила в редакцию.

Прошло много времени. Уже не сам Сталин, а его тень стояла на капитанском мостике.

Могучая свежая струя – борьба с аракчеевским режимом в науке, провозглашенная Сталиным незадолго перед смертью, со смертью Сталина не иссякла. Она естественно влилась в десталинизацию и теперь кружилась с нею в безумном круговороте. Фантасмагория ума, пораженного манией величия, и своекорыстный расчет дорвавшегося до власти мужика единым завихрением неслись в шумном потоке истории.

Мои взаимоотношения с Географгизом вступили во взятковымогательную фазу. Вымогательство взятки – стратегия. Тактика определялась борьбой с аракчеевским режимом, поднятой на недосягаемую вершину десталинизацией.

Аракчеев, могучая фигура времен царствования Павла Первого и Александра Первого, – миниатюрный аналог Сталина. Всесильный временщик даже коллективизацией сельского хозяйства занимался. Предоставим слово историку. Георгий Вернадский – сын Владимира Ивановича Вернадского – в книге "История России" пишет, что Александр Первый поручил организацию военных поселений генералу Аракчееву. "Военные поселения создавались либо прикреплением воинского подразделения к земельному участку, либо превращением общины государственных крестьян в военный лагерь. Военная тренировка сочеталась с работой. Можно назвать всю затею попыткой установить военный коммунизм. Цель поселений – перевести армию на самообеспечение, предоставить солдатам, отслужившим срок, источник существования, и освободить остальную часть населения от военных налогов. Каковы бы ни были преимущества новой системы в теории, на практике она встретила сопротивление как со стороны солдат, так и со стороны

крестьян. И те, и другие увидели в поселениях новый источник угнетения. Многочисленные восстания против создания поселений безжалостно подавлялись Аракчеевым и его соратниками. Поселения были организованы, и ко времени смерти Александра Первого в них находилось около 250 тысяч солдат, примерно треть постоянной армии".*

Слова "Аракчеевский режим" – синоним кровавой диктатуры. Употребление их Сталиным – предел цинизма. Двадцатого июня 1950 года слова эти, написанные пером самодержца, всем на удивление пропечатаны в "Правде". Сталин принял участие в дискуссии по вопросам языкознания. Он метал громы и молнии на головы несчастных последователей сумасшедшего лингвиста Марра, бредовые идеи которого канонизированы, а сам Марр возведен в ранг непогрешимого вещателя истины.

Видимо, Сталин взревновал. Единственный источник истины – он. Свой супердиктат Сталин обрек в форму ответов на вопросы группы молодежи.

Молодежь вопрошала, правильно ли сделала газета "Правда", открыв свободную дискуссию по вопросам лингвистики. Дискуссия и до и после выступления Сталина неизменно именовалась свободной. Звучание ее, однако, скорее напоминало звон кандалов, чем набат вечевого колокола. На обдуманно сформулированный вопрос молодежи Сталин отвечал, что дискуссия оказалась чрезвычайно полезной, потому что она выявила Аракчеевский режим, который царил в лингвистике, и нанесла ему сокрушительный удар. И Сталин с позиций марксизма-ленинизма разъяснил молодежи, что ни одна наука не может развиваться и процветать без столкновения мнений, без критики. "Эта очевидная истина, – говорил он, – бесцеремонно попиралась людьми, в своем самодовольстве возомнившими себя непогрешимыми. Люди эти оградили себя заранее от какой бы то ни было критики. Почему оказалось возможным такое нетерпимое положение вещей?" – риторически вопрошал Сталин и отвечал: "Всему виной Аракчеевский режим, установившийся в лингвистике. Он, режим этот, и создал безответственность, породил беспорядок и затормозил развитие науки, которая имела все шансы занять ведущее положение на мировой арене".

Мое описание путешествий двух начинающих географов в неимоверно тяжелых условиях, кончившееся гибелью одного из них, оказалось теперь насаждением Аракчеевского режима. Цитата – святая святых официальной идеологии – превратилась в орудие аракчеевщины, в свидетельство низкопоклонства. Берг пишет: "Меня сильно увлекает геология, и, будь у меня деньги, я бросил бы службу и поступил в Горный институт. Думаю сделать это года через два-три, когда соберу деньги. Геолог имеет преимущество перед другими исследователями в том, что в самом, казалось бы, неинтересном месте он может сделать массу

---

* G.V. Vernadsky. A History of Russia. Bentam Books. 1959. pp. 215-216.

любопытных открытий. Взять хотя бы Закаспийскую область. Степь, как степь, или, лучше сказать, как сидорова коза, а между тем масса интересных для геолога вопросов: например, о повороте Аму-Дарьи. Читал сегодня работу Коншина..." Против каждой цитаты, – а их у меня множество, – редактор написал на полях: "Цитатничество".

Мысль о критическом и вольном изложении слов Берга о сидоровой козе по сей день ужасно смешит меня. Как бы это звучало? "Говоря о своей заинтересованности древними отложениями Аму-Дарьи, которые он рассчитывал найти в Закаспийских степях, Берг сравнивает эти степи с боком драной козы, употребляя выражение-стереотип: сидорова коза."

Пишу я из рук вон плохо. Рыбаки рассказывали Бергу, что пролив стал шире и глубже. Воды теперь верблюду по брюхо. Путешественник, лишенный инструментов для гидрологических исследований, писал в отчете о воде водоема: "Соли в ней, – даже при заваривании чая по русскому способу, – не слышно". Я приводила эти свидетельства. Заваривание чая называла гидрологическими исследованиями, верблюда – анероидом, прибором для измерения глубин. Редактор указывал мне на мои ошибки. "Даже животные играют, – пока молоды. Вы же заставляете автора быть серьезным, как пожилое животное", – говорила я. С редактированием не торопились. Наконец, я получила письмо от редактора. Это был уже другой, не тот, который писал "цитатничество" и отказывался признать верблюда анероидом. Повествование об Игнатове исключено, как не представляющее интереса для советского читателя. Книга сокращена до 5 1/2 печатных листов. Договор на 18 листов. Меня просят приехать в Издательство для подписания отредактированного текста. Я поехала. Грубость тех, кто был до того предельно любезен, превосходила все ожидания. Язык никуда не годен. Я предлагала представить отзывы от членов Союза Писателей – Соболева и Мейлаха, которые мою книгу читали в рукописи и хвалили ее незамысловатый язык. Б.С. Мейлах получил Сталинскую премию, написав исследование языка Ленина. "Отец ваш такой скромный человек был, а вы, видать, не унаследовали..." "Скромный-то он скромный, однако своего предшественника-смотрителя рыбных промыслов отдал под суд за взяточничество и, живя в Казалинске, без револьвера из дома не выходил. Я об этом пишу." Слова эти, гибельные для моей книги, свидетельствуют, что я не догадывалась о взяточничестве в Географгизе. Я не подписала отредактированный текст и уехала в Ленинград. Я решила просить защиты в Географическом Обществе. "Так. А теперь я вам расскажу, что Географгиз сделал со мной", – сказал мне Вице-президент Географического Общества Станислав Викентьевич Калесник, ученик отца.

Издательство предложило ему издать его избранные труды. Он отказался – молодой, вот помру, тогда..., они настояли, он подготовил два тома, две тысячи рублей потратил на перепечатку на машинке. Ответ издательства гласил: "Труды устарели, пишите новые..." И дело заглохло.

Богиня возмездия – Немезида собственной персоной, видно, вмешалась и послала Каленснику меня. Он пустил в ход власть Вице-президента.

Отчет о деятельности Географического Издательства перед общим собранием Географического Общества Советского Союза делал директор Издательства Будыко. Человек шестьсот наполняло зал. Претензий к издательству оказалось множество. Об издании избранных трудов Калесника – ни слова. Будыко жаловался, что ответственность за текст книг несет редакция. Пусть автор тоже несет ответственность. Я сказала: "Автор согласен". Зал захохотал. Под самый конец заседания кто-то спросил, почему не напечатано ни одной книги о Берге. Директор сказал, что печатается книга и назвал автора – меня. Недоразумение задержало выпуск. Оно ликвидировано.

Книга "По озерам Сибири и Средней Азии. Путешествия Л.С. Берга (1898-1906 гг.) и П.Г. Игнатова (1898-1902 гг.)" увидела свет в 1956 году. На обложке стоит год издания – 1955.

В плане издательства имелись две книги о Берге: моя и книга двух географов. Их имена Геккер и Мурзаев. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Загадка отрицательного отзыва Геккера в журнале "Вокруг Света" разъяснилась. Геккер биографом Льва Семеновича не стал. А Мурзаев в 1979 году к столетию со дня рождения Льва Семеновича выпустил книжку "Жизнь есть деяние", посвященную деятельности отца. Она издана в цвете, в прекрасном переплете. Все карты маршрутов экспедиций Берга взяты из моей книги. Источник не упомянут. И в списке литературы о Берге моя книга не значится. Я – эмигрант, ссылаться на меня не запрещено, зачем запрещать, когда достаточно не рекомендовать. Мурзаева не виню. Автор как не нес ответственность за текст книги, так и не несет. Ответственность несет одна редакция. А она подчиняется рекомендациям свыше. А совесть? – скажете вы. Ишь чего захотели! Совесть! Ведь кроме редакторов, несущих ответственность, есть еще Главлит – грозная цензура, и она несет ответственность. И так много несущих ответственность, что вступает в силу великий и непогрешимый закон диалектики – "количество переходит в качество", прошу прощение за жаргон, но именно так нас учили в Университете, – и притом не в какое угодно качество, а обязательно "в свою противоположность", и получается абсолютная безответственность. Безответственность перед правдой. Приказы идут от тех, для кого нет понятия правды. Чем строже кара за ослушание, тем легче для автора сделка с совестью. Непокорность карается смертью. Смертью детища – книги. Книжка Мурзаева хорошая. Мерил он отца, к сожалению, своей мерой. Он не только стирал, он крахмалил. Представьте кухарку Кржижановского биографом Глеба Максимилиановича. Написала бы она, что Кржижановский, занимаясь в шестидесятилетнем возрасте фигурным катаньем, делал в небе шпагат, чтобы доказать уборщицам катка свою виртуозность? Она слышала рассказ от самого Кржижановского. Она бы не написала. А Мурзаев, будь он на ее месте, написал бы. Он повествует, что Лев Семенович хотел в молодости быть певцом и даже заготовил

псевдоним – Звездич-Струйский. Я слышала эту арабеску не раз. Мария Михайловна, для которой в присутствии гостей отец балагурил, выражала свое негодование, в отличие от Зинаиды Павловны, не словами, а миной. Мурзаев недостаточно наблюдателен. Арабеска приведена как факт биографии. А что отец писал великолепные сюрреалистические сказки, Мурзаев, видно, не знает. Книгу свою он заканчивает словами А.И. Герцена: "Былое не утратилось в настоящем, не заменилось им, а исполнилось в нем". Ни минуты труда Мурзаеву не понадобилось, чтобы украсить свою книгу цитатой из Герцена. Эти слова я привожу в качестве эпиграфа к заключительной главе моей книги. Но заканчиваю я ее, в отличие от Мурзаева, грустной нотой. Но и на моей книге, как и на книге Мурзаева, лежит печать угодничества. Это не Каинова печать. Каин восстал против Бога, убив угодного Богу брата. Советский биограф обязан курить фимиам строю, режиму, власти. Великая Октябрьская Революция осчастливила всех, кого не уничтожила порожденная ею охранка. Во славу мудрого руководства Партии пишутся биографии. Награды, выдвижения, избрания поименованы. Травля, аресты, расстрелы, голодная смерть в лагерях, – их как бы и не было вовсе. Половина правды – худшая, коварнейшая ложь.

К столетию со дня рождения Григория Андреевича Левитского, загубленного Презентом профессора Ленинградского университета, талантливейшая ученица Левитского А.А. Прокофьева-Бельговская написала статью "Г.А. Левитский и отечественные исследования по морфологии хромосом".* Семнадцать строк его биографии, напечатанные петитом, заканчиваются словами: "В 1945 году в связи с 220-летием Академии Левитский посмертно награжден орденом Трудового Красного Знамени". Ни даты, ни места его смерти нет. Награжден Григорий Андреевич по ошибке. В списке членов-корреспондентов Академии Наук и ее действительных членов, представленных к награде, случайно оказалось его имя. Будь он так знаменит, как Вавилов, его бы не наградили. Вавилов не получил в 1945 году полагавшегося ему по чину ордена Ленина. Прокофьева-Бельговская лукавит. Она знает, что лак с брачком. В "те" времена посмертно не награждали. Анекдот: "Какое изменение внес Хрущев в Конституцию? – Каждый имеет право на посмертную реабилитацию", – рожден хрущевской эрой.

В Издательстве Географической литературы мне не простили. Представить себе что-либо более жалкое, чем оформление моей книги, невозможно. Будто она издана не в пятидесятые годы, а в двадцатые. И, что обиднее всего, – опечатка на опечатке. Именной и предметный указатель, даты жизни выброшены. Нет списка иллюстраций, сделанных художником по фотографиям, ни разу не публиковавшимся.

Взятка! Могучий стимул строительства коммунизма, лучшее из средств повышения качества продукции! Великая традиция русской жизни! Былое не утратилось в настоящем...

---

* Историко-биологические исследования. Выпуск 7, стр. 46-64. Издательство "Наука", Москва, 1978.

РЫБЫ ПЛЫВУТ ОТ СМЕРТИ...

Если до смерти отца, постигая тайны формирования растительного сообщества и растя свой выводок, я резвилась над бездной, то после его смерти я резвилась на ее дне. Без службы, в коммунальной квартире, без денег, без мужа. О службе не могло быть и речи. Пребывание на кухне среди обожаемых соседей страшило меня, обожать их можно только на расстоянии. Семейному счастью пришел конец. Мария Николаевна согласилась работать, не получая зарплаты, но она болела, а когда не болела, ездила к сыну в Красноярск. Уж не знаю как проскрипели, залезая в долги, первые полгода после смерти отца. А через полгода я получила наследство. И Сим получил – я уговорила его. "Марьмиха просит, чтобы мы с тобой отказались от наследства, – сказал Сим. – Завещание отца показывала, он все ей завещал. Я согласился". Мария Михайловна и ко мне обращалась с соответствующей просьбой и показывала мне маленькую бумажку, где рукой отца, его идеальным почерком, написано завещание на имя мачехи, ее одной.

Я уже работала над книгой. В одном из писем к Игнатову отец писал, что изучает законы и название книги, по которой он их изучает, приводил, – ему нужно знать законы по долгу службы в качестве смотрителя рыбных промыслов. "А знаешь почему отец написал завещание на имя одной Марьмихи?" – спросила я Сима. "Потому что она настояла, – отвечала я на свой риторический вопрос, – а знаешь, почему отец не заверил его? Потому что хотел, зная мое положение, чтобы часть наследства досталась мне". Отец знал, что семья моя развалилась.

Мы не успели покинуть домик в Яжелбицах, как она развалилась. В 1951 году летом я вступила в права наследования. Подаренная Сталиным отцу дача поступила в мое единоличное владение. Отец посмертно награжден Сталинской премией первой степени за трехтомный труд о рыбах, и деньги вошли в состав наследства. Сим и мачеха получили по половине этих денег, а дача целиком досталась мне. И начались кошмарные беды и дивные радости тех лет, когда я была домовладельцем.

Представить себе отца домовладельцем так же трудно, как певцом, выступающим на сцене в крахмальной рубашке под псевдонимом Звездич-Струйский. Спрашиваю раз отца: "Что тебе подарить на день рождения? Хочешь, чашку красивую подарю?" "Нет, сказал отец. – Я ненавижу вещи. Подари мне яблок". Когда отец получил в подарок дачу, я его спросила: "Ты, кажется, очень рад, получив в подарок эту вещь?" Отец в ответ сказал утвердительно: "Воздух".

Воздух этот, прекрасный воздух, находился на Карельском перешейке на берегу Финского залива близ станции Комарово. Станция именовалась раньше Келомяки, а теперь переименована в Комарово в честь ботаника Владимира Леонтьевича Комарова. Карельский перешеек стал достоянием Советского Союза после войны. Гранитные фундаменты зданий, лестницы, ведущие в никуда, кусты сирени по соседству с

руинами руин. Каре сосен, чередующиеся с участками искусно осушенных болот, – следы великолепно налаженного лесного хозяйства. Карельский перешеек был Ниццей Финляндии. Келомяки находятся на полпути между Куоккалой и Териоками. В Куоккале жил на своей даче Репин. В Териоках была дача Маннергейма. В 1947 поблизости от станции Комарово возник Академический поселок.

Ученым страны, маленькой кучке избранных, предоставлены условия для творчества и для отдыха, а мне представился случай еще раз наблюдать взаимоотношения равных, равными быть не желающих. Согласно марксистской доктрине, как она трактуется в Советском Союзе, социальные условия формируют личность. Не верьте. Социальные условия создаются людьми в соответствии с их человеческой природой. Дачи дарованы с правом передавать их по наследству. Академики умирали один за другим. В Академическом поселке появились парии – наследники. Я одной из первых попала в их число. В борьбе со мной затачивалось оружие против этой странной категории – владельцев недвижимого имущества, перешедшего к ним по наследству. А кто, как и по какой причине боролся с нами, расскажу, может быть, как-нибудь потом. Смерть отца отсрочила пророчества цыганки. Не в нравах моего благородного мужа на глазах у всего честного народа покинуть меня в беде. Наследство развязало ему руки. Он хотел восстановить баланс противоборствующих в его совести сил. Он настаивал, чтобы деньги и дача были переведены на его имя. Тогда совесть не позволила бы ему покинуть семью. Это я понимаю теперь, а тогда отнюдь не понимала. Он ушел из семьи к своей новой жене, когда от наследства ничего не осталось, но это уже не имело значения – на мне стояло клеймо богатой наследницы и доброе имя моего благородного мужа разрыв со мной не пятнал. И Маруся, прекрасная Маруся, взятая мной в помощь на замену Марии Николаевны, покинула нас. Масштабы этого несчастья огромны. Домработница в коммунальной квартире – больной вопрос. Я привезла из Яжелбиц тетю Сашу, честнейшую, милую тетю Сашу. Пьяная воровская стихия коммунальной квартиры моментально засосала ее.

Противостоять соблазнам могли только прирожденные аристократы. В жилах и Марии Николаевны, и Маруси текла истинно королевская кровь.

Мария Николаевна обожала Лизу. Взаимная любовь Маруси и Маши не поддается описанию. Маша похожа на Сима. Демонстрировать чувства не в ее нравах. Когда у Маруси был выходной день, она уезжала в город. Множество ее односельчанок – подруг и родственниц – работали домработницами в Ленинграде. Их во время войны завербовали на торфоразработки. Вернее сказать угнали, как скот, на принудительные работы. Когда настало время отправить их за казенный счет домой, им предложили расписаться в получении денег на дорогу, а вместо денег вручили ленинградские паспорта. Деньги присвоили сотрудники милиции. Девушки получили ошметок свободы. Былые обитательницы деревни Пленишник Вологодской области пестовали теперь детей

ленинградской интеллигенции. Они славились своей честностью. По выходным дням они собирались и читали вслух Гончарова и Шолохова.

Очень запомнилось мне, как вышли мы с Лизой и Машей гулять и только отошли от дома – раздался гудок электрички. "Пойдем домой, – сказала Маша. – Может быть, Маруся приехала." Маруся только год прожила с нами на даче. В конце 1952 года, когда я познакомилась с Евгением Львовичем Шварцем, Маруси уже не было. Шварц жил в Комарове постоянно. Его синенький домик находился между железной дорогой и почтой в поселке Комарово по другую сторону железной дороги, чем Академический поселок. Домик ему не принадлежал. Союз Писателей предоставил ему дачу в пожизненное пользование. Низкий забор окружал дачу. Молоденькие рябины уже плодоносили. Колпачки снега венчали алые гроздья.

С Лизой и Машей, им было 5 и 4, мы были первый раз в гостях у Евгения Львовича. Девушка-домработница, надевая на Машу пальто перед нашим уходом, спросила ее, почему не стало видно девушку, с которой они гуляли раньше. "Маруся уехала в деревню и там женилась на другой", – сказала Маша. Маша перепутала – женился на другой ее папа, а Маруся уехала в деревню и вышла замуж. Шварц слышал Машин ответ, и по лицу было видно, что он придает значение не столько форме, сколько содержанию.

А познакомились мы с Шварцем в декабре 1952 года при следующих обстоятельствах. Мы шли с Лизой на почту отправлять заказные письма. Из синенького домика вышел человек в фетровой шляпе. Он шел впереди нас, и продавцы всех ларьков приветствовали его. Очередь на почте состояла из меня с Лизой и человека в фетровой шляпе. Мы терпеливо ждали, пока он выпишет все журналы и газеты, какие только есть на свете. "Я вас задерживаю, – сказал незнакомый человек. – Сдайте ваше письма, я подожду", – предложил он. "Спасибо, мы подождем. Писем у меня масса." "Масса", – повторил незнакомец. Ситуацией овладела Лиза. "А вы можете сложить пять и семь?" – спросила она незнакомца. "Могу, – сказал он. – А ты можешь?" "Я совсем не зря вас спрашиваю, – сказала Лиза. – Вот на этом плакате пять листиков и семь цветочков." Плакат украшал почту. Декабрь. На плакате "Да здравствует Первое Мая!" и ветвь цветущей яблони. "Только и делает, что считает, – сказала я незнакомцу. – Сегодня такой разговор слышала. Младшая моя говорит ей: "Когда сто пакетиков освободятся из-под горчишников, попросим их у мамы.' А она отвечает: 'Пакетиков не сто. В каждом пакетике пять горчишников. Пакетиков, значит, двадцать!" "Сто горчишников", – сказал незнакомец. У нас была причина ставить горчишники. Она обнаружилась год спустя. Маша болела бронхиальной астмой. Но тогда приступы еще не разыгрывались во всей жестокости, и мы то и дело пускали в ход горчишники. Читай, рассказывай анекдот, и наконец, рассказывай неприличный анекдот, – последнее, конечно, Лиза, – таковы условия, на которых ребенок соглашается терпеть жжение горчишника. Я неприличные анекдоты не рассказывала. "Сто горчишников", – сказал человек в очереди на почте.

В ту секунду, как девушка в окне закончила оформлять квитанции для незнакомца и я получила возможность сдать свои письма, Лиза сказала: "Мама, уйдем. Мне жарко." Я расстегнула пуговицу воротника ее пальто. "Я выйду с ней. Мы вас подождем", – сказал незнакомец. Лиза дала ему руку, и они вышли. "Знаете, кто это? – спросила девушка в окне. – Это Евгений Львович Шварц." Имя это я, конечно, знала, – детский писатель, драматург, конгениальный Андерсену, чьи сказки он инсценировал. Через окно было видно, как Шварц дрожащими руками застегивает Лизе пуговицу на воротнике пальто. Когда я вышла, оказалось, что дружбе заложено прочное основание. "Вон в том ларечке живет медведь, а в этом ящике под крышей почты, – видишь, провода к ящику идут, – живет птичка. Она по телефону с медведем разговаривает." "Мы подружились, – сказал Евгений Львович. – Я уже знаю, что вы живете на розовой даче номер 27. Пожалуйста, приходите ко мне в гости." "Не бросайтесь словами, – сказала я. – Мне теперь отбоя не будет – мама, пойдем в гости к новому академику." "Скажите, а меньшими категориями ваши дети не мыслят?" – иронически спросил он. "Не меньшими, а иными", – иронически поправила его я. "Нет, правда, приходите с ней", – сказал Шварц. "Я не могу одного ребенка вести в гости к знаменитости, а другого оставить за бортом." "Приведите и другого." "Но вы не знаете, сколько у меня детей!" "Сколько бы ни было."

Сейчас я докажу Вам, что люди не равны друг другу, даже люди одной профессии, даже члены одного и того же профсоюза, в данном случае члены Союза Писателей. В 1963 году меня пригласили создать и возглавить лабораторию популяционной генетики в Академгородке Новосибирска. И пока не вышвырнул меня Комитет Госбезопасности, я пребывала там в числе привилегированных и считалась интересной личностью. Я удостоилась визита Гранина, автора книги "Иду на грозу", где он чуточку лягнул Трофима Денисовича Лысенко, выведя его под именем ученого Денисова. Гранин входил в силу. Он руководил в Союзе Писателей секцией молодых поэтов. Я рассказала ему о моем знакомстве с Шварцем и про то, как Шварц, не обратив внимания на поразительные способности его новой знакомой, повторил: "Сто горчишников". Гранин тоже не обратил внимания на слова вундеркинда. "Вид горчишника волнует меня, – заговорил он очень живо. – На изнанке каждого горчишника напечатано: тираж – один миллион." Дружбы с Граниным у меня не возникло. Вскоре после визита Гранина я должна была ехать в Ленинград защищать докторскую диссертацию. Гранин просил оповестить его. "Я подарю вам букет роз, – сказал он, – я очень большой букет роз вам подарю." Бродский, поэт Бродский занимал мои мысли куда больше навязшей мне на зубах моей диссертации. Я сказала Гранину, что приму его дар только в случае, если он вступится за молодого поэта. Он сказал, что уже пытался повлиять на Бродского, предлагал ему писать стихи про цветы, про снег, про животных. Бродский не возражал против тем, но то, что выходило из-под его пера, оказывалось абсолютно непригодным для печати: стихи "Рыбы зимой" или "Снег идет". Да, стихи "Рыбы зимой" не годятся для печати:

Рыбы плывут от смерти
Вечным путем рыбьим.
Рыбы не льют слезы,
Упираясь головой в глыбы...
Рыбы всегда молчаливы,
Ибо они – безмолвны.
Стихи о рыбах, как рыбы,
Встают поперек горла.

Видать, предложение Гранина писать стихи про снег, про животных стояло у Бродского поперек горла.

И прекрасные стихи о снеге в том же роде. Но Гранин обещал помочь. Во время суда над Бродским в театре шла его премьера "Иду на грозу". Он не пришел на суд и на представление в театр, он уехал из города, и никто не знал, где он. От его имени Воеводин младший читал осуждение поэта-тунеядца членами Союза Писателей. Поэт, как известно, получил пять лет ссылки и принудительного физического труда. Вынося приговор, суд основывался на отзыве Союза Писателей. Я сказала пару теплых слов Воеводину и какому-то проходимцу по фамилии Лернер. Этому подонку я сказала: "Что? Радуетесь? Задушили ребенка собственными руками." Он закричал: "Милиция, меня хотят задушить!" Пять милиционеров в форме обступили меня – пять громадин. Обступили и отступили. Лернер – один из главных преследователей, попался потом на каком-то уголовном деле. Гранину я позвонила на другой день после суда. Его не было дома, он уехал за город. Я попросила его жену передать ему, что ему надлежить смыть черное пятно... Я видела Гранина после этого еще раз – просила за Бродского. Он кривлялся, спрашивал, почему я сама не делаю того, о чем прошу его. Тогда-то он и хвастался мне, что видел картины Филонова в запасниках Русского музея. Он, говорили мне, все же заступился за Бродского, и не без его участия Бродский был возвращен из ссылки, не проработав на лесосплаве положенных пяти лет.

Тогда, в свое время, Гранин не вступился за Бродского, а даже подтолкнул падающего, поручив Воеводину выступить от его имени. Но во всеобщем мнении Гранин себя не уронил. Он не мог поступить иначе. Он в то время на Государственную премию был выдвинут. Таково если не всеобщее мнение, то мнение большинства. А происходило это позорище не в сталинские времена. Смерть Гранину не грозила. Но ведь и рисковать Государственной премией не всякий станет. Знаю, однако, что у Гранина есть совесть и она болит. Иначе он не стал бы писать про Любищева. А о Любищеве потом.

С Шварцем у нас возникла пламенная дружба. Я даже чуть было не стала детским писателем. Самое острое из всех ощущений моей жизни – чувство стыда, которое я испытала, когда Шварц, выслушав мои рассказы, сказал: "Такая литература карается арестантскими ротами." Я испытала непреодолимое желание исчезнуть с лица земли немедленно. Мое горло не бредило ни бритвой, ни намыленной петлей, мой висок

не жаждал прикосновения заряженного пистолета. Я точно знаю, чего я хочу. Бездна должна разверзнуться подо мною и поглотить меня. Я поняла точный и буквальный смысл выражения "хотеть провалиться сквозь землю". И как только я могла, нашаляв, накаляв, наваляв пять маленьких рассказиков, – Лиза потом так характеризовала машин способ приготовления уроков, – пойти читать их Шварцу? Затмение на меня нашло. Я на научных конференциях из робости обычно не выступаю, очень даже имея что сказать, а если выступаю, то готовлюсь тщательно.

Шварц сказал: "Работайте. Приходите через месяц." "К вам, наверное, многие ходят и всякую дрянь читают? Что вы им говорите?" – спросила я. "Говорю, что печатать так трудно, что лучше и не начинать". "А мне почему так не говорите?" "Потому что вам есть что сказать." Я пришла к Шварцу через два месяца и принесла десять рассказов. Когда я уходила, Шварц сказал: "Об арестантских ротах не может быть и речи." Я сделала книжку вроде бы для детей, вроде бы для взрослых. Художница Вера Федоровна Матюх взялась иллюстрировать. Она долго искала подходящий язык. Так и не нашла. Когда через много времени она вернула мне рукопись, я уже не имела ни времени, ни желания печатать рассказы.

К Шварцу я ходила разговаривать. Шла десталинизация. Шварц – великий знаток человеческих душ – заблуждался о масштабе дарованной свободы совершенно в духе Кржижановского. Его пьесы, намертво запрещенные при Сталине, ставил теперь в своем театре Акимов. Обыкновенное чудо. Дракон. Из Москвы на гастроли приезжал театр и показывал Голого короля. Достать билеты – дело большой удачи. Когда министр говорил Голому королю, единственной одеждой которому служила орденская лента, продетая между ног: "Ваше Величество, бегите, пока народ безмолствует", – зал стонал от удовольствия. Три головы Дракона в постановке Акимова в Театре Комедии говорили и были загримированы по-разному. Одна говорила с грузинским акцентом, другая картавила сладким голосом, третья лаяла. Сталин, Ленин, Гитлер. Осмеяно решительно все. Произвол, местничество, декретированное свыше неравенство, антисемитизм, глупость правителей, борьба за власть, рабские инстинкты подчиненных.

Шварц просил меня ходить на представления и рассказывать ему о реакции публики. "А вы не боитесь, что вас и Акимова посадят?" – спросила я Шварца. "Нет, – говорит. – Во-первых, слишком много тех, кого надо посадить. Во-вторых, я имел в виду немецкий фашизм, а не сталинскую эпоху." Он действительно писал своего Дракона во время войны, бичуя нацизм. Только Сталин куда как искуснее Хрущева в умении властвовать. Дракона к постановке цензура не допустила. Шварц очутился в числе опальных. Теперь он возвысился до положения полуопального. Книги его пьес печатались. Только те, кто родился в рубашке, могли достать их. Тиражи мизерные. Желающих – миллион.

Слухами о страдании жертв сталинского террора полнилась земля. Шварц рассказывал о своем знакомом литературоведе. По дороге в

лагерь он в поезде потерял сознание. Конвоиры решили, что он умер, и на ближайшей станции сдали его в морг железнодорожной больницы. Там он очнулся. Директор больницы, узнав, что воскресший арестант – доктор наук, предложил ему остаться в больнице в качестве доктора. Литературовед побоялся. Он поехал догонять эшелон, увозивший его в лагерь. Там, в лагере, уголовники устроили бунт, разнесли двери камер и обрели минутную свободу. Они ворвались в камеру, где содержалось много политических заключенных, и предложили им выйти. Интеллигенты забились под койки и выйти отказались.

Еще Шварц рассказывал, как выпускали людей из лагеря на свободу по приказу Хрущева. Работала комиссия. Спрашивают заключенного, в чем его обвиняли. В подготовке убийства Сталина. Под пытками он сам показал, что такой-то человек, в таком-то месте вручил ему револьвер. "А на самом деле что было?" "А на самом деле ничего не было." "Вы свободны." Пересматривали дело старика – бородача-великоруса. "В чем тебя, отец, обвиняли?" "В том, что я сказал: 'Если бы я встретил Сталина, я задушил бы его собственными руками'." "А на самом деле, что было?" "То самое и было." "Ступай, отец, ты свободен."

Раз прихожу к Шварцу. Газету ему принесла, где о постановке его пьес писали. У него Юрий Герман – весьма известный писатель. Герман рассказывал о приключениях своего знакомого писателя. Стал он лысеть. Из-за границы удалось ему раздобыть жидкость для ращения волос. Парикмахер заинтересовался – на лысине волосы растут. Писатель поведал ему тайну. В тот же вечер за писателем явились милиционеры или чины в военной форме, не помню. "Пройдемте." Подвезли его, не на Лубянку, а к особняку, окна которого непроницаемо занавешены. "Пройдемте." Те же милиционеры или чины ввели несчастного в ванну и оставили одного. Через миг явился низкорослый лысый человек, рыжий, в растегнутой рубашке, без кителя и в брюках с генеральскими лампасами, пьяный в дрезину. Заплетающимся языком он сказал, что ему стало известно о жидкости для ращения волос. Он предлагает отдать ему флакон. "А кто вы такой?" "Я – сын Сталина." "Неужели ваш папа не может выписать для вас из-за границы жидкость для ращения волос?" "А ты слыхал когда-либо, чтобы мой папа кому-нибудь жидкость для ращения волос выписывал?" Грузинский акцент Герман изображал артистически и с большим тактом – вроде бы и есть акцент, а вроде бы и нет. Флакон поступил в распоряжение ущемленного папой потомка. Сын Сталина не остался в долгу. Писатель получил от него в подарок тевтонский меч, украшавший когда-то музей, и короткошерстую породистую суку Геббельса.

Шестидесятилетие Шварца, когда праздновали его юбилей, я проворонила. Он позвонил мне и спрашивает: почему все его поздравляют, а я не поздравляю? "Когда празднуется юбилей Шварца, поздравляют меня", – сказала я. Лукавя, я говорила Шварцу: "Почему-то все говорят – ваш Шварц, никто не говорит – ваш Мейлах." "Очень приятно", – сказал Шварц. Снова лукавя, я говорила то же самое Мейлаху. "Очень жаль", – сказал Мейлах.

Бориса Соломоновича Мейлаха и его милую-премилую жену я вспоминаю с любовью и благодарностью. Борис Соломонович, член партии, отлично умеет сочетать хороший тон современности с порядочностью. Сталинская премия и гонорары сделали его богачем, но ни малейшего барства в нем не породили. Его каменная дача – чудо целесообразности – служила мишенью насмешек. Дай Бог памяти – как она называлась? Названий тьма: Мейлахов курган, Храм Спаса на цитатах, Баня, перестроенная из церкви, Ампир во время чумы. Последнее наименование молва приписывает Борису Михайловичу Эйхенбауму, изгнанному тогда из Университета за космополитизм. И еще говорили, что на воротах дачи Мейлаха следует повесить плакат: "Это все будет принадлежать народу".

Славу и гордость семьи, источник непрерывного огорчения составляет сын Бориса Соломоновича Мейлаха – Мишенька. Мы подружились с Борисом Соломоновичем и его женой Тамарой Михайловной в 1939 году в доме отдыха на Кавказе. Мишенька тогда еще не существовал. Он родился в 1946 году. Наше знакомство с Мишенькой состоялось в 1952 году. Нас никто не представлял друг другу.

1952 год войдет в историю наряду с 1937 годом. Дело врачей увенчало злодеяния Сталина. Антисемитизм приобрел кровавый характер.

Дочь Мейлаха поступала в тот год на Филологический факультет Ленинградского Университета. Тамара Михайловна – русская, в паспорте у Миры стоит – русская. Отец – член партии, профессор Университета, лауреат Сталинской премии. Для приемной комиссии Мира ничем другим не была и не могла быть, кроме как еврейкой. Провал на экзамене фабриковался, снижали балл за сочинение, которое якобы содержит орфографические ошибки. Когда операцию проделали над сочинением Миры, Борис Соломонович потребовал, чтобы ему показали сочинение. Ошибок не было. Но предстоял экзамен по географии. Профессор Университета С.П. Хромов, тогда добровольный, а в последствии титульный редактор моей книги, по моей просьбе проследил за экзаменом. Мира прошла.

Я несла книги для подготовки к экзамену. Борис Соломонович тогда еще не построил свою дачу и снимал на лето помещение в поселке по ту сторону железной дороги. Вечерело. Я обратилась к крошечному мальчику. "Не знаешь ли ты, где живет Борис Соломонович Мейлах?" "Как хорошо, что вы обратились ко мне, – сказал мальчик. – Это мой папа. Обойдите кругом лужайку, иначе вы промочите ноги." Так началась наша вечная дружба с Мишенькой Мейлахом. Я мало помню из того, что он говорил. Когда люди смотрят на очень похожее изображение человека, сделанное у них на глазах, они смеются. Люди смеялись, когда Лиза в шесть лет с легкостью решала задачи, над которыми и взрослому нужно немного подумать. Люди смеялись, когда говорил Мишенька, так неожиданно умно формулировал он свои мысли. В семь лет он пошел на дачу Леона Абгаровича Орбели, чтобы пригласить его собаку заниматься в школе для сторожевых собак. Леон Абгарович спросил, зачем это нужно. Мишенька сказал, что нужно это прежде всего

самим собакам, так как всякое ученье приносит в будущем плоды. Леон Абгарович, встретив родителей Мишеньки на дороге, сказал им, что завидует их сыну в умении излагать свои мысли. Я так старалась не смеяться мишенькиным словам, что не помню почти ничего из перлов его красноречия.

Разговаривали мы примерно так:

Он: – Эта противная Мирка достала себе билеты на фильм "Дневник Анны Франк", а мне не достала.

Я: – Детей до 16 лет на этот фильм не пускают. Мира потому и не взяла для тебя билет.

Он: – Дети должны знать правду, всю правду. И лучше, если они узнают ее в художественном изображении, чем от хулиганов-товарищей. Я добился бы, чтобы меня пустили.

Я: – Фильм этот не вся правда, а только половина ее. Правдой этот фильм станет, когда нам покажут то, что делалось в сталинских лагерях.

Он: – Этого не будет никогда. Это слишком горькая правда.

Сцена разыгрывалась в 1958-м году или в 1959 году.

К своим прекрасным родителям он относился скептически. "И мой папа так думает, – говорил он, – насколько я могу судить о том, что думает папа, на основании того, что он говорит." А однажды он пришел ко мне и сказал, что ненавидит своих родителей. Они выпускают из мышеловки мышь и смотрят, как кот ловит ее. "Я понимаю, эта смерть ничто перед лицом того грандиозного естественного отбора, который совершается в природе. Но как они могут делать из смерти забаву!"

Чуть подросши, Мишенька стал вегетарианцем к великому огорчению родителей. Он хотел стать режиссером и рвался в соответствующий Институт. Еле отговорили. Он стал заниматься французским языком, поступил в Университет и сделался специалистом по старо-французскому языку и литературе. Он молод, он там...

В 1963 году Борис Соломонович организовал симпозиум по комплексному изучению творчества. Я возглавляла тогда общеуниверситетский семинар по кибернетике и была членом Совета по кибернетике при Университете. Борис Соломонович обратился в Совет с предложением организовать симпозиум под эгидой Совета.

Я представляла проект. Совет единогласно отверг его. Кибернетика только-только вышла из-под запрета и перестала быть служанкой империализма, орудием эксплуатации, причиной обнищания народа в странах капитала. Развивать ее применительно к технике – пожалуйст. К биологии – куда ни шло, хотя и попахивает крамолой – защищать генетику с позиций кибернетики легче, чем с позиций социологии, криминалистики и даже медицины. Хватит с нас хлопот с генетикой, а комплексное изучение творчества пусть те, кому положено, ведут с позиций марксизма-ленинизма, – такова подоплека этого отказа. Члены Совета боялись превысить дарованную меру свободы. Борьба за субсидии под новую тематику играла при этом свою роль.

Симпозиум состоялся под эгидой Союза Писателей, членом которого Мейлах состоял испокон веков. Мейлах задумал применить математические методы к изучению творчества в то время, когда влага, питавшая подвально-бледные ростки свободы во время оттепели, стала подмерзать. Состоялся Симпозиум в самое неподходящее для обсуждения вопросов искусства время. Вопросы идеологии оказались в центре внимания Хрущева. Осуждение абстракционистов за то, что они изображают деревья вверх корнями, уже прозвучало. Обнаженная Фалька – ее зеленые тени издали смотрелись, как ослепительная белизна, "голая Валька" – анекдот, созданный, без сомнения, в недрах Союза Писателей, – у всех на устах. Но вот тут-то и выявилась разница между "тогда" и "теперь". "Тогда" – при Сталине, Фальк, Неизвестный, молодые абстракционисты просто не существовали. Теперь – при Хрущеве, обруганная им "голая Валька" продолжала украшать выставку в Манеже, так же как и великолепная антивоенная бронза Неизвестного, а в отдельном помещении, куда пускали избранных, выставлены молодые абстракционисты. Там их и обругал Хрущев.

Симпозиум Мейлаха попал в промежуток между разгромом абстракционизма и званными обедами для писателей, где произошел разгром всего живого в литературе и подсобные громилы получили поддержку. Со слов жены Леонида Соболева знаю, что в палатке на даче Хрущева, где сервировали обед для писателей, Хрущев сказал: "Я предпочитаю беспартийного Соболева партийной Алигер." Соболев тогда решительно стал в ряды громил. Его от радости хватил легонький инфаркт, и скорая помощь увезла его в больницу. Тени безродного князя Меньшикова и придворного мужика Распутина витали над палаткой. Можно еще опричников Ивана Грозного включить и, конечно же, Трофима Лысенко. Петр, Николай и Никита демонстрировали всему миру, – каждый на свой манер, – что верноподданничество важней знатности, образованности, таланта.

Борис Соломонович изгнал из повестки все, что касалось изобразительного искусства, все, кроме моего доклада. Быстренько я написала Александру Александровичу Малиновскому в Одессу, чтобы ехал в Ленинград, с Мейлахом познакомлю, кажется предоставляется возможность включить доклад Александра Александровича в повестку.

Малиновский работал в Одессе в Институте Офтальмологии. Директор этого Института Владимир Петрович Филатов, двоюродный брат Дмитрия Петровича Филатова, пригласил Малиновского заведовать генетическим отделом и спас его от голодной смерти. В 1963 году Малиновский все еще жил в Одессе.

Ровно двадцать лет назад он показал мне рукопись и просил прочесть и никогда, ни одного слова, ни одному человеку о ее содержании не говорить. Содержание самого безобидного свойства – по тем временам – год 1943 – безумная крамола, а он напуган до смерти. Он – сын А.А. Богданова – имел все основания бояться. Рукопись посвящена психологическому анализу воздействия и восприятия искусства. Почему "береза зеленая, как осина", никуда не годится, а "трава, зеленая,

как изумруд", – годится. Почему, повествуя о королеве, автор называет ее то по имени, а то королевой. Что хорошего в том, что море "машет белой гривой".

Ум философа и дар истинного писателя создали труд, где Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин не упоминались, а свободная творческая мысль независимо от их высказываний анализировала интимные механизмы творчества.

В феврале 1963 года доклад Малиновского прозвучал с трибуны, в барском особняке, где помещается правление и клуб Союза Писателей. Нина Александровна Крышова, ученица С.Н. Давиденкова, – о нем речь впереди – известнейший невропатолог, глава отдела в Институте Физиологии Академии Наук, говорила о наследовании дефектов речи на основе анализа нарушений речи у идентичных близнецов. Уж чего, казалось бы безобидней. А, однако, крамола крамол. Именно такие речи превращали дворец на улице Воинова в логово потенциального врага. Наследование дефектов речи указывает на наследственную обусловленность речи, на существование генов, делающих человека человеком. Далее возникает вопрос об условиях накопления этих генов в популяциях предлюдей, об их судьбе в популяциях современного человека. Расизм? Ницшеанство? Гитлеризм? Проповедь изначального и неискоренимого биологического неравенства людей, существования сверхчеловека, которому все позволено? Извращение истины? Да, извращение истины, если Сталина, Гитлера, Хрущева объявить на основе данных науки сверхлюдьми, которым все позволено. Святая истина, если на основе данных науки показать, что они не люди, что в их лице человек еще не вышел из животного состояния и что надо организовать общество так, чтобы на пути к управлению обществом для них были воздвигнуты непреодолимые для них барьеры.

Нина Александровна дальше генетической обусловленности речи не шла, но имеющий уши слышал.

Мой доклад был предпоследним. Я говорила о классификации искусств и о месте абстрактной живописи в ней. Враждебное отношение большинства по отношению к абстрактному искусству занимало меня. Почему музыка, абстрактное звучание, приемлемо, а неизобразительную картину любители музыки встречают в штыки? Речь приучила наш слух к абстрактному звучанию и тем самым создала благоприятные условия для восприятия музыки. Почему ту же роль не сыграло письмо? Я анализировала слух, зрение, обоняние, осязание и разновидности искусства, предназначенные для каждого из органов чувств. В различии кодовых знаков я пыталась найти ответ. Я делила искусства на элементарные и синтетические. Все виды искусства, оперирующие словом, синтетические. Они рассчитаны на восприятие всеми органами чувств. К нашему слуху, зрению, обонянию взывает поэт в стихотворении:

Мы – пленные звери,
Голосим, как умеем,

Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

... Утешаяся лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.

Классификация искусств дает возможность предсказать новые ветви искусства наподобие предсказания элементов с помощью периодической системы химических элементов.

– Предсказать, значит создать, – говорила я, – потому что слово это Бог и Бог это слово. – В задних рядах аплодировали. Борис Соломонович похвалил мой доклад. В кулуарах, конечно, не с трибуны.

Выступали математики. Академик Колмогоров анализировал искусство с позиций теории информации. Были доклады, посвященные математическому анализу стихотворных форм. С трибуны звучали невинные стихи полузапрещенных поэтов – Есенина, Волошина.

Было, конечно, и тиктаканье часов, доклады от восприятия, в силу трафаретности, ускользающие. Среди них доклад самого Мейлаха. Он спасал положение, восстанавливал хороший тон современности. Злые языки называли Симпозиум Психозиумом Мейланхоликов. Я передала Мейлаху, надеялась на его чувство юмора, крылатое выражение. Он ужасно огорчился. "Психозиум Мейланхоликов? Нет. Аве Мария, исполненное ангельскими голосами в публичном доме."

Меня не раз приглашали повторить мой доклад. Одно из приглашений – в молодежную секцию Дома ученых, я было приняла. Но, когда позвонили, чтобы окончательно договориться, я отказалась. Я боялась за организаторов. Что в зверинце зловонно и скверно, я могла показать, излагая законы генетики.

А стихам Сологуба про зверинец меня научил отец, когда мне было семь лет. До появления мачехи. И многим другим стихам, воспевающим свободу.

Представьте себе, что Вы идете по послеблокадному Ленинграду к себе домой. Вы давно покинули свое обиталище и много лет мечтали вернуться. И вот, Вы стоите перед домом, где жили. Войти в него нельзя. Бомба снесла фасад, и Вы видите Вашу комнату на третьем этаже. Она почти висит над партером улицы. Сцена. Занавес поднят. Книги, мебель. Были бы Вы счастливы в тот день? Нет. А Иван Алексеевич был счастлив и не только потому, что его выпустили в этот день из тюрьмы, где он просидел почти десять лет, и не только потому, что он разыскал своих племянниц, дочерей своего покойного брата, умершего во время блокады, и они обрадовались ему и изъявили готовность приютить. Он был счастлив, потому что в тот день, перед тем как сесть за стол, он мыл руки под краном на кухне.

Сразу после доклада на Симпозиуме по комплексному изучению творчества я получила записку. В изящных выражениях на французском языке автор записки просил разрешения познакомиться со мной. Записка

написана на программе. Автор просит вернуть ему программу. Я написала по-русски: "Приходите ко мне домой сегодня в 8 вечера", – и адрес. Контраст между робостью изящно выраженной просьбы и моей бесцеремонной доступностью забавлял меня. Иван Алексеевич предстал. Высокий, сухощавый, не очень старый. Его вид вполне гармонировал с изысканным изяществом его французского обращения. Мы вместе пошли домой. У меня званый вечер. Девочки подросли. Они пекли блины. Лиза сказала Ивану Алексеевичу: "Как странно, что вы не бывали у нас раньше. Вы так подходите к нашему дому".

Иван Алексеевич Лихачев 14 лет "протрубил по тем лагерям", как сказал поэт. Он знал 8 европейских языков, переводил в обоих направлениях стихи стихами, был членом Союза Писателей – очень добивался стать членом, по его утверждению, в расчете на пышные похороны.

Только-только познакомились, и я уехала в Новосибирск. Летом 1964 года Иван Алексеевич приехал погостить у меня, и мы втроем отправились в дикую туристскую поездку на Алтай. Дикой такая поездка называется в противоположность организованному туризму. Третий – Станислав Игнатьевич Малецкий. Это он задумал поездку. Он вырос на Алтае в детском доме. Ему было 3 года, когда его родители погибли в блокадном Ленинграде. Он жил в общежитии всю жизнь, ни разу не сидел за столом в семейном доме. Образование он получил в Сельскохозяйственном институте в Новосибирске. Следует сказать – он не получил никакого образования, т.к. учился во времена лысенковщины, биологию проходил по Лысенко, почковедение – по Вильямсу. Он агроном-генетик самоучка. Он совершенно самостоятельно изучил английский язык, математику и постиг генетическую премудрость. Случайно он попал в Академгородок. Когда в сентябре 1963 года я приехала и мы познакомились, он был лаборантом. В моем лице Ленинград, город, где он родился, пришел к нему.

В Институте цитологии и генетики бушевала буря. Лаборант Малецкий поднял знамя борьбы с заведующим лабораторией Мирютой. Мир мал! В 1945 году, за 18 лет до описываемых событий, когда меня отчислили из докторантуры, я подала бумаги на конкурс в Горький, рассчитывая получить место доцента на кафедре, которой заведовал Сергей Сергеевич Четвериков, основоположник популяционной генетики. И вот является ко мне на Малую Бронную красивый молодой человек, представляется – Мирюта, сотрудник Четверикова. "Вы претендуете на место, которое хочу занять я, я буду с вами бороться. Да зачем вам?" И дальше вылит ушат помоев на головы всех тех, кто окружал Четверикова, и на самого Сергея Сергеевича. Я бежала с поля боя, так и не вступив в борьбу с клеветником. Теперь мы оказались заведующими лабораториями одного и того же института.

Малецкий обвинял Мирюту в невежестве. Все молодые сотрудники лаборатории объявили о своем уходе из лаборатории и просили перевести их в другие отделы Института. Работала комиссия. Меня моментально включили в ее состав. Малецкий оказался прав. При первом знакомстве Малецкий говорил, что уйдет из Института. Я отговорила.

Мирюта подал в суд на Малецкого, обвиняя его во вредительстве. Малецкий дрожал. Я успокоила его – суд не примет иска. Так и было. Прошло совсем немного лет. Малецкий защитил диссертацию и стал заведующим лабораторией Академического Института, того самого, куда за шесть лет до того он по воле случая попал лаборантом. Теперь он доктор наук, первоклассный ученый.

В 1964 году он задумал показать нам с Иваном Алексеевичем красоты края, где он вырос. Туристская поездка по России – безумное предприятие. Нужна великая сноровка, чтобы раздобыть самые элементарные вещи – транспорт, питание. Мы хлебнули горя. Нас обокрали. Чемодан с продуктами и номерами газеты "Humanité", с красками, блокнотами и кистями исчез в грозе и в буре. Такой бури, молний и ливня, какие бушевали, блистали, низвергались, когда мы ночевали на озере Ая, не было никогда и нигде на свете. Ивана Алексеевича укусил клещ. Пришлось делать прививки против энцефалита. Энцефалита он избежал, но заболел брюшным тифом. Станислав Игнатьевич подхватил клещевую лихорадку лесорубов. Только меня не брала никакая холера. Мы постигали горчайшую судьбу народа, сами бедствовали и наслаждались красотами природы. И как наслаждались! Малецкий обладает особым даром. Он не только ценит красоты природы. Он их оценивает. По десятибалльной системе. Долина Катуни. Голубые кулисы расступающихся гор. Широкие дали. Скалы на первом плане, цветы, ковыль. "Сколько?" "Три с минусом." Пороги Катуни, бурные мутные воды, острова-веретена, поросшие кедрами, лесистые горы вдали внизу. Косая даль обрамлена могучими стволами сосен ближнего плана. "Сколько?" "Шесть с плюсом." Мы плыли по Телецкому озеру. Игнатов изучал его. Не только в книге, но и в специальной статье, напечатанной в трудах Лаборатории озероведения Академии Наук, я описывала его экспедицию. Неожиданность хватала за сердце. У береговых скал играла вода, оливково-зеленая, цвета бутылочного стекла, чистая, прозрачная. Разноцветная крупная галька виднелась на глубине. Пеленами стлались над водой туманы, и их отражения стлались над ними, дробясь и волнуясь в тяжелой воде. Горизонт замкнула гора, и обрывистые берега близко подошли друг к другу. Вершина горы не пик, плато. "Сколько?" "Десять", – говорил Станислав Игнатьевич с гордостью, как будто это он создал прекрасный мир с единственной целью показать его нам.

Огромная многоводная река Чулышман питает Телецкое озеро. Другая, еще более огромная река вытекает из него – Бия. Сливаясь с Катунью, Бия дает начало Оби, одной из самых больших рек мира. Мы ехали на попутном грузовике по направлению к верховьям Чулышмана, и два подвыпившие алтайца рассказывали нам, что деревня Балыкча, где мы думаем пожить несколько дней, это скотоводческий колхоз-миллионер. Мы устроили стоянку на берегу Чулышмана на окраине деревни. Развели костер – кашу решили варить. Я пошла купить молоко. "Не продадите ли литр молока?" Нет, у нее шестеро детей,

корова одна. Вон в ту избу идите, у них две коровы. "Не продадите ли литр молока?" "Отчего не продать, продадим." Из дома выходит еще одна молодая женщина, одного ребенка на руках держит, другого за руку ведет, третий за юбку сам держится. Через минуту еще молодая женщина выходит с целым выводком детей. "А вы кто такие? – спрашивает первая, пожилая, – сколько вас, откуда, зачем приехали." Из дома выходит еще несколько детей. "Сколько у вас детей?" – спрашиваю я. "Десять." "Знаете что, – говорю я, – у нас есть сгущенное молоко. Я не буду покупать у вас молоко, вам самим надо." Я ухожу. Мы варим кашу на сгущенном молоке. Бежит со стороны деревни мальчонок. Несет стеклянную банку молока. – Бабушка посылает нам в подарок. – Достаточно видеть с каким остервенелым отчаянием сосут телята своих выдоенных матерей, чтобы понять нищету обитателей богатейшего края. Хозяева ближайшей к нашей стоянке избы взяли нас под свое покровительство. Мы могли пользоваться их уборной. Дворовое это сооружение запиралось изнутри кожаной петлей. Крошечная кабина, где мог поместиться один человек, имела две дырки в полу над выгребной ямой. Кожаная петля, а не металлический крючок. Крючек неоткуда и не на что купить. Две дырки повествовали о суровой алтайской зиме, о лютой стуже. Дорисовывать картину я предоставляю воображению читателя. Лаконизм – душа искусства. Я и об этом говорила на Симпозиуме в Союзе Писателей. Две эти дырки в полу уборной говорили о бедственной жизни членов колхоза-миллионера не менее красноречиво, чем сопли, текущие, судя по красноте под носом, из носа хозяйского мальчика. "У него туберкулез", – сказала мне хозяйка. Врача в деревне нет. Мед с маслом? Нет меда. Колхоз скотоводческий, пасеки у колхоза нет, а частные пасеки запрещены законом, а когда были не запрещены, налог такой брали с улья, что самим мед не доставался, так и бросили это дело.

Об исчезновении частных яблоневых садов в результате налоговой политики государства говорил Хрущев в одном из своих пространных докладов. Он жалел яблоневые сады. А тотальное ограбление колхозов он считал законным и осуждал руководителей колхозов, если они ему противились.

"Спрашиваю председателя колхоза, – рассказывал Хрущев, а "Правда" печатала, – какая у вас культура самая доходная?" "Магар." "А что такое магар?" "Трава такая." "А почему она самая доходная?" "А потому, что ее у нас государство не берет." Хрущев приводил слова председателя колхоза, как пример вопиющей безответственности. Хрущев не знал, что такое магар. А я знала. Кашей из магара кормили заключенных. Она горькая. Даже на корм скоту магар почти не пригоден. Поэтому и не берет его государство. Но лучше магар, чем ничего. И в лагере, и в колхозе. Таковы дела. Но возвращаюсь к нашему путешествию, нет, к нашей увеселительной туристской поездке.

Сперва заболел Станислав Игнатьевич. Когда ехали на пароходике обратно по Телецкому озеру, оба мои спутника были больны. Из Артыбаша до Турочака нам посчастливилось добраться, домчаться –

километров шестьдесят – на попутном грузовике. Иван Алексеевич и Станислав Игнатьевич тряслись на голых подпрыгивающих досках, положенных поперек открытого кузова. Особенно тяжко Ивану Алексеевичу. Он так худ, что ему и без тряски в здоровом состоянии больно сидеть. Из Турочака крошечные самолетики, куда больше, однако, того У-2, с которого началось мое знакомство с воздухоплаванием, летали в Бийск. В кассе аэродрома выяснилось, что самолет будет только завтра. Я заказала билеты. Мы одни на аэродроме, кроме нас пассажиров, ожидающих самолета, нет. Больным стало совсем худо. На ногах уже не держались. Я постелила одному брезент палатки, другому – одеяла в тени под пихтами, и они лежали. Когда тень сворачивала, я перетаскивала волоком каждого из них вслед за тенью. К вечеру Станислав Игнатьевич оклемался, и мы пошли в соседнюю деревню за врачем для Ивана Алексеевича. Он предлагал взять Ивана Алексеевича в больницу, но обошлось. На следующий день оказалось, что билетов нет. Подробностей скандала, который я учиняла, я, к сожалению, не помню. Но, в конце концов, мы улетели. Чудом. В последнюю минуту компания из трех пассажиров обнаружила, что рейс им не подходит.

Перед отлетом, не подозревая о грозящей нам беде, мы сидели на цветущем лугу. Двое молодых людей – ленинградец из Барнаула и одессит из Риги – изъявляли сожаление Ивану Алексеевичу, что не присоединились к нам раньше. Они, как и мы, дикие туристы. Они просили на будущий год взять их с собой, когда поедем. "А мы не поедем, – сказала я. – Это моя первая и последняя поездка. Есть три способа общаться с природой – путешествие, туризм и пребывание на курорте. Все три антагонистичны друг другу. Я путешественник. Тяготы походной жизни искупаются только тогда, когда не только созерцаешь природу, но и познаешь." "А зачем же поехали?" – спросил одессит. "Покорилась превосходящей мужской воле." "И что же, так-таки больше никуда не поедете?" "Я поеду на Камчатку, мы все поедем, но это будет экспедиция."

В 1966 году Иван Алексеевич и Станислав Игнатьевич в составе моей экспедиции летели со мной на Дальний Восток.

Нас было много. Мы ехали изучать растения. Как я, еще живя на даче в Комарове и занимаясь историей географических открытий, стала снова ботаником, я расскажу потом. Математик Калинин получил средства от Ленинградского университета, прилетел в Новосибирск и полетел со мной на Камчатку, чтобы принять участие в сборе статистического материала. Люся Колосова, ботаник, секретарь Биологического отделения Президиума Академии Наук готовилась поступить ко мне в аспирантуру и ехала со мной. Две студентки Новосибирского университета – курносая прелестная Клара, которой подошло бы имя Катя, и черненькая Катя – ей надлежало бы называться Кларой, – получили мизерные средства от Университета. Они так и назывались – Катя, которая Клара, и Клара, которая Катя. Обе – первый класс. Лучших членов экспедиции нельзя и вообразить. Но краса и гордость экспедиции блистала даже и на их фоне. Краса и гордость – Борис Генрихович Володин –

врач, журналист, писатель. В серии "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ) его перу принадлежит биография Менделя. За год до Камчатской экспедиции он украшал мою экспедицию к мухам по традиционному маршруту: Никитский Ботанический Сад, Ереван, Дилижан. Теперь он добыл от "Литературной газеты" командировку на рыбные промыслы Дальнего Востока с единственной целью стать членом моей экспедиции. Он писал для ЖЗЛ книгу об Иване Петровиче Павлове, говорил, что сопьется с горя, так как договор заключен, но жизнь великого физиолога с требованиями цензуры расходятся самым вопиющим образом. Внутренняя цензура, цензор, вселенный Сталиным в душу каждого, кто пишет в России не для самиздата, пьянчуга и дебошир – уплотнитель совести, требовал от Володина лжи, а он не мог и не хотел лгать. Он хочет написать про Павлова, каким он был на самом деле. Следующим его героем должен стать мой отец. Когда он утверждал, что напишет книгу для ЖЗЛ про Исуса Христа, мы с его женой воспринимали его слова как хохму. В этой хохме – он весь. Он почти мальчиком сел. Его принуждали дать ложные показания, он отказался и получил 10 лет. Его чудом выхлопотали друзья его отца, и он не досидел положенного срока. В ссылке, заменившей лагерь, он опять же чудом окончил медицинский институт. Чудом он вернулся в Москву и стал журналистом и писателем. Без бороды он был похож на Евгения Львовича Шварца, а когда отрастил бороду, стал похож на Солженицына. Ему было 19 лет, когда тюремный парикмахер, брея его наголо, показал ему бритву, на которой, казалось, одна пена, и сказал: "А ты, парень, совсем седой". Арестант узнал новость. Зеркал в помещении, где он обитал, не водилось. Он выглядел лет на двадцать старше, и его, а не Ивана Алексеевича, принимали за моего мужа. Происходили постоянные конфузы. Я страдала за него, а он не страдал, или вида не показывал. Женщины им очень интересовались. В Петропавловске-на-Камчатке в гостинице буфетчицы, горничные обступили меня в его отсутствии и выспрашивали про него. Он заждался меня и негодовал: "Вот я про вас напишу, какая вы болтуха." "Ну, это еще неизвестно, кто про кого напишет", – говорила я.

Украшение-то он украшение, только мы его почти не видели. В прошлогодней мушиной экспедиции он прилежно ловил мух на винных заводах, на Магараче в Крыму, и на заводе Арарат в Ереване, и на домашних винодельнях Дилижана. Он был потрясен, когда старый хромой истопник гостиницы в Дилижане узнал меня, ведь это я 26 лет тому назад изучала мух, и мой микроскоп стоял на балконе его соседей, ему было тогда 14 лет. Его покалечило на войне, и это война, а не время, сделала его стариком. Шмидтик стал агрономом – ему 30 лет, а Джульетта – учительница. "Ты помнишь?" – спрашивал он. Конечно, я помнила. Я и сейчас слышу детский голосок Шмидтика: "Чанжелет векалем – заберу твоих мушек." Так он пугал меня. Когда выпал в октябре снег, Шмидтик озяб и плакал. Огромная бабушка посадила его на крышку чугуна с вареной картошкой, дала ему в руки горячую сваренную в мундире картофелину, чтобы погрел об нее руки, и кричала,

гаркала на него: "Сус!" – замолчи. Плач Шмидтика в моем воспоминании заглушен окриками, но его красные ручки, держащие картофелину, у меня перед глазами.

А в доме инвалида Отечественной войны меня обкормили. И это дивная история, но всего не расскажешь. Тогда в 1939 году я была одна. Теперь в 1965 году нас было пятеро, и мы все имели девизы, сочиненные Володиным. Обязанности распределены. Есть повар – варит мухам корм. Есть министр морали – отсаживает девственных самок, чтобы с дикарями скрещивать. Есть ловец. Для каждого свой девиз. "И на муху бывает проруха." "Муха не воробей – вылетит не поймаешь." "Как муху ни корми, она все равно в лес смотрит." Для самого себя – "все под мухой ходим", для меня – "муха мухе рознь", и для всех нас "не мухой единой". Пресмешно Володин рассказывал от лица еврея-портного, как в ателье Союза Писателей он шьет писателям: "Федин шью, Евтушенко шью, Володин не шью – голодранец". И так пригласили его в Кремль сшить костюм Ворошилову, и какого страху он натерпелся, когда везли его какие-то военные, а куда везут не сказали.

И еще Володин рассказывал, как Пушкин разговаривает со Сталиным. "Пишите правду, только правду, одну только правду", – говорил ему Сталин. Пушкин хлопотал за Керн, которую посадили, просил пожаловать в качестве дачи конфискованное Михайловское. Кончалась история звонком Сталина к Берии: "Лаврентий? Он вышел."

Иметь в составе экспедиции биографа Исуса Христа, хотя бы и потенциального, не всегда удобно. К концу экспедиции и свои и казенные деньги исчерпаны, всегда неожиданно и преждевременно. Платить за багаж нечем. Нужно все самое тяжелое запихать в ручную кладь, которую взвешивать не будут, и нести ее одним пальчиком с легкостью молодого бегемота, – согласно моей инструкции, – как будто она ничего не весит. Володин, обуреваемый честностью, пихает свой многопудовый портфель с бутылками армянского коньяка и муската Долины Красного Камня на весы, обрекая нас на голодную смерть. В Академгородке он милостиво отпускает шофера такси, доставившего нас с новосибирского аэропорта к Институту. Деньги плачены из моего кармана, из последних зажатых на тот случай. Мы едем с юга, где теплынь. Мы приезжаем в Сибирь, где мороз градусов этак 26 ниже нуля. Заставить молодежь взять с собой зимние вещи, отправляясь на юг, невозможно. Они все в плащиках. У меня уговор с таксистом – он подождет, пока мы разгрузимся, и развезет нас по домам. Ему и за это заплачено. Опять же моими кровными, ибо государство такси не оплачивает, есть автобус, автобусные билеты извольте к отчету приложить. Институт может выслать на аэродром машину, но невозможно подгадать прилет самолета, учитывая метеорологические условия и жульническую практику диспетчеров Аэрофлота, сдваивающих, страивающих рейсы, когда летящих мало. Таксист отлично понимает ситуацию, я отлично понимаю таксиста. Заплачено не по счетчику, а много-много больше. Предвидено все – и двадцатишестиградусный мороз, и плащики, и отсутствие директорской машины и грозящее – им всем, не мне, у меня с собой шуба, – воспаление легких.

Моя предусмотрительность не простирается только на альтруизм члена Союза Писателей, перевоплотившегося в Христа. Чем больше мы ругались с ним, тем больше я любила его.

Во время экспедиции 1965-го года мы были компанией Володина. Иное дело в 1966-м году. Книга о Менделе в печати. А новая – о Павлове – причиной тому, что Володин в любом месте, куда бы мы ни приезжали, находит собратий по перу и пьянствует с ними. Но в тот миг, как нужна его помощь, или просто ему надлежит быть на месте, – он тут как тут. Асеев и Шварц хотели сделать из меня писателя, но не смогли. Володин вывел меня на арену. Вы уже догадались, что мои творенья годились только для самиздата.

Двери всех исследовательских учреждений, занятых рыбным делом, которое Володину предстояло осветить на страницах "Литературной Газеты", широко открывались перед ним.

Его овевала слава моего отца. Он потащил меня в Тихоокеанский Рыбный Институт, и там в кабинете директора я рассказывала сказки, которые сочинял отец. Седовласый директор плакал настоящими слезами, вспоминая отца, и я решила его посмешить.

Осенью того же года я уехала в Крым к мухам. Получаю на почте Никитского Сада письмо от Володина. Он твердо решил писать книгу об отце, не буду ли я так добра написать ему те сказки, которые я рассказывала в Петропавловске-на-Камчатке директору Рыбного Института. Я написала, что сказки эти отец написал и рукопись либо у мачехи, либо в архиве Академии. Тут обуяла меня лукавая мысль. Вот насочиняю сказок и выдам их за отцовские и они будут напечатаны. Я ни секунды не сомневалась, что не способна на подлог. Я сразу же написала Володину про рукопись. Но мое воображение работало, и сказки просились на бумагу. Они имели сходство с отцовскими – я писала про профессоров и в сюрреалистическом стиле, но отца занимали общечеловеческие свойства, меня же – взаимоотношение человека и социалистического государства.

Может лучше не писать о том, как опротивел мне Иван Алексеевич Лихачев, лучший из лучших, когда-либо встреченных мною? Может быть, не писать?

Иван Алексеевич – Дон Кихот особого типа, высшего, как мне кажется. Он служил не идее, а людям. И в деле служения людям он обладал особой сноровкой. Он отдавал другим свою жизнь не с унылым сознанием исполняемого долга, не из высоких соображений, не возвышая себя. Есть в помощи людям великая моральная корысть, гордыня, самовозвышение. Духовное бескорыстие Ивана Алексеевича не имело границ. Он не подавал милостыню. Безногому калеке он давал кров в своем убогом помещении, укладывал его в свою постель, а сам спал на полу. Калека не должен быть лишен никаких радостей жизни – вместе с молодыми людьми, толпившимися вокруг него, он поднимал безногого на вышку Исаакиевского собора. Он ходил в больницу, чтобы служить переводчиком тем, кто попал в беду в иноязычной стране. Он усыновил и вырастил мальчика, потерявшего ногу в раннем детстве.

Если обездоленный не чувствовал себя человеком, он начинал чувствовать в присутствии Ивана Алексеевича. И не просто человеком, а вдохновителем тонкого балагурства, блеска остроумия, источником хорошего настроения.

Одессит из Риги и ленинградец из Барнаула не даром просили взять их в туристский поход. Пребывание в лагере, по свидетельству тех, кто побывал там, не облагораживает. Испортить Ивана Алексеевича на могло ничто. Но у него появился порок. На мое несчастье порок этот обнаружился во время Камчатской экспедиции.

Нас было восемь. Катя, Клара, Люся, я, Калинин, Малецкий, Лихачев, Володин. В тот момент, когда мы оказались в полном составе в Петропавловске-на-Камчатке, моя экспедиция начала таять. Позади остались Владивосток и Сахалин. Во Владивосток мы летели впятером. Катя и Клара ехали поездом, им Университет оплачивал только самый дешевый транспорт. Володин летел из Москвы в Петропавловск, чтобы воссоединиться с нами. На Сахалине мы были впятером. Катя и Клара плыли из Владивостока в Петропавловск на "Ильиче", Володину в Петропавловск послали телеграмму – встречайте девушек, высокие, одна черненькая, другая среднебеленькая. Девушки должны узнать Володина по значку "Литературной Газеты". Значок Володин к тому времени подарил коллекционеру, высоких шатенок и брюнеток на "Ильиче" не счесть. Однако встретились. Мы получили телеграмму. Адрес Володина изменился. Пышная встреча с оркестром обеспечена и еще какие-то глупости. Нового адреса нет. Все же воссоединились. Мы летели с Сахалина в Петропавловск через Хабаровск. Ох! Уж и запомнился мне этот хабаровский аэродром, где я бывала не раз. Есть, однако, чем и хорошим помянуть. Популяция ласточек хабаровского аэродрома идеально решала задачу овладения пространством. Пятьдесят четыре гнезда под крышей фасада здания, глядевшего на летное поле, расположены на абсолютно равных расстояниях друг от друга. Как совершался процесс во времени? Тайна тайн.

В Хабаровске я подхватила нечто вроде брюшного тифа. Совсем больная, я смотрела из окна самолета, когда ясным днем мы подлетали к Петропавловску-на-Камчатке. Красота неописуемая! Огромность вздыбленных объемов гор над необъятными плоскостями голубой воды скрадывает расстояние. Удивительней всего оленьи рога ледников. Уж сколько гор повидала, а не видала ледников, похожих на оленьи рога.

Я лежала в постели в номере гостиницы в Петропавловске, а все остальные отправились на Паратунку, на горячие ключи. Из семерых вернулись пятеро. Калинин и Люся исчезли. Партия геологов увезла их на Авачу, обещали доставить через два-три дня, но непреодолимые препятствия встали на пути, когда настало время вернуться, и Калинин и Люся выбыли из состава экспедиции. Малецкий уехал в Новосибирск заниматься своим делом, куда поважнее задач моей экспедиции. Идея отправиться на остров Беринга принадлежала Володину. Плыли мы вчетвером. Володин, Иван Алексеевич, Нина Алексеевна Ефремова и я. Катю и Клару оставили в Петропавловске.

Нина Алексеевна – ботаник, сотрудница заповедника, местная жительница, хорошо знакомая с местной флорой. Бюджета экспедиции она не обременяла. Ехала она на средства заповедника. Я медленно оправлялась от болезни. Холодно, пасмурно, штормовой ветер. Море махало белой гривой, и в этом не было ничего хорошего. Иван Алексеевич шутил и все старался привлечь мое внимание к предметам, перемещающимся по отношению друг к другу. В столовой суп ходил ходуном в тарелках. ”Посмотрите, посмотрите”, – говорил Иван Алексеевич. ”Это сейши”, – говорила я. Сейши – периодические колебания уровня водоема. Вся масса воды водоема вовлечена в одно колебательное движение. Мне в голову не приходило, что тут-то и зарыта собака. В конце концов не так уж часто предоставляется случай увидеть как волнуемый Тихим океаном суп ходит ходуном в вашей тарелке. Самое разлюбезное зрелище для таких прирожденных бродяг как я, Володин, Иван Алексеевич. Наученная горьким опытом моих путешествий по Крыму, когда ни одна экспедиция в Никитский Сад не обходилась без отчаянных приступов морской болезни, я знала, что созерцание предметов, качающихся у вас перед глазами, когда и эти предметы и вы сами часами качаетесь, кончается рвотой. Да и перелет Кишинев-Умань на памятном У-2 кое-чему незабываемо научил меня.

Но не мог же Иван Алексеевич привлекать мое внимание к машущей гриве моря и к сейшам не из любви к изысканным зрелищам, а с целью вызвать рвоту. Опротивел мне Иван Алексеевич, когда я воочию убедилась, что Иван Алексеевич действовал, движимый именно этим странным пороком. Я о таком извращении ни до, ни после и слыхом не слыхала, а Володин – врач, бывший зэк – не хотел мне верить, когда я рассказывала ему об этой патологии. Иван Алексеевич попался с поличным, да так гадко, что я не удивляюсь недоверчивости Володина. Я бы тоже не поверила, не будь я случайным свидетелем.

Я лежала в каюте на верхней полке, а внизу напротив лежала девочка лет десяти. Мне очень нездоровилось, девочка мучилась от морской болезни ужасно. Входит Иван Алексеевич. ”Посмотри, как занавеска качается”, – говорит он девочке сладким голосом. ”Иван Алексеевич, что вы делаете?! Уходите прочь сейчас же!” – закричала я. Он ушел. Он не стал оправдываться. В ответ на мое сказанное потом, горькое, – ”Как вы могли?” – он сказал: ”Я не знал, что вы в каюте.”

Володин пьянствовал с командой. Он был великолепен в огромном брезентовом плаще, когда в подъемнике крана плыл над линией прибоя бушуюшего океана. Так нас высаживали с судна на остров Беринга. Иван Алексеевич оставался все тем же прекрасным участником экспедиции. Безропотный, выносливый, работящий, отлично понимающий задачи экспедиции, готовый жертвовать собою ради товарищей зэк. Я виню себя, но забыть качающуюся занавеску каюты мне не дано.

Всю жизнь я мечтала увидеть тундру. И вот она передо мной. Тундра посреди океана. Вся в цветах. Фиалки, ирисы, лютики. На невысоком обрыве террасы цвели рододендроны и камнеломки. Снеговые шапки гор. Масса животных – в воде, на суше, в воздухе. Чайки, бакланы.

"Видите – сова", – сказал мне пограничник, показывая на белый столбик на пригорке. "Вы смеетесь", – сказала я. Но вдруг столбик развернул огромные белые крылья и улетел. Большие рыбы в брачных нарядах ходили красными видениями в воде. Песцы обследовали линию прибоя. У ручья мы собрали орхидеи. Два вида. Ближайшие родичи любки. Название статьи, увы, никогда не увидевшей свет, должно было звучать: "Корреляционные плеяды орхидей командорской тундры". А что такое корреляционные плеяды, вы узнаете впоследствии. Калужницы и фиалки цвели среди кочек тундры по соседству друг с другом. Контраст их оранжево-желтых и фиолетовых цветков изобличал в их соседстве умную стратегию. А стратегия Нины Алексеевны не привела к цели. Она влюбилась в Ивана Алексеевича и то ухаживала за ним сама, то заставляла его ухаживать за собой, то делала за него всю черную работу по лаборатории, то предлагала ему убирать. Иван Алексеевич безропотно делал все, чего она от него требовала, будто так и надо, хотя я уверяла, что от мытья полов мы избавлены. Я договорилась с девочкой алеуткой. Так ничего и не добившись, Нина Алексеевна уехала на остров Медный, а мы с Иваном Алексеевичем отправились на котиковое лежбище. Володин уехал на лежбище раньше. Он все старания приложил, чтобы уберечь меня от кошмарных впечатлений забоя. Не уберег, и эти впечатления так мучительно переплетаются с воспоминаниями о шумной массе живых разнополых, разновозрастных зверей, что лучше мне этой темы не затрагивать. А о рассказах заведующего котиковой лабораторией Петра Георгиевича Никулина я вспоминаю с большим удовольствием.

В 1937 году он работал в исследовательском институте на Чукотке. Когда его и его товарищей по работе пришли арестовать энкаведешники, ученые зверобои решили, что произошла контрреволюция, и с оружием в руках стали на защиту Советской власти. Энкаведешники отступили, не приняв боя, и попытка ареста не возобновлялась.

Компания для Володина нашлась, и мы с Иваном Алексеевичем вдвоем занимались измерениями. Электростанция острова по случаю нашего пребывания работала и днем и ночью – Володин выхлопотал. В ту ночь мы измеряли листья, стебли, цветки колокольчика. Дверь отворилась, и без стука вошел председатель звероводческого совхоза. "Почему вы здесь?" "А где по-вашему нам надлежит быть?" – иронически спрашиваю его я, не очень отдавая себе отчет в том, с кем разговариваю. "Радио не слушаете. Через 25 минут поселка Никольское не станет. Идет цунами. Высота девять метров." Мы сложили экспедиционное оборудование, бинокуляры в первую очередь, определители растений, журналы экспедиции, кое-какие свое вещи и пошли в гору, туда, где Володин заливал водкой невозможность написать про Павлова правду. Страшным голосом кричала в деревне кошка. Тревога, однако, оказалась ложной.

Обратно в Петропавловск мы летели на самолете. Ясно. Вулканы дымят...

Иван Алексеевич улетел во Фрунзе. Я воссоединилась с Кларой и Катей и мы здорово поработали. И животом я перестала маяться. Катя и Клара узнали от аборигенов, что большие синие плоды дальневосточной жимолости целебны, и вылечили меня. Вчетвером – Володин, Катя, Клара и я – мы прожили дней десять на гидробиологической станции на озере Дальнем. Два интеллигента – ихтиолог Фаина Владимировна Крогиус и ее муж гидробиолог Евгений Михайлович Крохин, – создали за тридцать лет до этого станцию, и озеро Дальнее, с его нерестилищами камчатских лососей, стало одним из наиболее изученных водоемов мира. Ездовые собаки, кольца облаков, поднявшиеся в вечернее небо с вершин вулканов, две шотландские колли, бегавшие по полю, когда Володин и племянник Фаины Владимировны играли в теннис, цветущие заросли иван-чая, нежнейшие оттенки его могучих соцветий.

Мы с Катей и Кларой работали, как волы. Катя собрала крупноцветковую веронику. Когда настала ночь, а Катя не вернулась со сборов, мы все отчаянно перепугались. Она появилась, когда все было готово для розыска.

В книге посетителей я написала: "От имени Льва Семеновича Берга благодарю основателей станции за помощь". Шестнадцать лет, как отца не было в живых, но я имела все основания благодарить за него.

Так и подмывает описать юмористические подробности нашего прибытия на озеро Дальнее и нашего отбытия. Мы все ругались с Володиным, и пресмешные ситуации возникали именно в связи с нашими дебатами. Но всего не расскажешь.

В январе 1974 года во дворце на улице Воинова состоялось собрание членов Союза Писателей, посвященное памяти Ивана Алексеевича Лихачева. Незадолго до этого он скончался. Пришел в аптеку купить лекарство, упал и умер. Его хоронили с почестями, полагающимися члену Союза Писателей. Гроб установлен в одном из залов дворца. Почести урезаны до крайности. Не оркестр, а проигрыватель. Предельно короткое время траурного митинга. Предельно малое число автобусов, чтобы везти провожающих на кладбище. А провожающих и цветов тьма. Похоронили Ивана Алексеевича в Комарове, неподалеку от могилы Анны Ахматовой.

В январе Союз Писателей устроил заседание в связи с семидесятилетием со дня рождения Ивана Алексеевича. Мои воспоминания о нем включены в повестку. Говорили много и хорошо. Иван Алексеевич помогал какому-то чудаку подобрать имя – обязательно индийское – для его домашней змеи, и переписка шла с помощью телеграмм. Предпоследним выступал литератор, врач, большой друг Ивана Алексеевича. Мое выступление – последнее. Друг Ивана Алексеевича был врачем в лагере, где они оба отбывали срок. Пришел приказ – изъять Лихачева из лагеря. Оба понимали, что в другом лагере будет заведомо хуже. Врач дал заключение, что Лихачев смертельно болен, нуждается в постельном режиме и не переживет транспортировку. На некоторое время хитрость сработала. Но вот снова пришел приказ – изъять живого или

мертвого. И Ивана Алексеевича повезли, куда, он не знал. Свою поездку в обычном некупированном вагоне Лихачев описывал другу. Ехал он в сопровождении двух стражей в импровизированной камере. Недостающую стену заменяла простыня. Иван Алексеевич отдавал стражам полагавшееся ему питание и бегал для них с чайником за кипятком.

Бывший зэк читал теперь эти письма. Ивана Алексеевича привезли в какую-то тюрьму, какого-то большого города и объявили ему, что он свободен и может идти куда хочет. Он вышел без стражи впервые за много лет и впервые за много лет очутился в своем родном городе, в Ленинграде. Он пошел к себе домой, увидел разбомбленный дом и свою комнату, висящую над каньоном улицы. В тот день он мыл руки над раковиной перед тем, как сесть за стол в доме своих племянниц. Они были крошки, когда он сел, и теперь видели его как-будто впервые. "Как похож на папу", – восклицала то одна, то другая.

Истинная шкала ценностей, преподнесенная мастерски. Ирония, направленная прежде всего на самого себя. Сам язык этих писем, казалось, ухмылялся. Слова вчерашнего и завтрашнего узника, – ибо вскорости Ивана Алексеевича снова посадили, – раскованно порхали над бренностью бытия, над контрастом между бредовой действительностью и радостью быть.

Я тихонько пробралась в президиум собрания и попросила продлить время, отведенное для выступления адресата этих невиданно-прекрасных писем, а меня из повестки исключить. Председатель отказался.

Я рассказывала о нашей увеселительной прогулке по Алтаю.

Железнодорожная станция в Бийске. Мы на пути к Телецкому озеру. Нам нужно на аэродром, чтобы лететь в Турочак. Малецкий отправился на поиски такси. Мы ждем его в сквере перед вокзалом. Надвигается ночь. Иван Алексеевич говорит, что лучше всего ночь провести на вокзале, чем ночевать на аэродроме. С народом никогда не скучно. К нам подходит человек, судя по одежде, рабочий-строитель или маляр, – весь в мелу. "Дайте мне то, что полагается мне по возрасту." Он обращается ко мне. "Сэр, – говорю ему я, – я готова пойти навстречу любому из ваших желаний, но для меня остается тайной, что именно подобает вам по возрасту." "Спичка." По лицу Ивана Алексеевича видно – жизнь прекрасна. Поздней ночью мы подъезжаем на такси к аэродрому. Гостиницы нет. Кромешная тьма. Здание на замке. В полном мраке мы расстилаем брезент палатки под открытым небом и укладываемся спать. Проснувшись, мы обнаруживаем, что лишь случайно избежали смерти. Мы спали над стометровым обрывом на самом его краю. Внизу прекрасно текла огромная Бия. "Что вы видите перед собой? Вы видите перед собой бэздну", – сказал Иван Алексеевич. Он цитировал английский учебник русского языка. Перл на перле. "Что есть у вас? У меня есть плод." Оказалось, что мы ночевали над бездной на краю картофельного поля. Собака прибилась к нам – мы и не заметили – и спала теперь на поле. Мы первые в очереди в буфете аэродрома. Мы заняли единственный столик. Очередь вилась мимо нас. "Этот столик качается, как виктория регия на волнах Амазонки." "Снять что ли мой

свитер месяц свитер ясный?" "Я брит, как маленький лорд Фаунтлерой." Совершенно незнакомые люди потом здоровались с нами, как со старыми знакомыми. "Ну как же. Мы с вами в очереди стояли в буфете в Бийске, неужели забыли?"

Мы сидели на берегу Чулышмана и ждали бабу, которая взялась перевезти нас на тот берег в лодке. Подходит пожилой мужчина, предлагает купить рога марала, они считаются целебными, он называет их моральные рога. "Рога, это всегда аморально", – говорит Иван Алексеевич.

Иван Алексеевич рассказывал, как он жил в ссылке во Владимире, работал дворником, давал уроки иностранных языков. Утром, когда он подметал улицу, его ученики – местные партийные боссы – здоровались с ним из казенных машин. Его решили женить на богатой вдове. Она только что на похоронах мужа, плача, кропила соляной кислотой его роскошный костюм, чтобы прожечь в нем дырки, страхуя покойника от ограбления. Знакомство состоялось за ужином. Телятина в коричневом желе. "Кушайте." "Не отведаете ли еще?" – Я отведал. – "Возьмите еще." – Я взял. "Чего уж там. Доедайте последки." – Я доел. Кофе со сливками и сдобными сухариками. Та же игра. Женитьба не состоялась.

В одну из экспедиций мы с Юрием Николаевичем Ивановым и с Таней Бочкаревой – маленькой дикаркой – лаборанткой из Новосибирска были во Фрунзе.

Таню мой сотрудник Голубовский пригласил работать к нам в лабораторию, заметив на кухне столовой, с каким проворством она моет посуду. Маленькая посудомойка не подкачала и отлично справлялась с обязанностями рабочей, препаратора и лаборанта. Не помню, как так случилось, что мы вдвоем с Таней принимали в лаборатории Ивана Алексеевича. Мы убрали банку с машинным маслом – мушиный морг, чтобы не расстраивать его видом Ивана Алексеевича. Решено показывать спящих мух и возвращать обратно в пробирку, даже если они нам больше не нужны. Я очень горжусь своим уменьем нежно обращаться с мухами. "Что вы делаете? Маленьких таких щипцами своими огромными хватаете, бросаете." Никто никогда не вступался за мух с таким горячим чувством, как Иван Алексеевич. Он тогда только что вернулся из Парижа, где навещал свою кузину. Нам с Таней он рассказывал, как родственники его попросили Ротшильда пригласить их по случаю визита к ним Ивана Алексеевича. Ответ передан через служащего. "Милости просим придти Лихачева, а родственников не надо." Жена Ротшильда русская. Ротшильд – поэт-переводчик. Седовласая мадам принимает гостя в белых кружевных штанах до колен, волосы ее разделены на пряди, на каждой – зажим с черным бархатным бантиком. Эти бантики падали на пол. Иван Алексеевич изображал, как лакей поднимал их и подавал ей с галантностью. Фантастические вина, еда, сервировка, слуги и обслуживание описаны в деталях. Ротшильд решил познакомить гостей – Ивана Алексеевича и англичанина – известного поэта-переводчика – со своим творчеством. Лакей принес тетрадку с переводами.

Миллионер переводил Джона Донна – стихи, обращенные к недоступной красавице. Время в его переводе жевало ее прелести беззубой пастью. Иван Алексеевич перевел именно это стихотворение на русский язык. В нем не было времени с беззубой пастью. Время Джона Дона – глыба, непомерная тяжесть, сокрушающая красоту. Иван Алексеевич указал на ошибку. Приглашение повторить визит, уже несколько раз прозвучавшее во время обеда, при прощании не возобновилось. Жена Ротшильда позвонила Ивану Алексеевичу и сказала, что ее муж должен поднести ему une chandelle, так как прав Иван Алексеевич. Но Иван Алексеевич и сам знал, что он прав. В одном из толковых английских словарей эта самая фраза приведена как пример соответствующего употребления одного из слов. Иван Алексеевич читал нам с Таней свой перевод и стихотворение Дона и по-французски цитировал перевод Ротшильда.

Мы с Таней получили приглашение в ресторан, но воспользоваться им нам не пришлось.

Моя экспедиция всякий раз, когда я бывала во Фрунзе, находила приют на Кафедре биологии Медицинского Института. Заведующая Кафедрой энтомолог Ида Адольфовна Гонтарь все предшествующие годы приглашала нас к себе домой, всех членов экспедиции, и устраивала распрекраснейший ужин. На этот раз приглашение Иды Адольфовны и Ивана Алексеевича совпали. Великодушная Ида Адольфовна пригласила нас, включая Ивана Алексеевича. Ротшильд не Ротшильд, но и супруги Гонтарь умели принять гостей. Вазы с фруктами, стекло и хрусталь старинных рюмок, коньяки и вина в графинах как будто сошли с искуснейших полотен голландских живописцев. Иван Алексеевич обменялся с хозяином впечатлениями о марках французских вин, и его внимание всецело обратилось на хозяйку. Ида Адольфовна в кружевах. "Любите ли вы сленг? – спрашивал галантно Иван Алексеевич. Как вам нравится выражение: 'не кати на меня бочку с пивом?' или "закрой хлебальник, кишки простудишь'?" И все в таком духе, одно такое, только такое. На следующий год банкета в честь моей экспедиции не воспоследовало. Таня покорена. Джоном Доном, конечно, а не бочкой с пивом, и не хлебальником, как я понимаю. На том я и закончила свое выступление на мемориальном заседании.

В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ

Не пора ли вернуться к давно прерванному повествованию? Брошенная жена с двумя маленькими девочками Лизой и Машей живет зимой на даче, унаследованной ею от отца, и пишет его биографию.

Умер Сталин. Его смерть внесла в мою жизнь кардинальные перемены. Василий Сергеевич Федоров боялся, панически боялся и продолжал бояться, когда времена стали не те. Геночка Шмаков – поэт, переводчик, литературовед – сказал, сравнивая "те" времена с "не теми" – послесталинскими: "Раньше у дирижерского пульта стоял страх смерти, теперь на машинке стучит страх получить вместо зернистой – паюсную."

Кабинет Кирилла Михайловича Завадского – заведующего Кафедрой дарвинизма Ленинградского Государственного Университета имени А.А. Жданова – отделен от главного коридора пятью дверьми. Василий Сергеевич убедился, что все они заперты и ни за одной из них никого нет, кто бы слушал, и что на кафедре мы одни. Потом он сказал: "Вы не можете представить себе, что они делают на Кафедре генетики." Кафедрой заведовал в это время Н.В. Турбин. "Они расшатывают наследственность с помощью страдания. Страдание получается от недоопыления, недоопыление достигается с помощью волоска из хвоста одной собачки – шпицик у нас есть карликовый. Волосок надо выдернуть, набрать им пыльцы из пыльников и наносить на рыльце. Из семян, полученных от этой процедуры, вырастут растения с расшатанной наследственностью. Остается взять нужные для практики формы. Я предложил им количественный учет страдания – считать число пыльцевых зерен, наносимых на рыльце растения, но они отвергли это как мендельянство и продолжают использовать волосок. Только не говорите никому, что я сказал вам это."

Это было в 1954 году, когда под влиянием страха я была зачислена на полставки и без степени и стажа, хотя были у меня и степень и стаж, на должность ассистента этой самой Кафедры дарвинизма Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова.

Василий Сергеевич, в прошлом сотрудник Николая Ивановича Вавилова, занимался генетикой гороха. Простой голубоглазый великоросс, член КПСС, пролетарское происхождение. Порядочность погубила его. Когда Вавилова арестовали, Василий Сергеевич отказался оплевывать своего учителя. Он продержался до 1948 года. В 1948-м году его прогнали с работы. Н.В. Турбин, занявший Кафедру генетики ЛГУ в 1948 году, встретил Василия Сергеевича на улице, когда он дошел до крайних степеней обнищания, взял его на работу и продиктовал ему жесткие условия – исповедовать учение Лысенко. И Василий Сергеевич исповедовал. В то самое время, когда я читала введение в эволюционную теорию на Философском факультете ЛГУ, Василий Сергеевич читал на том же факультете генетику. Студенты показывали мне свои

записи: наследственность – свойство живого тела требовать определенных условий среды и ассимилировать их. Она меняется, если меняется то, что надлежит ассимилировать. Подействуйте холодом – он будет ассимилирован, и потомство станет холодоустойчивым и без всякого участия отбора. На Кафедре генетики Василий Сергеевич обучал студентов настоящей генетике, и они его любили и благодарны ему. С местными властями он не ссорился, и они использовали его как свою марионетку.

Я сказала, что меня взяли на работу из страха и я – заядлый антилысенковец – очутилась в самом логове зверя – на Кафедре дарвинизма ЛГУ. А Кафедру эту возглавлял перед тем сам великий непобедимый Презент. Но Презента – ярчайшую звезду на небосклоне лысенковщины, ее идеолога – ненавидел весь Биолого-почвенный факультет, видно очень круто он с ними расправлялся, и его удалось спихнуть.

"Известные в науке люди, в том числе ваш покорный слуга, пытались", – сказал мне как-то Валентин Александрович Догель – ученый среди ученых, заведующий Кафедрой зоологии беспозвоночных ЛГУ, – "и ничего сделать не смогли, а три никому не известных доцента нашли способ и добились." Одним из этих трех оказался... ну как бы Вы думали кто? Ни за что не отгадаете... оказался Леонтий Евменович Ходьков. Это он кричал на лекции Презента, отвечая на заданный мне профессором вопрос: Что такое марксистско-ленинская теория познания? – про рабочих, которые без математических формул, движимые энтузиазмом, создали Волховстрой. Теперь Ходьков укреплял своими познаниями и своим партийным билетом Кафедру дарвинизма ЛГУ. Неисповедимы пути Твои, Господи!

Презент продолжал царствовать под эгидой Лысенко в Москве. В ЛГУ его сменил Завадский – человек, способный произносить свое – чего изволите? – убежденным тоном, безупречным в эндокринном отношении голосом с великолепными интонациями угрозы в адрес тех, кто еще не понял, перед кем в данный момент надлежит пресмыкаться. Он лучше кого бы то ни было чувствовал, откуда дует ветер, попал было под подозрение как вредитель, но отбоярился доносами, без стеснения хвастался мне этим и имена своих жертв называл. Мне запомнилось одно имя – Савич, ботаник, друг моего отца. Завадского тоже ненавидел весь факультет, очень уж умен по сравнению с теми, кто во времена гонений на профессоров Петербургского университета занял их место.

Положения заведующего Кафедрой дарвинизма он добился хитроумнейшими средствами – умелым сочетанием угодничества с видимостью научной полемики. Он прославлял Лысенко, Лепешинскую, но в одном-единственном вопросе – в вопросе о виде и видообразовании – он расходился с ними. Это делало его научным противником Презента и Лысенко. Тем не менее он дал Лысенко такие недвусмысленные свидетельства своего верноподданичества, что теперь, после смерти Сталина и с приходом к власти Хрущева, когда Лысенко временно впал в немилость, наступило его время дрожать за свою шкуру. Он дрожал напрасно. Ему не грозило решительно ничего.

Способы удержать баранку в должном положении при крутых поворотах гениально описаны Пушкиным.

Борис Годунов, умирая, говорит наследнику престола:

Не изменяй теченья дел. Привычка –
Душа держав. Я нынче должен был
Восстановить опалы, казни – можешь
Их отменить; тебя благословят...
... Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...
... Со строгостью храни устав церковный...

Когда по законам смены власти "опалы и казни", введенные Сталиным, были отменены и менделистам-морганистам-вейсманистам – этим мухолюбам-человеконенавистникам, продажным наемникам Уолл-Стрит, дали возможность благославлять принявшего престол Хрущева, лысенковцы задрожали. Представители правительственной идеологии, они ждали разгрома, смещения с должностей, публичных разоблачений, арестов, того, что в 1948 году учинено по отношению к генетикам. Завадский заготовил меня на случай разгрома. Рисовалась безупречная перспектива. Начнут громить лысенковцев – помилуйте, да какие же мы лысенковцы, вон, кто у нас преподает – генетик Раиса Берг. Ну, а если все останется по-старому и начнут упрекать, что мракобеса допустили к занятиям со студентами, тогда – что вы? что вы! – она у нас на полассистентской ставки, занятия по биометрии ведет. Пожалели мы многодетную женщину – и порядок.

Мне он сказал: "Я буду держать вас за горло и вышвырну" – так и сказал: "за горло и вышвырну" – при первом изменении ситуации. Согласны?" И я ответила: "Согласна. Мои недостающие полставки будут моей платой вам за свободу. Я буду читать по своим программам, а если ситуация изменится и вам прикажут разоблачать хромосомную теорию наследственности с позиций диалектического материализма, вы будете это делать без меня. У меня найдется другое дело."

Его цинизм не имел границ. Он усаживал меня в своем кабинете, в том самом, где мы в отсутствии кого бы то ни было разговаривали с Василием Сергеевичем, и говорил: "Вот я вам почитаю, а вы скажете, какой это прохвост писал?" – и читал, слово в слово, конечно, не помню, но вроде того: "Только Лепешинская вывела советскую науку на передовые рубежи мировой науки. Именно она обосновала возможность возникновения одного вида из живого вещества другого путем изменения крупинок этого живого вещества в результате ассимиляции внешних условий..." – и все в таком духе. Я ему говорю: "Ваш вопрос незаконный. То, что вы мне читали, не наука, а исповедование учения под страхом смерти. Идеи Лысенко, а писать мог любой прихлебатель – Глущенко, Нуждин, Столетов, Кушнер, Презент, Дворянкин, Бошьян, Дмитриев, Бабаджанян и нет им числа. Различить же их нет никакой возможности." "Это я писал", – говорит, "это был бунт на

коленях." "Да где же бунт!" Молчит с торжеством. Он боялся, что его не переизберут и жаловался мне, что декан факультета, Георгий Александрович Новиков – Жорж, как прозвал его съедаемый им и съеденный впоследствии Павел Викторович Терентьев – выдающийся зоолог, заведующий Кафедрой, где профессором был Жорж, – приходил к нему и предлагал отречься самому, так как все равно не переизберут. Мы Жоржа в этом разговоре, само собой разумеется, по фамилии называли или по имени отчеству, а Жоржем – только с Павлом Викторовичем – великим остроумцем – наедине. Я Завадскому говорю: "Врет он, вас на пушку берет. Вас переизберут неукоснительно, ибо, как только они вас забаллотируют, они получат Презента. Он только того и ждет, чтобы вы оступились. А Презента они боятся, как огня. И переизберут" Так и было. Студенты не шли на кафедру к Завадскому. Их загоняли силком. Дипломные работы, которыми руководили сотрудники кафедры, представляли собой чудовищную профанацию науки. Объект – непременно важный для сельского хозяйства. Клевер, кролики. Была и лебеда – сорняк. Подходит ли объект для решения поставленной задачи, никого не интересовало. Одна бедняжка-студентка занималась вегетативной гибридизацией черных и белых кроликов. Предполагалось, что если белой крольчихе впрыскивать кашицу, сделанную из черного кролика, произойдет вегетативная гибридизация и у белой крольчихи родятся от белого самца черные крольчата. И крольчата действительно потемнели. Они были той породы, которая на холоду темнеет, а в крольчатнике испортилось отопление.

Дипломную работу по влиянию измененного обмена веществ на наследственность у клевера студентка защищала со слезами на глазах. Клевер производит два типа семян – одни прорастают на следующий год, а другие – только через два года. Великое приспособление, и каждое растение страхует себя таким образом от случайностей бытия. Расщепление на типы поставлено под жесткий генный контроль, от условий жизни данного растения не зависит и не к этим условиям приспособлено. Семеноводство клевера затруднено этими хитроумностями природы. Нужно сделать так, чтобы семена были одного типа. Вместо того, чтобы постараться получить желательную мутацию под воздействием облучения или химического агента, руководитель – Леонтий Евменович Ходьков – предлагает получить семена с растений, листья с которых систематически удалялись. Страдание должно изменить наследственность в желаемую сторону. Семена получить трудно. Результат нулевой.

Ленинградский Университет стал форпостом антилысенковщины отчасти в силу того, что люди, способные восстановить генетику, сохранились, и еще потому, что ученые смежных специальностей нашли в себе смелость защищать генетику. Они не рисковали потерять должность, но все же рисковали многим. Полянский, Насонов, Тахтаджян, Терентьев, Данилевский, Мальчевский, Шванвич. Все это не сработало бы, если бы не страх получить Презента. Как кстати здесь был Завадский!

Время после смерти Сталина и до свержения Хрущева – время надежд и разочарований. Смелые речи звучали порой даже перед аудиторией.

Водя пером по бумаге, даже смельчаки старались не только пребывать в границах дозволенного, но и предвосхитить будущее сужение этих границ. Самые свободолюбивые речи звучали на траурных митингах, где заведомо нет протокола и резолюции. Смелость, обреченная смерти. Погребение.

Школьный учебник по биологии Веселова в Академии педагогических Наук на заседании обсуждали. 1959-й год, насколько помнится. Генетика и теория эволюции освещены с позиций лысенковщины. О Менделе ни слова. Новое издание получше старого. Порождения видов оно не содержало, иллюстраций больше и в цвете. Учителя говорили, что учебник стал лучше. Выступали профессора ЛГУ, в их числе Ю.И. Полянский. Он сказал, что учебник по биологии без законов Менделя все равно, что учебник по арифметике без таблицы умножения, и что все изложение генетики и теории эволюции никуда не годится, а потом предложил резолюцию – одобрить новое издание. И когда я запротестовала и процитировала его выступление, все очень обиделись, сочли, что я не уважаю мнения большинства. С этим я могла только согласиться. Если мнение невежественное, то тем хуже для большинства, если оно его придерживается.

Хрущев попал под влияние Лысенко, и положение становилось все хуже и хуже. Оно становилось хуже во всех областях. Цензура завинчивала гайки. В центральной прессе появились разгромные статьи против генетиков и биологов, поддерживающих генетику. Разгромили редакцию "Ботанического журнала", и статья в "Правде" поносила порочную его линию. Очень попало Жоресу Александровичу Медведеву и Валентину Сергеевичу Кирпичникову и журналу "Аврора", поместившему их статью. Гром грянул из высших сфер. Лысенко получил трибуну на страницах "Правды". Печальная эпопея с бычком жирномолочной джерсейской породы, которого надлежало скрещивать с жидкомолочными удойными коровами для получения в первом же поколении новой советской породы жирномолочного скота, дающего сверхизобильные удои, разыгралась именно в это время. Лысенко к своим лаврам агронома спешил прибавить лавры зоотехника и почвоведа. Одно практическое предложение следовало за другим. Его статья в "Правде" весной 1963 года занимала 4 страницы газеты, которая по этому случаю имела вкладыш. Я еще работала в Университете. На нашу кафедру, где вот уже 9 лет я оставалась единственным генетиком, обратился Николай Львович Гербильский – талантливый биолог-эндокринолог, тонкий исследователь, великолепный педагог – заведующий Кафедрой ихтиологии ЛГУ. Он просил организовать семинар, где он мог бы сделать доклад. Мы созвали семинар. И он доложил о значении работ Лысенко для науки и для практики. Он говорил, что нам надо скорее перестроиться, так как новый разгром генетики неизбежен. Нужно с величайшим вниманием следить за мыслью Лысенко и пытаться понять его. С большим самодовольством этот вполне интеллигентный пожилой человек с хорошим профилем, хорошей улыбкой и очень стройный, говорил, что ему пришлось беседовать с Лысенко во время одной конференции. Они очутились в буфете за одним столиком. И Лысенко обратился к

нему на ”ты”. Он что-то сказал о докладе Гербильского, – а Гербильский докладывал о способе получения зрелой икры у рыб, идущих на нерест, но не могущих достичь нерестилищ из-за плотин электростанций, – а потом спросил: ”А ты можешь щенка вырастить?” А Гербильский, надо сказать, специалист по выращиванию щенков, – заядлый любитель собаковод, – дом полон собак, – я с ним один раз в очереди случайно встретилась и 4 часа стояла, – выставка была западногерманской книги в Русском музее, – и он мне все 4 часа про собак очень интересно рассказывал, и не заметила, как простояли. Лысенко его спрашивает. Он говорит: ”Могу.” ”Ну, как будешь дело начинать?” – спрашивает. Говорит: ”Пойду в аптеку, соску куплю, молочную смесь так и так сделаю.” ”Правильно”, – говорит Лысенко. – ”А зубную щетку купишь?” ”А зачем?” ”Нужно под хвостом у щенка зубной щеткой гладить, а иначе дехфекации не будет.” Гербильский так и говорил ”дехфекации”, потому что Лысенко именно так произносил. Это были последние слова его доклада. И он с торжеством ждал реакции. И я сказала, что это позор и что в Советском Союзе создано великое здание генетики и великие люди создавали его, и вот оно уничтожено и на пепелище звучит голос разнуздавшегося невежды – поджигателя. Гербильский никак этого не ожидал и как-то весь поник, и задор его прошел. Он болен был очень тогда и, видно, из последних сил хорохорился и тут очень стал плохо выглядеть и сказал только, что рассматривает мое выступление как личный выпад.

Он был в том потоке, который шел в направлении новой катастрофы. Но были и противотечения. История генетики – цепь триумфов. Конец сороковых годов и начало пятидесятых – время познания физико-химических основ наследственности. Родители передают своим детям некую субстанцию, клетку или часть ее, и из этой субстанции развивается организм. Что это – готовый человечек, которому надо только расти, или нечто на человека не похожее, но способное развиться и стать человеком? Оказалось, ни то, ни другое. Генетика в контакте с цитологией – наукой о клетке – показала, что родители передают детям зашифрованную запись их признаков, код наследственной информации. Развитие зародыша – перевод записи с языка генов на язык признаков. Это генетики установили до того, как их наука вступила в физико-химическую, молекулярную фазу развития, еще, я бы сказала, в фазе стереометрической. Ген – элементарная единица наследственной информации. Он меняется – мутирует; и в потомстве появляются новые признаки. Гены получили имена в соответствии с теми признаками, развитием которых они управляют. Где они, – знали. Стал известен порядок их расположения по отношению друг к другу. Но никто не знал, что же такое они сами. Нечто подобное было и с витаминами. Авитаминозы указывали на их существование. Стало известно, где изобилует тот или иной витамин. Наконец, узнали их химическое строение.

1948 год – роковой для советской генетики – открыл блистательную эру в познании генов. Шаг за шагом изучена физико-химическая природа генов, познаны интимнейшие механизмы связи между геном и

признаком. Оба языка – тот, на котором сделана запись наследственных императивов, и другой – язык развивающихся признаков – расшифрованы и не в принципе только, что было бы само по себе великим открытием, а в деталях. А в то самое время, как на Западе вершились великие дела, В.П. Эфроимсон с безумной смелостью доказывал, что расщепление в кратных отношениях – основа теории гена – не выдумка менделистов-морганистов, а факт, и что численное равенство самцов и самок с необходимостью вытекает из него.

В свете все новых и новых достижений науки, лысенковские шаманства выглядели уж совсем непристойными, и все труднее было выдавать их за самую передовую в мире науку. Сведения проникали, хотя в библиотеках на выставочных стендах новых выпусков журналов стояли не сами журналы, а их фотокопии, где иные статьи изъяты. Будто их и не было никогда. Слухом земля полнилась. Имеющий уши слышал. Изменился сам, я бы сказала, фон науки. Другая крамольная наука – служанка империализма – кибернетика – трудами, талантами и смелостью Колмогорова, Ляпунова, Соболева стала завоевывать права гражданства и давать ростки на "порабощенных браздах" советской нивы. И генетика вошла с нею в контакт. Кибернетика, биохимия, биофизика, математические методы в биологии, теория систем – это уже можно, и языки этих наук стали эзоповским языком генетики.

По приказу Александра Даниловича Александрова – многострадального ректора ЛГУ – организован общеуниверситетский семинар по кибернетике. И, волею судеб и игрою случая, я стала его председателем, хотя ни по чину, ни по специальности не могла занимать этот высокий пост. 24 декабря 1958 года назначен первый из серии докладов на тему "Кибернетика и генетика". Код наследственной информации, его физико-химическая и биологическая природа, моделирование самовоспроизводящихся систем, управляющие механизмы эволюции – таково должно быть содержание моих докладов. Я дам формулировку закона о ненаследовании признаков, приобретенных в индивидуальном развитии. Презанятную машинку создали только что Пенрозы – генетик и математик. Она собирает части, выстраивает их в линейном порядке, копируя свою собственную структуру, и новую эту последовательность отторгает от себя, и снова начинает самокопирование, лишь бы были части. Точь-в-точь, как хромосома. Теория Дарвина только что переведена на язык кибернетики моим учителем и другом И.И. Шмальгаузеном.

Накануне доклада мне позвонил Павел Викторович Терентьев и говорит: "Не делайте доклад. В "Правде" статья против редакции "Ботанического журнала" появилась. Сделаете доклад – семинар запретят, ректору неприятности будут, скажите, что вы больны." Но я делала свой доклад, позвонила ректору, оказалось, что он не боится.

Семинар не был запрещен. И я приглашала Тимофеева-Ресовского, Эфроимсона с его теориями иммунитета и канцерогенеза, Александра Александровича Малиновского. Его отец, А.А. Богданов не только профессиональный революционер, но и крупнейший теоретик революции.

Он истинный создатель кибернетики. Отрасль науки, созданная им, и названная им тектологией, включает в себя кибернетику как свою часть. Тектология – это теория систем. Кибернетика ведает системами с обратными связями. Малиновский излагал теорию кибернетики, включая идеи своего отца. Все это звучало на семинаре, который стал общегородским, печаталось в университетской газете, даже в "Известиях" была статья про семинар покойного О. Писаржевского. Мой доклад на семинаре о живых системах привлек внимание, и я делала его на ученой сессии ЛГУ. В частности, говоря об обмене веществ, я решительно отступила от формулировки Энгельса, который ввел обмен веществ в определение жизни. Обмен веществ – не основа жизни, а причина смерти. Элементарная живая структура – хромосома не имеет обмена веществ, ток вещества через нее не идет. Она строит свою копию и отторгает ее от себя. Она бессмертна. И клетка бессмертна, но в силу делимости. Клетка – единственная система, сочетающая обмен веществ и бессмертие. Многоклеточный организм – это система, включающая, как и клетка, метаболические котлы в свой состав. Они работают на износ. А делимость утерялась по мере возрастания сложности, по мере индивидуализации. Смерть и бессмертная душа вышли на арену жизни рука об руку. Смерть – плата за бессмертную душу – дитя обмена веществ. Все ничтожное бессмертно – клетка, хромосома. Смертен только многоклеточный организм. Там, у начала жизни, есть только аккумуляция вещества и энергии, а обмена веществ нет. Во время доклада я получила записку. На ней было написано: "Не для ответа." Она гласила: "Вот из-за таких, как Вы, погибла генетика. А.С. Данилевский." Это означало – вы и иже с вами превысили меру дозволенного и разгром генетики – кара за нарушение предначертанных свыше границ свободы. А.С. Данилевский – Александр Сергеевич Данилевский – праправнук по прямой линии А.С. Пушкина, – родственник Гоголя и Данилевского. Я, конечно, не отвечала. После доклада он подошел ко мне и повторил свой упрек. "Нет, – сказала я, – генетика погибла из-за такой вот черни, как вы. Из-за предательства ученых. Физиологи восхваляли Лысенко как генетика и эволюциониста. Генетики – как физиолога. Эволюционисты восхваляли его как генетика и физиолога. Он получил высшую аттестацию от биологов всех специальностей. Каждый действовал по принципу собаки, отгоняющей вора в калитку соседа. И получили, что заслужили." Он посмотрел на меня грустно. Лицо такое тонкое, очень похож на автопортрет Пушкина, как он сам изобразил себя пером в профиль. Ничего не сказал и отошел. Мне жалко его, жалко, что я уж слишком нагрубила ему. Он очень выдающийся ученый-энтомолог. И никогда ни в каких гадостях не участвовал. Он молчал. Он не сердился на меня, простил – аристократ. Когда я в последний раз видела его, он говорил, что разочаровался в людях. Не очень глубокомысленное утверждение для человека с его родословной и в его возрасте – ему было около шестидесяти.

В 1960 году философы пригласили меня делать доклад на Кафедре диалектического материализма философского факультета ЛГУ, и там ничего достопримечательного не произошло, кроме моего знакомства с женщиной-философом, назовем ее Марией Ивановной. Она пригласила меня делать доклад "Генетика и кибернетика" в Институт истории естествознания и техники Академии Наук СССР совместно с философом-специалистом по истории химии. Когда я пришла в Академию в назначенный срок, Мария Ивановна встретила меня. Вид у нее был перепуганный, ее едва можно было узнать. Она сказала, что на семинар прислали представителя Обкома и, что теперь делать? "Ну, постараюсь говорить поученей, Менделя и Моргана поминать не буду, авось не разберет, что к чему." Так и порешили. Но не упоминать Шмальгаузена я не могла – новое слово в науке – не сама же я это выдумала. И он разобрал. Директор Института еще масла в огонь подлил, сказал: "Вот генетики не уступили, боролись, и развитие науки дает все новые доказательства их правоты, и с более широких позиций теперь виднее, насколько они правы." После доклада подходит ко мне Мария Ивановна и говорит: "Беда, он понял. Спрашивает, откуда такая взялась, и что за честь ей такая в Академии докладывать. Реваншизм, – говорит. Реакционерами нас называет. Он с вами говорить хочет." "А он молодой или старый?" – спрашиваю. "Молодой." "А я дама почтенного возраста, – говорю, – так вот пусть этот молодой человек сам подойдет, если хочет со мной поговорить." Его привели. Физиономия испитая, бледный, в морщинах, хотя и молодой, – портрет Дориана Грея после того, как преступления оставили на нем свой отпечаток. Он заговорил. Но я не могла расслышать его голоса и не потому, что он говорил тихо или невнятно, я не знаю, как он говорил, я вообще не слышала ни звука. Я смотрела на его лицо, и оно выражало такую крайнюю степень презрения и так смешно выражало, что я всеми силами старалась не рассмеяться и не слышала ничего. Но тут подошел мой содокладчик – очень красивый молодой человек, очень ученый и приличный человек – и представитель Обкома отвернул свое презрительное лицо от меня, и в тот же миг у него прорезался голос, и он сказал: "Вот вы говорили, что можно моделировать все. Это ошибка. Бесконечность нельзя моделировать." И красивый молодой философ сказал, что он имел в виду конечные объекты. Тут я встряла: "Ах, что вы такое говорите, совсем это неверно. Вот моя дочка, когда в третьем классе училась, дроби им задали. Нужно было квадраты и круги нарисовать, пополам делить и на четвертушки и раскрашивать. И она красила и говорила: 'Вот квадрат можно разделить пополам четырьмя линиями, а пятиугольник пятью, а шестиугольник шестью, а круг можно разделить пополам бесконечным числом линий. Это потому, что у круга нет углов, или, можно сказать, что у него бесконечное количество углов. Значит, ноль и бесконечность в некотором отношении одно и то же.' Вот это и есть модель бесконечности. А теория пределов? Не говоря обо всем прочем." "Ваша дочь будет математиком", – сказал обкомовец. "Или логиком", – сказал красивый философ. И обкомовец повернулся ко мне, и ни малейшего презрения

не было в его лице. Он сказал, и я нормально слышала на этот раз: "Скажите, вы дочь академика Акселя Ивановича Берга?" "Нет, – сказала я, – я дочь другого академика." "Так вы дочь Льва Семеновича Берга? Я был во Дворце пионеров членом Географического общества Дворца пионеров, а ваш отец был почетным президентом". "Как же ты до этакого сервилизма докатился?" – хотелось мне спросить его. Но помалкивала. И все обошлось.

Чем я занималась на кафедре дарвинизма? Я читала лекции на Биологическом факультете, на Географическом, на Философском. Назывались мои курсы "Генетические основы эволюции", "Эволюционная генетика" и "Дарвинизм". В иные годы название "Дарвинизм" заменялось, и тогда звучало как "Введение в эволюционную теорию".

Огромный курс "Дарвинизм и генетика" с практическими занятиями по генетике на дрозофиле я читала на Философском факультете и с большим удовольствием сеяла семена сомнения в души будущих работников на идеологической ниве. Презрительный философ, будь он помоложе, оказался бы в числе моих учеников. С философами у меня отличные отношения. Посеянные мной семена давали всходы. Некоторые покинули философию и стали генетиками.

Один-единственный раз в моей жизни я почувствовала непреодолимое желание пойти на открытое партийное собрание. Было это в марте 1956 года. Собрание назначено в Актовом зале. Объявили, что заседание переносится в Большую аудиторию Исторического факультета. Актовый зал Главного здания Университета не пригоден для многотысячных собраний. Его антресоли грозят обрушиться. Князь Меньшиков и его казнокрадство тому виной, или два с половиной столетия сделали свое дело, я не стала размышлять, и пошла на Исторический факультет. Аудитория переполнсна. Генетики занимали целый ряд. М.С. Навашин, прекрасная серебристо-седая голова, благородная форма, не соответствующая трусливому содержанию, Оленов, Чуксанова, Федоров, другие гвардейцы Турбина. Его самого уже не было, он вкушал полагающиеся ему по чину блага в своей родной Белоруссии. Они видели, что я ищу места, а прекрасные скамьи аудитории давали возможность потесниться. Они и не пошевелились. "Идите к нам", – позвали меня мои философы. Зал все наполнялся и наполнялся. Двери закрывались и раскрывались под напором толпы. За дверью скандировали: "Пустите нас." Притащили пожарный рукав, не для того, как показалось по-первоначалу, чтобы струей воды отпугнуть желающих войти, а чтобы связать створки двери, которые уже не запирались на ключ. Наплыв прекратился, но в зале слишком много народа. С точки зрения тех, кому надлежало командовать парадом. Они приняли мудрое решение. Их главарь – однорукий Сованарола – объявил: "Пусть все беспартийные выйдут." Я было тронулась. Философы запротестовали. Время шло, никто не шевелился. Сованарола повторил свое требование. Тщетно. Полнейшая организационная беспомощность заправил очевидна. "Не умеют обращаться с популяцией", – сказала я философам. "Я за десять минут навела бы порядок." "А как?" "Надо мгновенно перевести

неименованные величины в именованные. Каждому левофланговому ряда поручить составить список и объявить кару за неповиновение." Но сработала и более гуманная стратегия. Потянулась реденькая вереница беспартийных. Красивая женщина изысканной внешности шла на костылях. Угадывалось: покорные – преподаватели кафедр иностранных языков, те, кто уцелел от арестов. Они не дошли до выхода. Видно, дрогнуло сердце Сованаролы. Он сказал тихо: "Вернитесь." Они вернулись.

Тогда была объявлена повестка: текст секретного доклада Хрущева на Двадцатом съезде Партии, где всю вину за злодеяния социалистического режима Хрущев взвалил на Сталина. Читал Сованарола. Когда речь шла о роли Сталина в убийстве Кирова, о пытках, зал стонал.

Кроме чтения лекций, у меня были и другие обязанности. Я должна заниматься научной работой и выдавать научную продукцию в виде статей. Университет готовил сборник по проблеме вида, и мне надлежало написать для него статью "Типы полиморфизма". Сборник выходит в мае. Я подгадывала окончание статьи к этому сроку. Выяснилось, однако, что в плане стоит срок – 1-ое марта. Предвидя репрессии, зная, что и у Завадского и у Жоржа и многих других я стою поперек горла, я написала декану – Жоржу – докладную записку, объясняя мою задержку с выполнением плана. Я перечисляла конференции и съезды, участником которых была, прилагала список печатной продукции. Статей много, но они не по тематике, предусмотренной планом. В мае получаю вызов к ректору по научной части – Кондратьеву. Незадолго перед тем я узнала, что из Совета по генетике при Академии Наук пришла бумага с предложением организовать лабораторию радиационной генетики и моя фамилия упоминалась в качестве потенциального главы. Книгу Кондратьева "Солнечные излучения" я хорошо знала, штудировала ее, когда в изгнании занималась озоновым экраном в связи с происхождением жизни на Земле.

Я предвидела приятный разговор, предложение возглавить лабораторию. Однако оказалось, что я глубоко заблуждаюсь. Жорж представил меня к изгнанию, и Кондратьев взял на себя миссию объявить мне об этом. План есть план.

Статья, за ненаписание которой я изгонялась, готова. Рукопись у меня в портфеле. Я не стала показывать ее Кондратьеву. "Вы видели мою объяснительную записку?" – спрашиваю. Он видел, но именно она и доказывает, что план не выполнен. "Скажите, – спросила я его, – вы отдаете себе отчет в том, с кем вы разговариваете?" Я имела в виду не имя мое, и не профессию и, конечно, не заслуги, а должность. Он понял. "Вы доцент Кафедры дарвинизма." "Вас ввели в заблуждение, – сказала я. – Я ассистент на полставке, без степени и стажа. Получаю 87 р. 50 к. в месяц номинально. Я была уверена, что вы вызываете меня, чтобы предложить мне возглавить лабораторию." – На том разговор и кончился.

Я пришла на кафедру, отдала машинистке первые страницы рукописи и таблицы, показала рукопись Завадскому и пошла домой составить список цитированной литературы по тем страницам рукописи, которые со мной. Прихожу домой – рукописи в портфеле нет. Забыла на кафедре. Звоню дежурной – аспирантке Болотовой-Хахиной. Телефон не работает. Чем свет назавтра отправляюсь на кафедру. Рукописи нигде нет. В присутствии машинистки Болотова-Хахина говорит мне: "Может быть, и не было рукописи?" "Это вопрос чести", – говорю я ей, – только не моей, а вашей." Заседание редакционной комиссии через три дня. Я вернулась домой, села за письменный стол и по памяти, часов за четырнадцать, восстановила весь текст. Еще и добавила. И машинистка не подкачала. Были во вражьем стане и те, кто сочувствовал мне. За пятнадцать минут до начала заседания редакционной комиссии, – Полянский председатель, его кафедра над нами на третьем этаже, – я склеивала таблицы только что отпечатанной статьи и вносила последние исправления машинописи. В последнюю минуту все готово. Я несусь наверх. Успела.

Вечное перо мое марки "Ленинград" я оставила на столе, где клеила и исправляла рукопись. Возвращаюсь через пятнадцать минут. Ручки нет. Режиссура предельно ясна. Сейчас я скажу: "Где моя ручка?" Антонина Павловна – аналог Софочки, но уж совсем неграмотная, скажет: "Вы сами все теряете, а потом людей обвиняете." Я никого никогда не обвиняла, когда искала то, что они издевательски тащили: записную книжку, оставленную у телефона, пустой кошелек... Слова о чести были единственным моим упреком. Но я и не собиралась быть актером в их пьесе. Констатировав отсутствие ручки, я не проронила ни звука.

Прошло много времени, год, полтора, не помню. Я вошла в комнату, где не состоялась официальная сцена их пьесы. Антонина Павловна сидела перед выдвинутым ящиком стола в глубокой задумчивости и держала в руках вечное перо марки "Ленинград". Она созерцала ручку, а потом перевела взгляд, невидящий взгляд на меня. И я, глядя на нее невидящим взглядом, сказала, указав рукой на то место у стола, где лежала когда-то пропавшая ручка: "Вот здесь я оставила пятнадцатого мая в двенадцать пятьдесят девять точно такую ручку." Она, нисколько не оживляясь, протянула мне ручку и почти беззвучно сказала: "Не я взяла ее." Больше мы не проронили ни слова.

Нет, она не взяла ручку. Кто-то взял ее и сказал ей – спрячьте. Она спрятала. Для полноты картины скажу, что Антонина Павловна – персона значительная. Каждому вновь прибывшему она с гордостью объявляет, что ее брат работает в Большом доме следователем, а Большой дом – это ленинградская Лубянка. В непобедимой когорте моих преследователей она – незаменимый член.

Я знаю, кто взял ручку и кто уничтожил рукопись. Одна из бесчисленных лаборанток Кафедры дарвинизма, оставшихся Завадскому в наследство от Презента, предложила мне вступить в черную кассу кафедры. Я было подумала, что это касса взаимопомощи, где можно занять

недостающие до получки пять рублей. Оказалось – касса недаром носит название черной. Струдники кафедры играли в азартную игру. Они вносили деньги, а затем бросали жребий, кому достанется вся касса. Странно, что мне предложили участвовать, зная, что я откажусь. Деньги хранились у Болотовой-Хахиной, по ее словам, на кафедре. Перед самым розыгрышем деньги исчезли. Хахина вызвала следователя. Он должен выяснить обстоятельства кражи. Она назвала всех, кто по вечерам работал в лаборатории. Я каждую ночь сдавала ключи лаборатории в проходной университета и расписывалась в книге. Меня она не назвала. Я до сих пор помню и никогда не забуду номера линий мух, которые они уничтожили, погибшие опыты из-за испорченного корма, фальсифицированные ведомости проведения занятий, ложные доносы. Все с милостивого благословения Завадского. Пусть страдает престиж кафедры, лишь бы сделать мне гадость. А кафедра висела на волоске. Ни один студент не желал попасть под руководство Завадского, Ходькова или Горобца.

Ректор согласился не закрывать кафедру по моей настоятельной просьбе. Когда я уехала в Новосибирск, кафедра прекратила свое существование.

МОДЕЛЬ МУЖА

Пока существовала Кафедра дарвинизма и я пребывала в ее составе, читала лекции и выдавала научную продукцию, предусмотренную планом, я продолжала исследования, начатые в изгнании. Я открыла корреляционные плеяды растений. Термин принадлежит Павлу Викторовичу Терентьеву, великому остроумцу. Меня с работы гнали, но не ссылали, а его ссылали. В ссылке, не имея никакой лабораторной аппаратуры, он измерял лягушек. Он обнаружил, что размер некоторых частей организма независим от размеров других частей и от величины организма в целом. Он сгруппировал показатели размеров разных частей так, что независимые друг от друга показатели размера попали в разные группы. Так получились корреляционные плеяды. Идея и термин восходят к концу двадцатых годов, к тому самому времени, когда Шмальгаузен одновременно с Гексли и совершенно независимо от него создавал свою теорию гетерономного роста. Корреляционные плеяды – одно из проявлений гетерономного роста. Шмальгаузен печатал свои труды по-украински – он начал свою карьеру в Киеве, – и по-русски, и в солидных немецких журналах. К нему шли слава и чины. Ссыльный Терентьев тыкался в русские и немецкие журналы со своей статьей о корреляционных плеядах. Его никто не понимал и печатать его не хотели. Наконец, статья русского ученого была напечатана в английском журнале "Biometrica" на немецком языке. Случилось это в 1931 году, ровно за четверть века до опубликования моей статьи в "Ботаническом журнале". Статья Терентьева не привлекла ничьего внимания. Я публиковала статьи по корреляционным зависимостям между различными частями растений, не подозревая о сотнях лягушек, вдоль и поперек, внутри и снаружи меренных-перемеренных Терентьевым.

Вскоре мне посчастливилось сделать крупный вклад в историю науки. Я заставила Терентьева вспомнить давно забытый им труд. Решено было, наряду с постоянно действующим Семинаром по кибернетике организовать Семинар по применению математических методов в биологии. На первом заседании докладывал математик А.А. Ляпунов. Он рассказывал, как с точки зрения математика, инженера, кибернетика выглядит процесс наследования признаков. Слушать его было одно удовольствие. На второе заседание пригласили А.А. Любищева. Он говорил о выборе признаков, по которым легче всего различать виды. Надо выбирать признаки, не связанные друг с другом корреляционными зависимостями. Я рассказала о корреляционных плеядах, нет, – о независимых друг от друга признаках у растений, т.к. астрально-прекрасный термин Павла Викторовича ни разу еще не коснулся моего слуха. Павел Викторович рассказал о лягушках. Мы воссоединились. Второе заседание нашего Семинара стало последним. Вместо него заработали ежегодные Совещания по применению математических методов в биологии. Первое Совещание посвящено корреляционным плеядам. Докладывали Терентьев, Любищев и я.

Я ставила перед собой задачу понять возникновение независимости в процессе эволюции. Независимость, как приспособление. Абсурдное словосочетание? Нет. Независимость от одних компонентов среды обеспечивает приспособление к другим компонентам среды. В иных случаях от строгости стандарта зависит жизнь или смерть. Корреляционные плеяды Терентьева я рассматривала в свете стабилизирующего отбора Шмальгаузена. И саму эту теорию я вернула к ее истокам, к принципам гетерономного роста. Шмальгаузен сам не подчеркивает нигде этой связи своих кардинальных идей. Мое дело историка науки вскрыть ее. Эволюция онтогенеза! Повышение в процессе эволюции степени независимости одних частей организма по отношению к другим частям того же организма! Филатов обнаружил этот закон прогрессивной эволюции. Шмальгаузен своей теорией стабилизирующего отбора дал общий принцип возникновения независимости, жесткой генной обусловленности. Я применила его ход мыслей, чтобы показать, как образуется в процессе смены поколений открытое Терентьевым самое удивительное из удивительных явлений – независимость размеров одних частей организма от размеров других частей. Растут-то они все вместе, вместе используют питание, но вот наступает момент, и рост одного органа приостанавливается, а другие органы продолжают расти. Питание в орган поступает, организм молод, растет, но что-то независимое от среды, от питания говорит одной его части – стоп. И баста. Но такое подстать только гену. Стоп-кран вмонтирован внутрь каждой клетки. Им обладают все представители вида. Не значит ли это, что гены, ответственные за независимость одних частей по отношению к другим частям, дают своим обладателям шансы в борьбе за жизнь, увеличивают вероятность оставить потомство? Я разгадала, зачем нужна независимость и как образуется она в процессе отбора наиболее стабильных состояний.

Всю жизнь я переходила от одного удивления к другому. В 1940 году после экспедиции в Дилижан и Ереван я надолго слегла и весной очутилась в Кара-Даге на берегу Черного моря не для того, чтобы изучать природу, а чтобы восстановить утраченные силы. Цвели маки. Выпадает дождь, и распустившиеся цветки мака большие. Нет дождя несколько дней – цветки маленькие. Я даже писала об этом в письме Шмальгаузену. В Яжелбицах в тот роковой пятидесятый год, когда домик мой утопал в цветах, среди которых цыганка навязывала мне свои пророчества, соцветия космеи удивляли меня разнообразием своих размеров. Стандарт и независимость бросились мне в глаза в 1953 году. Настурции увивали мою затененную соснами дачу. Все, что бы я ни растила, достигает гигантских расмеров. Мои настурции имели листья величиной с чайное блюдце. Как, зачем я очутилась на соседней даче, о чем вели мы разговор с вдовой академика Баранникова, я не помню и никогда не вспомню. Я смотрела на настурции. Дорожка усажена, поближе к даче кустики еще ничего, подальше – совсем жалкие. Листья с гривенник. А цветки? Цветки этих все уменьшающихся кустиков отнюдь не следовали за ухудшением условий произрастания, как то делали стебли и листья несчастных. Цветки сохраняли стандарт.

Более того! Цветки у Баранниковой ничуть не меньше моих, скрытых от глаз людских листьями, в сто раз превосходящими по площади листья ее неухоженных растений. Мне казалось, что я хватаю с неба звезды. Эволюция цветка сопровождается уменьшением числа частей – меньше лепестков, меньше тычинок, пестиков, чашелистников, всего, что слагает цветок. В этот процесс уменьшения вовлечены элементы симметрии. Цветок настурции не чета маку. Тот радиально симметричен, вертикальных плоскостей, делящих его на равные половины, четыре. У настурции же одна-единственная, как у свободно передвигающегося животного, как у нас с вами. Целые огромные семейства растений – орхидеи, норичниковые, губоцветные, мотыльковые – имеют билатерально-симметричные цветки. И все цветки, обладающие симметрией подвижного животного, стандартны в пределах вида. Я дарвинист и никаких магических сил, направляющих развитие по пути, восходящему к прогрессу, не признаю. Нет ничего, что не мог бы сделать отбор – случайный поиск совершенства. Как бы ни ограничивала организация живого возможности этого поиска, как бы не вправляла его в определенное русло, не диктовала спектр возникающих изменений, ходы его остаются случайными. Поле, где разыгрывается жизненная драма, не шахматная доска, а зеленое сукно, по которому пляшут игральные кости.

Нет ничего увлекательнее, сладостнее, азартней, чем разрушить всеобщее убеждение и вместе с ним свое собственное. Мне казалось – вот случай, когда не отбор, а требования инженерного искусства ведут организмы по пути прогресса. Отбор, выживание наиболее приспособленного, задает задачу в самой общей форме. Задача эта – экономичность строения. Частные решения всецело определяются свойствами материала. Каковы они, эти изобретения? Уменьшение числа одинаковых частей – меньше лепестков, тычинок, пестиков..., срастание частей, уменьшение числа элементов симметрии и стандарт размеров.

Все это оказалось заблуждением. Глаза на истину открылись у меня на докладе Бориса Николаевича Шванвича. Профессор энтомологии – Шванвич докладывал об опылении цветков мотыльковых растений пчелами и шмелями. Насекомое не валяется в пыльце этих благородных, если учесть гениальный замысел их конструкции, или, напротив, этих низменных в своей скаредности, растений. Растению нужен крылатый переносчик его пыльцы – пчела или шмель. За транспортировку растение согласно платить – немножко нектара, чуточку пыльцы. Каждый вид растения локализует крошечную порцию пыльцы на определенном месте на теле насекомого. Шванвич демонстрировал прекрасные изображения насекомых, сосущих нектар и берущих пыльцу с цветков клевера, лядвенца, люцерны. Комочек пыльцы должен попасть на то место на теле насекомого, которым оно дотронется до рыльца другого цветка прежде, чем взять новую порцию пыльцы. Растение кладет свою пыльцу так, чтобы очистительные аппараты – щеточки, гребешки на лапках пчелы – не могли целиком счистить их. На докладе Шванвича я поняла, что я не хватала звезд с неба, не постигала независимые от отбора законы эволюции, подобные законам кристаллизации. Я дала косвенное

доказательство теории стабилизирующего отбора Шмальгаузена. Пчелы определенного вида стандартны, их личинки развиваются в ячейках стандартного размера. Непрерывная цепь событий ведет от генов, ведающих строительным инстинктом пчелы, к стандарту цветков тех растений, чья пыльца переносится пчелами. Хочешь локализировать пыльцу на тельце стандартного по размерам существа? Изволь быть стандартным. Пронесешь комочек своей пыльцы мимо того местечка, которым пчела ткнется в рыльце цветка, и произведет опыление, и твои гены выброшены с жизненной арены чертовым колесом отбора. Гнусный принцип – цель оправдывает средство – на вооружении и у насекомых и у растений. Растения заставляют принимать насекомое определенную позу, подчас нелепую, заведомо мучительную. Насекомые, стараясь сэкономить силы, грызут отверстия в нектарниках и добывают питание жульнически, избегая транспортировки пыльцы. Дорзовентральная симметрия цветка, срастание частей, уменьшение числа гомологичных частей и, наконец, стандарт размеров цветка – результат отбора на экономичность расходования пыльцы, результат соревнования существ, которым позволено, если не все, то многое. Коварны и растения и пчелы. Коварство настурции сквозит в каждой детали ее прекрасных цветков. Они снабжены шпорцем. Рог изобилия, полный нектара. Три нижние лепестка сомкнуты и образуют посадочную площадку. Садись и соси. Свод из сросшихся верхних лепестков снабжен указующими знаками – нектар здесь. Все это сущий обман. Нектара в длинном шпорце постыдно мало. Чтобы сосать его, надо вытянуть хоботок на полную длину, привалиться грудью к входу в шпорец, распластаться с расставленными в стороны ногами на посадочной площадке цветка. Не хочешь принять нужную цветку позу? – Цветок заставит тебя. Три составные части посадочной площадки под тяжестью насекомого разъезжаются – цветок разводит ноги шмеля в стороны... Не сервис, а издевательство над личностью. Настурция нанимает транспортировщика ее пыльцы. Условия найма кабальные. И строение цветка, и его размеры, и соотношение размеров разных частей цветка – необходимые средства заставить шмеля сперва коснуться грудью рыльца цветка и отдать ему приставшую чужую пыльцу, а затем плотно прижаться грудью, тем же местом, где раньше была чужая пыльца, к тычинкам и взять новую порцию пыльцы, предназначенную для другого цветка.

Роль отбора в возникновении стандарта размеров цветков очевидна. Кто обслуживает отдел технического контроля, как работают его браковщики, – все разъяснилось. Перенося пыльцу с цветка на цветок, насекомые выполняют роль калибровщиков. Они отсекают все, уклоняющееся от стандарта, ибо нестандартные проносили комочек пыльцы мимо той единственной точки на теле насекомого, где ему надлежит быть.

Все это так, если размер переносчика пыльцы стандартен и транспортеры представлены одним видом насекомых. А если кто попало может опылять цветки, стандарта не будет. Ему неоткуда взяться. Мак тому ярчайший пример.

Где модель мужа?! Я не шутила и не ехидничала, когда моего неверного мужа назвала благородным. В борьбе за истину он рыцарь без страха и упрека. Он смел, бескорыстен, он талантливый ученый. Его низость строго ограничена сферой отношений с женщинами. Елена Александровна Тимофеева-Ресовская, познакомившись с ним, сказала мне, что безусловно вина за разрыв лежит на мне, – такой прекрасный человек, как Кирпичников, не мог совершить ничего дурного. Сама святость говорила ее устами. Я не стала ее разочаровывать. Мои школьные приятельницы, на глазах у которых разыгрывалась моя семейная драма, – прямо противоположного мнения. Когда я говорила, что Кирпичников первоклассный ученый, принципиальный и бесстрашный в борьбе за истину, они негодовали, все, все пять, как одна. Моя высокая оценка свидетельствует в их глазах о моем слепом чувстве к человеку, который ничего, кроме осуждения, не заслуживает, и питать это чувство, с их точки зрения постыдно. Им я могла объяснить все толком. Я совершенно объективна. Все, что касается пола, не подчинено контролю со стороны тех категорических императивов, которые управляют общественным поведением человека. Независимость моральных критериев в разных сферах бытия и относится к той самой категории явлений, что и независимость размера цветка от размера растения в целом. "Бабские дела" образуют свою корреляционную плеяду признаков, а все остальные свою. Непредсказуемость одних свойств характера на основе других подвела меня. Я выходила замуж за высокоморального человека, а оказалась женой неожиданно отрицательного персонажа. Модель мужа, сделанная с помощью цветочков, конкретизировала туманные рассуждения о странной смеси хороших и дурных черт в характере каждого человека.

Я напечатала несколько статей в "Ботаническом журнале" и в "Вестнике Университета", послала тезисы на Ботанический съезд и на Международный Генетический Конгресс. Я была членом Оргкомитета Совещаний по применению математических методов в биологии и докладывала на каждом из них результаты биометрических исследований. Работа по эволюции крыла, выброшенная из Известий Академии Наук в 1948 году, напечатана в Трудах Совещания.

Докладная записка, с помощью которой я рассчитывала оправдаться в задержке с выполнением плана, содержала список работ по корреляционным плеядам. Кондратьев не подписал приказ о моем увольнении, как на том настаивал Жорж. Завадский моего увольнения не хотел. Иметь меня в качестве раба он не возражал. С присущим ему цинизмом он рассказывал мне, что Кондратьев после разговора со мной организовал комиссию для обследования работы кафедры и возглавил ее. Завадский стал ему жаловаться, что я не выполняю план. Он нисколько не стеснялся повествовать мне о своей лжи. Кондратьев сказал: "Вы говорите, – свободный художник? Пусть остается свободным художником и делает все, что хочет."

Тезисы, посланные в 1958 году на X Международный Генетический Конгресс, произвели впечатление. Я была избрана председателем секции популяционной генетики. Два журнала предложили мне напечатать статьи, и я опубликовала статьи в обоих. Стать участником конгресса мне не пришлось.

Никто в Ленинграде, кроме меня, не имел персонального приглашения на этот Конгресс. Ректор Университета А.Д. Александров обратился в Отдел науки ЦК с просьбой включить меня в делегацию. Отдел науки возглавлял Н.В. Кириллин, в те времена, если не всесильный, то, во всяком случае, могучий. В 1980 году он впал в немилость. Случилось это в тот самый миг, когда Андрея Дмитриевича Сахарова отправили из Москвы в ссылку в Горький.

В 1958 году Кириллин распорядился, чтобы меня включили в делегацию. Дело чуть было не сладилось, как я узнала, что Борис Львович Астауров отказался ехать. Пришлось и мне отказаться. Об этом потом.

"Не хотите на Конгресс ехать?" – спросил меня Александров при встрече. "Хочу, душа горит, но не при всех условиях. Да что вы о конгрессе беспокоитесь? Участие в конгрессе – торт. У меня же нет хлеба." Он не понял: "Вы имеете в виду ваши полставки?" "Нет, – сказала я, – меня вполне устраивает полставки. Иначе наукой заниматься нельзя, преподавание все время съест. У меня нет возможности работать с мухами. Мне нужна лаборатория." Я уже работала с мухами, но не в Университете, а в Рентгенологическом Институте, без ставки, из любви к искусству. Расскажу об этом потом. Возобновить исследование моих популяций я не имела возможности. Ректор понял. "Напишите докладную. Я распоряжусь, чтобы факультет рассмотрел."

Скандальная пьеса разыгралась на Ученом Совете, когда обсуждали мой проект. Лобашев не явился. Завадский молчал.

Б.П. Токин – кровавая фигура, ученый нового типа, подобие Дубинина, употреблял имя Шмальгаузена как синоним силы, враждебной истинной мичуринской науке. Он говорил – "шмальгаузены льют грязь на факультет" – эта фраза очень мне запомнилась. Деньги, вместо того, чтобы дать их на организацию моей лаборатории, надо дать на расширение его лаборатории. Говорили, что у меня нет печатных работ, а редакторы журналов, где печатались мои статьи, сидели тут же и молчали. Гербильский говорил, что я вундеркинд, из которого ничего не вышло. Дубинский, которому досталась предназначавшаяся для меня лаборатория радиационной генетики, говорил, что у меня чисто дамское отношение к науке, замдекана Пиневич делился сведениями, полученными от Хахиной и Антонины Павловны с Кафедры дарвинизма. Посреди заседания появился ректор. Он послушал, послушал, вышел на трибуну и сказал одну фразу: "Я знал, что на факультете творятся чудовищные дела, но что они до такой степени чудовищны, для меня неожиданность." Он ушел. Заседание продолжалось, как ни в чем не бывало.

По приказу ректора мне была дана лаборатория, два лаборанта, и я переведена на полную ставку старшего научного сотрудника. Вы думаете, тут-то и заработало мое мушиное предприятие? Ничуть не бывало. Зарпла-

та старшего научного сотрудника мне шла. А что на Кафедре дарвинизма появилась новая исследовательская лаборатория, я узнала совершенно случайно. Мне вынесен выговор за опоздание на работу одного из моих лаборантов Юры Широкова. Я не пошла объясняться с начальством. Я спросила Юру, что сей сон значит. И он мне по дружбе поведал тайну, которую знали все, кроме меня: заведует лабораторией Горобец, средства на оборудование поступили в его распоряжение, мои лаборанты числятся по его лаборатории, для меня делать ничего не обязаны, а чтобы я не догадалась, мне объявляется выговор за опоздание якобы моего сотрудника.

Горобец раньше расшатывал наследственность под водительством Турбина, а, став партийным боссом факультетского масштаба, был переброшен на Кафедру дарвинизма. Невежество помешало ему преподавать, но он продолжал расшатывать наследственность во славу Лысенко. Не будь этого странного выговора, я бы не заподозрила ничего. Лаборанты не работают. Это в порядке вещей. Работающий лаборант – случайная удача. Лаборантка Аверьянова пополнила ряды тех, кто шутил надо мной свои злые шутки и кто уничтожал линии мух. Разница в том, что она знала, какие самые ценные, а другие не знали. А Юра Широков ни мне, и никому зла не делал. Туп он беспредельно. Партийный билет и шпага фехтовальщика – только и могли открыть перед ним дверь Университета. В семидесятом году он уже занимал высокий пост замдекана факультета и возглавлял приемную комиссию. Маша – моя младшая дочь, поступала в тот год на Зоологическое отделение Ленинградского университета. Ничто не свидетельствовало в ее анкете, что она моя дочь – дочь диссидента. Носит она фамилию мужа. Внешность ее для поступления в Университет самая неподходящая. Если уж кого проваливать на экзамене с целью охранить по приказу свыше национальную чистоту факультета, то именно ее. На экзамене по зоологии, после того, как она со знанием дела ответила на все вопросы экзаменационного билета, ей стали задавать вопросы по ботанике. Да такие, что бессловесная Маша, – Манька, которую хоть разними, – запротестовала. Председатель приемной комиссии – фигура слишком высокопоставленная, чтобы работать, – принимать экзамены. Но тут – конфликт. Позвали его. Он решил покончить дело одним ударом шпаги. Но на несчастье для факультета он был моим лаборантом когда-то давно-давно, а Маша – моя дочь. Он задал ей вопрос: "Какая разница между популяцией и видом?" "Вид – система с замкнутым генотипом в отличие от популяции, чей генотип обладает лишь относительной замкнутостью." Широков сражен. Маша прошла.

"Меня упрекают, что будучи деканом, я засорил факультет в национальном отношении, Хейсин, Оленов, вы", – сказал мне Завадский в одном из задушевных разговоров. "А по-моему, я, – дочь Берга, – являюсь национальной гордостью факультета", – возразила я ему. Но он путал. В 1954 году меня пригласил А.Л. Тахтаджян – искусснейший лоцман, способный обойти самые коварные подводные скалы идеологического океана. Он, а не Завадский, был тогда деканом. Завадский

стриг купоны с дипломатии Тахтаджяна. В шестьдесят первом году Тахтаджян позвонил мне и говорит: "Подавайте ваши исследования по стабилизирующему отбору к нам в Ботанический Институт в качестве докторской диссертации. Я буду вашим оппонентом." Он произносил слово "оппонент" так, как будто в нем не два, а, по меньшей мере, четыре "пе".

Я оформила том. Обычные трудности, стоящие на пути всякого, кто не имеет доступа к казенному добру, обернулись для меня благом. Бумагу для пишущей машинки мне надлежало купить в писчебумажном магазине. Бумаги нет. Достала такую толстую, что машинка не брала четыре экземпляра. Уже третий на грани приемлемого. Печатать пришлось два раза, и я стала обладательницей шести экземпляров. Диссертация проходит апробацию учреждения, где работает несчастная жертва бюрократии. Том поступил на суд Завадского. Прошло больше года – слишком занят, чтобы заняться диссертацией. Я решила заручиться отзывами ботаников. Звоню Тахтаджяну. Дело было в феврале 1963 года, во время Симпозиума по комплексному изучению творчества. Малиновский был гостем Тахтаджяна, жил у него, Тахтаджян знал труды Богданова и высоко ценил их. Теперь он оказывал гостеприимство опальному сыну опального. "Разрешите привезти вам экземпляр моей диссертации." Оказалось, диссертация у него. Завадский передал ему, и он может вернуть ее мне. Я могу приехать. Я получила том – это был первый экземпляр – с замечаниями их обоих. Ремарки Завадского не умещались на полях рукописи. Листки туалетной бумаги он вложил между страницами тома. Темперамент Завадского не позволял ему ограничиться полями. Поперек текста первого экземпляра рукописи жирным чернильным карандашом, но ведь карандашом же, а не чернилами, а что карандаш чернильный он мог и не заметить, написано что где: "Чушь! Абсурд!" Существа дела он не касался. Тахтаджян писал жирно простым карандашом на полях. Он изобличал мое ботаническое невежество, он не проверял у специалистов по группам, употребляю ли я новейшие названия видов, или пользуюсь устаревшими. Моим определениям он не доверяет, и Ученый Совет Ботанического Института мою диссертацию не примет. Я должна представить экземпляры растений в Ботанический Институт специалистам и сослаться на их определения. Какого свойства эти возражения, легко пояснить одним примером. Один из моих объектов – одуванчик. В Ленинградской области обитает только один вид одуванчика Taraxacum vulgare. Раньше он назывался Taraxacum officinale, а потом его переименовали. Я знала об этом, а Тахтаджян не знал. Он издевательски указал мне на мою ошибку. Но Тахтаджян Завадскому не чета. В последнюю минуту он смягчился. Я должна обратиться на Кафедру ботаники ЛГУ к специалисту по флоре Ленинградской области. Пусть он проверит названия, тогда посмотрим, что можно будет сделать. Специалист по флоре Ленинградской области оказался моим соучеником по Университету. Выслушав меня, он перегнулся через стол и прошептал, имея в виду Тахтаджяна: "Он боится." И было чего бояться. Надвигалась новая катастрофа. Генетика не выплыла. Она держала

только одну ноздрю над водой. Все знали – удар вот-вот будет нанесен. Ошибок в моем списке видов не обнаружилось. "А как быть с одуванчиком?" "Верните старое название, – Тахтаджян увидит, что вы послушались." Я вернула старое название, заклеила бумажками во всех шести экземплярах. Перепечатывать первый, испорченный Завадским, экземпляр мне не пришлось. У меня два первых, подаренных мне богом дефицита. Идя на Кафедру ботаники, я встретила Александра Иннокентьевича Толмачева, заведующего Кафедрой. Он позвал меня в свой кабинет и заговорил о механизмах опыления. Поговорили, поговорили, и я сказала ему: "Я-то думала, что новое что-то добавила, а, поговорив с вами, вижу, что все без меня отлично известно." Он сказал, что основывался именно на моих работах, только иллюстрировал их своими примерами. Он сам предложил мне написать предварительный отзыв. И написал. Когда я раскрыла его – мир померк. На последней странице, где печать и подпись официального лица заверяли подпись Толмачева, стояло: "Диссертант благодарит иностранных ученых: Денна, Лернера, Стеббинса за оказанную помощь в опубликовании статей за рубежом. Можем ли мы присваивать степень, учитывая это обстоятельство? Не будет ли правильнее воздержаться?"

Я пошла к нему, показала ему том, откуда я выкинула благодарность, попросила снова написать отзыв. Он написал. До нашего знакомства он много лет провел в ссылке в Сибири. Предварительных отзывов накопилось много. Шмальгаузен дал том В.Н. Сукачеву. Сукачев написал похвальный отзыв. Сукачев – ботаник, академик. Шмальгаузен боялся, что его собственный отзыв, неподкрепленный отзывом ботаника, вызовет нападки.

Отзывы поступали в дирекцию Ботанического Института, диссертация ходила по рукам сотрудников Института, но официально она не была представлена к защите. Кафедра дарвинизма не имела ни секунды времени, чтобы рассмотреть ее. "Не может же Ходьков отложить посев клевера, а Горобец высадку томатов из-за вашей диссертации?" – говорил мне Завадский. Кроме протокола заседания нужен еще и отзыв. Тут в дело вмешался Василий Сергеевич Федоров. Он был директором Петергорфского Биологического института. Не честолюбие, не угодничество, бессловесная покорность вознесла его на этот пост. Впервые он нарушил молчание и возвысил голос против тех, кому до того служил верой и правдой. Он сказал, что не надо заседания кафедры и ее отзыва. Я – сотрудник Института, и Институт даст характеристику и рассмотрит диссертацию. Тогда Кафедра дарвинизма зашевелилась. Аверьянова вручила мне отзыв, подписанный завкафедрой Завадским, парторгом Агаевым и профоргом Хахиной. Мне следовало бы знать его наизусть. Я же помню наизусть только одну его фразу. Она гласила: "Лжива, извращает факты в свою пользу." Я сделала копии с этого отзыва себе на память, а подлинник послала ректору с просьбой передать его в Архив Университета. Я показала его Ивану Ивановичу Канаеву, ученику Филипченко, известнейшему историку науки. Канаев – кузен Лихачева. Он прожил по сравнению с Иван Алексеевичем счастливую жизнь,

гнать гнали, но арестован он не был. Он никогда не изменял аристократическим традициям своей семьи. В нем нет ни Дон-Кихотства, ни босячества, ни извращенности Ивана Алексеевича, а в остальном они похожи. Завадский, Агаев и Хахина упрекали меня в развращении молодежи. Прочитав отзыв, Иван Иванович преподнес мне старинное издание Платона с его Апологией Сократа.

Многим моя работа нравилась, но не всем. Игра судьбы сделала не одну меня ботаником. В.В. Сахаров, дрозофилист и специалист по генетике человека, преподавал ботанику в Фармацевтическом институте. Он пригласил меня сделать доклад о стабилизирующем отборе в эволюции растений, но не в Фармацевтический институт, а в только что организованную Лабораторию радиационной генетики при Институте биофизики. Организатор и глава лаборатории Н.П. Дубинин на мой доклад опоздал. Тогда о диссертации еще и речи не было. Статьи печатались. Когда Дубинин вошел, я, не прерывая доклад, подала ему рукопись последней статьи. Председательствовал В.В. Сахаров. Когда я кончила, Сахаров предложил Дубинину высказать свое мнение. Зазвучал струнный тенор: "Я опоздал. Раиса Львовна дала мне рукопись. Но я забыл очки. Я попросил очки у Бориса Николаевича Сидорова. Я посмотрел и подумал: 'Как дурно это написано!'" Он замолчал и больше не сказал ни слова.

1957 год в моей жизни исторический. После десятилетнего перерыва я вернулась к мухам. Я занималась растениями, и они утоляли мою жажду познания. Вернуться к мухам означало разбередить старую рану, воскресить сознание невосполнимой потери. Я боялась мух. Леон Абгарович Орбели говорил мне, когда я приходила к нему на дачу измерять цветки иван-чая, чтобы я занималась мухами дома, и ставил мне в пример академика Капицу. Я не могла. Два человека сыграли решающую роль в том, что я вернулась к мухам.

В 1957 году мне позвонил Александр Ильич Клебанов, только что вернувшийся из лагеря муж Натальи Владимировны Ельциной, Мадонны Ботичелли. Его первые слова были: "Как мухи?" Я сказала. Он не верил своим ушам. "Меня арестовали в тот момент, когда я писал. Рукопись оборвалась на полслове. Когда я вернулся, я поставил перо на то самое место, где она оборвалась, и продолжал писать." Он историк, специалист по религиозной живописи древней Руси и по истории церкви и религиозных ересей.

В том же году весной я получила приглашение от заведующего Лабораторией канцерогенеза Рентгенологического института Самуила Наумовича Александрова принять участие в комплексной экспедиции, организуемой Институтом. Цель экспедиции – изучить влияние повышенного фона радиации на живые организмы. Предстоит изучать частоту возникновения мутаций. Объектов много. В их числе дрозофила. Никто не знает, как к этому подступиться. Кто знал, забыл. Одна из будущих участников экспедиции – Клавдия Федоровна Галковская. Клавочка Галковская! Та самая, которая двадцать лет назад вместе с Александрийской и Бриссенден была послана Богом, чтобы украсить мне жизнь.

Хохотушка, великая доброжелательница, преисполненная энергией, делающая все решительно с молниеносной быстротой. Мы встретились, она смеялась – покатилась, покатилась серебряная колясочка, так это звучало тогда, так это звучало и теперь. Но как измерять частоту возникновения мутаций она забыла. Так вот, не соглашусь ли я принять участие в экспедиции. Работать предстоит в Пятигорске и Иноземцеве. Институт денег на меня не отпускает. Дорогу на Северный Кавказ и обратно они оплатят из своих средств. "А какой фон радиации?" – Самуил Наумович назвал. – "Дохлый номер. Мутабильность на таком фоне если и повышена, то столь ничтожно, что мы не обнаружим различий. Нечего зря государственные и свои деньги тратить." Он взмолился. "Тема уже включена в план. Поедем, и вы будете делать, что хотите, а мы будем вам помогать." Я, скрепя сердце, согласилась. Работать с Самуилом Наумовичем и Клавочкой и потом уже в Ленинграде с Наташей Прониной – одно удовольствие. Мы исследовали популяции Пятигорска и Иноземцева. Первый год велась пристрелка. Надлежало изучить мутабильность мух в естественных местообитаниях и у их потомков, выращенных в лаборатории. Такой низкой мутабильности, какая обнаружилась в Пятигорске, и в особенности в Иноземцеве, я не встречала никогда. Исследование проведено. Подавай научную продукцию. Написали статью. Сопоставили мутабильность с моими прежними данными. Выдвинули несколько гипотез относительно низкой частоты возникновения мутаций на повышенном фоне радиации. Часть гипотез не связывала частоту с уровнем естественной радиации, часть – связывала. Послали статью в Доклады Академии Наук. Шмальгаузен представил. Ответ пришел немедленно. Статья никуда не годится, написано на лабораторном жаргоне. Я написала главному редактору Докладов, прося избавить нас от безграмотных редакторов. Все заглохло. Но стоило Хрущеву начать испытания атомных бомб, и слово "мегатонны", которое раньше и слыхом не слыхали, говорило теперь о могуществе Страны Советов, как все преграды к печатанию нашей статьи отпали. Нас торопили. Мы оказались строптивыми авторами. Для нашего слуха слово "мегатонны" имело иное звучание, чем для Хрущева. Оно говорило об опасности, грозящей здоровью и жизни людей. Теперь описание низкой мутабильности на высоком фоне радиации приобрело политический оттенок, и, притом, оттенок этот оказался самого гнусного свойства. Я даже не помню, кто из нас, Александров или я, сказал эту фразу: "А подадут ли нам порядочные люди руку после опубликования этой статьи?" – настолько мы были единодушны. Мы забрали статью из редакции. Самуил Наумович и Клавочка продолжали изучать мутабильность мух на Северном Кавказе, а я в 1958 году, раздобыв не на факультете, а в Ректорате ЛГУ деньги, наслушавшись угроз и поношений от факультетского и институтского начальства, уехала в Умань, изучать судьбу золотых рыцарей. Они стали величайшей редкостью. Мутанты почти исчезли. Мутация возникала так же редко, как в 1946 году. Низкие частоты возникновения мутаций представляли собой такое же глобальное явление, как высокие частоты в конце тридцатых годов.

В 1958 году, помимо дел, предусмотренных планом Кафедры дарвинизма, и дел, планом Кафедры дарвинизма не предусмотренных, я читала лекции по генетике врачам и писала брошюру в соавторстве с Сергеем Николаевичем Давиденковым – врачом-невропатологом.

Все началось со статьи Сергея Николаевича для Медицинской энциклопедии. Мне прислали ее на рецензию. Статья – "Генетика". Сергей Николаевич – явление в медицинском мире Советского Союза уникальное. Выдающийся невропатолог, он великий специалист в области генетики и не только медицинской, но и общей. В 1947 году вышла в свет его книга "Эволюционно-генетические основы невропатологии", – замечательная во многих отношениях. Он был действительным членом Академии Медицинских Наук СССР, профессором Института усовершенствования врачей, консультантом Кремлевской больницы. В 1948 году его согнали со всех руководящих и преподавательских должностей, и он остался в силе только как лечащий врач. Кремль от его услуг не отказывался.

То, что в 1958 году Медицинская Энциклопедия заказала ему статью, – симптом оттепели. Энциклопедия осмелела. И Давиденков осмелел настолько, чтобы употреблять слово "ген" и не связывать медицинскую генетику с расизмом. Он писал, что медицинская генетика бурно развивается за рубежом и в нашей стране. "Энциклопедия не место для полемики, но и не орудие дезинформации, – написала я в рецензии, – Давиденкову отлично известна судьба медицинской генетики в нашей стране. Он не может не знать о блестящих успехах в этой области в тридцатых годах и не только в плане научном, но и организационном. Такого учреждения, каким был Институт медицинской генетики в Москве, не знал мир. Павлов покровительствовал ему. Когда в 1936 году Павлов умер, Институт был ликвидирован и его директор С.Г. Левит физически уничтожен. Если время не настало говорить и, по соображениям, к науке отношения не имеющим, приходится молчать, нужно молчать."

И еще я указала на неполноту описания современных достижений медицинской генетики на Западе. Рецензирование осуществляется, как известно, анонимно. Рецензент и автор друг для друга – величины неименованные. Медицинская Энциклопедия этого правила не соблюдала. Рецензию послали Давиденкову, и он позвонил мне с тем, чтобы повидать и поговорить. Ему было семьдесят восемь лет. Я захватила с собой книги, чтобы показать ему то, что он упустил, и пошла к нему. Так возобновилось наше прервавшееся задолго перед тем знакомство.

В 1959 году Давиденкову предложили создать в рамках Академии Медицинских Наук Институт медицинской генетики. Он созвал генетиков Ленинграда, и они дружно промямлили, что нет людей, знающих генетику, и работать в таком институте некому – подождем, когда Кафедра генетики ЛГУ создаст кадры. Все пристроены, руководят лабораториями в биологических учреждениях, работают в смежных областях, все травмированы, претерпели гонения, и страх рецидива превращал для них генетику в табу. Причина была мнимой. Они сидели здесь, в роскошной квартире Давиденкова на Площади Революции, профессора,

способные вырастить сотни специалистов, лишенные этой возможности в сталинское время и отвергающие эту возможность, когда она предоставлялась. П.Г. Светлов, Н.А. Крышова, И.И. Штильбанц, Ю.М. Оленов, И.И. Канаев. Я пыталась отговорить их, Давиденков выдвигал свои предложения, но видно было, что и он во власти общей пассивности. Давиденков организовал все же Лабораторию медицинской генетики, и она существует поныне. Он умер, не успев даже наметить тематику лаборатории.

Незадолго до смерти он получил от Общества "Знание" предложение написать брошюру "Наследственность и наследственные болезни человека". Он согласился при условии, что его соавтором буду я. Договор подписан. К первому июля 1961 года брошюра готова, Давиденков подписал отпечатанную на машинке рукопись. Через два дня он умер.

Общество "Знание" – очень высокая инстанция. Отдел науки при ЦК стоит непосредственно за его спиной. Выпускаемая им печатная продукция имеет правительственную санкцию. Выпуск популярной брошюры по генетике человека означал бы превеликий стратегический успех. Давиденков не поскупился. Он иллюстрировал типы наследования болезней родословными больных, никогда ранее не опубликованными. Десятки больных, обследованных самим Давиденковым, не менее трех поколений.

В редакции довольны. Началась процедура рецензирования, поисков титульного редактора, и тут возникли препоны, которые никак предвидеть было невозможно. Прекрасные люди, безупречной смелости, люди научной чести отказывались рецензировать на том основании, что плохая работа, или писали отрицательные отзывы – все устарело, нужны не типы наследственной передачи из поколения в поколение, а роль ДНК, РНК и белков в наследовании расстройств обмена веществ, как писал один из них. Популярная брошюра, созданная для целей медицинской консультации специалистами в области популяционной генетики, этих сведений не содержала и в них не было необходимости. Нужны именно типы наследования. Но я внесла в брошюру все изменения, которых требовали рецензенты. Я позвонила одному из них, моему большому другу, и говорю: "Плохо написано? Так порядочный человек говорит это автору, а не пишет в редакцию. Что это вы?" И он мне объяснил. – Сейчас не время опубликования работ по генетике человека. Дамоклов меч расизма висит надо всем, что связано с наследственностью человека. Не хотите же вы, чтобы генетику опять запретили? Она сначала должна пробить себе дорогу в сельское хозяйство, в университеты, а потом уже в медицину.

Рукопись лежала в редакции, плохие времена надвигались. Редактора, заказавшего брошюру, за что-то, с генетикой не связанное, сняли. Появился новый – молодой человек по фамилии Сорока, до удивительности похожий на презрительного члена Географического Общества Дворца Пионеров. Он говорил, что плетью обуха не перешибешь, один в поле не воин и что без ссылок на мичуринскую генетику не обойтись.

Он это говорил соавтору мертвеца. Потом он исчез, будто растаял, и я имела дело в отделе рецензирования с Романовой. Годы проходят, брошюра лежит, Романова болеет. Две рецензии от могущественных лиц из Академии Медицинских Наук – Жукова-Вережникова и Майского – противников Давиденкова – наконец получены. Вполне отрицательные. Майский писал, что триста сортов плодовоягодных культур, выведенных великим Мичуриным, даже не упомянуты в этой насквозь менделистско-морганистской брошюре, и это непозволительно. Другого уж и не упомню.

Я говорила с Романовой один раз. "Воспитывать нужно народ, и для этого нужно прививать любовь к своим национальным героям, Мичурину и Лысенко, и пропагандировать их идеи о переделке природы." "Ведь ложью никого не воспитаешь, – говорю, – наоборот ведь." "Да, что вы мне говорите, – отвечает, – будто я не знаю. Я сама ученица Карпеченко, только поделать ничего нельзя." Георгий Дмитриевич Карпеченко, прекрасный, будто пронизанный солнечным светом, Карпеченко был профессором ЛГУ, создателем плодовитого межродового капустно-редечного гибрида. Он был убит в тот же год, что и Н.И. Вавилов. И она была его ученицей! Я писала председателю Общества "Знание", главе Отдела Науки ЦК, Вице-президенту Академии Наук СССР В.Н. Кириллину, прося защиты, посылала ему макулатуру, которая издавалась под видом медицинской генетики в то время. Не надо быть специалистом, чтобы убедиться в невежестве авторов, – писала я, – а великий знаток своего дела С.Н. Давиденков обречен на молчание. Сотни тысяч больных нуждаются в правильном диагнозе и в прогнозе наследования их болезней, помогите им, помогите их врачам. – Вотще. Я получала ответы от высоких чинов, помощников Кириллина, на красивых бланках. Обещали вызвать на заседание, но не вызвали ни разу. Хрущев пал, генетика воспряла. Канат, удерживающий Дамоклов меч, сменился и стал толще. Я работала уже не первый год в Институте цитологии и генетики Академии Наук СССР в Новосибирске, и мои коллеги-генетики, профессора Новосибирского Государственного Университета, заведующие лабораториями моего Института, писали рецензии и просили опубликовать брошюру. Вотще.

Я решила взять рукопись из редакции Общества "Знание" и сделала попытку опубликовать книжку в Издательстве "Наука" Сибирского Отделения Академии Наук СССР. Преграда за преградой. В план Издательства брошюра включена. Выброшена. Снова включена.

Семь лет прошло уже со времени ее написания. "Вы говорите – бестселлер, имя Давиденкова, сотни тысяч врачей. Да ведь мы не заинтересованы, – говорил мне директор Издательства Фалалеев. – Если наши издания будут раскупаться, нам план увеличат – поймите."

Наступил уже 1968 год, и шансы мои опубликовать рукопись пали до нуля. Я оказалась в числе "подписантов", "подписчиков", как называли нас остряки в редакции одного научно-популярного журнала. 46 человек и я в их числе заступились за Гинзбурга и Галанского. Я вынуждена была покинуть Новосибирск. Рукопись из редакции я забрала.

В Ленинграде я обратилась к вдове С.Н. Давиденкова за помощью. Врач-невропатолог, в прошлом аспирантка С.Н. Давиденкова, она возглавила созданную им Лабораторию медицинской генетики. Тогда, или немного позже, она была избрана членом-корреспондентом Академии Медицинских Наук СССР. Дама партийная и весьма пробивная. Очень любезно она согласилась познакомиться с рукописью. И я вручила ей экземпляр. Мышеловка захлопнулась. "Вы в лагере антисоветчиков, вы клеветнические сведения на Запад передавали, – сказала она мне по телефону. – Я не могу допустить, чтобы доброе имя Давиденкова было запятнано соавторством с вами."

Ее телефон, может быть, и прослушивался, мой – нет, но она этого не знала. Я жила в коммунальной квартире и, думая о прослушивании, с удовольствием представляла себе магнитофонную запись – лапшу варила, на молоке, две кофточки перекрасила, не понравилось, снова буду перекрашивать, – все это крик без малейшего модулирования, и так часами.

Рукопись Давиденкова мне так никогда и не вернула.

Она не ограничилась телефонным разговором. От нее самой я знаю, что она ходила к председателю Общества генетиков и селекционеров Борису Львовичу Астаурову и просила его воспрепятствовать печатанию брошюры. Он отказался. "Все, что писал Сергей Николаевич Давиденков, для нас драгоценно, и я буду способствовать изданию", – сказал он ей. Она сообщила мне это тогда, когда книжка вышла, следуя циническому принципу – победителей не судят. И разговором с Астауровым Давиденкова не ограничилась. Она написала брошюру для Общества "Знание" под тем же названием. И ее брошюра опубликована. Но я уже и не надеялась опубликовать наш с Сергеем Николаевичем труд в Издательстве "Знание". Брошюра превратилась в небольшую книжку, и размер ее не соответствовал уже размеру тех брошюр, которые выпускает Общество "Знание". Я пожаловалась одному знакомому на бедственную судьбу книжки. "Я вам записочку напишу к моему другу, он поможет, он имеет влияние в Ленинградском отделении Издательства "Наука", – сказал он мне. "Не надо записочки. Ваш друг – он и мой друг", – говорю. И я позвонила ему. Мне просто в голову не приходило обратиться к нему. Он помог мне. Книжку взяли, включили в план издания и отправили в Москву в Редакционно-Издательский Совет Издательства АН СССР, и там она затерялась. Ее искали при мне, председатель мне ручку целовал, хотели найти, не могли. "Отправили, значит, в Ленинград", – говорят. Я нашла ее случайно в Издательстве "Наука" в Москве. Я была там по другому поводу. Дай, думаю, зайду в научно-популярный отдел, спрошу. Главный редактор говорит: "Мы поищем, только печатать мы не будем, у нас и без того работы много, не надейтесь. Мария Ивановна, поступала к нам такая книга?" "Нет, – говорит, – не поступала. Но я еще у редакторов спрошу." И через минуту ведет девушку. "Вот, у нее ваша книга." "Как она к вам попала?" – спрашивает главный редактор строго. "С вашего стола взяла почитать", –

говорит. "Да как же вы смели?" – спрашивает. "Я генетикой интересуюсь", – говорит. "Ну, ладно, пойдемте, – говорю я, – я забираю рукопись, и делу конец." Пошли в ее отдел. Она вынимает рукопись, оба экземпляра, рисунки – все на месте. "Только я вам ее не отдам, – говорит, – я хочу, чтобы она у нас печаталась. Все подписи к рисункам внесите в текст, сократите число рисунков и делайте это скорее." И я поддалась. Подпортила книгу и выслала ей. Жду, ответа нет. Еще полгода прошло. Пишу ей, Пушкина цитирую.

В порабощенные бразды
Бросал живительное семя,
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды.

Ответа нет, как нет. Движение все же произошло, по-видимому, независимо от цитат из Пушкина. Московское издательство переправило рукопись с резолюцией Редакционно-Издательского Совета в Ленинградское отделение.

И снова возникли преграды, казалось, непреодолимые. Книга в работе. Рисунки. Завотделом иллюстраций, Дина Марковна, направила меня к лучшему фотографу города, чтобы он за бешеные деньги сделал мне иллюстрации. Половину из них она не приняла. Понять это трудно, но можно. Я сама бы не догадалась. Одна умная женщина мне объяснила. Опыт печатания у нее больше, чем у меня. "Тебе нужно снова заплатить за иллюстрации, теперь уже издательству, – говорит. – Наверно родственник Дины Марковны фотографом в Издательстве числится и деньги получает, а работу делает лучший фотограф города. Ты плати, а то не видать тебе книги, как своих ушей".

И я позвонила главному редактору и сказала ему, что очень плохие у меня иллюстрации и чтобы мне из гонорара за их исправление вычли. Но тут Дина Марковна проштрафилась, ее сняли, и из гонорара у меня не вычитали.

Книга в работе. С редактором полный альянс. И вот уже конец 1971 года, десять лет, как написана брошюра. Я в экспедиции. Получаю телеграмму от дочки: "Лети в Ленинград, в Издательство срочно вызывают." Лечу, с аэродрома на такси – в Издательство. И вот уж где дирижировал страх! Главный редактор биологического отдела Издательства – великий доброжелатель – сказал мне, что печатание книги под угрозой. Если я не вычеркну ссылок на Тимофеева-Ресовского, книга напечатана не будет. Я так и ахнула. "Он арестован?" – спрашиваю. "Нет, – говорит, – насколько мне известно, но ссылаться на него запрещено. Распоряжение пришло из Московского отделения, которому мы подчинены." "Не буду вычеркивать, – говорю, – такого и при Сталине не было. Если человек не арестован, на него разрешалось ссылаться, а если был, – редакция не спрашивала, а сама вычеркивала ссылку. Так было и со мной. Я на Вавилова ссылалась. Доклады Академии Наук ссылку выкинули. Речь шла о центрах происхождения культурных растений. Это ошибка какая-то. Погодите, я все узнаю и вам сообщу." Прямо

из Издательства я пошла в Зоологический институт в кабинет его директора Бориса Евсеевича Быховского – академика-секретаря Биологического Отделения АН СССР. Уж он должен знать, что случилось. И так мне повезло, что не было на месте секретарши, и никто мне не сказал, что нельзя, что у него югославы, или французы, или немцы, и я предстала перед ним и рассказала в чем дело. Он согласился со мной, что это какая-то ошибка, сказал, что выяснит и сам позвонит в Издательство. Узнавать надлежало в Москве при личном свидании, а не по телефону, это ясно без слов. Запрет цитировать Тимофеева-Ресовского оказался ошибкой. Последняя преграда пала. Книга "Наследственность и наследственные болезни человека" вышла в 1972 году, через 12 лет после того, как она была сдана в печать. Мне довелось узнать причину рецидива болезни сталинских времен. Не обошлось без комизма. Но об этом потом.

НЕПОКОРЕННЫЕ

Великие слова прозвучали однажды при обстоятельствах, к тому не предрасполагавших: "Прости им Господи, ибо не ведают, что творят." Знали, что творят, те, кто уничтожал науку и ее лучших представителей, кто убил Вавилова, Карпеченко, Левитского, Левита, кто медленной смертью заставил умереть Серебровского, Четверикова, Розанову, затравленных, обреченных на безработицу, и готовил эту участь Кольцову, не скончайся он скоропостижно сам, кто убрал Эфроимсона в Джезказган, Ромашова в тюрьму, кто изгонял из генетики Сахарова, Рапопорта, Светлова, Керкиса, Никоро, Прокофьеву-Бельговскую, Бельговского, Сидорова, Рокитского, Соколова, Давиденкова, Крышову, Канаева и многих, многих еще.

Новое "учение" – коронованный отпрыск жандарма и знахарки – дитя, рожденное послереволюционной реакцией. Предательство и террор стояли у его колыбели. Страх качал ее. Чтобы выдвинуться, занять пост, нужны не научные заслуги, не знание истины, а безусловная готовность предать ее. Так было и так остается по сей день. Судьба Жореса Медведева тому доказательство. Генетик, работающий на самом передовом краю современной науки, он сочетает дар ученого-экспериментатора с даром историка. Он написал историю лысенковщины. Первый экземпляр этой превосходной книги он послал правительству. Только потом книга стала достоянием самиздата. Медведев в Англии на правах изгнанника. Он лишен права вернуться домой, а Лысенко невредим – действительный член трех Академий.*

Высокий пост с ученостью ничего общего не имеет и даже ей антагонистичен. Ученый чутко прислушивается к аргументации своего научного оппонента. Доминирующее положение в крысиной иерархии занимает тот, перед кем умолкают. Никто из прислужников Лысенко не мог отговориться незнанием, они ведали, что творили. Их оправдание – необходимость подчиниться силе – боязнь за свою дрожащую шкуру.

Есть множество способов спастись от угрызений совести, спасти перед самим собой свое лицо, оправдать ложь и беззаконие.

1. Высокая цель. Цель, которая оправдывает средства.

2. Печальная, но неизбежная необходимость побочных, нежелательных, но неустранимых эффектов. Лес рубят – щепки летят.

3. Мы люди маленькие, совесть прерогатива тех, кто имеет свободу выбора.

На помощь приходит вера, забвение, тысячи уловок аутопсихотерапии. Вера – самое лучшее средство самоуспокоения. Испытание веры

---

* Три Академии это АН СССР, ВАСХНиЛ и АН Украинской ССР. Лысенко оставался действительным членом всех трех Академий до самой смерти в ноябре 1976 года. Хоронили его с почетом.

абсурдом всегда казалось мне причиной крайней абсурдности так называемого "мичуринского учения" – лысенковщины. Но я ошибалась. Не испытание верноподданничества абсурдом, а крайнее невежество пророка и крайнее угодничество его глашатаев – демократический централизм – причина позорища.

Меня занимал вопрос – почему лысенковщина дошла до такой крайней степени духовного обнищания. Финал – не случайность. Цепь событий изначально строго детерминирована. На входе – возведение на пьедестал невежды. Дальше размер зарплаты и высота пьедестала становятся критерием истины. Не может же в самом деле действительный член Академии Наук СССР, избранный по Биологическому отделению, получающий зарплату, по крайней мере в двадцать раз превышающую зарплату уборщицы, – и это не считая льгот, увеличивающих его доходы вдвое, – не знать биологии. И нелепость за нелепостью получает апробацию со стороны звания. Чем смелее проекты, тем быстрее продвижение вверх, чем выше чин, тем более дурацкий проект. На выходе – яровизация, создание удойной породы скота за одно поколение в расчете, что отрыжки не будет, гибриды будут сочетать желательные свойства родителей и передадут их потомкам, всем без исключения, посев по стерне, гнездовой посев дуба.

Яровизация сперва преподносилась как средство борьбы с вымерзанием. Озимую пшеницу высевают осенью. Зимой ей грозит гибель. Лысенко предложил держать семена на холоду и высевать весной. Но постепенно яровизация превратилась в средство повышения урожая, а затем и в способ выведения морозоустойчивых сортов. Гнездовой посев дуба практиковался при создании полезащитных лесонасаждений. Сорок желудей высевалось в гнездо для выращивания одного дерева. Дуб – лидер, согласно твердому убеждению Лысенко, высосет соки своих альтруистических собратий по гнезду, а они, движимые сознанием своей бесполезности, сами подключат свои корни к корням счастливца. Таковы практические директивы колхозам и совхозам страны. В теории – кукушка, рожденная пеночкой, по ошибке обожравшейся мохнатыми гусеницами.

Хлеб имеет существенное отличие от атомной бомбы. Без бомбы дворцу не обойтись, хлеба хватит, а те, кто за пределами дворца, подтянут пояса во имя блага будущих поколений.

Меня часто спрашивают – какова судьба Лысенко? Это невежественный вопрос. Его судьба ясна всякому, кто мало-мальски знаком с положением вещей в Советском Союзе. Он свой – этим сказано все. Он беспартийный, его происхождение кулацкое, первой яровизации подверглся мешок озимой пшеницы, спрятанный от конфискации его папашей. Это никого не тревожит. Важен уровень мотивации верноподданничества. Он пределен.

Есть в России ученый – объект моего поклонения – Владимир Павлович Эфроимсон. Его вклад в науку огромен. Дважды его сажали за решетку, годами держали в лагерях, десятилетиями исчисляются годы его ссылок. Он побывал в сталинских застенках. Его пытали.

В 1956 году В.П. Эфроимсон исчислил ущерб, нанесенный Лысенко сельскому хозяйству, в рублях. Он отнес фолиант Генеральному Прокурору СССР с предложением привлечь академика к уголовной ответственности. В.П. тогда только что был выпущен из Джезказгана, был безработным. Фолиант принят. Процесс, как известно, возбужден не был. Лысенко продолжал директорствовать в своем Институте, вершить судьбы трех Академий.

Много есть причин, почему генетика не погибла окончательно под сапогом лысенковщины. Одна из них – бесстрашие таких людей, как В.П. Эфроимсон, И.А. Рапопорт, Б.Л. Астауров, З.С. Никоро, М.Л. Бельговский, В.С. Кирпичников, В.В. Сахаров, А.А. Малиновский. Бесстрашие перед лицом смерти. Она ждала их, чтобы преумножить неведомые могилы, в которых лежали их друзья, учителя, те, кому надлежало подражать. Но могилы, даже затерянные и, может быть, именно и в наибольшей степени затерянные, обладают великой силой. Они – барьер на пути всеобщей деморализации. Генетика не погибла в Советском Союзе потому, что за нее в застенках погибли Вавилов, Карпеченко, Левит, Левитский, Агол, потому что многие приняли за нее мученический венец, пошли на бесславное прозябание, отказались ради нее от доблести.

Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения.
Бессмертья может быть залог.

Способность испытывать "неизъяснимы наслаждения" – залог бессмертия только для бессмертных. Смертному ощущение опасности никакого удовольствия не доставляет. Разве что опасность грозит не ему самому, а другому – мотогонщику или тореадору. Тогда он спешит испытывать "неизъяснимы наслаждения". Но и гибель гибели рознь. Прочитайте "Архипелаг ГУЛаг" Солженицына или "Воспоминания" Надежды Мандельштам. Надежда Яковлевна описывает реакцию писателей на арест Мандельштама. Гибель Мандельштама – редчайший случай, когда причина уничтожения была. Мандельштам написал стихотворение про Сталина и его сатрапов пером Гойи. Пастернак сказал: "Он не должен был писать этого стихотворения. Он – еврей." Надежда Яковлевна сделала вид, что она не понимает, что в стихотворении противопоказано еврею. Она прочла стихи Пастернаку и спросила. Дальше она в рассуждения не вдается. Всякому и так ясно, что еврею – представителю и без того гонимого народа – противопоказан самый факт сатиры. Ее книга – не только правда, это хорошо сказанная правда.

Смельчаки подвергают опасности не только себя, но и близких, друзей, знакомых, все многочисленные группы, членом которых является каждый – представителей своего учреждения, своей специальности, своего народа. Всех их смельчак ставит под удар, превращает в потенциальных врагов народа – обязательно народа, ни больше ни меньше – в объект профилактического террора, кровавой бдительности.

Трусость, безмолвное подчинение, все средства мимикрии превращаются в этих условиях в атрибут высшей морали. Ибо трус ставит интересы семьи, собратьев всех категорий, с которыми связан, выше своих собственных. А это и есть мораль.

Согласно Пушкину, – ибо гений, – только угроза личной мгновенной гибели таит те самые неизъяснимые наслаждения... Есть упоение в бою..., помните. Угроза ГУЛага относится к другой категории. Перед лицом ГУЛага невозможно испытывать ничего, кроме того, что должен испытывать тушканчик перед тем, как он прыгает в пасть удава. Удаву оставалось только раскрывать пасть. Даже думать, как бы обжорство не повредило драгоценному здоровью, не нужно. Все шито-крыто, а узнают – не поверят. Страна победившего социализма.

В этих условиях генетика не погибла, и наличие смельчаков – одна из причин того. Мера опасности – мера смелости.

Генетика страха – излюбленный предмет современной генетики животных. Наследование боязливости и смелости, наследование склонности и умения внушать страх. Многое уже известно. Шкала оборонительных и агрессивных типов поведения имеет огромный диапазон. Разнообразие создано групповым отбором – оно полезно группе в целом. Управление – разумное использование ресурсов – требует соподчинения. Совершенство управления – одна из стратегий в борьбе за жизнь. Чувство страха одних из членов группы и способность внушать его – других, консолидирует членов сообщества и повышает его шансы выжить. Побеждают в жизненном соревновании, – а победить и значит – выжить, – группы, члены которых наиболее разнообразны. Сам тип наследования боязливости и смелости, лидерства и отсутствия тех черт в характере, которые делают вас лидером, показывает, что отбор шел по размаху изменчивости. Индивидуальный отбор поощряет лидеров. Ему противостоит могущественная сила – отбор групп. Характер наследования лидерства, бесстрашия, боязливости – результат этого столкновения. Групповой отбор на стороне угнетенных в той же мере, как и угнетателей. Наследуемость лидерства мала. Трусы рождают иной раз бесстрашных. От лидеров, от супружеской пары лидеров – ибо они подбирают друг друга не по контрасту, по сходству – рождаются и тихомирные, и те, кто способен внушать страх.

Можно не сомневаться, что наследование боязливости, бесстрашия, лидерства у человека ничем не отличается от эстафеты группового разнообразия у животных. Хорошо и худо. Смотрите, как бы от вас с вашим отвращением к лидерству, к самому факту существования крысиной иерархии у человека не родился этакий крысиный король... Это худо. Хорошо, что комбинации наследственных задатков, обеспечивающие смелость, альтруизм, жертвенность, неискоренимы.

Ничто не может предотвратить рождение смельчаков и благотворного влияния уже принесенных жертв, затерянных могил.

"Почему ученые не борются за свободу науки?" – спросили меня в 1968 году студенты вечернего отделения Новосибирского университета. "Ведь писатели боролись. В тюрьмах даже сидят. Значит, можно",

– сказала замученного вида студентка. Вдумайтесь в эти слова: "В тюрьмах сидят, значит можно."

В сталинские времена протесты студентов были чрезвычайной редкостью. Мне известны только два случая. Когда в 1940-м году был арестован заведующий Кафедрой генетики растений Ленинградского университета профессор Г.Д. Карпеченко, одна студентка в знак протеста подала заявление об отчислении и была отчислена.

В 1948-м году после Августовской сессии ВАСХНиЛ один студент Медицинского института в Ленинграде запротестовал против увольнения профессора Кафедры общей биологии Ивана Ивановича Канаева – известного генетика, историка науки. Студент был арестован, получил свои десять лет лагерей, реабилитирован в хрущевское время, стал генетиком-специалистом по генетике психических заболеваний. Он считает арест психической травмой, способной провоцировать заболевание. О нем молчу.

Студентке ее смелость сошла с рук. Отчислили и только. Она вместе со своей матерью умерла двумя годами позже в блокаду от голода и холода. Ее звали Эдна Борисовна Бриссенден. Я знала ее хорошо. Она – моя ученица. В 1937-м году ко мне привели на Кафедру генетики и экспериментальной зоологии ЛГУ девочку-школьницу, чтобы я – аспирантка этой кафедры – обучила ее генетике. Она ученица восьмого класса школы – пятнадцать лет ей, значит, было – и студентка Университета для школьников. Был такой. Всякий школьник мог при желании посещать его по вечерам. Оказалось, что девочка по-русски говорит, хотя и правильно, но с сильным акцентом. Первая фраза ее: "Мне нужно мышей." "Зачем?" "Я хочу заниматься генетикой мышей." "На нашей кафедре никто мышами не занимается, но мы могли бы раздобыть их для вас." "Вы можете достать чистые линии?" – спросила она. Я раскрыла глаза. Я предложила ей заняться под моим руководством дрозофилой, и она согласилась. Моя первая работа по генетике популяций, напечатанная в "Журнале общей биологии" в 1941-м году, написана в соавторстве с ней. Отнюдь не боясь испортить похвалами ребенка, я сказала ей: "Придет время, и я буду гордиться соавторством с Вами." Написав это "с Вами", я поставила по ошибке заглавное В.

Я горжусь соавторством с ней, но причина моей теперешней гордости не та, которую я имела в виду тогда. Я предрекала ей будущность великого ученого. Это не состоялось. Ее величие в бесстрашии.

Все действия ее и ее матери имели источником гуманизм. Они были вегетарианцами. Я спросила ее много позже, зачем ей нужны были мыши. Она раскрыла учебник генетики Синнота и Денна и показала мне картинку – результат скрещивания серых и белых мышей-альбиносов. Во втором поколении этого скрещивания, в потомстве серых гибридов первого поколения, появляются белые мыши-альбиносы. Но их только одна четверть. Три четверти – серые. "Я хотела помочь белым мышам передавать свои признаки потомству." Мать ее не была красавицей, она же отличалась поразительной красотой. Огромные серые глаза, благородные линии носа. Она была похожа на оленя. Здесь в Америке, идя по

улице, я высматриваю двойников. Вот этот бородач похож на Кононенко, вот этот – на Митю Орбели, вот эта дама – на одну мою школьную приятельницу, вот эта – на другую. Ее двойника я не встречала никогда. Она приехала, вернее ее привез в Ленинград из США вместе с ее матерью Николай Иванович Вавилов. Мать ее – американка – специализировалась в США по русскому языку, была членом коммунистической партии, участвовала в протесте против осуждения и казни Сакко и Ванцетти и лишилась работы. Вавилов привез ее в качестве секретаря. Он говорил, что в этом деле она – гений. Они жили в крошечной квартирке на Невском на углу Мойки, в Строгановском дворце, в одном из зданий Института растениеводства, директором которого был Вавилов. Жили они под крышей. Дворцовая челядь там наверное жила. Но по тем временам это было роскошно – не в коммунальной квартире ведь. Окна выходили на Невский. Прихожу к ним однажды. На стене висит шерстяной коврик, и на нем изображена большая красная свастика. А дело было в 1939 году, до пакта дружбы с Гитлером. "Снимите коврик сейчас же, придет кто, увидит, донесет." "Нет, – говорит Эдна, – мама коврик снимать не будет. Это коврик не нацистский, а индейский, а мы против угнетения народов."

В 1937-м году, летом, я хотела взять ее с собой в экспедицию, и начальник экспедиции обещал мне включить ее без оплаты, и мы сговорились, что он сделает вид, будто с оплатой, а деньги, которые он израсходует, внесу я. Помогать ей было дело нелегкое. Гордость ее была непомерна. Всякую помощь она рассматривала как подачку. Курточка у нее кожаная – для ленинградской зимы совсем неподходящая, и мы на Кафедре решили надеть на нее мой шерстяной иранский джемпер, очень толстый, хоть на время просили взять. Куда там! Мы с ребятами – Муретов, Грацианский, Розенштейн – все на войне потом погибли – силком надели на нее джемпер и ее курточку. Шутили, смеялись, но действовали очень решительно. Она отошла к двери, молниеносно сняла курточку, выкинула джемпер и ушла. Мы с начальником экспедиции решили ее обмануть. Однако вышло иначе. Оказалось, что со стороны начальника это действительно был обман, но другой. Он и не собирался ее брать, а мне обещал, чтобы заполучить меня в состав своей экспедиции. А я ехала, чтобы помочь ей. Я тогда радиационной генетикой занималась под руководством Меллера, популяциями не интересовалась.

Ей он сказал, что средства урезаны и он финансировать ее участие в экспедиции не может. "Как вы могли верить ему?" – спросило пятнадцатилетнее дитя потом. "С первого взгляда видно, что лжец." О нашем уговоре она, само собой разумеется, ничего не знала. Я ехала в экспедицию в Умань отдельно. На Юге была. С разочарованием я обнаружила ее отсутствие.

Не судите строго этого начальника. Ни один разумный человек – а я не отношусь к их числу – не рискнул бы взять американскую подданную в экспедицию. 1937-ой год. Этим сказано все. Когда в Умани

мы пришли на завод фруктовых вин и попросили директора разрешить нам ловить дрозофил в бродильном цехе, он, не отвечая, снял трубку и позвонил в НКВД – тогдашнее КГБ. Он спрашивал, как быть. При этом он сильно дергался, бедто в пляске святого Витта, и мигал одним глазом. После телефонного разговора он дал разрешение ловить мух.

Начиная с этой экспедиции, я стала генетиком-популяционистом. И сейчас, в Медисоне штата Висконсин, в США, в 1980 году я делаю в точности то, что делала в 1937 году. Глобальные всплески мутационного процесса, первый подъем которых мне посчастливилось наблюдать тогда, в 1937-м году, в Умани, завлекли меня навсегда. Я привезла грандиозный материал. Эдна Бриссенден принимала участие в его обработке и выполнила важный раздел исследований. Когда статья была написана, она сказала: "Раиса Любовна, – Львовна ей не давалось, – вы пишете хорошо, но Меллер пишет лучше". Возражать не приходилось. Лето она не потеряла. Она перешла из восьмого класса в десятый. Сдавая экзамен по литературе, она написала на английском языке сочинение "Маяковский и Уитмен". Преподаватель предлагал ей опубликовать его. Перевод он брался сделать сам. Она отказалась. Я просила ее дать мне сочинение. Она не дала. Она любила меня, но и третировала, как дохлую собаку. В начале 1939 года, – я еще была в аспирантуре в Ленинграде, – она пришла на кафедру и сказала, что им с матерью не продлевают виз, в гражданстве отказывают, и, видно, им придется вернуться в Америку. Она была в отчаянии. Я сказала ей, что им лучше уехать. Она – гордая Бриссенден – уткнулась носом в стенку и сдавленным голосом сказала: "Убирайтесь к черту. Тут я буду учиться в Университете, а там буду мыть посуду." "Нет, – сказала я, – там вы будете живы, а здесь не останется от вас ни праха, ни пыли."

В 1939 году она поступила в Университет. До поступления она работала в Зоологическом институте лаборантом. Став студенткой, она лишилась возможности зарабатывать. Стипендии ей не давали. Вавилов уже не был директором Института и не имел возможности оплачивать секретаря. Мать ее получала как библиотекарь иностранного отдела библиотеки Института растениеводства сорок рублей в месяц. Это тот заработок родителей, начиная с которого детям стипендия не полагалась. Мне удалось выхлопотать для нее стипендию.

Уж не знаю, как так случилось, что мы были с ней в Зоологическом саду. Маленький львенок жалобно кричал, просил пустить его к матери в соседнюю клетку. Эдна пошла в контору и потребовала, чтобы львенка перевели в клетку матери. Начальник хладнокровно отказал. Мартышки вели себя свойственным им непристойным образом. Созерцать в присутствии Эдны, как они делают из любви забаву, невозможно.

В 1940-м году арестовали Вавилова и в том же году Карпенченко. В знак протеста она ушла из Университета. Она говорила, что в Америке, в ненавистной ей Америке, ни один студент не остался бы. Я спросила ее, чем же она занимается. Она отказалась ответить. Сказала, что есть вещи поважнее науки.

Я жила в то время в Москве, летом 1941 года она должна была приехать ко мне в гости. Это не состоялось. Война началась.

В конце 1941 года или в начале 1942 они обе – она и ее мать – погибли. Весть об обстоятельствах их гибели дошла до меня почти сорок лет спустя.

Американский ботаник Н.С. Форест заинтересовался судьбой двух американских подданных, чьи следы затерялись в блокадном Ленинграде. От соседей по дому и сослуживцев Бриссенден-старшей он узнал, что Эдна умерла с голоду в Ленинграде. Соседка предлагала ей бульон из клея, но Эдна отказалась. Клей – продукт животного происхождения, а она и мать ее – вегетарианцы. Мать вывезли, но она умерла от истощения. Форест сделал Эдну героиней своей очаровательной повести, дав ей имя Эдит.

Арест – далеко не единственное средство переделки природы советской интеллигенции. Подчас и в убийстве не было надобности – сами умирали.

Роза Андреевна Мазинг была ассистенткой Университета, когда я была студенткой. Кафедра генетики Ленинградского университета организована в 1925-м году Юрием Александровичем Филипченко. Роза Андреевна – его ученица.

Ю.А. Филипченко – биолог-энциклопедист. Теория эволюции и биометрия, генетика и систематика – в равной мере его специальности. Созданную им кафедру он назвал Кафедрой генетики и экспериментальной зоологии. Но он не ограничивал себя зоологией. Он занимался генетикой и селекцией количественных признаков пшениц и уток. Он создал сорт пшеницы для Ленинградской области под именем "Петергофка". Его интересовало наследование одаренности. На основе анализа родословных выдающихся людей России он пытался выявить относительную роль наследственности и воспитания в формировании творческой личности. Выводы его были самого гуманистического и демократического свойства. У него было множество учеников, и они его боготворили. Ему было сорок восемь лет, когда летом 1930 года он умер. Когда я пришла на Кафедру, его не было. С деревянными лицами, с белесыми глазами протухших рыб, набычившись, сидели его ученики и новый заведующий Кафедрой Александр Петрович Владимирский и молчали. А пришлые партийные юнцы затаптывали в грязь имя их учителя и кумира – мракобеса, расиста, представителя буржуазной интеллигенции – только что скончавшегося Юрия Александровича Филипченко. Таково мое первое впечатление от Университета, от генетики. Это была грохочущая кузница, где выковывались будущие предатели. И герои-подвижники. Шла поляризация.

Розу Андреевну я на этих заседаниях не помню, она скорее дала бы отрубить себе голову, чем выступила против мертвого. Она оставалась на Кафедре до смерти Владимирского в 1939 году и работала с дрозофилой. Она обнаружила повышенную жизнеспособность у мух, содержащих в скрытом виде смертоносную мутацию – явление сверхдоминирования. Очень важное открытие. Позволяет понять генетические причины

гибридной силы. Эта работа ее подвергалась профанации со стороны Лысенко. На общем собрании Академии Наук, выстапая перед академиками всех специальностей, он позволил себе такую выходку, что при дамах знавшие отделывались только намеками, а бедной Розе Андреевне и намекнуть нельзя. Когда же дошло до нее, что квинтэссенция лысенковской шутки – матерная брань, она очень огорчилась, что есть такое явление, как матерщина. Она до того не знала. Из очень интеллигентной семьи была. Прадед ее был детским врачом в семье Пушкина. Все братья – профессора. Она задалась вопросом о происхождении матерной брани и выяснила у фольклористов, что матерщина восходит ко временам татарского ига – политический эвфемизм. Как и лысенковщина, замечу от себя. Ибо причина ее – привычка быть рабами, традиция угодничества. Просветила Розу Андреевну я. Она все же решила узнать, что кроется за странными недомолвками. Позвав меня в гости, она с глазу на глаз спросила меня, в чем дело. Мухи, с которыми работала Роза Андреевна, черные – цвета эбенового дерева. Строгость эксперимента требовала наличия маркирующего признака. Маркером служил черный цвет тела, цвет эбенового дерева, эбони – по международной английской номенклатуре. Латынь – международный язык зоологов и ботаников, английский – генетиков-дрозофилистов. Сотни мутаций этой знаменитой мухи носят английские имена. Эбони – одно из этих имен. "Вы пишете, – сказале я Розе Андреевне, – что девственные самки происходят по линии эбони. Так вот, Лысенко и сказал: 'Да какие они девственные, если они...' – и тут он на русский манер произнес название линии." "Так, если по-русски прочитать название самок, то получится что-то непонятное, – говорит Роза Андреевна, – я знакомых спрашивала, на бумажке писала, никто этого слова не знает. Вот я вам напишу."

"Да врут они, стесняются вам сказать, – говорю, – как это так? Я знаю, а они не знают." Она взяла бумажку и написала – евопу. Английское слово ebony, прочитанное, как если бы оно написано кириллицей. "Роза Андреевна, – говорю я ей, умирая со смеху, – я уже начала умирать, когда она про бумажку сказала, – неужели вы никогда не слышали, как извозчики ругаются, когда лошадей понукают?" "Слышала три слова каких-то, но разобрать никогда не могла", – говорит Роза Андреевна.

Я рассказала о выходке Лысенко моему отцу. Он сказал, что отказывается верить. Но предельная печаль, с которой он говорил это, показывала, что он поверил. Это было в 1939 году. Двадцать лет спустя в 1959 году я стала жертвой подобного выпада со стороны Лысенко. Не называя моей фамилии, он процитировал фразу из моей статьи, где речь шла о генетических основах эволюции. Я употребила выражение "генетический дрейф". Дрейф – вещь общеизвестная – сдвиг в численном соотношении прежнего и нового изменившегося гена среди представителей вида. О дрейфе говорят, когда речь идет о случайных сдвигах, совершившихся без отбора. Если в данном поколении 35 процентов ленинградцев имеют карие глаза, а в следующем – 40 процентов,

произошел сдвиг – дрейф. На уличном жаргоне "дрейф" значит страх, постыдное бегство. Сдрейфить – струсить. Генетический дрейф. Лысенко нужно было только произнести эти слова, и все понимали, что речь идет о страхе, который он нагнал на генетиков. Сам он от страха, испытанного им, когда умер великий вождь народов всего мира, Сталин, к тому времени оправился, разжалованием не пахло. Фактический убийца Вавилова бравировал своей способностью внушать страх. Фразу же – самую обыкновенную, написанную на профессиональном языке, он прочитал как пример абракадабры.

После того, как Лобашев изгнал Розу Андреевну из ЛГУ, она работа ла в Институте физиологии АН СССР. Руководил им Л.А. Орбели. Изучала она генетические основы поведения дрозофил.

В 1950 году Лысенко отплатил Орбели за ту поддержку, которую тот оказывал генетикам, когда был Вице-президентом АН СССР и директором академического института. На сессии Академии Медицинских Наук СССР Л.А. Орбели разоблачен и с поста директора его сместили. Когда Роза Андреевна узнала об этом, у нее сделался приступ грудной жабы, и она умерла.

М.Е. Лобашев был в это время сотрудником Орбели. Его согнал в августе 1948 года с поста заведующего Кафедрой генетики Ленинградского университета Н.В. Турбин, ярый лысенковец и погромщик – ныне не просто генетик, а Президент Общества генетиков и селекционеров имени Вавилова, перестроившийся на глазах у публики, разучившейся удивляться чему бы то ни было. М.Е. Лобашев сказал на похоронах Розы Андреевны: "Ее жизнь и смерть пример тому, как одинок может быть советский человек." Он мне сам рассказывал. Ему очень за это попало. Он – член Партии – должен знать, что советский человек никогда и ни при каких обстоятельствах одинок быть не может.

Докторскую диссертацию Розы Андреевны один из ее братьев – профессор – бросил в припадке страха в печь.

Что это за восхитительное существо – Розочка Мазинг, видение Петербурга, столп, на котором зиждется мир.

А Леон Абгарович Орбели, когда на заседании Биоотделения Академии Наук его смещали с поста директора Института за переоценку роли высшей нервной деятельности в физиологических отправлениях человеческого организма, сказал, что напишет отречение от своей прежней установки, так как именно на этом заседании на примере своих коллег убедился, что желудок оказывает сильное влияние на мозг. Но его коллеги отказались принять заявление такого рода.

Нескончаемая вереница непокоренных проходит передо мною. За сто сорок лет до августовской сессии ВАСХНиЛ великий французский энциклопедист Ламарк создал теорию эволюции.

В августе 1948 года самая неудачная и притом второстепенная конструкция воздвигнутого Ламарком величественного здания провозглашена краеугольным камнем современной биологии. "Правда" с гордостью фанфарно трубила, что впервые в истории наследование признаков, приобретенных в индивидуальном развитии, стало государственной доктриной.

И несмотря на это, лысенковщина ни в малейшей степени не заслуживает имени ламаркизма. Ламаркизм – благородное учение. Прогресс – не следствие борьбы за существование, взаимного уничтожения. Он изначальное свойство живого. Способность самосовершенствования – неотъемлемый атрибут живого. Изменчивость, идущая по определенным каналам, предначертанная внутренней организацией живого, как предначертана форма кристаллов организацией кристаллизующегося вещества, и гармонизация всех элементов ландшафта, живых и косных – движущие силы прогрессивной эволюции. Взаимопомощь, а не борьба, – одно из средств этого уравновешивания. Приспособляемость к местным условиям существования извращает по Ламарку великий принцип градации – прогресса.

Я хорошо знала ламаркистов. Александр Александрович Любищев и Павел Григорьевич Светлов – мои друзья. Лев Семенович Берг – мой отец. Борис Михайлович Кузин известен мне только по литературе, у нас есть общие друзья, он фигурирует в книге Надежды Яковлевны Мандельштам. Ни один из них не стал под знамена лысенковщины. Оно и понятно. В дарвинистскую пору диктата они были антидарвинистами, в антинаучную эру – они оставались учеными. Победа лысенковщины означала не только гибель дарвинизма, но и ламаркизма.

В 1922 году мой отец написал книгу "Номогенез, или эволюция на основе закономерностей". Номогенез он противопоставлял тихогенезу, как он называл теорию Дарвина, производя название от греческого слова "тихе" – случай. В конце тридцатых годов он говорил мне, что предвидел появление социалдарвинизма и хотел предотвратить его. Он говорил, что теория Дарвина вредна для человечества, так как в применении к человеку эта теория санкционирует борьбу как фактор прогресса. Нужно, как это делает Кропоткин, противопоставить теорию взаимопомощи этой антигуманистической концепции. Я говорила, что ратовать нужно не против теории, а против ее применения в той сфере, где она неприменима, и что борьбу за существование Дарвин понимал не в буквальном смысле этого слова, а как соревнование. Соревноваться же можно и по взаимопомощи, что виды и делают. Выживают те, где взаимопомощь, включая заботу о потомстве, наиболее совершенна. Взаимопомощь – это средство победить в борьбе. Такого Лев Семенович и слышать не хотел, и сердился.

В двадцатые годы учение Дарвина не подлежало критике. Дарвин фигурировал в виде небольшой иконки в иконостасе марксизма-ленинизма.

Презент неистовствовал. Ярлык за ярлыком навешивался на провинившегося. Он мракобес, мракобес. Его учение – поповщина. Отрицание роли случая в эволюции – замаскированная проповедь библейского мифа. Критик не искал логических или фактических ошибок, он срывал маску с классового врага, разоблачал его как контрреволюционера, выявлял истинные мотивы его действий, направленных на реставрацию капитализма, феодализма, царизма. Не забывайте, какое это было время. Сегодня звучала громовая речь, завтра перед дверью

останавливался "черный ворон". Но судьба миловала Льва Семеновича. Он не только биолог-теоретик, но и крупнейший зоолог – специалист по рыбам. В 1927 году он избран членом-корреспондентом АН СССР по Биологическому отделению. Но главное дело его жизни – география. Он создал теорию ландшафтно-географических зон и воссоздал географию как самостоятельную отрасль знаний. Он описал зоны Советского Союза. Человек с его хозяйственной деятельностью рассматривался как неотъемлемый элемент ландшафта.

В 1939 году Л.С. Берг был выдвинут в академики по Географическому отделению АН СССР. И тогда в "Правде" появилась статья под заголовком "Лжеученым нет места в Академии Наук". Другой лжеученый – Николай Константинович Кольцов, тоже член-корреспондент АН СССР, генетик, цитолог, ученый мирового ранга, блестящий организатор, педагог. Сила мысли Н.К. Кольцова поразительна. Он на несколько десятилетий опережал свое время. Первым он постиг принцип самовоспроизведения генов. Он понял, что через хромосому не идет ток вещества, что она не делится, не расщепляется, а строит свою копию и отторгает ее от себя. Как никто Кольцов умел связывать результаты генетических исследований с микроскопическими картинами и намечать новые пути в науке. Под его руководством И.А. Рапопорт начал свои исследования по химическому мутагенезу, и они принесли ему мировую славу. Этим двум лжеученым – Бергу и Кольцову – не было места в Академии Наук. Это та самая статья, которая разметала путь в Академию Лысенко, истинному корифею науки. И это та самая статья, которая разметала путь Дубинину, чтобы он мог заместить лжеученого Кольцова на посту директора Института экспериментальной биологии. Планы Дубинина сорвались. А Лысенко избрали, и впервые за всю более чем двухсотлетнюю историю существования Академии Наук с трибуны общего собрания Академии зазвучала матерщина. Кольцов и Берг избраны в Академию, само собой разумеется, не были. Им, думаю, было не до избрания. Хорошо, что не арестовали. Л.С. Берг высоких постов не занимал. Изгонять его неоткуда. Н.К. Кольцов изгнан с поста директора организованного им Института экспериментальной биологии и вскоре, в январе 1940 года скоропостижно скончался. Жена его – Мария Полиэктовна – покончила с собой. Их хоронили вместе. Отлично помню, как у открытых гробов Н.П. Дубинин клялся в вечной верности памяти своего учителя. Струнным голосом он медленно говорил: "Мы навсегда сохраним память об этой жизни, об этой смерти – память, которая учит жить." Что-то плохо она научила этого предателя. Почитайте его книгу "Вечное движение" – политический донос на мертвых. Кольцову уделено особое внимание. Статья в "Правде" против Кольцова и Берга подписана академиком Бахом, академиком Келлером, Коштоянцем, Нуждиным, Косиковым, Дозорцевой. Кем она написана, неизвестно. Одним из тех, чья подпись стояла под ней? Презентом? Не все ли равно? Она содержала чудовищные обвинения, ничего общего с действительностью не имеющие. Отца обвиняли в симпатии к гитлеризму. Л.С. очень постарел тогда. Зубы у него стали выпадать.

Л.С. все же избрали академиком семь лет спустя. Свершилось это чудо совершенно случайно. Его выдвигали и в 1943, и в 1946 году, но шансы на избрание были оба раза нулевые. И вот, в 1946 году на одно место по Географическому отделению выдвинуто два кандидата – Берг и Баранский, – и тут случилось нечто неслыханное. Баранский от избрания отказался. "Никто не может быть академиком, если Берг не академик", – написал этот удивительный человек в Президиум Академии наук. Место в Академии не Гималаи, не Урал даже. Горная цепь сотворена быть не может, а место в Академии – дело рук человеческих. Вот и избрали бы обоих. Но Баранский понес кару за свое отречение. Он не был избран никогда.

Вскоре после Августовской сессии ВАСХНиЛ произошла встреча двух академиков – Берга и Презента. Презент – в зените славы. Он заведовал Кафедрой дарвинизма ЛГУ, вершил дела Московского университета, Института генетики АН СССР. Он – действительный член ВАСХНиЛ. Философ, профессор, агроном.

Они встретились в международном вагоне поезда Ленинград-Москва. Л.С. Берг ехал на заседание в Академию Наук. Академики обязаны присутствовать на общих собраниях Академии. Везут их по первому классу за казенный счет. Купе международного вагона имеет два спальных места и туалет, в отличие от четырехместных купе следующей категории вагонов – мягких. Международные вагоны для маршалов, академиков, членов правительства – для тех, кто ездит, не платя за проезд, за кого платит Советское государство – единственная в мире страна, где, по выражению Н.В. Тимофеева-Ресовского, имеется воспомоществование богатым. Сосед Льва Семеновича – высокий железнодорожный чин, судя по мундиру, которые тогда носили.

Только отъехали от Ленинграда, как в купе вошел господин невысокого роста, одесского вида, как рассказывал Л.С. "Здравствуйте, Лев Семенович! Вам часто приходится ездить?" – очень любезно и живо сказал господин. "Да, – сказал Л.С. Берг, – хотя я избегаю." "А я почти половину ночей провожу в поезде – три дня в неделю в Москве работаю, а три дня – в Ленинграде". "Как это ужасно. Ка же вы питаетесь? Все по столовым?" "Нет, у меня постоянный номер в гостинице в Москве, мне приносят обеды из ресторана." "Так ведь все холодное." "Я разогреваю на плиточке", – сказал господин. Вечерний разговор на этом закончился. Утром господин пришел снова. "С добрым утром, Лев Семенович." Снова завязался разговор. Неизвестный спросил, как относится Л.С. к полезащитным лесонасаждениям. Л.С. сказал, что защищать нужно реки и их верховья, что Анучин, Воейков, Докучаев ратовали за это. Господин спросил, как относится Л.С. к рыболовству в Волге, но тут подъехали к Москве, и незнакомец заторопился. Тогда высокий железнодорожный чин с большим пиететом обратился к Л.С.: "Вот, оказывается, какие у вас знакомые!" – воскликнул он с удивлением. Отец не имел того орлиного вида, который получался у него на некоторых портретах, но В.В. Сахаров говорил про него: "Даже не на Университетской

набережной Невы за три версты видно, что профессор идет." "А кто это такой?" – спросил Л.С. "Это же сам Презент!" – воскликнул чин.

– Так приходит мирская слава! – Что-то такое хочется тут воскликнуть. Великий Презент, ничтожный Берг!

Отец комментировал свой рассказ цитатой из Гете и привел слова, которые говорит Мефистофель после разговора с Богом: "Es ist so nett von so einem hohen Herren so menschlich selbst mit dem Teufel zu sprechen." "Как это мило со стороны Бога говорить так человечно с самим чертом".

"Боже тебя упаси рассказывать это кому-либо", – сказал отец. Но разве утерпишь! И я рассказала одному физиологу – Э.Ш. Айрапетьянцу – ученику Ухтомского, профессору из выдвиженцев, общественному обвинителю на суде по делу Мордухая-Болтовского – мне теперь стыдно, что я с ним любезничала. Он сказал, что это в высшей степени интересный случай для познания физиологии высшей нервной деятельности – так в СССР называется психология человека. Лев Семенович не мог не знать Презента раньше, – объяснил Айрапетьянц. – Он заседал вместе с ним в Большом Ученом Совете Ленинградского университета. Но он не замечал его, а если замечал, забывал, так как Презент – это угроза гибели. Это явление по науке называется запредельным охранительным торможением. И сколько бы раз Лев Семенович ни встречался с Презентом, он не узнает его никогда.

Я сказала ему, что отец просил не рассказывать никому. Через несколько дней мы шли с отцом по улице и встретили Айрапетьянца. "Лев Семенович, – воскликнул он, улыбаясь своей сияющей улыбкой, – расскажите, как вы с Презентом встретились, я студентам на лекции этот случай буду рассказывать, не называя вашего имени, конечно. Мне Раиса рассказала." Он явно подводил меня, но отец этого не заметил и хотел было рассказать, и тут выяснилось, в точном соответствии с анализом Айрапетьянца, что Л.С. не мог вспомнить решительно ничего. "Забыл, – сказал он. – Раиса вам расскажет, она все помнит."

В 1971 году я рассказала эту историю Виктору Амазасповичу Амбарцумяну – астроному, академику АН СССР и Президенту АН Армянской ССР. Он начинал свою научную карьеру в качестве профессора Ленинградского университета и был вместе с Бергом и Презентом членом его Ученого Совета. Виктор Амазаспович сказал, что однажды, когда Презент выступал, Лев Семенович спросил его: "Кто это такой?"

Был еще один случай подобной забывчивости Льва Семеновича. В 1945 году академики и члены-корреспонденты АН СССР во время празднования юбилея Академии Наук получили ордена. Л.С. был членом-корреспондентом, ему по чину полагался орден, не такой высокий, как выдавали академикам, но все же. Когда секретарь Президиума АН СССР – Р.Л. Дозорцева поздравила его с получением ордена, он сказал ей: "Что значат эти наши ордена по сравнению с вашими – боевыми." Ему и в голову не могло прийти, какой дьявольский смысл, какую двусмысленность содержали его слова.

Р.Л. Дозорцева – сотрудница в прошлом Н.И. Вавилова и Г. Меллера, переметнувшаяся к Лысенко, одна из тех, кто подписал статью "Лжеученым нет места в Академии Наук". Ее участие в Великой Отечественной войне выразилось единственно в позорном паническом бегстве из Москвы на казенной машине во время паники 16 октября 1941 года. Но ее ордена, полученные за верное служение антинауке, поистине боевые. Отец рассказывал мне о своем ответе женщине-секретарю Президиума, но я не открыла ему глаза, кто она. Так и осталась она для него – эта предательница, увешенная на показ всеми своими тридцатью сребренниками – Жанной д'Арк Великой Отечественной войны.

Запредельное охранительное торможение, если говорить попросту, означает – память отшибло. Нужен был сталинизм, приправленный лысенковщиной, чтобы отшибить память и способность узнавать, какими обладал отец. Он не только зоолог, но и палеонтолог – по одной косточке всю рыбу узнавал. Об его памяти рассказывали легенды. Его исключительный дар запоминать – это даже не память – ясновидение.

И вот Берг, ламаркист Берг – член-корреспондент одного Отделения Академии Наук и академик другого Отделения. Дарвинизм уже более не государственная доктрина, фальсифицированный ламаркизм под названием творческого дарвинизма завоевывает правительственное признание.

В 1946 году вышел первый том собраний сочинений великого вождя всех народов мира И.В. Сталина и мы – сотрудники Кафедры дарвинизма Московского Государственного университета с ужасом прочитали, что Сталин в ранней молодости, едва закончив духовную семинарию, т.е. получив образование, много ниже гимназического, имел мнение по поводу теории эволюции. Он писал, что спор между дарвинизмом и ламаркизмом не завершен и что, по его мнению, победит ламаркизм. Мы поняли, что нам – сотрудникам Шмальгаузена и самому Шмальгаузену пришел конец. Лысенко получил мандат на ликвидацию тех, кто не считал великими достижениями его знахарства. В 1948 году генетика была ликвидирована. Нечто постыдно-карикатурное стало на место науки. Но некоторые из положений этих бредовых построений, получивших правительственную санкцию, совпадали с тем, что написано в "Номогенезе" более четверти века назад. Отрицание случая, наследование приобретенных признаков.

Избрание в Академию давало Льву Семеновичу широчайшие возможности пропагандировать свою теорию. Никогда автор "Номогенеза" не солидаризовался с победоносцами. Никогда он не сказал: "И я." Кровавыми руками достигнута их победа. Дарвинисты, с которыми полемизировал Берг, его друзья – Вавилов, Филипченко, Шмальгаузен. Расхождение во взглядах дружбе ничуть не мешало. Они были убиты или повержены в прах, лишены не свободы слова, а самого слова. Их имена вымарывали из книг, упоминать их запрещено. Свободы науки, свободы, которую он ставил выше всего на свете, больше не существовало. Не было и людей. Не перед кем было отстаивать свою правоту. Возвысить

голос теперь – значило совершить предательство по отношению к мертвым, к узникам. Жизнь стала ему ненавистной. Он умер. Незадолго до смерти он сказал: "Я боролся против идеи естественного отбора. Теперь я вижу, что ошибался. Происходит отбор подлецов."

Лев Семенович Берг избран Президентом Географического Общества в 1940 году. Его предшественник – Николай Иванович Вавилов – сейчас вспомню – Литке, Семенов-Тян-Шанский, Шокальский, Вавилов – четвертый Президент со времени основания Географического Общества. Когда Вавилова арестовали, Президентом был избран Берг. В 1947 году Географическое Общество праздновало столетний юбилей. Л.С. написал его историю. Специальную главу он посвятил великому географу, ботанику – агроному Н.И. Вавилову – четвертому Президенту. Цензура потребовала изъять. Л.С. отказался, сказал, что тогда книги не будет, и книга вышла. Неслыханная дерзость, великая победа в сталинские времена. Никто не знал, что с Вавиловым. Знали, что арестован. А потом? Умер или отбывает срок? Не знал и Л.С. Берг. Каждую секунду автору такой книги грозил арест.

Пока он был Президентом, имя Вавилова не вычеркивали из всех книг, хранящихся в библиотеке Географического Общества и труды Вавилова не уничтожали. А когда в 1950 году отец умер, библиотека была закрыта и велено было заливать тушью имя преданного анафеме Президента.

Я часто бывала в архиве Географического Общества и проходя мимо стеклянных дверей библиотеки видела какую-то странную деятельность. А.Г. Грумм-Гржимайло – историк – сын известного путешественника – объяснил мне, что происходит. Он весь был покрыт какими-то волдырями – так сказывалось нервное потрясение. Помню пресимпатичную старушку-библиотекаршу, седую как лунь. В то самое время, когда Грумм-Гржимайло покрылся волдырями, она стала полупрозрачной, на месте век – водянистые опухоли. Что-то в ней появилось от выеденного яйца. Она лично знала Вавилова, а знать его и не любить было невозможно. Ей надлежало вычеркивать имя лучшего из лучших из всех книг, где оно упомянуто. Что было бы с отцом, будь он жив? В моей жизни арест Вавилова был поворотным пунктом. Я знала его лично. Общение с ним приподнимало над повседневностью, раздвигало границы бытия. Глядя на него, вы начинали понимать, что значит тютчевское "небожитель" – не он был небожителем – вы, в его присутствии. А он был прост до беспредельности. Его знал и любил весь мир. Он завоевывал сердца, и любовь эта переносилась на Советский Союз. Советскую Россию любили потому, что любили Вавилова. Меллер сказал мне – Вавилов – это Петр Великий двадцатого века. Это верно, и неверно. Ради полноты сходства у Петра Первого нужно было бы отнять множество гнусных черт – тоже был из породы кровавых деспотов. Но Меллер имел в виду только положительные свойства.

В 1942 году Вавилов был избран иностранным членом Королевского Общества Англии. Королевское Общество ограничивает число

иностранных членов, избираемых во всех странах и по всем специальностям, пятьюдесятью.

Генри Дель – Президент Королевского Общества говорил Джулиану Гексли, что известие об аресте и смерти Вавилова дошло до Общества только в 1945 году. Повторные просьбы сообщить только место и время его смерти, посланные в Советский Союз по всевозможным каналам, остались без ответа. Гексли рассказывает о Вавилове в книге "Наследственность. Восток и Запад. Лысенко и мировая наука", вышедшей в 1949 году. Он заключает повествование словами: "Такова несчастная судьба одного из лучших ученых, какого когда-либо производила на свет Россия."

Убить Вавилова – значило наплевать в лицо мировому общественному мнению, бесстыдно обнажить тиранию. Через этот арест ясно проглядывается многое – пакт о дружбе с Гитлером, оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, удар в спину Польше, танки на чехословацкой земле, убийство Михоэлса, Мейерхольда, Мандельштама, позорные столбы Ахматовой, Зощенко, Пастернака, Сахарова, процессы над писателями и аресты, аресты, аресты. Сталин, Хрущев, Брежнев. Арест и уничтожение Вавилова означали, что Советский Союз не нуждается больше в солидарности с прогрессивными силами мира, не делает ставку на эффекты своей лживой пропаганды. Дипломатия отброшена в сторону за ненадобностью. Или это высшая дипломатия громил? – Мы уничтожим тех, кого вы любили, кого мировая слава делала по вашему мнению неуязвимыми, и вы – представители мирового общественного мнения – не посмеете пикнуть. И чем более великие люди станут нашими жертвами, тем вернее вы пойдете к нам на поклон. – История показывает, что зло не просчиталось. Насильники, заинтересованные в свидетелях, совершающие преступления на глазах в лучшем случае притихшей толпы. Один из притихших – мой отец. Десять лет он жил после ареста Вавилова. Моральный облик страны был на время спасен неисчислимыми страданиями войны с гитлеризмом и вынужденным альянсом с демократиями Запада. После войны становилось все хуже и хуже. Победа деморализует. Создание атомной бомбы в корне изменило моральный облик планеты. Помню, что отец говорил: "Атомная бомба не может быть создана нашей страной, нужны слишком большие средства." Сам идеализм говорил его устами. Чтобы создать атомную бомбу, богатства не нужно, нужна власть, умеющая при любых условиях, вопреки нищете народа, концентрировать большие средства в своих руках. Атомная бомба создана при его жизни.

Народ-победоносец зажат в железные тиски. Тех, кто побывал в немецком плену, кто был угнан на принудительные работы в Германию, отправляют в лагеря. Цензура свирепствует. Секретными сведениями объявлено все, что делается в любом исследовательском институте. А.А. Жданов громит Ахматову и Зощенко. Юмор объявлен крамолой. Шостакович вторично низвергнут – его музыка говорила правду слишком ясным языком. Форте-фортиссимо его послевоенной симфонии не "Гром победы раздавайся", а лихорадочная возня рвачей, нажившихся

на крови народной. Пассакалия этого бессмертного творения – плач над оставшимися в живых. Августовская сессия ВАСХНиЛ – рядовой эпизод того времени. Кого только не уничтожали. Почитайте "Архипелаг ГУЛаг".

Почести, привилегии стали тридцатью сребренниками Иуды. Тот, кто не сходил с ума, – а были и такие, не буду называть их имена, – умирал. Отец умер до дела врачей, до кровавого разгула антисемитизма. Сколько раз я думала: "Какое счастье, что отец умер. Что было бы с ним, будь он жив". На похоронах я слышала, как один сказал: "Президент Географического Общества, а от Горсовета никто не выступал. Почему бы это?" "Еврей", – сказал другой. Это – одна из причин. Главное, почему не выступал на тысячном траурном митинге представитель власти – честный человек. Между высоким положением в иерархии лжи и категорическим императивом морали, которому подчинена душа усопшего Президента, был полнейший разлад.

Сохранить душевную гармонию могли люди, способные отказаться от почестей, глубоко верующие, религиозные по самой своей природе, и прирожденные хиппи, находящиеся на самом низу бытия, те, кто имел свою религию – баловни судьбы, не властей. Один из этих счастливцев – ламаркист Любищев. Ламаркист – слишком мало сказано для этой грандиозной фигуры. Он – последователь Платона. Сущее он считал воплощением великой доброй мысли. О творческой роли естественного отбора в его благородной системе идей не могло быть и речи. Александр Александрович Любищев, зоолог, специалист по защите растений – друг и единомышленник отца. Так же как и Лев Семенович, он ставил средства достижения цели выше самой цели. Невежество Лысенко, его кровавые деяния не искупались в его глазах признанием наследования приобретенных признаков.

В отличие от Льва Семеновича, он ринулся в бой. Он написал фолианты, критикуя Лысенко и Мичурина. Чудом он остался на свободе. Из его огромного литературного наследия напечатана едва ли десятая доля. Не напечатана, само собой разумеется, и его критика лысенковщины.

Смелость его беспредельна. Он был гоним и жил на пенсии в Ульяновске. Он протестовал против несвободы науки. О своей судьбе он не пекся, за границу не стремился, очень радовался, когда его труды удавалось пристроить в печать, но писал он их совершенно свободно, без малейшей надежды на публикацию. Эзоповский язык он отвергал. Он задорно лукав. Но его лукавство ничего общего ни с маскировкой, ни с переориентацией мишени при нападении не имело.

Однажды в самолете на пути из Новосибирска в Ленинград я читала его критический очерк о Сент-Экзюпери. Это первоклассный образец самиздата. На самом интересном месте, где речь шла о сходстве сталинизма с гитлеризмом и Любищев солидаризовался с великим гуманистом, я заснула. Я сидела у окна, сосед был у меня только один. Самолет делает посадку в Свердловске – на полпути. Я проснулась, когда пассажиры готовились к выходу. Мой сосед, покидая самолет, сказал: "Я видел, что вы читаете." "Значит, вы не без пользы провели время", – сказала

я и задрожала. Но ни в Свердловске, ни в Ленинграде на аэродроме, ни потом за мной не пришли.

Любищев писал в Правительство о необходимости организовать институт по изучению идеализма, где приверженцы идеализма могли бы развивать свои концепции. Ему принадлежат глубокие, великолепно выполненные исследования по истории науки.

Идеализм, а не материализм, прокладывал в прошлом новые пути в науке о природе. Идеалист по самой сути вещей свободней. Он не связан необходимостью познать механизм явления, причинно-следственную связь вещей. То, что материалист отвергает как несуществующее на том основании, что ему – материалисту не ясно, как такое может существовать, идеализм берется исследовать, описывать, наблюдать. Так было, в частности, с теорией эволюции. Формулируя ее, Ламарк выступал как идеалист. Механизм эволюционных преобразований остался ему неизвестен, об отборе он упоминает только раз в своей феноменальной теории происхождения человека. Но анализ сходств и различий между живыми существами убеждал его в наличии кровного родства между ними, генетической преемственности, и он провозгласил ее.

Проблема целостности живых систем долгое время была достоянием идеализма.

Протесты Любищева не ограничивались наукой. Он написал письмо в Моссовет против водружения в центре Москвы перед зданием Прокуратуры СССР памятника князю Юрию Долгорукому, якобы основавшему Москву. Сооружение этого памятника – лживая дань со стороны Правительства русскому шовинизму – заполнитель каверны, образовавшейся в результате преступных действий того же Правительства на месте революционных идеалов пролетарской солидарности, интернационализма. Любищев дал историческую справку о князе и предлагал памятник снять. Он получил ответ, что Моссовет согласен с его аргументами и что памятник будет перенесен в другое место, и место это было поименовано. Копии этого письма Любищев разослал по почте своим друзьям. Большая смелость во времена перлюстрации. Монумент остался там, где он был – памятник лжи, как назвал одно из своих стихотворений Иосиф Бродский.

Обаяние Любищева огромно. Он – воплощение свободы. Когда уже в семидесятые годы он приезжал в Ленинград и выступал на математическом факультете ЛГУ с докладами, за ним ходили толпы молодежи. Математический факультет предоставлял ему трибуну, а биологи боялись.

Его последний доклад в Ленинграде был посвящен "Номогенезу" Берга. Я выступала в качестве оппонента-содокладчика и освещала вопрос с дарвинистических позиций. Теория Дарвина и Ламарка отнюдь не исключают друг друга. Теория систем дает синтез ламаркизма и дарвинизма, позволяет сочетать идею гармонии природы с идеей отбора. Я рассматривала отбор как одну из закономерностей эволюции, как процесс регуляции в системе высшего по отношению к организму порядка и подчеркивала факторы, его ограничивающие, в частности – сотрудничество дифференцированных элементов системы. Я показала, что наследование приобретенных в индивидуальном развитии признаков,

существуй оно, ограничивало бы свободу реализации индивидуальных свойств организма и было бы тормозом эволюции. После моего доклада Любищев сказал: "Если это называется дарвинизмом – я дарвинист." Моральная сторона вопроса в его представлении главенствовала.

Задолго до выхода в свет прославленной книги Дарвина "Происхождение видов" идея отбора высказана двумя поэтами – Гете и Баратынским. Гете поэтическим чутьем угадал азартную игру природы. Она стоит у игорного стола и, восклицая au double – дублируя ставки, играет смело, счастливо, страстно. Все идет на ставку – животное, растение... "И не является ли сам человек только ставкой на высшую цель?" – спрашивает поэт. Вопрос – озарение. Мысль, рожденная самим благородством.

Баратынский воспевает смерть как источник гармонии. Он говорит ей:

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

Это тоже идея отбора в ее благородном выражении.

И все же, по самому высокому счету, отбор, выживание наиболее приспособленного, борьба за существование – эти столпы дарвинизма – бесчестие природы. Лучше всех это выразил Осип Эмильевич Мандельштам в стихотворении "Ламарк":

Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Отвергая отбор в качестве движущей силы эволюции, приверженцы Ламарка вступились за честь Природы. Они отказались верить в торжество приспособленчества, в право сильного, в благотворные последствия борьбы. Любищев, Берг, Светлов, Кузин.

ПОБЕЖДЕННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

19 марта 1957 года на Кафедре генетики ЛГУ состоялся диспут. Два события произошли незадолго перед тем. В.П. Эфроимсон был выпущен из Джезказгана, и Н.В. Турбин опубликовал сборник трудов Кафедры генетики за те 9 лет, когда он "со славой правил". Сборник этот возвращал науку к ее доисторическим истокам. Название сборника – "Вопросы биологии оплодотворения" (Изд. ЛГУ, Ленинград, 1954). Центральная идея – оплодотворение – взаимная ассимиляция мужской и женской половых клеток. Теперь словами Айзенштата – одного из авторов: "Степень передачи свойств родителей во многом определяется силой ассимиляции каждой из клеток. Потомство будет уклоняться в сторону родителя, половая клетка которого в большей степени ассимилирует половую клетку другого. Индивидуальную силу половых клеток в период акта оплодотворения, или взаимоассимиляции, мы связываем с их возрастным состоянием." (стр. 112). Старая яйцеклетка "в состоянии затухающей жизнедеятельности обладает меньшими возможностями в процессе взаимоассимиляции" – и не в состоянии передать потомству признаки материнского организма, в том числе пол. Ослабьте яйцеклетки, и в потомстве будут преобладать самцы. Ослабьте спермии, и потомство будет состоять преимущественно из самок.

Расшатывание наследственности с помощью страдания и последующая переделка природы путем вынужденной ассимиляции внешних условий в центре внимания сотрудников Н.В. Турбина. Эфроимсону мало было Джезказгана. Он напечатал с помощью неизменного доброжелателя генетики В.И. Цалкина, замредактора "Бюллетеня Московского Общества Испытателей Природы", в этом Бюллетене статью с критикой сборника. По поводу изменения соотношения самцов и самок в потомстве производителей, подвергшихся тому или иному воздействию, Эфроимсон очень спокойно указал на то, что речь ведь идет об отклонениях от численного равенства полов в том или ином эксперименте, в то время как никто и не пытается объяснить самый факт равенства. А именно его-то и объясняет хромосомная теория наследственности.

Ректор Ленинградского университета, академик Александр Данилович Александров, предложил Кафедре реагировать на эту статью. Турбин Кафедрой уже не заведовал. За великие заслуги на поприще мичуринской биологии – одна другой постыднее – он избран действительным членом Академии Наук Белорусской ССР и переехал в Минск вкушать радости привилегированного вполне буржуазного бытия. Новый завкафедрой М.Е. Лобашев, согнанный Турбиным с этого самого места в 1948 году, устроил диспут – пригласил главного редактора сборника Н.В. Турбина и оппонента В.П. Эфроимсона. Турбин не явился. Он предоставил отдуваться своей обезглавленной гвардии. Диспут состоялся – великолепная пьеса. Генетики приводили научные аргументы,

что-то жалкое лепетали лысенковцы, иные клялись в верности лысенковскому кредо. Георгий Александрович Новиков – Жорж – декан факультета угрожал генетикам ликвидацией тех жалких свобод, которые даровало послесталинское время. Изможденный Эфроимсон блистал.

М.Е. Лобашев сказал: "Если бы в 1948 году генетики положили на стол слитки золота, то и они остались бы втуне." Остались бы втуне! Это сказано слишком слабо.

7 августа 1948 года Юрий Жданов, сын А.А. Жданова и глава Отдела науки ЦК, написал покаянное письмо на имя Сталина. Оно напечатано в "Правде" в день окончания Августовской сессии ВАСХНиЛ. Юрий Жданов каялся в поддержке, оказанной им генетикам. Этот потомственный интеллигент нашел великолепную формулировку для практических достижений генетики – это дары данайцев, Троянский конь.

Не стало в России ее пищи – гречневой каши, но не это страшило противников генетики, а идеологический ущерб, который мог произойти от урожаев гречихи, созданной В.В. Сахаровым чисто генетическими методами. Под запретом великие достижения мировой и отечественной агрономической науки: метод двойной межлинейной гибридизации кукурузы, высокогорное семеноводство и гибридизация сахарной свеклы, полиплоидные сорта картофеля, лекарственных растений, редиса, метод оценки производителей по потомству и многое, многое другое. Отвергалось все, что могло накормить страну и предотвратить голод, отвести от страны позорную необходимость импорта хлеба, общую нищету. Все это противоречило принципам диалектического материализма, и волосок из хвоста карликового шпица продолжал быть незаменимым орудием познания законов природы, волшебной палочкой феи, создающей хозяйственно ценные сорта культурных растений. Гречиха Сахарова была не по вкусу.

В.В. Сахаров начал свою научную карьеру под руководством Н.К. Кольцова. Первые его работы посвящены геногеографии человека. Он занялся эндемичным зобом горцев. Казалось, что болезнь передается из поколения в поколение. Целые аулы, населенные кровными родственниками, поголовно болели ею. В.В. Сахаров показал, что это заблуждение. Причина болезни внешняя – отсутствие иода в питьевой воде. Когда медицинская генетика, независимо от практической значимости ее выводов, была запрещена, Сахаров работал по химическому мутагенезу, первые в мире открытия в этой области принадлежат ему. Его объектом была дрозофила. Еще при жизни Кольцова, он решил заняться гречихой. Он хотел быть полезным своей стране немедленно. Новый сорт создан с помощью удвоения числа хромосом и отбора.

Во время войны Сахаров из Москвы не уезжал и продолжал в труднейших условиях усовершенствовать сорта. В 1944 году его рано побелевшая голова рисовалась на фоне цветущего поля гречихи. Никогда не забуду! Он сеял гречиху на берегу Оки на биостанции своего института в Кропотове. В 1948 году его выгнали отовсюду. Он жил с матерью и незамужней сестрой. Сестра стала единственной кормилицей семьи. Она умерла от сердечного приступа на лестнице. Несколько лет он был безработным. Жил он в коммунальной квартире, соседи омерзительные,

их надо было бояться. Владимир Владимирович рассказывал мне, что он тогда очень похудел. Он это говорил, когда времена переменились, он снова работал в Академии и был не то что полным, а плотным, – говорил с большим жизнелюбием и юмором и отдавал предпочтение полноте перед худобой. Он любил поесть. Я ему копчушки из Ленинграда привозила – рыбки такие маленькие, копченые, золотые. В Москве нет. Мелких раз привезла. "Болтали, наверно, направо и налево в очереди и не смотрели, что продавец на весы кладет", – говорил он, и правильно. Я в очередях любила с народом поговорить. "Любите в очереди стоять, – говорила я стоящим, – это русское свойство. Католики в церквях сидят, лютеране сидят, евреи в синагогах, магометане в мечетях, все сидят, а православные стоят."

Рокфор он не любил. Очень смешно рассказывал, что такое рокфор. Как его сестра рокфор сервировала, а кошка их – Кассирша – сзади стояла и осуждающе принюхивалась, а когда кусочек не сыра даже, а серебряной обертки упал, она подошла и стала его зарывать.

Он говорил на великолепном русском языке, знал в деталях историю России. Москвич – он ходил по Ленинграду и рассказывал историю каждого дворца, каждого мало-мальски знаменитого дома. Он был холост. В маленькой комнате, где за большим обеденным столом он принимал гостей, на стене висела довольно большая фотография молодой женщины такого выдающегося обаяния, такой изысканной прелести, какие оказывают свое действие и за гранью бытия. Его одиночество и эта фотография казались мне звеньями одной цепи событий, видимо – трагических. Я не спрашивала.

Его любили все. Спросите Иванова – есть ли у Сахарова хоть один недостаток, и Иванов без колебания скажет: "Конечно, он принимает у себя дома Петрова." И Петров скажет слово в слово то же и назовет Иванова. В.В. Сахаров действительно принимал у себя Д.Ф. Петрова – одного из гнусных, из тех, кто не раз переметнулся. Но В.В. не был неразборчив в своих привязанностях. Люди оборачивались к нему лучшей стороной, и он верил. Когда в 1964 году Лысенко был разжалован в академики, как говорил В.В. Сахаров, 16 генетиков получили свои давно заслуженные степени доктора наук без защиты диссертации. Сахаров был в числе этих 16. Поздравляя его, я написала: "Есть присвоение степени, делающее честь самой степени, повышающее ее почетность." Тот самый случай.

С ним и с Владимиром Павловичем Эфроимсоном в 1961 году мы были на французской выставке в Москве. В зале науки молодой человек, отлично говорящий по-русски, дежурил у стенда, где демонстрировались завоевавшие мировую славу фотографии хромосомных наборов людей, больных так называемыми хромосомными болезнями. Каждому нарушению в числе хромосом соответствует определенный комплекс паталогических симптомов. В их числе – умственная неполноценность. И фотографии пациентов вывешены. Я обратила внимание молодого человека, что названия болезней перепутаны, надо переменить этикетки. "Да, я заметил, но трудно снять, не повредив стенд. Вы первая обратили внимание. Вам надо пять поставить." "Благодарю вас,

но мне уже сама жизнь поставила эту пятерку." "Что вы имеете в виду?" "А то, что я уже семь лет как читаю курс эволюционной генетики в Ленинградском университете и эту работу Лежена излагаю. И человека с дрозофилой сравниваю, говоря об эволюции половых хромосом." "А мне говорили, что у вас в стране про хромосомы говорить запрещено." "Не совсем", – и я вынимаю из портфеля номер журнала, химического журнала, издаваемого Химическим Обществом имени Менделеева, и показываю молодому французу статью Эфроимсона о хромосомных болезнях человека с теми самыми фотографиями из работы Лежена, которые у него на стенде. Тут ко мне обращается группа молодежи. Они хотят послушать мои лекции. "Я ленинградка, – говорю я им, – в Москве проездом. А вот познакомьтесь – автор статьи, генетик Эфроимсон и генетик профессор Сахаров – москвичи." "Мне хотелось бы поговорить с вами наедине", – сказал молодой француз. "Пойдемте, посидим на скамейке перед павильоном." Сидя на скамейке, он спросил, что я думаю о Лысенко и действительно ли он сделал вклад в теорию и практику сельского хозяйства. Я не успела рта открыть, бегут Сахаров и Эфроимсон. – Извините нас, мадам опоздает на поезд, они едут провожать ее на вокзал. Они спасали меня от смертельной, по их понятиям, опасности. В следующий мой приезд в Москву Владимир Владимирович, смеясь своим прекрасным смехом и улыбаясь своей прекрасной улыбкой, рассказывал, что снова посетил выставку. У хромосомного стенда он слышал такой разговор: "Зачем вы эту ерунду вывесили? Академик Лысенко показал, что никаких хромосом нет." "А мне известно, что лекции у вас читают и статьи публикуют о хромосомах." "А вы думаете, идиоты только в вашей стране – такие вот – родятся? А у нас, думаете, идиотов мало?"

Еще при Сталине, другой страстотерпец, А.Р. Жебрак, помог ему, и Сахаров стал доцентом Кафедры лекарственных растений Фармацевтического института. Он читал фармацевтам ботанику.

Тогда появилась новая социальная категория людей – сахаровские птенчики. У себя дома Владимир Владимирович обучал фармацевтов генетике. Многие из нынешних молодых генетиков вышли из этого гнезда, из подпольного университета, единственным профессором которого был доцент кафедры лекарственных растений фармацевтического института. В 1944 или 1945 году – Сахаров еще в Академии Наук работал, в Институте, созданном на руинах Кольцовского института, – я ходила с кустом гречихи, намного превышающим мой выше среднего рост, и с ящичком с семенами гречихи к Вице-президенту АН СССР Л.А. Орбели и к академику Г.М. Кржижановскому, прося поддержки. Леон Абгарович с грустью сказал: "Будь она создана мичуринскими методами, – вашего Сахарова сделали бы товарищем президента республики, а так ничего не будет." Глеб Максимилианович Кржижановский говорил: "Велика Федула, да дура." Это означало – я бессилен. По поводу гречихи он отделывался аллегориями, невозможность продвинуть в практику новый сорт – мелочь по сравнению с тем, чему он был свидетелем и чему мог оказать только пассивное сопротивление.

В 1943 году, – Вавилов был уже мертв, – он умер 26 января 1943 года, – и лежал в братской могиле в Саратове, а мы думали, что он, может быть, еще жив, – я попросила Глеба Максимильяновича поговорить со Сталиным. Тогда он прямо сказал, что бессилен.

В 1930 году ему была поручена рецензия на технический проект Рамзина. Проект объявлен вредительским, Рамзин отдан под суд. Ему грозила смерть. Кржижановский дал положительный отзыв проекту. Сталин сказал на заседании только одно слово: "Рассмотрим", – и ухмыльнулся весьма сардонически, как рассказывал мне Глеб Максимильянович. После этого Кржижановский был изгнан из правительства, Рамзин приговорен к расстрелу. Никакого вредительства не было – оно было изобретено Сталиным для удобства расправы с интеллигенцией, в качестве козла отпущения за неисчислимые бедствия и нищету тех славных лет. Рамзин и его мнимые соучастники приговорены к смерти судом и по требованию миллионов трудящихся, которые на митингах голосовали за смертную казнь.

Рамзин, однако, расстрелян не был. Приговор имел воспитательное значение для миллионов трудящихся. Рамзину впоследствии дана Сталинская премия. Без комментария в газете было пропечатано. Кржижановский в правительственные сферы возвращен не был.

По поводу гречихи он балагурил. Его готовность помочь, будь он в силе, не подлежит сомнению.

А персонажи Свифта еще только шли к власти. До 1948 года оставалось два или три года.

В течение пятилетнего срока, который судьба отмерила Сахарову после того, как генетика была восстановлена в правах, он пытался внедрить свой сорт в производство. Преграда вставала за преградой. Окрестные с Кропотовской Биостанцией колхозы еще в войну сеяли гречиху его семенами. Сортоиспытание было целиком во власти лысенковцев. Запороть сорт при желании ничего не стоит. Насколько мне известно, гречиха Сахарова не получила санкции.

Когда он умер, я испытала чувство, никогда ни по отношению ни к одной смерти мной не испытанное. – Как же он мог так сделать, он думал только о себе, не о нас. Над его плечами развернулись два белых крыла и унесли его, и ему хорошо, а мы остались.

Умер Владимир Владимирович 9 января 1969 года.

Но неужеля вся великая русская наука, – наука Вавилова, Заварзина, Вернадского, Догеля, Кольцова, Серебровского, трех поколений Северцовых, Д.П. Филатова, Астаурова, Шмальгаузена, Сукачева, Зенкевича, Беклемишева, – не создала в этот мрачный болезненный период ничего великого, ничего того, что с новых позиций осветило бы те самые вопросы, на которых спекулировала лысенковщина? В самых тяжелых условиях наука продолжала свое блистательное развитие. Ее достижения меньше, чем они могли бы быть, но они значительны. Сам факт их существования чрезвычайно многозначителен. На науку нельзя наложить запрет.

Идеи Н.К. Кольцова нашли свое воплощение в работах И.А. Рапопорта по химическому мутагенезу и в работах Б.Л. Астаурова, о которых речь впереди. Принцип гомологической изменчивости Вавилова развит в работах П.М. Жуковского на растениях и многими генетиками на дрозофиле. Геногеография Вавилова и Серебровского не заглохла. Особенно повезло роли ненаследственной изменчивости в эволюции.

Неужели индивид, носитель индивидуальности, наделенный сонмом средств реагировать на изменения среды, наиболее сложная и дифференцированная система из всех живых систем, неужели он только безымянная единица в статистической совокупности, составляющей популяцию, пешка на шахматной доске эволюционной игры? И если нет, то какова роль в эволюции тех изменений, которые претерпевает организм в своем индивидуальном развитии? Над этим вопросом задумывался А.Н. Северцов. Теперь Кирпичников, Лукин, Гаузе, Крушинский и, наконец, Шмальгаузен дали ответ, не прибегая к помощи наследования признаков, приобретенных в индивидуальном развитии. Мысль Шмальгаузена работала на самом передовом крае современной науки. Проблема целостности организма была в центре его внимания.

Орбели, Мазинг, Промптов, Крушинский в немыслимых условиях разрабатывали генетические основы поведения животных. Всем им приходилось маскироваться. Крушинский, например, называл мысль рефлексом, чтобы казалось, что он не выходит за пределы "учения" Павлова. Павлову, как и Дарвину, была выделена маленькая иконка в иконостасе узаконенного материализма.

Великолепная школа русских лесоводов, великих знатоков жизни растительных сообществ, нашла своих великих последователей в лице В.Н. Сукачева и его школы.

На основе глубочайшего знания жизни сообществ достигнута почти полная ликвидация малярии в Советском Союзе. Это сделал В.Н. Беклемишев, зоолог-эмбриолог и эколог. Проблема целостности живых систем разработана им и В.Н. Сукачевым. Но Сукачев занимался целостностью систем, включающих организм как свою подчиненную часть. Лес был его стихией. Беклемишев осветил принципы организации живых систем всех уровней, начиная с клетки и кончая всем сонмом живых организмов, населяющих планету, тем, что Вернадский назвал "живым веществом биосферы".

Л.В. Крушинский, Д.П. Филатов, Т.А. Детлаф, М.С. Гиляров, А.А. Малиновский, В.П. Эфроимсон – о каждом из них можно было бы написать книгу – вписали блестящие страницы в развитие отечественной науки.

Имя В.И. Вернадского – гонимого, полузапрещенного титана – станет в один ряд с именем Галилея, Ньютона, Ламарка, Эйнштейна.

В.И. Вернадский нашел блестящего последователя в лице Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский представлялся мне тихим русским интеллигентом. Он жил в Германии, я никогда не видела его, а только читала его работы, написанные на немецком языке. Когда

он появился в Москве, выйдя из заключения, полуслепой, и мы познакомились, оказалось, что это могучая русская натура, полная буйной энергии. Могучий голос, необычайная подвижность, исключительный артистизм. Он мгновенно делался центром внимания и поклонения в любой компании. И выпить тоже не дурак. Я спросила его, почему это он казался мне тихим русским интеллигентом, когда я читала его работы. Он сказал: "Потому что на немецком языке ничем другим, кроме как тихим русским интеллигентом, быть нельзя." "Николай Владимирович, почему это у вас на рубашке прямо против пупа дырка?" "А чтобы пузо было удобно чесать." Это – façon de parler. При всей разухабистости он являл собой образец старинной, изысканной, давно забытой воспитанности, истинного джентельменства. Пьесу Булгакова "Дни Турбиных" я видела в Московском Художественном Театре дважды – в 1933-м и в 1953-м году. Первый раз в исполнении сильнейшего состава труппы, а потом ее играла молодежь Студии имени Станиславского. Турбины – дворяне. В пьесе воспроизведен обрывок их жизни. Сравнение двух спектаклей показывало, что театр утерял знание правил джентельменского поведения в обществе. Манеры Тимофеева-Ресовского воскрешали в памяти тот старинный спектакль в исполнении сильнейшего состава МХАТа, любо-дорого было наблюдать.

Он говорил, что никакого классового антагонизма не существует – на одном полюсе – аристократ и пролетарий, на другом – мещанин. Он сочетал в себе пролетария и аристократа. Страх – атрибут мещанства – ему абсолютно чужд.

Блестящий ум, феноменальная сила и строгость мысли, адово терпение, первоклассная память. Есть три компоненты хорошей памяти, до известной степени независимые друг от друга – одна может присутствовать, в то время, как отсутствует другая. Это – большой объем памяти, большая скорость запоминания и быстрота извлечения информации из хранилища. Николай Владимирович обладает всеми тремя. Выйдя из заключения, он жил сперва в Свердловске, потом в Обнинске недалеко от Москвы и изредка бывал в Ленинграде. Городским транспортом он не пользовался, а либо ходил пешком, либо ездил в такси. Пешком он ходил не так, как все люди. Мы с Еленой Александровной – его женой – нормально идем, а он впереди бежит, останавливается и бежит обратно, добежит до нас и опять вперед. В такси он говорил своим невообразимо колоритным пружинистым голосом: "Лелька, давай четвертак", – 25 рублей, когда на счетчике семь. Это было, значит, до денежной реформы, когда деньги в 10 раз уменьшились. И Лелька давала. И не от богатства, ибо богатства никакого не существовало. Советских степеней у Николая Владимировича не было, членство двух европейских Академий – Германской и Итальянской – советские бухгалтерии при начислении зарплаты в расчет не принимали, и деньги шли самые мизерные, но натура такова – давать, дарить, одаривать направо и налево. Шоферы Ленинграда – клан рабочей аристократии, – те, что постарше, конечно, – его обожали, помнили с одного раза, узнавали во мне его спутницу и справлялись о нем. И он был для них "один профессор".

"Вы с одним профессором со мной один раз ехали, так как он?", три раза довелось услышать.

В 26 лет он получил Рокфеллеровскую стипендию и уехал в Берлин в Институт по изучению мозга. Он стал директором этого Института, всемирная слава сама пришла к нему – он за ней не гонялся. Он оставался в Германии, когда к власти пришел Гитлер. Его старший сын был уничтожен за участие в сопротивлении нацизму, о его смерти догадывались, ничего не знали, надеялись, ждали. Уехать было нельзя. Самого Николая Владимировича не трогали. Жертвами опричнины становятся четыре категории людей: первая категория – светочи – их уничтожение заставляет притихнуть большую группу людей, вторая – свидетели преступлений, вовлеченные в кровавую кухню политики – мавры, которые сделали свое дело, третья – владельцы благ, соблазняющих опричников, четвертая – изначально запуганные, молчальники, с их помощью разыгрывают процессы над несуществующими заговорщиками. Николая Владимировича могла погубить принадлежность к первой категории, но не погубила. Ни к одной из трех других категорий он не принадлежал. Известный шведский генетик Арне Мюнцинг, посетивший Ленинград в составе какой-то делегации, рассказывал мне, что он был в Германии в 36 или 37 году на конференции. Заседание было прервано. Транслировалась речь Гитлера. Все должны стоя молча слушать. И все стояли, и среди всеобщего молчания раздался громовой голос Николая Владимировича: "Wann wird denn dieser Wahnsinn endlich aufhören?" – Когда, наконец, прекратится это безумие? – Он говорил на берлинском диалекте, aufhören звучало ufhören. Таких не сажают. С ними навозишься. Довольно молчальников.

Когда в 1945 году Берлин пал, Институт Николая Владимировича оказался в Советском секторе. Он мог драпануть на Запад, но за ним не было никакой вины перед Россией, русского гражданства он не был лишен, судьба его сына была неизвестна, и он ждал своих. Да и не бегал он никогда – порода не та. Год его не трогали. В 1946 году к нему явился Н.И. Нуждин – тот самый, если помните, – одна из самых мерзких фигур в паноптикуме лысенковщины – сотрудник в прошлом Вавилова, теперь, в 1946 году, – Лысенко, – взял линии дрозофил, попросил завернуть ящики с пробирками, где помещались живые мухи, не в газеты, а в оберточную бумагу, и уехал. После этого Николая Владимировича взяли. В лагере он погибал от пеллагры, почти ослеп. Он рассказывал при мне В.П. Эфроимсону, что такое пеллагра – если вам per os вольют чайную ложку с тремя чаинками, она тут же со всеми тремя чаинками выйдет из вас per rectum, – говорил он с чрезвычайной бодростью. Какими-то мне неведомыми судьбами после двух лет пребывания в лагере его отыскали, по приказу сановных тюремщиков, тюремщики несановные уже полумертвого привезли в Москву, как-то ужасно лечили, кажется слепота – следствие не столько болезни, сколько лечения, и отправили в шарагу, где он мог заниматься наукой. Его жена с младшим сыном приехала к нему в шарагу из Берлина, где она работала в Университете у Нахтсгейма. Они пробыли в заключении 8 лет.

Елена Александровна привезла в Сибирь линии дрозофил. Но вскоре, в 1948 году, они были по строжайшему приказу свыше уничтожены. В 1956 году Николай Владимирович реабилитирован. Я присутствовала на его докладе в Москве. Он говорил о результатах исследований, выполненных им в шараге. Занимался он радиостимуляцией растений. На свободе в Большой зоне его научная деятельность приобрела грандиозный размах. Он сперва обосновался в Свердловске. На южном Урале, в сказочно красивом месте, у него была Биостанция "Миассово", оазис в пустыне запуганных. А населяли оазис почти одни бывшие зеки. Биостанция стала местом паломничества ученых всех специальностей. Работали там с утра до поздней ночи. Научный семинар заседал каждый вечер. Потом Н.В. Тимофеев-Ресовский перебрался в Обнинск Калужской области и организовал в Институте медицинской радиологии лабораторию радиационной генетики – целый институт, великолепно функционирующий, чрезвычайно дифференцированный. И этому детищу, взлелеянному на склоне лет, суждено было погибнуть. Разогнали по прямому указанию КГБ. Даже благовидного предлога не потребовалось. В 1971 году Николай Владимирович стал безработным. Мировое общественное мнение на этот раз не смолчало. Лауреат Нобелевской премии Дельбрюк приехал в Союз, чтобы говорить с Президентом АН СССР М.В. Келдышем о Тимофееве-Ресовском. Николай Владимирович был зачислен консультантом в Институт медико-биологических проблем АМН СССР. Распоряжение шло из высших сфер. Сужу по тому, что смелый этот шаг не повредил карьере директора Института – он избран академиком. Карьеристы боялись даже знакомиться с Николаем Владимировичем. От знакомства с ним отказался, в частности, преуспевший начальник экспедиции, в котором Эдна с первого взгляда распознала лжеца. Очень страшился КГБ.

М.Е. Лобашев, возглавив Кафедру генетики Ленинградского университета, в 1958 году организовал Всесоюзную Конференцию по экспериментальной генетике. Покровительствовал Конференции сам Столетов – лысенковец, великий дипломат, начавший уже тогда перестраиваться. Он в качестве министра высшего образования ведал университетами и возглавлял Кафедру генетики Московского университета. С его разрешения Лобашев пригласил всех. Лысенковцы представлены в изобилии. Отвергалось только анекдотически постыдное, а просто постыдное не отвергалось. Но и генетики, включая борцов, на удивление всему миру представлены – Рапапорт, Кершнер, Эфроимсон, Тимофеев-Ресовский. Тезисы докладов напечатаны. В самый канун Конференции мы узнали, что по распоряжению ЦК Конференция запрещена. Съехавшиеся участники безропотно разъехались.

Друзья уговорили Николая Владимировича защищать докторскую диссертацию. Ботанический Институт Академии Наук СССР принял ее к защите, и защита состоялась. Было это, кажется, в 1960 году, он еще тогда жил в Свердловске. Работа посвящена вернадскологии, как он говорил. Только Высшая Аттестационная Комиссия не собиралась присваивать ему степень. Хрущев у власти, лысенковщина мужала снова,

и не видать бы Тимофееву-Ресовскому степени доктора, не случись в 1964 году малой октябрьской революции, как называли мы смещение Хрущева. Снова, как в 1953 году, когда умер Сталин и ждали крутого поворота истории, лысенковцы задрожали. Генетика пошла в гору. Статья за статьей появлялись в газетах в ее защиту. Поворот круче, куда круче, чем десять лет назад. Годы царствования Хрущева – время, когда державные бразды были ослаблены, – дали возможность ученым других специальностей помимо генетики – физикам, химикам, математикам, кибернетикам – выступить в защиту генетики. И теперь, наконец, спущено указание восстановить генетику.

Но перепуг в стане лысенковцев меньше, чем тогда. Тогда они ждали кровавой расправы. Теперь нравы смягчились, да и они знали, как нужно действовать, чтобы удержать власть. Нужно держать нос по ветру, дать немедленные, солидные свидетельства своей лояльности.

Высшая Аттестационная Комиссия, вся насквозь пронизанная метастазами лысенковщины, присвоила степень доктора биологических наук действительному члену двух европейских Академий – Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому.

В 1966 году я работала в Институте цитологии и генетики АН СССР в Новосибирске и была членом его Ученого Совета. На заседании Совета мы выдвигали кандидатов по генетике, я сказала, что нам следует выдвинуть Тимофеева-Ресовского. Ю.Я. Керкис сказал, что его следует выдвинуть, но не по генетике, а по биофизике. Дошло дело до биофизики. И прелестная Нинел Борисовна Христолюбова сказала, что это будет ее кандидатура. Но тут выступила Галина Андреевна Стакан и сказала, что он, кажется, совершал непатриотические поступки. А Ольга Ивановна Майстренко сказала, что он жил в фашистской Германии. И Юлий Оскарович Раушенбах выступил и сказал, что он отказывается выдвигать такого человека в академики, и замдиректора Привалов к нему присоединился.

Тогда заговорила Зоя Софроньевна Никоро. Она сказала, что да, Николай Владимирович жил в Германии и работал в институте Рокфеллерского Фонда, и он не вернулся. "Но посмотрела бы я на любого из тех, кто сейчас здесь выступал, как бы он вернулся. Вернись он, и нам не о чем было бы здесь разговаривать. С вероятностью сто процентов он был бы уничтожен. Это Бухарин мог решиться уехать в Париж, походить по свободной земле, подышать свободным воздухом и вернуться, зная, что он умрет не за Родину, а как враг ее народа. Николай Владимирович не вернулся, но он не предавал Родину, он светоч ее науки, он ей служил. Предавали Родину те, кто предавал ее науку, кто писал доносы на ее лучших людей, подписывал ложные заключения по обвинению во вредительстве. Тимофеев-Ресовский достоен быть академиком по своим научным заслугам, и его кандидатуру я поддерживаю." "Худо, что на нашем Ученом Совете звучат такие речи", – тихо и грозно сказал Шкварников – член КПСС.

Снова выступил Раушенбах – один из тех, кто давал ложные заключения по обвинению во вредительстве безвинных людей – зоотехников, –

и сказал с искренним недоумением: "Как же это приверженцы мичуринского учения Родину предавали, когда оно ЦК одобрено. А он предавал, в гитлеровской Германии жил, всякому ясно."

Тогда страстно и убежденно заговорил другой замдиректора – Р.И. Салганик – человек очень интеллигентный, образованный и талантливый. Он Николая Владимировича у себя дома принимал и очень хорошо разбирался, что к чему. Но он еврей, а жертва еврея на алтарь верноподданничества должна быть не просто обильной, а возлелеянной у самого сердца. Салганик сказал: "Тимофеев-Ресовский мог и должен был вернуться задолго до 1937 года, еще тогда, когда никакой опасности не было. А он поехал в профашистскую Германию и остался там. Видно фашизм больше устраивал его, чем страна строящегося социализма.". Его прервала Нинел Борисовна. Она сказала, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет подвергать Николая Владимировича такого рода нападкам. И тут встряла я. Я сказала, что Николай Владимирович поехал в 1926 году не в профашистскую Германию, а в страну, находившуюся накануне коммунистической революции, страну, коммунистическая партия которой была самой сильной из партий Европы и во всем мире уступала только партии Китая. Победа фашизма в Германии совершилась не без участия Советского Союза. Роковую роль сыграло то, что главным врагом коммунизма был объявлен не нацизм, а социал-демократия. Воспрепятствовав образованию единого фронта против нацизма, Сталин способствовал победе Гитлера. Вопрос о патриотизме Николая Владимировича нелепо ставить. Он и есть то, по отношению к чему надлежит быть патриотом. В фашистской Германии он потерял сына – участника сопротивления. И если Нинел Борисовна снимает кандидатуру, то я ее выдвигаю. Два молодых человека – Шумный и Евсиков, – поддержали кандидатуру Николая Владимировича.

Директор Института Д.К. Беляев до той поры молчал. Он всегда выступал в роли закулисного дирижера театра марионеток. Дипломатические его способности развиты до неправдоподобия. Теперь он сказал, что, видя возникающие разногласия, он думает, что нам не следует выдвигать никого по отделению биофизики. Это предложение прошло большинством голосов. А Зою Софроньевну "прорабатывали" на особом заседании. Меня же не трогали, не знаю уж, почему. Это было не первое выступление Зои Софроньевны, после которого ее прорабатывали.

Еще в 1963 году, до снятия Хрущева, она на заседании, когда было предложено создавать бригады коммунистического труда, сказала, что мы не достойны высокого звания, что вот в стране голод, хлеба не хватает, причина – невежественное планирование сельского хозяйства, а мы – специалисты по сельскому хозяйству – молчим. Зная, что делаются явные ошибки, мы даже не пытаемся их исправить.

Она говорила, зал, ну не весь, а три четверти может быть, аплодировали. И тогда выскочил на трибуну Д.К. Беляев и говорил все, что ему было бы предложено говорить, имей он время проконсультироваться в райкоме. Слова "демагогическое выступление с целью сорвать

аплодисменты" фигурировали в его выступлении. Он очень красивый, сухой, шея у него не толстая, скорее тонкая, и она дергалась в нервном тике, от угла рта к ключице. А после этого Зою Софроньевну "прорабатывали". И Ю.П. Мирюта – сотрудник Института, член партии, знавший Зою Софроньевну по Горьковскому университету, где они вместе работали и откуда ее выгнали в 1948 году, – сказал, что он всегда считал ее вредителем, человеком безнравственным. – Знают ли присутствующие, что она по вечерам в ресторане на рояле играла? – А она действительно играла, и это был единственный заработок, после того, как ее выгнали. А у нее трое своих детей было и еще сколько-то приемных.

Но тут присутствующие забыли о своем партийном долге заниматься перевоспитанием Зои Софроньевны, набросились на Мирюту, и ему не поздоровилось. Тем это позорище и кончилось. Но юбилей Зои Софроньевны был отменен. Ни официального чествования на Ученом Совете, ни официального уведомления о юбилее всех потенциальных поздравителей. Тогда мы – ее коллеги и ученики – сами оповестили кого надо и устроили такое чествование, какое и не снилось сановным.

В 1970 году Николаю Владимировичу исполнилось семьдесят лет, и Московское Общество Испытателей Природы праздновало его юбилей. Юбилей назначила и Академия Наук. Приглашения разосланы, докладчики поименованы и напечатаны названия докладов. А потом юбилей отменили. Представляю, что содержали доносы, которые послужили причиной этой отмены. И тогда-то Борис Евсеевич Быховский – академик-секретарь Биоотделения АН СССР, к которому я из Издательства в Зоологический институт пошла и которого случайно застала, сказал в виде шутки, что вот сегодня юбилей отменяют, завтра ссылаться запретят. Эту его милую шутку слышал директор Московского отделения Издательства "Наука", или дошла она до него через третьи руки, и он принял ее за директиву и спустил по инстанциям. Быховский мог об этом и не знать.

В последний раз я видела Николая Владимировича на похоронах Астаурова. Борис Львович Астауров – классик естествознания в точном и буквальном смысле этого слова. Работал он и с дрозофилой. Первоклассные исследования. Главный его объект – шелкопряд. Практическая работа самым органическим образом сочеталась с теоретической биологией. И в области теории он совершил великие дела. Одно из самых изящных доказательств хромосомной теории наследственности принадлежит ему. В одной яйцеклетке он сумел сочетать плазму одного вида с ядром – другого. Из яиц, отложенных самкой шелкопряда Bombix mori, вылуплялись личинки, ели, линяли, как им положено, окуклялись. Из куколок выходили бабочки другого вида шелкопряда Bombix mandarina. Самки Bombix mori, перед тем, как их скрещивали с самцами Bombix mandarina, подвергались облучению лучами Рентгена, это делалось, чтобы убить ядра их яйцеклеток. Затем их скрещивали с самцами Bombix mandarina. В яйцеклетку после оплодотворения попадает несколько спермиев, двух достаточно, чтобы получить нормальное ядро отцовского вида. Оплодотворенные яйца активировали

высокой температурой. У этих своеобразнейших гибридных личинок не доставало сил, чтобы вылупиться из яйца материнского вида. Им помогали иголочкой. Ни личинки, ни куколки, ни бабочки, полученные этим способом, ничуть не похожи на материнский вид, из яиц которого они вылупились и в плазме которого осуществляли свое формообразующее действие их гены. Они принадлежат к отцовскому виду. И все они самцы. Они самцы, потому что два спермия отцовского вида слились, принесли две одинаковые половые хромосомы и создали ту хромосомную ситуацию, которая у бабочек определяет мужской пол. И если в половой хромосоме отцовского вида имеется ген, вызывающий необычную окраску крыльев или усиков, он непременно проявится у сыновей – бастардов. Мозаицизм усложняет картину, но и только. Роль хромосом в передаче признаков из поколения в поколение показана с предельной убедительностью. И, если угодно, создана модель порождения вида в недрах другого вида, так как бабочки, в точности повторяющие признаки одного вида, получаются из грены, отложенной самкой другого вида. Только крупинки Лепешинской и отрыжка Лысенко совершенно тут не при чем, как не при чем методы алхимиков в расщеплении ядра урана.

В 1948 году Борис Львович не лишился работы, ему запрещено заниматься шелкопрядом. Рыбы должны стать его объектом. "Вы, наверное, смогли бы заниматься теперь шелкопрядом", – писал он одному специалисту по генетике рыб.

Судьба его была удивительной. В мире моральных ценностей, извращенных в соответствии с постулатами материалистической диалектики, в антимире с этикой негатива он умел сочетать служение истине с продвижением вверх по чиновным ступеням, с тем, что та самая умная женщина, которая советовала платить за исправление иллюстраций, чтобы племянник Дины Марковны мог получать свою зарплату в Издательстве Академии Наук, не стукая пальцем о палец и выдавая первоклассную продукцию, та самая умная женщина назвала "элитным успехом".

Генетики, как правило, не участвовали в демократическом движении. Их подписи не стояли под обращением к Партии и Правительству с просьбой не так уж круто править, не так безжалостно карать, если дело не касалось генетики. Когда касалось, они писали. Триста подписей стояло под обращением к Правительству с просьбой восстановить генетику в 1955 году.

Быть генетиком – педагогом, исследователем, селекционером, врачом – это и было их демократическим движением. Обучая законам Менделя или внедряя генетические методы в селекцию, они и так были на страже демократии. Разум, разумность, подсказывали им держаться подальше от политики, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кому выпала счастливая доля, включающая право на гнев, чтобы не отняли у них возможность обучать законам Менделя и внедрять генетические методы в селекцию.

Борис Львович представлял собой исключение.

Когда умер Сталин, его преемники, следуя завету Бориса Годунова, вложенному в уста царя гениальным историком А.С. Пушкиным, один за одним ослабляли державные бразды. Маленков выпустил на свободу уголовников, Хрущев открыл двери тюрем, хотя и не всем, осужденным по политическим статьям, но все же миллионам людей, новое коллегиальное руководство во главе с Брежневым сняло, в частности, запрет с генетики и слегка подобуздало Лысенко. Маленков не успел развернуться. Хрущев и новые правители имели время, чтобы вступить в новую фазу своего царствования, следуя опять же совету Бориса Годунова. Вслед за дарованием некоторых свобод следовала фаза затягивания державных бразд. В 1967 году наступило время, когда нужно было так изменить уголовный кодекс, чтобы карать за уличную демонстрацию, за чтение того, что выпускал самиздат, за анекдот, не прибегая к семидесятой статье. Грозная эта статья – с карой до 7-и лет тюремного заключения и последующим поражением в правах – уж чересчур грозна, да и Хрущев сказал, что у нас нет политических преступников и весь народ в точном соответствии с уголовным кодексом превратился в реальных или потенциальных уголовников. И вот, к 190-й статье сделаны добавления, лишающие граждан элементарных гражданских прав. Кара – до трех лет тюрьмы. 14 академиков направили коллективный протест в высшие сферы. Среди них – Борис Львович Астауров. К нему не пришли бы с предложением поставить свою подпись под осуждением А.Д. Сахарова.

Когда в 1963 году, еще в царствие Хрущева, поэт Бродский, тогда еще молоденький мальчик, был осужден как тунеядец на пять лет ссылки в Архангельскую область, с принудительным трудовым режимом на лесоповале, я обратилась к Дудинцеву, автору нашумевшей книги "Не хлебом единым" за помощью. Свободолюбец этот был прокурором. Мне казалось, что приговор можно оспорить, доказав с юридической точки зрения несостоятельность обвинений и процессуальные ошибки. Может быть, может быть, думалось мне, "они", всесильные "они" поняли, что хватили через край, что возможен международный резонанс – Бродский переводил английских, испанских, польских поэтов – и они согласятся свалить ошибки на судью и помилуют невиновного.

Разговор происходил в роскошной квартире Бориса Львовича. В квартире этой в доме три по улице Дмитрия Ульянова Астауров поселился незадолго до смерти. Многие годы он жил в отчаянных условиях. Он занимал с семьей две комнаты в двух коммунальных квартирах одного и того же дома в Скатерном переулке, в самом центре Москвы. Номер одной из квартир был один. Мне надо было повидать его, и он сказал, чтобы я пришла в квартиру номер один. Я, как на грах, забыла, какой именно номер он назвал, и пришла в другую квартиру. Я поднялась по черной лестнице и попала на кухню. В ряд сидели в ней бабели, в платках, подвязанных под подбородком, и в кирзовых сапогах. Я спросила, где комната Астаурова. "Нет его", – сказала одна. "Он в квартире один?" – спросила я. Они отлично знали, что я имею в виду, но в

силу вступил юмор. "Не один, а с женой", – сказала другая. "Я спрашиваю о номере квартиры, – сказала я, – кажется один." Сказано тебе, что не один, а с женой, вот и ступай!" Дивная жизнь.

"Почему я должен вам верить?" – совершенно логично спросил прокурор. Я положила перед ним стенограмму суда над Бродским, записанную писательницей Вигдоровой. "Почему я должен верить этой стенограмме?" – также логично спросил прокурор. Я положила перед ним свою стенограмму, написанную от руки, которую я вела в зале суда над Бродским. "Сверьте, – сказала я, – все, что совпадет, – правда." "Но я стихи его видел, вы же мне и показывали, когда я у вас в Ленинграде был, – против народа писал, против партии писал." "Я положила перед ним те самые стихи, которые показывала ему тогда. "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать..." "Там он лежит на склоне, там я его зарыл. В каждой древесной кроне трепет вороньих крыл..." Это стихотворение кончается: "Разве он был вороной? Птицей, птицей он был." И все в том же духе. Прекрасные стихи. Никакой политики. "Это не те стихи, – кричал прокурор, – почему я должен вам верить? Большие люди делают большие дела, а он у них между ног болтается, бороду отрастил, пьянствует, за бабами волочится." А Бродский не пил и не курил даже и переживал свою трагическую любовь, о которой пишет и сейчас в своем великолепном цикле "Мария Стюарт". Дудинцев все кричал и кричал, но я уже и слушать перестала. Я обратилась к Борису Львовичу и сказала: "Свобода отмерена свыше. Каждый хочет быть ее единственным глашатаем, воспользоваться всем куском, а другому воспрепятствовать, а то превысит меру, тогда и ему запретят и последнюю крупицу отнимут. Вот что происходит." Борис Львович сказал, что очень правильно. А дочь его, которая при этом присутствовала, плакала. Ей лет 17 тогда было. Ничего у меня не вышло, и Бродскому я помочь не смогла.

Позволяя себе роскошь быть честным человеком, Борис Львович был избран академиком в тот самый год, когда не удалось даже выдвинуть кандидатуру Тимофеева-Ресовского. Астауров организовал новый институт в Академии Наук и стал его директором. Он был Председателем Всесоюзного Общества генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова. В своем Институте он отказался увольнять сотрудников за участие в демократическом движении.

В 1958 году он был приглашен на Десятый Международный Генетический Конгресс в Монреаль. Многие имели приглашение, но из генетиков разрешение ехать получил только один Борис Львович. Лысенковцев с полторы дюжины. Он написал в ЦК, что не может ехать на Конгресс в составе делегации, все члены которой являются приверженцами антинаучной доктрины. Его репутация ученого была бы запятнана. "Не желая прибегать в этом документе к резким выражениям, – писал он, – я не могу обозначить их взгляды иначе, как приближающимися к абсурду." Чтобы предотвратить роковой конфликт, который мог возникнуть, получи он приказ ехать, он привел еще другую причину своего отказа – его отец был в это время очень болен. Другому такая смелость

отлилась бы. Его пускали и после этого за границу, и он снискал любовь и уважение за пределами отечества.

Хочется сделать здесь маленькую ранжировку. Я классифицирую только образованных, только тех, кто знал истину. Выделяются два типа: директора и те, кто мог бы, но не становился начальством. Тех, кому чины не шли, классифицировать трудно, уж очень яркие индивидуальности, и признака не подобрать – Любищев, Тимофеев-Ресовский, Никоро, Рапопорт, Эфроимсон, Малиновский. Директоров же классифицировать можно – по средствам достижения и удержания власти.

Класс первый. Основная черта представителей – полная деморализация. Они – верные слуги режима, приводные ремни его силовых станций, ножи его гильотин. Они коммунисты, партийные или, еще лучше, беспартийные большевики. Их цель – власть, сладкая жизнь. Коммунизм, верность его идеалу – средство для достижения цели. Субституция средства и цели демонстрируется на их примере с полной очевидностью. Закон диалектики: цель становится средством, средство – целью.

Класс делится на два подкласса. Одни поднимают на щит научную истину, урезая, обкарнывая ее до предела в соответствии с требованиями официальной идеологии. В сфере политики они ревностные инквизиторы. Они свято блюдут ритуалы общественной жизни, что надо восхваляют, что надо порицают, митинги солидарности, митинги протеста, проникновенные речи... Им мало демонстрировать верность режиму. Демонстрируя классовую бдительность, они свирепо расправляются с инакомыслящими. Им подавай диссидента, чтобы расправиться с ним, разоблачить перед КГБ, отдать его на съедение. Защищая науку, они делают ставку на академиков других специальностей, им мало директорства, они метят в академики, а Академия худо-бедно сохраняет и при Советской власти некоторую автономию.

Представители другого подкласса вместе с совестью отбрасывают и науку и становятся под знамена невежества, чтобы своими трудами и трудами сотрудников своего учреждения насаждать его. Предав истину, они избавляют себя от необходимости утруждать себя еще и борьбой с политической крамолой. Полно смысла и значения, что именно директора научных учреждений, призванных, наконец, развивать науку на уровне мировых стандартов, увенчали себя лаврами борьбы с диссидентами. Дубинин, Беляев.

Нуждин, Кушнер, если не директора, то замы, вместе с сонмом других, относятся к категории попирателей истины.

Класс второй – умелые лоцманы, лавирующие между добром и злом. Павловский, Быховский.

Класс третий – Астауров. Он один – ему нет равных. Кто был – погибли, изгнаны – Вавилов, Шмальгаузен, Орбели – великие из великих. Астауров остался единственным в своем роде. Вершина конуса – вершина страдания. Ему была уготована смерть. И она пришла.

В 1974 году один из сотрудников его Института уехал на конференцию в Венецию и не вернулся. Власть имущие не хотели его отпускать. Борис Львович ходил в райком партии и просил за него. Этим

воспользовались. Роковую роль играл Ю. Овчинников – молодой биохимик, Вице-президент АН СССР, способный делать те преступления, которые желательны правительству, но которые оно предпочитает молчаливо поручать другим, и академик Н.П. Дубинин – генетик, в той же роли.

После очередного заседания в Президиуме Академии, где Борису Львовичу дали понять, что не считают побег его сотрудника случайностью, Борис Львович скончался.

Я пришла на его похороны в Дом Ученых на Кропоткинской улице, когда церемония началась. Стоял первый почетный караул: Овчинников, Беляев, Турбин и неизвестный мне человек. Я разыскала тех, кто ждал своей очереди, чтобы стать в почетный караул, и стала в хвост. Очередь входила в актовый зал, делала в нем петлю и выходила из него. Я сначала ничего не видела и не различала, кто рядом стоит, а потом различила – рядом стоял Андрей Дмитриевич Сахаров. В тот самый день Москва проводила в изгнание, слава Богу не в Сибирь, а в Норвегию, Александра Аркадьевича Галича. С его проводов Андрей Дмитриевич пришел на похороны Астаурова. К нам подошел Фатих Хафизович Бахтеев – в прошлом сотрудник Вавилова, а теперь его биограф. Бахтеев был с Вавиловым в той последней его экспедиции, когда Вавилов был схвачен и увезен в тюрьму. И еще один человек подошел из числа тех, которые родятся, чтобы стать великомучениками. Я познакомила Бахтеева и будущего подвижника с Андреем Дмитриевичем, образовалась четверка, чтобы стать в почетный караул. Мы подошли к двери, ведущей в Актовый зал, и стояли лицом к лицу с той четверкой, которой надевали на руки траурные повязки. Ближе всех стоял Иосиф Абрамович Рапопорт. Я представила его Андрею Дмитриевичу, они обменялись рукопожатиями, и четверка прошла. Жирный курчавый молодой человек, уведший четверку, слышал имена тех, кого я представила друг другу. И вдруг очередь стала таять, и никого не осталось вокруг нас, и объявили, что траурный митинг начался и почетный караул снят. Это против всех правил гражданской панихиды, сколько мне довелось их посетить, увы. Почетный караул стоит и после окончания митинга во время траурного шествия вокруг гроба. Его снимают, когда наступает время прощания родных с умершим.

Последняя четверка стала у гроба: Овчинников, Беляев, Турбин и неизвестный мне человек, тот же, что стоял вместе с ними, когда я пришла. Сахаров у гроба Астаурова – это никак не входило в планы закулисных дирижеров похорон. Турбин – это годилось. Овчинников – пожалуйста. Вся тонкая механика передоверенной преступности раскрывалась в речах выступавших. Не называя имен, они метали громы и молнии на голову Н.П. Дубинина. "Никто не забыт, ничто не забыто", – голосом железного трибуна говорил Д.К. Беляев. Это именно то, чего от него хотели вышестоящие. Ложь рядилась в одежды правды. Честь соблюдена, капитал приобретен. Закулисные дирижеры вне малейшего подозрения. Д.К. Беляев изничтожает своего врага, – грызитесь, грызитесь, а мы посмотрим. Имя Дубинина не названо, но все понимают,

что Беляев имеет в виду его, а не тех, кто спустил собаку с цепи в подходящий момент. И Дубинину нет нужды беспокоиться. Ему воздадут по заслугам. И цена его заслуг тем больше, чем оскорбительней анонимные упреки в его адрес. На похоронах Дубинин не присутствовал, а мог бы, и в почетном карауле стоял бы вместе с Овчинниковым, Турбиным и Беляевым. Отсутствие академика той же специальности, что и покойный, на похоронах – явление экстраординарное.

Не было не только Дубинина. В Дом Ученых не пришла и жена Бориса Львовича – Наталья Сергеевна. В ее глазах почести не уравновешивали лжи. Сахаров постоял, отошел тихонько к выходу, пожал руку Рапопорту и ушел.

Хоронили Бориса Львовича на кладбище Ново-Девичьего монастыря – очень почетное место, где хоронят только с разрешения городских властей. Ближе к раскрытой могиле местничество соблюдалось не так строго. Восемь человек, все одинакового роста, несли гроб от ворот монастыря сперва до места, где снова был траурный митинг, а потом до могилы. Помню среди этих восьми Эфроимсона – очень несчастного. Выступал Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Под открытым небом перед многосотенной толпой его громовой голос был едва слышен. Он говорил: "За нас он погиб, в нашу защиту он подставлял под удар свою ничем незащищенную грудь, свое ранимое нежное человеческое сердце."

Я думаю, если бы Бориса Львовича спросили, где он хотел бы почивать, он без колебаний сказал бы: "Рядом с братской могилой, где лежит Вавилов." Сановная могила на кладбище Ново-Девичьего монастыря ставила под подозрение его незапятнанную честь. На фронте борьбы за генетику она такой огромный стратегический успех, что меня берет сомнение. Может быть, Борис Львович согласился бы принять посмертные почести.

Полагающийся по чину кладбищенский оркестр провожал Бориса Львовича от монастырских ворот до могилы, играли что-то очень парадно-официальное, чудовищно фальшивя. Или мне так казалось.

ПРАВДА – ЛОЖЬ, А ЛОЖЬ – ПРАВДА

Пока Горобец расшатывал наследственность томатов с помощью страдания на средства, отпущенные ректоратом Университета на лабораторию популяционной генетики, я всецело погрузилась в изучение мутабильности мух, привезенных мною в 1958 году из Умани. Я сделала попытку вернуть мухам утраченную ими высокую мутабильность. Втще. Высокая мутабильность оказалась в те годы невозвратимо утраченной. За Уманью последовали Никитский Сад, Дилижан, Ереван, Кашира, Тирасполь.

До ректора так и не дошло, что деньги, отпущенные на мою работу, утекли в другое русло. Факультет, чтобы не попасться, все же после настоятельных и униженных просьб давал деньги на экспедиции.

Мухи – моя плановая тема! Хорошо? Плохо. Меня гонят за невыполнение плана. Давай печатную продукцию. А я исследую мух, экспериментами занята, оформляю статьи и диссертацию по корреляционным плеядам. Совещания, семинары, доклады.

Написала статью, подытожив все, что сделано в 1937, 1946 и 1958 году по изучению мутабильности уманской популяции. Издевательствам нет границ. Гонителям нет числа. Завадский, Жорж, Пиневич, Чесноков. Профессор Чесноков распоряжался финансами факультета. Он – ярый лысенковец. Похож он на клопа, принюхивающегося к своей жертве, вытянув хоботок и поводя им из стороны в сторону.

Видели вы клопа, принюхивающегося к своей жертве? Не видели? А я так предостаточно. Остренький носик Чеснокова заострялся еще больше, когда он говорил. "Нечего долбить зады буржуазной науки." "Помилуйте. Популяционная генетика рождена в Советском Союзе. Советские ученые лидировали мир. Мы были первыми, кто..." "Были, – прерывает он меня, – сплыли." "Кажется, вы склонны гибель генетики ставить в вину самим генетикам?" "Нечего разговаривать, денег не будет."

Пиневич демонстрировал мою статью как пример застоя в генетике. Мух я ловила на протяжении двадцати лет в одних и тех же местах, теми же ловчими аппаратами, выращивала их потомков на одном и том же корме, скрещивала с мухами из тех же лабораторных линий, исследовала при том же увеличении бинокуляра. Это ли не застой!

Деканат факультета вступил в схватку с ректором, пытаясь изгнать меня. Когда нет поводов официальных, начинается игра на самолюбии, достоинстве, чести изгоняемого. В ход пускаются прямые оскорбления. Если жертва не проваливается в вырытую яму, в нее стреляют. Характеристика Завадского, Агаева, Хахиной, данная мне по случаю моего ничем не обоснованного желания получить степень доктора наук, обскакав кандидата наук, заведующего кафедрой Завадского, – только одна из пуль. Их уверенность, что я буду сражена – под влиянием смертной обиды уйду из Университета, – основывалась на заблуждении. В

сталинские времена я прошла закалку бесчестьем, и выкованная тогда броня непробиваема.

И там, в Советском Союзе, и здесь в Америке, я не раз имела случай убедиться, что я реагирую не на оскорбление, а на желание оскорбить, и расцениваю это желание как стихийное бедствие, как ливень, или ураганный ветер, на которые не обижаются.

Потеря идеалистического отношения к жизни – всеобщая судьба. Но, если вы вкушали от древа познания добра и зла в условиях профилактического террора, когда каждый на подозрении у дорвавшихся до власти подонков, у вас неизбежно вырабатывается защитный механизм – самооценка в соответствии с вашим, а не их, кодексом морали, и трезвое понимание того, что вы пребываете в опасной зоне силового поля зла. Не обида, а эта вот самооценка и это понимание и предопределят ваши действия, и они отнюдь не совпадут с тем, чего ожидали оскорбители.

Я не только не помышляла об уходе, я даже не огорчалась. Оскорбления со стороны Пиневича, Чеснокова, Гербильского, Токина, Завадского, Жоржа, Хахиной, – к ним присоединилась еще и Наташа Ростова, – не выходили за пределы подпороговых раздражителей. Сладкой, однако, такую жизнь не назовешь.

Приглашение организовать и возглавить лабораторию популяционной генетики в Институте цитологии и генетики Сибирского Отделения Академии Наук СССР я получила при самых неблагоприятных обстоятельствах. Из Новосибирска приехал мой давний друг, в прошлом сотрудник Вавилова, ученый с мировым именем Юлий Яковлевич Керкис и передал мне приглашение директора Института Дмитрия Константиновича Беляева.

Разговор происходил у меня дома. Мы были не одни. У меня жил тогда мой школьный товарищ Эрвин Зиннер. Он только последний год учился в нашей школе, но все его полюбили. Он немец. Стал филологом. В 1941 году он был арестован. В лагере он сперва как член КПСС пользовался кой-какими привелегиями. На партийные собрания под конвоем водили, а потом не стали. Он был реабилитирован в 1956 году, работал доцентом в Педагогическом институте в Иркутске, написал докторскую диссертацию о влиянии Толстого на английских писателей и приехал в Ленинград представить ее к защите в Университет. Возникли, как водится, трудности. Он прожил месяц в гостинице, в гостинице больше месяца жить не разрешается, уехать – время не подоспело, – дело с диссертацией совсем застопорилось. Тут только он вспомнил о моем существовании, и я взяла его к себе. Мы отлично ладили. Ни тени разногласий в оценке окружающей нас действительности у нас не возникало.

"Приглашаю-то я вас, приглашаю, – сказал Керкис, – но хотелось бы знать, будете ли вы хорошим товарищем." "Буду", – говорю я, воспринимая его слова как милую шутку, вполне уместную при наших самых дружеских отношениях, не исключающих взаимное ехидство. "А если нуждаетесь в живом свидетеле, спросите Эрвина Петровича,

он со мной в школе учился." "Да, учился, – сказал Эрвин Петрович, – только в качестве свидетеля защиты выступать не могу, ибо ничему хорошему свидетелем не был." Разговор иссяк. Когда Керкис ушел, я только посмотрела на Зиннера. "Очень рад, что подложил тебе свинью. Это моя месть, и она вполне заслужена тобою. Ты знала, что я член партии. Как ты отнеслась к моим убеждениям? Уважала ли ты мои принципы? Ты вела себя все время не по-товарищески, пользовалась моей зависимостью от тебя." "Что же ты раньше вида не подавал?" – спросила я. Он продолжал жить у меня как ни в чем не бывало. Диссертацию он защитил. Книги его печатаются. Он бичует лицемерие, эгоизм, карьеризм.

Сперва Керкис, а потом Беляев повторили свое приглашение. Я забронировала, в соответствии с предоставленным мне правом, мою ленинградскую жилплощадь и в сентябре 1963 года с Лизой и Машей уехала в Новосибирск, в Академгородок.

Когда я объявила А.Д. Александрову о моем уходе, он вознегодовал. "Поезжайте. Адье. До встречи в Новосибирске." Говоря это, он не подозревал, что чертово колесо истории закинет его в Новосибирск. Мы встретились год спустя. Его переезд в Новосибирск должен стать началом новой головокружительной карьеры. Тогдашний Президент Сибирского Отделения Академии Наук Лаврентьев – любимец Хрущева, и Хрущев хотел отозвать его в Москву, чтобы он там что-то возглавил. На его место приглашен Александров. Новый градостроитель приехал, но не успел вступить на престол, как Хрущева сняли. Лаврентьев остался на прежнем месте. Александров занял скромную должность заведующего одним из отделов Математического Института.

Экспедиция 1963-го года выехала в Никитский Сад и в Умань из Академгородка. Молодой стажер Миша Голубовский, лаборантка Люда Ткаченко и я. Мы ехали изучать мух.

Институт охотнейшим образом взялся представить мою диссертацию в Ботанический институт Академии Наук СССР. Только не видать бы мне степени доктора, не произойди крупнейшие политические события, ничего общего с зависимостью размеров одних частей растения от размеров других частей не имеющие.

Дела на генетическом фронте становились все хуже. Само существование Института цитологии и генетики под угрозой. У Института нет здания. Предназначавшееся для него здание передано другому Институту. Началось строительство другого – и его постигла та же участь. Когда я приехала, закладывался фундамент третьего. Надежды получить его становилось все меньше. В Институте ни одного доктора биологических наук. Вот уже 15 лет как степени генетикам не присуждали, а у иных отнимали. Степень доктора отняли у Эфроимсона, когда его упрятали в Джезказган. В 1949 году ему припомнили, что в 1945-м году он защищал честь немецких женщин от солдат победоносной Красной Армии, писал в Кремль, просил принять меры.

Первого директора Института, Н.П. Дубинина, сняли по прямому приказу Хрущева. Дмитрий Константинович Беляев, кандидат наук,

много менее многих других сотрудников Института заслуживающий степень доктора наук, был в то время заместителем директора. Он ловко воспользовался монаршим гневом, "подтолкнул падающего" и заместил его. Я этого, когда ехала, не знала, а то не приняла бы его приглашения. Чудо создания Института цитологии и генетики совершилось во время оттепели и было ярчайшим ее показателем. В 1963 году Институт все еще возникал. Он строился даже не на песке – в зоне прилива. А тут я, с моей диссертацией, книгой "Наследственность и наследственные болезни человека", и вообще. Первая стычка с директором произошла из-за семинара по марксизму-ленинизму. Руководил им Беляев. Он настоятельно предложил мне посещать его. Я пришла. Молодой человек докладывал очередную главу "Диалектики природы" Энгельса. После доклада я частным образом сказала Беляеву, что не только не буду, за неимением времени, посещать семинар, но и не позволю ни одному из моих сотрудников тратить попусту время. А если угодно заниматься методологией науки, то я организую постоянно действующий семинар на тему "Управляющие механизмы на разных уровнях организации живого". Доклад о механизмах управления жизненным циклом млекопитающих на этом семинаре будет делать Беляев. Он как будто согласился, но когда, распределив роли и согласовав названия докладов с сотрудниками Института и с преподавателями и профессорами Новосибирского Университета, я вывесила программу работы семинара в вестибюле Института, он в гневе сорвал ее. Однако мой семинар заработал, а его – прекратил свое существование.

Диссертация моя резко дисгармонировала с политикой Беляева. Положение его крайне трудное. Директор каждого Института в Советском Союзе – слуга двух господ. Одна, властвующая над ним, сила, – необходимость все же делать науку, другая – маршалы и генералы идеологического фронта и власть в прямом и точном смысле слова. Директор выдвигается на пост неумолимым ходом истории не по научным заслугам, а по уменью спасать Институт, потому что каждый Институт надо спасать. Беляев же возглавил Институт, который находился не под угрозой освежения кадров, коренной реорганизации и смены руководства, а на самом краю гибели. Однако он поддержал представление моей диссертации. Ботанический институт принял ее. Но назначение защиты не последовало. И не только ссылки на заклейменных Августовской сессией ВАСХНиЛ прихвостней буржуазной науки во главе со Шмальгаузеном тому виной, и не только полнейшее игнорирование мировых достижений мичуринской биологии преграждало мне путь и мешало дирекции Ботанического института назначить защиту. Мешал китайский император Сяо Янь. Он жил в пятом веке и писал стихи. Судьба его ужасна. Я не могу без содрогания думать о ней. В Китае он предан анафеме, как император, в Советском Союзе – как китаец. Автореферат моей диссертации украшен эпиграфом – стихотворением несчастного Сяо Яня. Ученого секретаря Ботанического Института, Даниила Владимировича Лебедева, великого антилысенковца, вызвали в Обком. Не в Райком или Горком, а в Обком. Областной Комитет Партии –

инстанция, ведающая Ленинградской областью. А Ленинградская область населена многомиллионной популяцией. Секретарь Обкома ее бог и царь. Что означает принять к защите диссертацию менделиста-морганиста-вейсманиста, об этом речь не шла, но не отвергнуть диссертацию, увенчанную китайским эпиграфом, означает, в глазах Обкома, открытый вызов внешней политике Советского Союза. Лебедев рассказывал мне, что он пытался оправдать себя и меня, но тщетно.

Стихам императора Сяо Яня меня научил Борис Борисович Вахтин, ныне покойный. В нашу трехкомнатную квартиру на Морском проспекте Академгородка в 2 часа ночи постучались. Незнакомец представился – Вахтин. Он ленинградец, в Академгородок приехал, чтобы предложить Президиуму Сибирского Отделения Академии Наук открыть в составе Академии Институт Литературы. Он гость академика Петра Георгиевича Стрелкова. Вот орхидею ему под пальто привез. Самолет опоздал. К старикам Стрелковым в коттедж нельзя в 2 часа ночи явиться, а наши общие знакомые ленинградцы сказали ему, что ко мне можно в любое время дня и ночи.

Борис Борисович и привезенный им горшок с орхидеей заняли подобающие им места в моей квартире. Вахтин писатель, поэт, китаевед, специалист по теории перевода. На другой день, сидя на кухне, он говорил, как трудно переводить с китайского. Поэт говорит одно, но значит это совсем другое. Изреченное и подразумеваемое представляют два разных стихотворения. Китаец, знакомый с символикой, с легкостью в одном узнает другое, а человек, не посвященный в поэтические соответствия, дальше понимания одного из текстов не идет. Как быть переводчику? Излагать выраженное словами или расшифровывать символику? В качестве примера Вахтин цитировал стихи.

В стране, которая зовется "Южнее реки",
Распустились лотосы,
Красные блики легли на изумрудно-зеленую воду.
Цвет цветков одинаков, семена одинаковы,
Корни различны, а семена не имеют различий.

Каждый китаец знает, о чем идет речь.

Мы одновременно с тобой вступили
В пору любви,
Время настало мужскому и женскому началу
слиться в любви.
Наши чувства теперь одинаковы,
И одна судьба впереди,
Как бы ни отличались
Наши судьбы до встречи.

Для понимания стихотворения не мешает знать, что корни лотоса съедобны, что цветки лотоса меняют со временем цвет, что красный цвет символизирует мужское, а зеленый цвет – женское начало.

Когда прозвучал первый вариант, Лиза воскликнула: "Это мамины корреляционные плеяды." И стихотворение Сяо Яня стало моим эпиграфом.

Пока на престоле сидел Никита, диссертация лежала неподвижно. Год прошел. Хрущев пал, генетика подняла над водой голову, и сейчас же меня вызвали в Москву на защиту.

Мне так осточертели корреляционные плеяды, что я говорила о вкладе стандарта и разнообразия в красоту Природы, о музыкальных ритмах цветущих лугов. Их музыка темперирована. Я сравнивала стандартизирующий отбор с теми преобразованиями, которые внес в музыку Бах. Стенографистка, давая мне на следующий день на подпись стенограмму, очень похвалила мой доклад. Главное, говорит, все понятно. Эфроимсон, случайно оказавшийся в Ленинграде, говорил, что был абсолютно уверен в провале. Однако за присвоение степени проголосовали единогласно. Членов Ученого Совета 34. Один из них – Тахтаджян. Оппонентами у меня были Александр Иннокентьевич Толмачев, Павел Викторович Терентьев и Петр Михайлович Жуковский. Все хвалили, а Павел Викторович даже с Менделем сравнивал. Я прервала его и сказала, что готова сквозь землю провалиться от таких похвал.

Александр Иннокентьевич косвенным образом очень украсил мою защиту. Он упрекнул меня за китайский эпиграф. – Не следовало цитировать этих дикарей. – Дикарей! Вот, что делает с человеком страх. Он внушает белое видеть черным. Толмачев дал мне повод прочесть любовный вариант стихов Сяо Яня. Высшая Аттестационная Комиссия, движимая отнюдь не чувством справедливости, в предельно короткий срок утвердила решение Ученого Совета. Пиршества по случаю защиты организуются сразу после заседания Ученого Совета. Пировали сперва в Ленинграде. Потом в Новосибирске. Вахтин преподнес мне огромный букет красных тюльпанов. Михаил Владимирович Волькенштейн, биохимик, один из тех, кто возродил генетику в Советском Союзе, сочинил стихи. Я привожу их с некоторым колебанием. Не уделяю ли я моей персоне слишком много внимания? Отдаюсь на суд редактора. Выбросит, так выбросит, а нет, так нет. Но модель мужа не так уж часто создается, и не так часто ее создание увенчивается присвоением степени доктора наук. Эпиграф стихотворения – перефразировка стихов Лермонтова: "Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он гонимый миром странник, но только с русскою душой."

"Нет, я не Мендель, я другой..."

Цвели цветы, такие душки,
Лаская око и ноздрю,
Недаром Александер Пушкин
Воспел и розу и зарю.
Недаром яркие букеты,
К цветам любовью обуян,
Цветов невиданного цвета
Нам дарит Мартирос Сарьян.

Но вскрыть природы тайный смысел
Бессильны кисть или перо.
Язык тут нужен точных чисел,
Так расположенных хитро,
Чтобы в сумбуре популяций
Найти информационный код,
Чтоб знать куда чему деваться,
Что так, а что наоборот.
Преобразованный отбором
Растенья орган половой
Не служит более укором
Моральной подлости людской.
Теперь мы знаем в чем причина,
Что образец труда
В семье бесчинствует мужчина
И ходит к дамам – вот беда!
Пока смердящий труп Трофима
Лежит неубран у ворот,
Победно и непобедимо
Наука движется вперед.

Породы коров делятся на четыре типа – молочные, мясные, рабочие и общепользовательные. Для Беляева я была коровой общепользовательного типа – драгоценным подарком его судьбы. Аналогия с Завадским полная. Прикажут преподавать генетику – я могу, а он нет. А если начальственный гнев обрушится на него за то, что Институт превысил меру дозволенного, тогда есть виновник, не желающий выполнять его требования, совпадающее с требованиями начальства. И этот виновник опять же я. Взыскания сыпались на меня непрестанно. Беляев на моем примере демонстрировал высшую добродетель администратора – уменье распознать потенциального врага, бдительность. Я получила выговор за опоздание, которого не было. Я вошла в вестибюль Института без двух минут девять. Беляев в шапке разговаривал с сотрудником Института, который был без шапки. Я обратила внимание на эту деталь. Ректор Университета Александр Данилович Александров, входя в пустой вестибюль Университета, тотчас же снимал шапку. Я видела не раз, наблюдая издали. В тот же день меня вызвали к директору. Он просит меня прекратить опоздания. В тот же миг, выйдя из кабинета, я подала заявление об очередном отпуске. Банкет в Доме Ученых Академгородка как раз пришелся на время моего отпуска. Банкет устраивала я по случаю присвоения мне степени доктора наук. Среди приглашенных, конечно же, и, в первую очередь, Беляев. Для тех, кто не знаком с обычаями ученого мира в Советском Союзе, скажу, что я следовала нерушимой традиции, выполняла ритуал. Не без удовольствия, ибо позвать гостей и угостить их на славу очень даже для меня приятно. А столовая Дома Ученых Академгородка не даром существовала для одной элиты –

кормили в ней отлично, но только, начиная с доктора и выше, членов-корреспондентов, академиков. А кандидатов наук, которыми пруд пруди, не кормили. Не без злорадства наблюдала я однажды, как директор столовой очень вежливо попросил уйти рассевшихся было сотрудников кафедры марксизма-ленинизма при Президиуме Сибирского Отделения Академии. Они не имели права вкушать, не имея степени. На банкете Беляев, конечно, сидел в непосредственной близости от меня. Едим жареную утку с яблоками, кто вином, кто рябиновым соком запивает. "Приказ об отпуске подписывал, – говорит Беляев, – а в Институте вас каждый день вижу". "Звонок будильника понижает мою работоспособность. Да и переговоров на высшем уровне устраиваете очень уж много. А у меня эксперимент." "А исчерпаете отпуск, что будете делать?" – Тон, в соответствии с обстановкой, самый дружелюбный. И я из него не выпадаю: "Ах, Дмитрий Константинович, да разве нам с вами впервой без работы быть?" – Я лукавила, ставя его на одну доску с собой. Я шесть лет была без работы. Беляева с работы не гнали. Он как был зоотехником звероводческого института, так и оставался, пока Дубинин не взял его в Институт и не сделал его своим заместителем. Дело пахло катастрофой. Однако катастрофы не последовало. Я не осталась без работы, и мне не пришлось вставать по будильнику. Три женщины, заведующие лаборатобиями, – Зоя Софроньевна Никоро, Раиса Павловна Мартынова, Вера Веньяминовна Хвостова – просили Беляева закрыть глаза на мой распорядок. И он закрыл, сделав для меня исключение. А гонимый им непокорный гений Шерудило по его требованию представил ему медицинское свидетельство, что он страдает психическим заболеванием и нуждается в индивидуальном расписании часов работы.

Но не только заступничество трех в разной степени и по разному влиятельных женщин, но и счастливая звезда, под которой родился Беляев, предотвратили мое изгнание. Я нужна была ему для публичной, крупной демонстрации своего угодничества, а до той поры, когда он дождался случая, а он дождался его, он терпел. Корова общепользовательного типа пахала, и ее можно было доить.

Согласно идее организаторов Института цитологии и генетики, Институт должен развивать науку на уровне мировых стандартов и обеспечить подготовку кадров. Когда я появилась, развитие науки было на мази, а к подготовке кадров только-только приступали. В Университете Академгородка вырабатывались программы, распределялись роли. На другой день после моего приезда, я в 9 часов утра стояла на трибуне физико-математической школы и читала лекцию фымышатам, так называли мы учеников этой замечательной школы.

Но надлежало еще и переучивать учителей средних школ Новосибирской области. Уже 15 лет прошло со времени Августовской сессии ВАСХНиЛ, когда генетика была запрещена и школьные учебники переработаны в соответствии с требованиями Лысенко и его клики. Учителя сами учились по этим учебникам и теперь сами учили по ним же. Сомнение не западало в их души. Молодые учителя верили, потому что

не знали ничего другого. Тех, что постарше, принудили верить. Вера бывает разная. На одном полюсе облагораживающая вера – чувство принадлежности тем, кто был, и кто будет. Эта – вера бесстрашных. На другом – вера – субституция страха.

Весной 1964 года, значит до снятия Хрущева, я читала введение в эволюционную теорию на курсах повышения квалификации преподавателей школ Новосибирской области. В перерыве между лекциями перед моими слушателями выступил методист и поучал их, как нужно повышать свою квалификацию, убеждал их следить за развитием науки, выписывать научно-популярные и научные журналы, книги. С решимостью отчаяния они заявили ему, что условия их жизни не дают им такой возможности. Колхозы не снабжают их продовольствием, а купить ничего нельзя, даже хлебных ларьков нет. Им разрешено держать корову. Заготовлять для нее сено на зиму предоставлено им самим. Колхоз дает два кубометра дров в год и оплачивает им электричество. Но, чтобы прожить в Новосибирской области зиму, нужно не два, а семь кубометров дров, а бесплатная электроэнергия отпущена на одну сорокасвечевую лампочку, и иметь вторую запрещено. Если учительница выходит замуж за колхозника, она лишается и этих привилегий. Часы работы яслей к часам работы школы не приспособлены. Если у учительницы есть дети, девать их некуда. Наибольшее впечатление на меня произвела необходимость держать корову. Кроме того, что ее нужно кормить, ее нужно доить три раза в сутки без выходных. Повышать квалификацию в этих условиях невозможно.

Я читала лекции в строго антилысенковском духе, ни в какую полемику с мичуринской биологией не вдаваясь. Они очень внимательно слушали, никаких вопросов не задавали – раз преподают, значит велено думать так, а не иначе. Но один пожилой учитель уже в самом конце курса все же спросил, каковы установки мичуринской биологии по тем вопросам, которые я им осветила.

Вопрос пожилого учителя – обычное явление. Студенты философского факультета ЛГУ спрашивали, каково официальное мнение по поводу наследования признаков, приобретенных в течение жизни индивида. Я им отвечала вопросом: "А разве в науке существуют официльные мнения?"

Учителям я сказала, что нет никакой мичуринской биологии, а этим именем названо псевдоучение Лысенко, ничего общего с наукой не имеющее. Тут они восстали. Триста сортов плодовых и ягодных растений, выведенные Мичуриным, самая передовая теория, основанная на трудах Маркса, Энгельса, Ленина, – говорили они. Я отнимала у них веру. Никто не видел не только трехсот, а хотя бы одного мичуринского сорта. А кто пробовал плоды выродившихся потомков его питомцев – плевался. В Ленинграде на рынке бабы, торгующие яблоками, говорили: "Это настоящая антоновка, а не какие-то там мичуринские прививки." Но учителям нужно верить, что они существуют, плоды прививок и перевоспитания. В школьных учебниках – портреты Мичурина и Лысенко, следовать им – их патриотический долг, им есть кого любить. То, что

сами они не ели яблок, не то что персик от абрикоса, а грушу от яблока не могли бы отличить, они считали нормой. Они верили, что если не они, не их дети, то их внуки, во всяком случае, будут есть плоды этих восхитительных, лучших в мире трехсот сортов. А лучшие люди едят уже сейчас.

Рассказывали, что Хрущев, побывав в США, сказал: "В Америке никакого мичуринского учения нет, а и хлеб, и овощи, и фрукты есть. А у нас мичуринские сорта загубили." Он знал, что Русь загубила свои плодовые сады. Они, конечно, не знали.

"А в курсе генетики нам совсем другое говорят", – сказал пожилой учитель. Курс этот читал Юлий Яковлевич Керкис. Он ученик Филипченко, талантливый выпускник первой в России кафедры генетики. Он работал в Институте генетики Академии Наук сперва в Ленинграде, потом в Москве, когда директором Института был Вавилов, и работал в том самом отделе, которым руководил Меллер. В 1937 году он взялся научными методами изучать вегетативную гибридизацию томатов и показал, что прививка не меняет наследственных свойств привоя и подвоя. Уж он-то знал, чего стоят мичуринские методы переделки природы. Когда в 1940 году Вавилова арестовали и директором Института стал Лысенко, Керкиса тут же прогнали. Он был директором овцеводческого совхоза в Таджикистане, когда в 1948 году его персона и биография привлекли внимание местных властей и он оказался лицом к лицу со смертью. Вегетативная гибридизация спасла его. До результатов его опытов докопаться некому, а название его статьи его не подвело. Смерть только на миг задержалась у порога его дома, заглянула ему в лицо и прошла мимо. Я слышала как он рассказывал Тимофееву-Ресовскому о своем директорстве. Звучало это так: "Я бросался на койку и плакал вовсе не скупыми мужскими слезами, а как баба".

В 1958 году, когда в Сибири организовался Институт цитологии и генетики, Керкис был приглашен возглавить лабораторию радиационной генетики. Беляев ненавидел его лютой ненавистью. Уж если кому надлежало быть директором Института, – так Керкису, а не Беляеву.

На курсах повышения квалификации учителей Керкис преподносил им настоящую генетику, но о мичуринской биологии отзывался с похвалой. Учителя рассказали ему о моей оценке, и он забеспокоился, – мера того, что весной 1964 годы было дозволено, явно превзойдена. Под угрозу ставилось само существование Института цитологии и генетики. Дамоклов меч висел над ним на волоске. Он сообщил директору Института. И вот тут стало ясно, что имел в виду мой давний друг Юлий Яковлевич, когда в присутствии Эрвина Зиннера он спросил, буду ли я хорошим товарищем. – Будете ли вы вилять хвостом вместе с нами, когда горькая необходимость заставит нас вилять хвостом? Или вы противопоставите себя нам, коллективу, помешаете нам лавировать и своим чистоплюйством погубите дело? – Мой ответ – всегда была и впредь буду хорошим товарищем – был ложью. Эрвин Зиннер, солгав, сказал правду.

Свою кляузу, немыслимую в Реформатской школе, Керкис считал моральным подвигом. Он ставил интересы коллектива выше личной дружбы.

Я принимала экзамены в Новосибирском университете, когда за мной приехала директорская машина. Я прервала экзамен и поехала. В Институте ликование. Директора Института, Д.К. Беляева, избрали членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Избрание в состав Академии кандидата биологических наук, притом беспартийного, каким был Д.К. Беляев, безумная удача на фронте борьбы за генетику, кардинальный стратегический успех. Его кабинет буквально утопал в цветах. Я приложила руку к этому избранию, изобразив скромные достижения Беляева в отзыве, который от имени Ученого Совета направлен в Президиум АН СССР накануне избрания. Оказалось, что меня пригласили не для того, чтобы я могла принять участие в общем ликовании, а чтобы сделать мне головомойку за недостойное поведение с учителями. "Лысенковщина не продержится и трех лет, – сказала я Беляеву в ответ на отеческий разнос, – и вам стыдно будет смотреть мне в глаза, если вы к тому времени не забудете того, что сейчас происходит."

Лысенковщина пала с падением Хрущева в октябре 1964 года, меньше чем через полгода после этого разговора. Но Беляев остался при твердом убеждении в своей правоте. Стыдно ему не было. Высшие соображения руководили им всегда. Только шкала ценностей не им, а всем неизбежным ходом событий повернута на полоборота.

Беляеву судьба назначила быть лидером. Если у кого есть задатки стать у кормила власти, тот и станет вопреки неблагоприятным условиям. А условия выдвижения у Беляева самые отрицательные. Беспартийный. Сын священника. Брат врага народа. Николай Константинович Беляев, талантливый ученый, сотрудник С.С. Четверикова, погиб в 1937 году. В Партию Дмитрий Константинович не вступал не из принципа, а по практическим соображениям – подашь в Партию, начнут копаться в биографии, в Партию не примут, как бы работы не лишили, как бы не посадили. Он слишком труслив, чтобы стать членом Партии. Он советовался со мной в 1967 году, не вступить ли ему в члены Партии. Лень думать, зачем ему понадобилось советоваться со мной. Он налгал, что Астауров вступил в члены КПСС. Я сказала, что про Астаурова не верю, а ему не советую, так как его и так в академики выберут. Он гордо отверг подтекст моих слов. – А я не для того! – Я не спросила, для чего же тогда. Дубинин вступил в Партию после избрания его в Академию, когда стал ее действительным членом. Беляев оставался беспартийным. Его дипломатия не подводила его никогда. Не наличие партийного билета, а именно его отсутствие в иных условиях – козырь. И причины, почему тому или иному деятелю надлежит воздержаться от вступления в Партию, многообразны. И беспартийный беспартийному рознь, как партиец партийцу. Есть беспартийность стихийная, а есть целеустремленная. Можно с уверенностью утверждать, что беспартийность Лысенко и – до поры до времени – Дубинина целенаправлена. Но цели при этом разные. Знаки различия теряют какое бы то ни было

значение перед лицом верховной власти. Она дарует знаки отличия, пренебрегая такими мелочами как партийный билет, университетский диплом и ученая степень. Их отсутствие прекрасно оттеняет могущество властителя. Лысенко, чтобы быть избранным в Академию, партийный билет не нужен. Приказано избрать – его изберут и притом тайным голосованием, независимо ни от чего. Беспартийность Дубинина – мимикрия. Он прикрывает ею свое стремление к власти. В его лице академики защищают истинную науку. Он – ее бескорыстный жрец. Дипломы, степени, звания – у него есть все. Нецеленаправленная беспартийность представлена миллионами тех, кто не стоит на пороге рая, кого либо не допускают к кормилу власти, либо они вне игры по свойствам характера или просто им не судьба. Согласно партийному жаргону, они – беспартийная сволочь. Именно к этой категории и принадлежал до поры до времени Беляев. Когда по приказу Хрущева Дубинина изгнали из директорского кресла и оно досталось Беляеву, ситуация изменилась в корне.

В Академии шла непрерывная борьба. Ученые, – те, от кого зависели военная мощь страны и овладение ее энергетическими ресурсами, – отстояли свои отрасли науки от разрушающего влияния идеологии еще при Сталине. Атаки философов на теорию относительности, на теорию электро-магнитного резонанса они отбили. Теперь, при Хрущеве, они расширили свое влияние, борясь за истинную науку против засилья невежества. Когда защищать Дубинина стало уж слишком опасно, взоры академиков обратились к Беляеву. Могущество Лысенко все возрастало, но возрастало и сопротивление ему. Избрание в Академию – процесс многоступенчатый. Выдвигают кандидатов Ученые Советы исследовательских институтов. На общем собрании Академии рассматриваются не все представленные к избранию, а только те, кто пройдет апробацию соответствующего Отделения Академии. Биологов рассматривает Биологическое Отделение. Ни малейших шансов пройти по Биологическому Отделению Беляев не имел. Лысенко полновластно управлял Отделением. Чтобы ослабить гнет Лысенко, приняты чрезвычайные меры. Создали новое Отделение биофизики, биохимии и активных соединений. По этому Отделению и прошел Беляев в 1964 году в члены-корреспонденты, а несколькими годами позже и в академики. Его беспартийность приобрела целенаправленный характер. Раз беспартийный, значит не карьерист, и академики попались – вернейший слуга Партии стал академиком. Уменье лавировать основано на умело дозированном страхе. Беляев точно знал чего, когда и в какой степени нужно бояться. Чтобы стать лидером, одного страха недостаточно, но без него не обойтись. Сегодняшний лидер накануне смертельно боялся вчерашнего – и только караулил момент, чтобы выявиться. На промежуточных ступенях генератором власти может стать только рычаг, нажимаемый сапогом вышестоящего.

МОИ ПРИВИЛЕГИИ

Защитив диссертацию и став доктором наук, я попала в категорию привилегированных, стала худшей среди лучших. Особое снабжение полагалось докторам, членам-корреспондентам и академикам. Особый продуктовый магазин, особый магазин промышленных товаров, поликлиника высшего типа, закрытый ресторан, закрытые санатории, дома отдыха, привилегированное получение билетов в театр, на транспорт... Дьявольский сарказм звучит в названии учреждения, ведающего распределением жизненных благ среди элиты. Учреждение называется ОРС – Отдел Рабочего Снабжения.

Жилье распределяется по чинам, и разница между коттеджами академиков, коттеджами членов-корреспондентов, квартирами докторов наук и жильем прочих грандиозна. Высота потолков понижается по мере снижения чина и заработка. Плата за электроэнергию повышается. Коттеджи и квартиры для элиты снабжены электрическими плитами. Газа в Академгородке нет. В квартирах для прочих вообще нет плит. Прочие вынуждены готовить на электроплитках, которые берут энергии больше, чем плиты. Прочие платят 4 копейки за киловатт-час, а элита платит – две. Если бедняк просрочил платеж, электроэнергия отключается. Богачи вольны платить, когда им заблагорассудится. Я не прикреплялась к привилегированным магазинам, платила 4 копейки за киловатт-час, и порой пресмешные, порой ужасные драмы разыгрывались на этой почве.

Из привилегированного магазина принесли "подарок" к празднику – икра, консервы, кукурузное масло, пильзенское пиво. За "подарок" надо платить, но тем не менее принесенное – подарок, подарок судьбы. Сплошной дефицит! Назавтра являются – отдавайте обратно, вам не положено, ошибка вышла. Это смешно. Но когда ребенок болен, в жару, с приступом астмы, а никого больше дома нет, а каратель является и отключает свет, – плачу-то я четыре копейки, а не две, – тут уж не до смеха.

Руководили мною, когда я отказалась от привилегий, в равной мере отвращение к неравенству и неосведомленность. Привилегированность скрыта под стыдливым покровом, и никто не торопится его приподнять. Но вот вы узнали, что вам полагается то, что другому не полагается. Вам предстоит бой. Армия, противостоящая вам, – огромный, необозримый аппарат обслуживания, те, кто распределяет, кому что по чину полагается.

Кое-что перепадало и мне. Получить главный предмет вожделения каждого советского человека – заграничную командировку – мне не довелось.

В 1965 году на столетнем юбилее выхода в свет статьи Менделя, в Праге, на секции "Мутация в Популяции" заслушан доклад об исторических и географических закономерностях наследственной изменчивости дрозофил. Доклад мой. Читал его Астауров. Меня приглашали на съезды и для чтения курсов неоднократно. Побывать за границей мне не пришлось ни разу.

1939 год. Седьмой Международный Генетический Конгресс в Эдинбурге. Я была одной из сорока приглашенных. Вавилова – главу делегации и Президента Конгресса не допустили к участию и принудили написать отказ, в форме, Вавилову отнюдь не свойственной. И об этом, и о том, что нас сорок, и что только две страны не участвовали в работе Конгресса – фашистская Германия и Союз Советских Социалистических Республик, – я узнала только здесь, за границей. Немецкая делегация прибыла с требованием открыть секцию расовой гигиены и на отказ ответила бойкотом. Съезд начался до войны, закончился в ее разгаре. Судно, на котором американские ученые возвращались домой, потоплено немцами. Люди спаслись.

Тезисы моего доклада привлекли внимание Джулиана Гексли и в 1945 году я удостоилась чести стать свидетелем профанации русской науки перед мировой общественностью. Об этом рассказано.

1958 год. Я получила приглашение председательствовать на секции популяционной генетики Десятого Международного Генетического Съезда в Монреале, в Канаде, и читать лекции в одном из университетов США и Канады по моему выбору. Предложена зарплата – жалованье, как сказал бы мой отец, – 600 долларов в месяц, и дорогу Оргкомитет Конгресса брался оплатить. Я описала, как бился ректор Университета, чтобы меня включили в делегацию, и как я отказалась ехать, прочтя в самиздате отказ Астаурова. Но еще до того, как письмо Астаурова в ЦК дошло до меня, Александров посоветовал мне поехать в Москву, в Министерство Высших Школ, к министру Елютину и просить поддержки. Я поехала. И зачем только я поехала, неизвестно. Александров, давая совет, действовал по неосведомленности, но я-то знала себя. Я попала на прием к заместителю министра Прокофьеву. Говорю ему, что послать меня не накладно будет, еще и доллары в казну сдам. Он мне возражает, что действия США и Канады предполагают ответные акции со стороны Советского Союза и моя поездка влетит в копеечку. "Да разве в деньгах дело, – говорю ему я, – нужно отстоять поруганную честь страны перед лицом всего мира и показать, что генетика не погибла в нашей стране, а совсем наоборот..." "И с такими идеями вы собираетесь ехать за рубеж?" – спросил он меня в недоумении. Он встал со своего роскошного кресла и прислонился к роскошной стене, как будто я прижала его к стене. Он не дал мне открыть рот. "Мы отказываем вам за неимением денег оплачивать ответный визит." Оставалось только выкатиться из кабинета.

Из Министерства пришла бумажка на Кафедру дарвинизма, подписанная самим министром Елютиным, подтверждающая отказ Прокофьева и его мотивировку. Александров не сдался, обратился в ЦК к

Кириллину, получил обнадеживающую санкцию. Но к тому времени я уже отказалась от намерения возглавить секцию популяционной генетики Международного Конгресса, прочтя слова Астаурова. Уж он-то умел отстаивать честь науки перед всем миром, и акция его поколебала бы веру правителей в непогрешимость Лысенко, не будь Лысенко плоть от плоти тех самых правителей, чью веру надлежало колебать.

1963 год. Меня приглашали на Конгресс в Гаагу и в Прагу читать курс эволюционной генетики. Я даже не аппелировала. Молодой человек по имени Гнесь, агент КГБ, вербовавший меня в стукачи, персонаж "Процесса" Кафки, соблазнял меня музеями и архитектурой Праги, на него большое впечатление произвел музей алхимии. Я и сама соблазнена Прагой, Прагой Цветаевой, и ее каменным рыцарем на мосту, ее готикой... Да, ладно, нечего бередить старые раны. Гнесь не имел никаких шансов убедить меня.

1965 год, и вот я в Новосибирске – профессор, завлаб, доктор наук, не какой-то там кандидатишка, какими пруд пруди, какой была еще два года назад. Юбилей Менделя. Чехословакия. Сто человек, по крайней мере, получили приглашения. Кроме делегатов, едущих за счет государства, отправляется туристская группа. Ее члены платят сами. Я имею все шансы поехать, если не в числе делегатов, то как турист. Все бумаги оформлены. Тезисы посланы еще весной за четыре месяца до юбилея, из Туркмении, где я изучала корреляционные плеяды эфемеров пустыни. Доклад подготовлен. Будущих участников международного форума оповестили телеграммой, что настало время явиться в Москву. Мое имя отсутствовало. Я все же полетела, приняв неполноту списка за недосмотр. С аэродрома в Москве я позвонила Дубинину. "Ваша кандидатура отклонена ЦК, никакие хлопоты не помогли", – пел страстный тенор в телефонной трубке. Я решила, что и это недоразумение. Я отправилась в Президиум Академии Наук, чтобы поговорить с Вице-президентом Академии, главой Отдела науки ЦК, В.Н. Кириллиным. Это ему я писала пламенные письма, прося защиты книжке, написанной мной в соавторстве с С.Н. Давиденковым. Все делегаты и туристы в сборе. И прежде, чем пойти на прием к Кириллину я села в обитое алым бархатом кресло с золоченными ручками в зале, где собрали отправляющихся за границу счастливцев, чтобы преподать им урок патриотического поведения. Все знали, что я не еду. "Вы сами виноваты. Вы наказаны за то, что послали ваши тезисы не через Москву, через комитет, который занимался тезисами, а диким способом", – сказала мне Милиция Альфредовна Арсеньева – генетик старой школы. Мне очень запомнился ее тон. Она не только на стороне тех, кто наводит порядок и чинит расправу. Ей не терпится демонстрировать свою причастность. Все знали, что Тимофеев-Ресовский и Эфроимсон не едут, но помалкивали в тряпку, боялись рот раскрыть. Мы молча выслушали наставления, как вести себя за границей. Мы молчали. Все, кроме одного. Когда выяснилось, что главой делегации будет Столетов – в прошлом один из гнуснейших апологетов Лысенко, влиятельный и чиновный при всех трех сменяющихся главах правительства, – возвысил голос Рапопорт и сказал,

что незачем генетикам плестись в хвосте у Столетова, уж очень он себя скомпрометировал как приверженец Лысенко. Никакой реакции не последовало. Разошлись.

Секретарша Кириллина предельно любезна: – Вот выйдут представители Общества "Знание", и я могу пройти к Вице-президенту. – И тут я увидела Дубинина: "Николай Петрович, идите к Кириллину, попросите за меня", – он с готовностью согласился. На одну секунду я отвлеклась, приветствуя одного из делегатов, и прошла, чтобы вместе с Дубининым идти к Кириллину. Секретарша сказала, что Дубинин дал все нужные сведения, мне отказано, Кириллин отказывается выслушать меня. Дубинина и след простыл. Все уехали. "Почему вы в Москве, а не в Брно?" – спросила меня Татьяна Антоновна Детлаф, ученица и великая почитательница Дмитрия Петровича Филатова, знавшая всех и весьма проницательная. "А вы так и поверили? Идите в Иностранный Отдел Президиума Академии и спросите, на каком этапе отвергнута ваша кандидатура. Не поленитесь. Ложь, сочиненная Дубининым, будет иметь последствия. В ваших интересах выяснить истинное положение вещей." Я пошла. Молодой человек в Иностранном Отделе, огромный, стройный, в светлом костюме, разговаривал со мной стоя. У него такой красивый галстук, что я глаз не могла оторвать. Мне казалось, что галстук стоит дыбом перпендикулярно к торсу молодого полубога. "Списки подавал Дубинин, – сказал мне молодой полубог. – Ваше имя он вычеркнул и написал мотивировку. – 'Без доклада'. В список, направленный в ЦК, ваша кандидатура не вошла." Мой доклад на секции "Мутация в Популяции" в Праге прочел Борис Львович Астауров. Доклад напечатан в трудах Конференции. Мне никогда не представился случай увидеть Дубинина и сказать ему пару теплых слов, что я непременно сделала бы при встрече. В описании секционных заседаний, опубликованном в журнале "Генетика", где особое внимание уделено участию советских генетиков, мой доклад не упомянут. *

Приглашения приехать на конференцию или читать лекции я получала и позже. В 1967 году Университет им. Гумбольдта в Берлине пригласил меня читать на юбилейных торжествах по случаю пятидесятилетия Октябрьской революции. Бумаги посланы, все медицинские справки

---

* В 1980 году, уже после того, как были написаны эти строки, я встретила Дубинина в Канаде, в Оттаве, на Международной Конференции по охране генотипа человека от мутагенного действия внешних факторов. Я демонстрировала результаты исследований по спонтанному мутагенезу у человека и дрозофилы. Дубинин был без доклада. Он разлетелся было приветствовать меня. "Людям вашего типа я руки не подаю", – сказала я ему. "Но почему?" – воскликнул он в величайшем изумлении. "Вы знаете, почему", – сказала я. Разговор на том был закончен. В 1981 году, будучи на конференции в Токио, я узнала, что Дубинин снят с поста директора Института генетики АН СССР и не состоит больше консультантом по биологии в Отделе науки ЦК. В Токио его не пустили.

в полном порядке. Начальник Иностранного Отдела Президиума Академии, на этот раз в Новосибирске, очень пространно объяснил мне, что Иностранный Отдел Академии Наук, куда посланы бумаги, вряд ли ответит, а, если ответит, то только тогда, когда ехать будет поздно. "Если бы Иностранный Отдел стал отвечать на все письма, понадобился бы еще один Президиум..." Я не стала дожидаться ответа и уехала в экспедицию – последнюю из Новосибирска.

В 1968 году я была включена в делегацию для участия в Двенадцатом Генетическом Конгрессе. Мне предстояла поездка в Японию, страну моей мечты. Меня вышвырнули из делегации, когда стало известно, что я подписала прошение о пересмотре приговора Гинзбургу и Галанскову. Но мне было не до Конгресса. Нет, мне должно было быть не до Конгресса, будь я благоразумней. Только бюрократический недосмотр спас меня от тюряги. Я и действительно в ту же осень 1968 года, находясь под дулом пистолета, участвовала в Международном Конгрессе, только проходил он не за границей, а в Москве. Был это Тринадцатый Энтомологический Конгресс. Меня избрали Председателем Секции генетики и цитологии насекомых. И на этом посту настигла меня карающая рука закона, меня вышвырнули, и Вице-президент Конгресса, великий специалист по тутовому шелкопряду, Борис Львович Астауров, возглавил секцию. Я все же председательствовала на одном из заседаний секции. Переводчица только одна, и владеет она только английским, и, когда канадцы задавали вопросы французу Давиду на французском, я переводила сама, прослыла знатоком французского языка и жестоко поплатилась. Я устроила прием в гостинице для всех участников заседания, сидела за столом с женой Давида и с превеликим трудом изъясняла ей, в ответ на ее вопрос о русских супах, разницу между щами, борщом, окрошкой, солянкой, рассольником и ухой.

В 1957 году я участвовала в Первом Международном Симпозиуме по Возникновению Жизни на Земле. Доклад делала. Печатала. Однако ни в 1957, ни в 1968 году на торжества в Кремль билета мне не выдавали. Всю жизнь меня оставляли без сладкого.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ОБРАЗЕЦ КАЛЛИГРАФИИ

Настал день и час, когда мне загорелось узнать, была ли дрозофила единственной игрушкой в руках общеземных сил, или вспышки мутабильности захватили и другие существа. Наследственная информация закодирована у всех живых организмов с помощью одних и тех же веществ – нуклеиновых кислот. Огромные молекулы этих кислот не соблюдают закона, обязательного в мире малых молекул – закона постоянства составляющих молекул атомов. Гигантам разрешена некоторая мера свободы. Взаимное расположение атомов этих молекул варьирует как по длине нити, так и от нити к нити. Эти, уже не химические, а геометрические различия и служат для записи команд, которые родители вкладывают в тот комочек живой материи, из которого разовьется будущий потомок. Законы записи информации одни и те же, будь то яйцо, или пластинка проигрывателя, или строка книги. Знаки вступят в действие в определенной последовательности. Их запись – предвосхищенное время. Время одномерно, и его одномерности соответствует линейность записи. Элементы кода наследственной информации не отличаются друг от друга химически, а только геометрически. Точь-в-точь как буквы строки, как знаки азбуки Морзе, как элементы записи на магнитофонной ленте. Знаки наследственного кода – гены. Раз какой-то общеземной фактор способен вызвать изменения одних и тех же генов в популяциях дрозофил, разобщенных и изолированных друг от друга, не простерлось ли его действие на гены других организмов, на гены человека? Настал же когда-то момент, когда желтые мутанты стали возникать среди мух повсеместно. Может быть, какая-то мутация у человека тоже стала возникать повсеместно? Решено изучать даты рождения больных, отягченных наследственным недугом, и ввести в состав лаборатории человека с медицинским образованием.

На все, чем я обладаю, или когда-либо обладала, всегда находился претендент, по большей части успешно завершавший экспроприацию. Муж, жилплощадь, штатное место для меня или для моего сотрудника, идея, собственность – деньги, дача, – на все были претенденты или претендентки, более или менее ловкие. Аспирантское место для молодого врача, подавшего на конкурс, то появлялось, то вновь исчезало, но в конце концов дело утряслось. Аспирантка для изучения дат рождения больных заняла место в лаборатории. Но до осуществления замысла было как до звезд.

Утвердить тему, да еще в качестве кандидатской диссертации, результат которой мог оказаться нулевым, дирекция не соглашалась. Темы исследований делятся на проходимые и непроходимые. Проходимые – несомненно ведут к цели – получение степени, непроходимые – не гарантируют успех, диссертация может не пройти большинством голосов на Ученом Совете.

Ученые степени и, главное, порядок их присвоения – великий тормоз в развитии науки.

Не истинная ценность исследования, а уменье угодить вкусам тех, кто будет голосовать, решает исход дела. Поиск, новаторство, риск – тут уж не до них. Степень нужна во что бы то ни стало. Без нее семью не прокормить, без нее нет даже тех крох свободы творчества, которыми обладает кандидат. Без степени, уверяю вас, много хуже, чем со степенью. Даже жилплощадь предоставляется кандидату большего размера, чем ученому без степени. Вы отказываетесь понимать, что это значит. Сейчас поясню. Полагается по закону девять метров на человека, квадратных, само разумеется. Вы живете в комнате в коммунальной квартире. Площадь – восемнадцать метров. За лишнюю площадь вы платите больше, чем за ваши законные девять метров. Но вот, о счастье, вам присвоена ученая степень! Вы имеете право на комнату независимо от ее размеров.
мальски уклоняется от стандарта. Защита – куда ни шло. О качестве работы будет судить Ученый Совет Института или Университета, где заведомо есть специалисты в той области, в которой работал диссертант. Автореферат будет разослан по всем городам и весям Советского Союза, где есть специалисты нужной специальности. Отклики будут приняты во внимание при присвоении степени.

Утверждает тему тот самый Ученый Совет того самого Института, где будет проводиться исследование. В составе Ученого Совета может не оказаться ни одного человека, способного оценить вероятность успеха. Именно так дело и обстояло в Институте цитологии и генетики Сибирского Отделения Академии Наук СССР. Аспирантка, докладывая, старалась подчеркнуть трудности и представить идею в самом глупом виде. Угроза ликвидации аспирантского места к тому времени исчезла, и аспирантка, увы, оказалась полновесным продуктом эпохи научного социализма.

Идея изучить изменения частоты возникновения мутаций у человека получила ярлык темы непроходимой, никто не верил в возможность раздобыть материал в стране, где само понятие наследственного признака многие годы считалось крамолой.

Пока шли дебаты, я изыскивала источники материалов и средства, чтобы оплачивать тех врачей, кто будет доставлять мне материалы из клиник и исследовательских институтов. Удача следовала за удачей. Нина Александровна Крышова – блестящая ученица и сотрудница Давиденкова предоставила архив Давиденкова в мое распоряжение и приставила сотрудницу – Наталью Геннадиевну Озерецковскую, – чтобы извлекать из архива необходимые мне сведения.

Чтобы исключить субъективный момент в выборе данных, мы с Ниной Александровной решили держать Наталью Геннадиевну в неведении. Она не должна знать, что мы ожидаем неравномерности в распределении дат рождения больных. Она и не подозревала, что мы ожидали максимума кривой во второй половине тридцатых годов. Несомненность диагноза, основанного на длительном изучении больного, уверенность в наследственном характере болезни, детальное описание симптомов служили критериями включения

больного в список. Возможность оплачивать врачей могла предоставиться только в порядке чуда, и чудо совершилось. В Академгородке возникло по мановению Райкома Комсомола новое и до того времени никода не существовавшее учреждение – контора по трудоустройству студентов Новосибирского университета. Звалось учреждение "Факел". Контора брала у исследовательских институтов заказы на выполнение срочных авральных заданий вроде заполнения социологических анкет, – Институт экономики изучал миграции населения, трудоустройство молодежи, вкусы читателей газет, – институты платили конторе, контора студентам. Дело росло и ширилось. Как сказал кто-то умный – частная собственность на землю способна превратить камень в цветущий сад. Под этим девизом, по свидетельству Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, проходила в середине прошлого века крестьянская реформа, завершившаяся в 1861 году ликвидацией рабства в России. Сдельная оплата способна превратить халтурщика в энтузиаста. "Факел" запылал ярким пламенем. Через год его оборотный капитал достиг миллиона рублей. Во главе конторы стоял ее Ученый Совет – доктора наук всех специальностей входили в него на добровольных началах. В воздухе запахло грозой. Центральные газеты еще прославляли детище Райкома Комсомола, на заседаниях Совета обсуждалась программа строительства завода по изготовлению нестандартных приборов по заказам лабораторий, но чувствовалось, что надвигается катастрофа. "Факел" бросал яркий свет на несовершенство оплаты труда не по продукции, а по чину. Нищенские зарплаты производителей порождали саботаж, скрытый за ничегонеделаньем протест, негласную стачку. "Где бы ни работать, лишь бы не работать." "Они делают вид, что платят нам, а мы делаем вид, что работаем", – говорили работяги. Анекдот рождался за анекдотом. Пыланье "Факела" грозило вот-вот угаснуть, задутое холодным ветром административного вмешательства. Хорошо еще, если разгром ограничится административными мерами и никто из распорядителей не окажется за решеткой. Совет "Факела" решил меценатствовать – дать деньги на оплату поисковых тем, поддержать риск. Волею судеб и игрою случая я стала первым объектом благотворительности. Зная, что дело все равно добром не кончится, я наотрез отказалась от оплаты моего труда. С бесконечной благодарностью и со страхом за судьбу моих благодетелей я приняла скромные деньги на оплату врачей, поставляющих материалы для темы.

В тот самый миг, когда в Институте исчезла какая бы то ни было надежда на утверждение темы, подоспели первые материалы. Предположение, что даты рождения больных, отягченных наследственными заболеваниями, распределены во времени неравномерно, подтвердилось. Максимум рождения приходится на вторую половину тридцатых годов. Тема в Институте утверждена. В самый разгар работы благополучию пришел конец. Контору "Факел", как того и следовало ожидать, прикрыли. Мой прогноз оправдался только отчасти. Никого не посадили. Для продолжения моей работы я в финансовой поддержке "Факела" и ни в чьей поддержке не нуждалась. Со мной работали врачи энтузиасты, дорожившие возможностью публиковать свои работы в академических

журналах. В центре внимания теперь стояли психические заболевания. Серия статей в соавторстве с Ниной Александровной Крышовой и Натальей Геннадьевной Озерецковой вышла из печати.

Генетикой человека я продолжала заниматься и после изгнания из рая. В 1970 году в Риге мы с Райпулисом – доцентом Латвийского университета ждали према к Главному врачу Рижской психиатрической больницы. Главврач – женщина, министр здравоохранения Латвии. Мы разговаривали с Райпулисом в комфортабельной приемной психиатрической больницы. К нам подсел пожилой человек и с интересом слушал наш ученый разговор. Райпулис рассказывал об обнаруженных им в деревнях больных фенилкетонурией. Главный симптом этой болезни – умственная отсталость. Однако латыши, выявленные Райпулисом с помощью биохимического теста, никакого умственного расстройства не обнаруживают. Их пища почти лишена белков и жиров, и голодная эта диета препятствует проявлению болезни. Райпулис еще не кончил повествовать, как старик заснул. Пришла пожилая женщина, разбудила его, они были последними в очереди. К нам вышла секретарша главврача и сказала, что прием закончен, нас примут, а тех, кто за нами – нет. "Нет, – сказала я, – мы можем и в другой раз прийти, у нас дело не срочное, организация научных исследований по генетике психических заболеваний, пусть те, кто за нами, пройдут." После некоторых препирательств секретарша возвестила, что могут пройти сразу все. Кабинет огромный, не кабинет – зал заседаний. Издали мы видели, что разговор главврача и стариков принял благоприятное течение. Когда мы вышли, прекрасно обтяпав наше дело, Райпулис спросил: "Знаете, кто эти люди? Родители того молодого человека, который в знак протеста против ввода войск в Чехословакию поджег себя. Огонь потушили, юношу избили и поместили в психиатрическую больницу."

Пять лет я провела в Академгородке. Пять лет каждую осень снаряжалась экспедиция для изучения мутабильности в естественных популяциях дрозофил. Две экспедиции имели цель изучение корреляционных плеяд.

Во время одной из экспедиций мне довелось познакомиться с замечательным человеком. Его уже нет в живых. Он жил в Бухаре на пенсии и когда-то заведовал Кафедрой иностранных языков в Педагогическом институте в Бухаре. Он говорил по-узбекски и стригся, как полагается узбеку. Интеллигентность его облика от этого ничуть не страдала. Наше знакомство состоялось в 1967 году. Семь человек участвовало в этой последней экспедиции, выехавшей из Академгородка: Катя и Клара, Люся – участники прежних экспедиций, Витя Козлов, тогда еще школьник, фымышонок, ныне сотрудник Института цитологии и генетики.

Не могу без нежности вспоминать этого мальчика. Он как воздух, как здоровье, как счастье, как все то, чем наслаждаются, не замечая.

Володя Иванов – студент второго курса Новосибирского университета, спасенный мной от исключения из Университета и вызволенный

из Армии, куда был немедленно призван после исключения. Он смертельно влюбился в меня, забросил ученье, сделал прекрасную работу в моей лаборатории и поплатился.

Шестым моим спутником был Юрий Николаевич Иванов. Пугали его пугали, сажали, ссылали в хрущевские времена, да не запугали. Смелее его разве что протопоп Аввакум.

Был в составе экспедиции и еще один человек – бездельник. Наобещал с три короба, а поехал только, чтобы за казенный счет прокатиться. Восемь человек, четверо мужчин, четыре женщины.

В Бухаре мы шатались по базару, завтракали в забегаловке базара под открытым небом печеными баклажанами и мантами. Манты – нечто вроде пельменей. Весь Восток – всякий, Ближний, Дальний – заворачивает в раскатанное тесто сдобренное чесноком и перцем молотое мясо и варит его в кипятке. Я люблю базары – музеи народной жизни. С базара мы отправились в музей города, выстроенный на развалинах дворца последнего бухарского эмира. От дворца остался один щебень. Мы окончили осмотр, и Люся плакала огромными слезами и кричала: "Уедем, сейчас же уедем из этого гадкого города." Ее потрясли сделанные с предельным цинизмом картины и муляжи пыток и казней, которым подвергались бедняки со стороны богачей, пока бедняков не избавила от страданий Советская власть. Мы не успели последовать требованию Люси и расстаться с шедеврами соцреализма, как в музее стало известно, что его осматривает экспедиция из Академгородка. К нам вышел сотрудник музея помочь нам разобраться в виденном. Он рассказал нам о нравах гарема эмира, массу пошлостей, а в заключение сказал: "Видите минареты двух медресе. Идите туда. Там живет Сергей Николаевич Юренев. Ему предлагали квартиру в новом доме. Он отказался. Он вам покажет Бухару. Он ни с кем знакомиться не желает, но для вас, – это относилось ко мне, – быть может, сделает исключение. Он ленинградец." Мы нашли Сергея Николаевича, и он сделал исключение. Он занимал четыре кельи бывшего монастыря. В двух – жил он сам и размещалась его библиотека. В двух – он хранил сокровища, найденные им при раскопках. Он сам копал землю.

Он повел нас в чайную и учил держать пиалу и пить чай. С ним мы были на праздновании обрезания, видели танцы на ходулях, и он учил нас, кому, когда и сколько денег надо давать. Мы осматривали гигантские мечети и кладбища, где покоятся давно усопшие родственники Магомета. Улицы Бухары как бы крадутся между глиняных стен. Темная глина еще не просохших стен инкрустирована соломой, и солома горит на солнце, как чистое золото. Вечером мы пили в верхней келье Юренева чай в прикуску с тростниковым сахаром. Описывая свое путешествие по Афганистану, Н.И. Вавилов сообщает, что в Кабуле на базарах можно встретить целые ряды лавок, продающих куски твердого выпаренного из тростника сахара с карамельным вкусом, весом от 150 до 250 грамм. В Афганистане сахарный тростник был тогда, в 1927 году, единственным сахаристым растением. Мутные комки, которыми угощал нас Юренев, наколоты маленькими кусочками. Больше никакого

угощения не было. Наши дары отвергнуты. Четыре его кельи располагаются в двух этажах. Из каждой из двух нижних комнат лестница ведет в верхнюю комнату. Мы пили чай в одной из верхних – в библиотеке. "Сергей Николаевич, я – как член Художественного Совета Дома Ученых Академгородка приглашаю вас выступить с докладом о прошлом Бухары. Дорога будет оплачена", – говорю я ему. "Я не специалист. Мне не о чем говорить." "Сомневаюсь. Печатали ли вы результаты ваших раскопок? Покажите." "Я ничего не печатал. Впрочем, могу показать вам нечто, написанное мною. Но только вам одной. Пусть молодежь выйдет." Семь человек удалились. Сергей Николаевич указал мне на маленький занавес, прикрывающий часть стены. Алый бархат окантован золоченым шнуром. Золотая бахрома идет по нижнему краю. Толстые золоченые шнуры держат занавес и уходят под самый потолок. "Поднимите", – сказал Сергей Николаевич. Занавес прикрывал картину. Золоченая рама отличалась изысканной простотой. Картина представляла собой первоклассный образец каллиграфии. На белом фоне стояло одно слово: "Насрать."

Три кошки обитали в медресе. Их звали Кисочка, Кошечка и Котяшечка. На прощанье я сказала Сергею Николаевичу: "У меня очерк в журнале "Знание-Сила" печатается. 'Чем кошка отличается от собаки.' Хотите пришлю?" "Пришлите, пожалуйста. Только разрешите поблагодарить вас заранее. Я писем не пишу. Итак: благодарю вас за ваш прекрасный очерк, который доставил мне массу удовольствия."

Я писала ему, просила прислать карту Бухары с обозначением гнезд аистов. Аисты Бухары! Каждая пара из года в год гнездится в одном и том же месте и использует старое гнездо. Фундамент растет и образует колонну. Высота пьедестала некоторых гнезд достигает полутора метров. Грунт города поднимается в год на один сантиметр, археологи называют этот пласт культурным слоем. Культурные слои гнезд аистов на минаретах, на тутовых деревьях главных улиц Бухары волновали меня очень мало. Я хотела получить письмо Сергея Николаевича. Ни одного письма я не получила.

Мишенька Мейлах, Николай Николаевич Воронцов по моей просьбе навещали Сергея Николаевича. От них я узнала, что он умер.

Последний золотой рыцарь, встреченный мною, русский интеллигент эпохи строительства коммунизма.

ЭСТАФЕТА СТРАХА

Роман Пастернака "Доктор Живаго" мне посчастливилось прочесть еще в Ленинграде до моего переселения в Новосибирск. Дали мне его мои друзья – прекрасная экзотическая супружеская пара. Он – физик-теоретик, первостатейный красавец – седина такая красивая – темные и седые волосы равномерно перемежаются друг с другом, блестящие глаза, изящный профиль, красивый тембр мужественного голоса. Его лицо сияло умным доброжелательством, самозабвенной заинтересованностью в судьбе, мнениях, мыслях собеседника. Она – преподавательница марксизма-ленинизма, заведующая идеологической кафедрой одного из бесчисленных ВУЗов Ленинграда, пикантная курнофейка, моложавая, хохотушка, отличная хозяйка. Мы с Геночкой Шмаковым вдвоем ходили к ним в гости, и, пока Геночка читал хозяйке Кузмина и Мандельштама и пил с ней водку, мы с хозяином упивались умными разговорами. Лукуллов пир следовал неизменно. Чтобы посмеяться над буржуазными замашками советских интеллигентов, я, на вопрос, что бы я хотела к ужину – выбор между семгой, икрой, ростбифом и тому подобными деликатесами, – попросила перловой каши. Перловая каша, чечевица, вяленая вобла, пшенная каша – все, что утоляло голод в голодные годы, – навсегда осталось для меня непревзойденным образцом гурманства. Но и богачи-хозяева, мои ровесники, прошли тот же путь, что и я. Дефицит среди дефицита – брикеты перловой каши и вяленая вобла были тут же извлечены из холодильника. Мои вкусы не составляли, оказывается, исключения.

От них я получила "Доктора Живаго". Оба в равной мере – тайные диссиденты, но марксистка-ленинистка изъявляла свое диссидентство более свободно, чем физик-теоретик. Она предложила мне книгу, не вняв его ненастойчивому протесту. Пакетик завернут в газетку. Я развернула дома пакет – том Бальзака. Это была только обложка.

Когда я приехала в Новосибирск, мне был преподнесен подарок – "Доктор Живаго". Самиздат тек ко мне рекой. На ловца и зверь бежит. 1963-й год. Книгу Жореса Медведева, напечатанную на машинке, где языком знатока говорила сама История, вынося приговор Лысенко, мне подарил не кто иной, как директор Института... Дмитрий Константинович Беляев.

Окна моей роскошной трехкомнатной квартиры снаружи имели подоконники, крытые железом. Железную покрышку можно было приподнять. Под нею хранился "Доктор Живаго". Томик подпирал потолок своего укрытия, и рядом с ним скворцы свили гнездо и обзавелись потомством. Писк птенцов гарантировал надежность укрытия. Почти никто не читал тот экземпляр, который охраняли скворцы. Но молодой учитель математики, приглашенный готовить мою дочь Машу к вступительному экзамену в Новосибирский университет, читал. Я

заручилась их обещанием, что они будут прилежно работать – он учить, она учиться, – и улетела на Камчатку. Я готова была реветь и биться головой об стенку, когда в Петропавловске-на-Камчатке я получила телеграмму: "Маша поступать в Университет не будет. Уехали Сашиным родителям. Вернемся незнамо когда. Маша и ее Саша." Я приехала и застала квартиру пустой, чисто убранной, цветы политы. Ухаживал за ними мой неизменный молодой друг, художник Слава Воронин. Маша и ее Саша вернулись, когда сдавать экзамены было уже поздно. Саша поселился у нас.

Вскоре он поведал мне следующую историю. Уезжая, Саша попросил Славу ухаживать за цветами и оставил ему ключи. "Доктора Живаго" он обещал своему другу Толику. Слава, зная, что я не воспрепятствовала бы, устроил в моей квартире шахматный клуб. Толик зашел вечером взять "Доктора Живаго". Ему открыла Танечка, молоденькая жена Сенечки Кутаталадзе. Про Сенечку я уже знала, что он ко мне приставлен стукачем и имела случай указать ему на дввcovering. Придется мне на миг прервать изложение сашиного взволнованного повествования и рассказать про Сенечку. Сенечка готовился ехать "по обмену" учиться в США, и это его кое к чему обязывало. Наш последний разговор я помню отлично. Я говорила, что продавца, торгующего из-под прилавка, т.е. занятого тем, что я называла канализацией обмена с целью получения наибольшей выгоды, нельзя осуждать, т.к. без этого не проживешь. Он настаивал, что нужно не только осуждать, но и карать. Путь к обеспеченному существованию лежит через образование, а оно доступно каждому. Отец Сенечки – директор академического института, закрытый распределитель в его распоряжении. Сенечка ясно рисовал себе картину, как икра, предназначенная его отцу, служит целям повышения реальной заработной платы продавца, а его отец вынужден довольствоваться менее престижным асортиментом лакомств. Я возразила, что на пути получения диплома, а тем более степени, стоят преграды, для честного человека непреодолимые. Барьер – экзамен по идеологическим предметам, где спрашивают не знаний, а исповедания веры. "Можете вы представить себе творческую личность, Бродского, к примеру, на экзамене по марксизму-ленинизму?" – спрашивала я. "Путь в университет для Бродского закрыт." Сенечка потерял над собой контроль. "Мы требуем с них так мало, а они отказываются выполнить даже и это", – сказал он. Мы... они... "Сенечка, – сказала я ему, – я стыжусь иметь знакомых, подобных вам. Вы, Сенечка, от меня уйдите и больше никогда не приходите." Он бил отбой, просил не изгонять его, но дружбе нашей пришел конец. Саша поведал, что жена этого Сенечки вынесла Толику "Доктора Живаго". Толик прочел и дал почитать своей знакомой девице. А девица – tabula rasa – нечто нетронутое, свободное от всяких влияний. Она не подозревала о существовании самиздата и о том, что за чтение и распространение того самого тома, который она читала теперь с упоением, Юра Меклер получил четыре года лагерей. Партийная дама предложила ей заняться общественной работой – идти оформлять газету Института. "Не могу! У меня дома такое чтиво, такое чтиво! "Доктора

Живаго" читаю." Ее тут же вызвали в спецотдел. "Вы, говорят, "Доктора Живаго" читаете, правда ли?" "Читаю!" "А кто вам дал?" Она называет Толика. "А вы не дадите ли нам почитать?" "Хорошо, только мне надо разрешение спросить." И она называет Толика. Она не успела попросить у него разрешение. Толика вызвали в спецотдел. "Вы, говорят, "Доктора Живаго" читаете. Правда ли?" Толик аспирант, тертый калач, его в Болгарию на конференцию посылают. "Что вы? – говорит, – и в глаза не видал. Вот разве вы дадите мне почитать." "Мы вам очную ставку устроим. Тогда хуже будет." "Да с кем хотите очную ставку устраивайте. Я этой книги никогда не видал." На том его отпустили. Толик к Саше. Саша ко мне. Свой рассказ Саша зключил предложением снести "Доктора Живаго" в полицейский участок, раз надзиратели выразили желание почитать прославленный роман. Он уже тогда был завербован, приставлен ко мне в стукачи, но поняла я это много позже, когда в свете прямых доказательств восстановила в памяти несколько косвенных. "Нет, – сказала я, – гоните Толика ко мне." Является Толик. "Вы сказали, что не видели "Доктора Живаго". На том и стойте. Гоните ко мне девицу." Приходит девица, ни жива, ни мертва. "Вы сказали, что "Доктора Живаго" вам дал Толик. Так вот, вы пойдете в Спецотдел и скажете, что Толик книги и в глаза не видал, а книгу эту вам дала Раиса Львовна Берг и она велела вам это им передать." Девица ушла.

Ни малейшего донкихотства я не совершала. И гипноз, заставляющий тушканчика прыгнуть в пасть к удаву, не играл тут ни малейшей роли. И прыгать мне не приходилось – я была уже в пасти удава. "Они" отлично знали, откуда у девицы взялся "Доктор Живаго". Толику его вынесла Танечка – жена Сенечки Кутаталадзе. В США "по обмену" за даром не посылают. Моя акция мешала надсмотрщикам вербовать в стукачи Толика, Сашу, девицу.

Прошло два дня. Приходит девица. Она, оказывается, пошла в спецотдел вместе с Толиком. Там она сказала: "Вот я вам сказала, что он мне книгу дал. Это неправда. Он ее и в глаза не видал. А книгу дал мне один человек, и человек этот велел мне идти к вам и назвать его имя. А теперь можете меня на маленькие кусочки резать, я вам этого человека все равно не назову." Она рассказывала плача. Видно, и там плакала. Они сказали, что резать ее на маленькие кусочки никто не собирается. "Доктор Живаго" занял свое место рядом с опустевшим гнездом. Крыша его убежища стала крышкой гроба. Потом ее завалил снег. Толик уехал в Болгарию. Саша остался при Маше и при мне.

Когда я получила через некоторое время предложение явиться в спецотдел Института автоматики, под надзором которого находился, кроме Института автоматики, и наш Институт, я знала за собой немало грехов и дрожала. Оказалось, однако, что призывают меня для участия в эстафете страха в качестве промежуточного, а не конечного звена. Начальник отдела, на удивление похожий на Эрвина Зиннера, предложил мне расписаться в том, что я читала некий важный документ. Все

завлабы должны поставить свою подпись на оборотной стороне последнего листа документа. Некоторые подписи уже стояли. Документ – письмо, не письмо, циркуляр, не знаю как назвать эту бумажку, – содержал осуждение директора Института экономики Агамбегяна. Пользуясь своим высоким званием члена-корреспондента Академии Наук, он позволял себе недостойные выпады против страны, взрастившей его и давшей ему все условия для свободного творчества. И не только слушатели его многочисленных докладов, но и иностранные корреспонденты черпали ложные сведения об экономическом положении страны Советов. Суть клеветнических выпадов Агамбегяна, само собой, не излагалась во избежание переориентации мишени. Под циркуляром стояла подпись Президента Академии М.В. Келдыша. Мое первое и очень сильное побуждение – написать: не подо всякой мразью подписываюсь, – и поставить свою подпись. Нет, меня просили только подтвердить, что я читала эту мерзость, и я ее действительно читала. Я подписалась. Я слышала один из докладов Агамбегяна. Он выступал в нашем Институте. Он был очень мягок и в меру критичен. Он говорил о головотяпском планировании, преступно медленных темпах строительства, замороженных капиталовложениях, дающих одни убытки, о разобщенности объектов, которым надлежало находиться по соседству, о катастрофическом положении транспорта. Истины, преподносимые им, были очевидны, примеры носили анекдотический характер в строгом соответствии с действительностью. О системе оплаты труда как причине падения производительности труда и качества продукции он не говорил. Он не говорил, что счетно-вычислительные устройства, многие годы после их введения в планирование загнивающего Запада, считались у нас идеологической диверсией, направленной против основ диалектического материализма.

"Мстислав Всеволодович ошибается, я напишу ему об этом", – сказала я начальнику отдела. "Какая хорошая мысль, – сказал начальник отдела. Как я завидую вам, ученым, вы ко всему подходите с позиций науки. Написал бы и я, но образования нет." "А по-моему, тут никакого образования не требуется, а только человеческое достоинство и знание Конституции", – сказала я. "Вот бумага, садитесь и пишите, – предложил он. – Я сам отправлю." Я написала, что считаю осуждение Агамбегяна ошибкой. Люди и так напуганы до полусмерти, боятся рот раскрыть для самой умеренной, самой конструктивной критики, а тут еще и Вы на посту Президента Академии включились в число тех, кто неумелым руководством тормозит развитие экономики нашей страны. Доклады Агамбегяна не унижают достоинство члена Академии, а возвышают его. О нарушении им конституционных прав не могло быть и речи. Циркуляр следует отменить. "Я должен согласовать отправку этого письма с дирекцией вашего института, – сказал двойник Эрвина Зиннера. – Завтра в два я буду у вашего директора."

Назавтра в два я сидела в приемной директора. Без очереди вошел к нему начальник спецотдела с папкой под мышкой. С озабоченным лицом, ни с кем не здороваясь, прошел замдиректора Салганик,

вызванный, очевидно, к диерктору телефонным звонком. Меня к обсуждению не привлекли. Глава спецотдела вышел от директора и, не заметив меня, удалился. Больше я о своем письме ничего не знаю. У нас начальство на письма не отвечает.

Когда сорок шесть сотрудников Институтов написали письмо в защиту политзаключенных, среди тех, кто подписывал, были экономисты из Института, руководимого Агамбегяном. Агамбегян должен был принять меры. Говорили, что он свирепствовал меньше других. Слух о моем письме Мстиславу Всеволодовичу мог дойти до ушей Агамбегяна. Я из него секрета не делала.

Стыдно признаваться в своей глупости, но что было, то было. Чеховский мальчик, отправляя письмо на деревню дедушке, не показывал его свирепой жене сапожника, той, что тыкала ему в лицо неумело вычищенную им селедку.

СУД И РАСПРАВА

Свою подпись под письмом сорока шести я поставила одной из последних. В письме сотрудники институтов и преподаватели университетов выражали протест против отсутствия гласности суда над политическими преступниками и требовали пересмотра дела при открытых дверях. Защищали они Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашкову. Будь я автором, я выразила бы протест в более дипломатичной форме, но подписи уже стояли. Я поставила свою. Вот текст этого письма:

"Генеральному Прокурору СССР Руденко
Верховному Суду РСФСР

Копии: Председателю Президиума Верховного Совета Подгорному
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Адвокатам Золотухину и Каминской
В редакции газет "Комсомольская правда" и "Известия".

Отсутствие в наших газетах сколь-либо связной и полной информации о существе и ходе процесса А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского и В. Лашковой, осужденных по ст. 70 УК РСФСР, насторожило нас и заставило искать информацию в других источниках – в иностранных коммунистических газетах.

То, что нам удалось узнать, вызвало у нас сомнение в том, что этот политический процесс проводился с соблюдением всех предусмотренных законом мер, например, такой, как принцип гласности. Это вызывает тревогу.

Чувство гражданской ответственности заставляет нас самым решительным образом заявить, что проведение фактически закрытых политических процессов мы считаем недопустимым. Нас тревожит то, что за практически закрытыми дверями судебного зала могут совершаться незаконные дела, выноситься необоснованные приговоры по недоказанным обвинениям.

Мы не можем допустить, чтобы судебный механизм нашего государства снова вышел из-под контроля общественности и снова вверг нашу страну в атмосферу судебного произвола и беззакония. Поэтому мы настаиваем на отмене приговора Московского городского суда по делу Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой и требуем пересмотра этого дела в условиях полной гласности и скрупулезного соблюдения всех правовых норм с обязательной публикацией всех материалов в печати.

Мы требуем также привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении гласности и гарантированных законом норм судопроизводства."

"Известия" и "Комсомольская Правда" – единственные газеты, где публиковались скудные и явно искаженные сведения о процессе. Золотухин и Каминская защищали Гинзбурга и Галанскова на суде.

Мы требовали, но мы были в то же время предельно скромны, протестуя не против политических расправ, а только против того, что они совершаются за закрытой дверью. Авторам письма я сказала, как сказала потом и Андрею Дмитриевичу Сахарову, когда подписывала вместе с ним протест против смертной казни и просьбу об амнистии политзаключенным, что ставлю свою подпись, потому что лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего. Наша акция содержит элемент лжи. Мы делаем вид, что верим, будто нам есть к кому обратиться за помощью, в то время как мы отлично знаем, что обращаемся с жалобой на нечистую силу к нечистой силе.

Защита Гинзбурга и Галанскова содержала и еще одну ложь. Мы знали истинную причину преследования. Гинзбург и Галансков предали гласности суд над Синявским и Даниэлем, писателями, осмелившимися говорить правду. Писатели не только воспользовались возвращением России в догутенберговский период, к временам баянов и бардов. Их повести и книги появились не только в самиздате, но и за рубежом, там, в тамиздате. Процесс над ними – открытый, публикация его стенограммы не могла стать составом преступления, ее нельзя расценивать как клевету, как распространение клеветнических сведений. Фабрикация обвинений в связи с подрывными организациями Запада потребовала времени. Стенограмма суда над Синявским и Даниэлем – "Белая книга" – опубликована в Англии. О ней на суде над Гинзбургом и Галансковым даже не упоминалось. Четверо обвиняемых никакой группы, объединенной общей целью, не составляли. Их судили вместе, как будто по одному делу. Инквизиторы нуждались в отягчающих обстоятельствах для вынесения приговора.

Во времена французской революции – ее термидора – было изобретено это всесильное средство отягчения вины преступника – групповой процесс. Политические и уголовные преступники на таком процессе обвинялись как сообщники. История, или цинизм самих фальсификаторов, – не знаю, – нарекли этой процедуре имя – амальгама. Сталин был великим лудильщиком. Хрущев в амальгамировании не нуждался – менял кодекс в соответствии с обстоятельствами и по ходу дела. Коллегиальное руководство во главе с Брежневым вернулось к сталинским нормам.

Мы знали все это и делали вид, что не знаем. Лгали нашим письмом, боясь попасть за решетку вместе с теми, кого защищали.

А знали мы истину из многих источников. Один из моих просветителей был молодой художник. Он пришел ко мне, прочитав в "Новосибирской Правде" статью, где нас предавали анафеме. "Вы знакомы с Гинзбургом и Галансковым? Не знакомы. А я знаком. Они никакого отношения к Добровольскому не имеют. Их объединили, чтобы пришить Гинзбургу и Галанскову валютные операции. А вы читали "Белую книгу"?" Я о "Белой книге" и слыхом не слыхала. "Это стенограмма

процесса над Синявским и Даниэлем, сделанная Гинзбургом и опубликованная в Англии. Если у вас будет обыск, ее у вас найдут, как нашли у Галанскова гектограф, которого у него не было." Послушаешь – просветишься.

Другим моим просветителем был Вадим Делоне.

Но прежде чем рассказать о нем, я расскажу об Александре Аркадьевиче Галиче. Его уже нет в живых. Я узнала о существовании великого поэта, каким я считаю Галича, ставя его в один ряд с Пушкиным и Маяковским, от Елены Сергеевны Вентцель, она же И. Грекова.

Прежде чем возмутиться моим вознесением до неба Галича, прочтите или вспомните слова любовницы женатого шофера, заброшенной когда-то в детстве органами в Караганду вместе с родителями-ленинградцами. Я приведу только одну строчку, и вы поверите мне, что "Домик в Коломне" Пушкина, "Во весь голос" Маяковского и "Караганда" Галича стоят в русской литературе в одном ряду.

"... у мадам его месяца."

Математик, профессор Елена Сергеевна Вентцель, она же писательница И. Грекова, автор "Дамского мастера", принесла при первом знакомстве ко мне домой – дело было в Новосибирске, весной 1965 года, – магнитофонную ленту и попросила, чтобы Лиза и Маша удалились. Они удалились, зазвучал голос неведомого мне барда, имя которого должно остаться для меня тайной. "Мама, это Галич!" – закричала из другой комнаты Лиза.

Летом того же года, под Москвой, на Московском море неподалеку от Бородина, среди изумительной русской природы, Комитет Комсомола города Москвы созвал летнюю школу и предоставил для ее многочисленных слушателей и лекторов свой спортивный лагерь. Мы, преподаватели, жили в доме, а молодежь – в палатках. Глубокой ночью, закрыв наглухо все окна, мы слушали Галича: магнитофонную запись. Утром перед павильоном, где подавали завтрак, орал магнитофон. Комсомольцы слушали Галича. В первом ряду стоял Тимофеев-Ресовский и только что не крякал от удовольствия, а может быть и крякал, боюсь наврать. В Академгородке Галич появился в феврале 1968 года, когда лафе пришел конец. Письмо 46-ти уже отослано, но гроза еще не разразилась. Сейчас даже трудно поверить, что фестиваль песни действительно был. Созвали бардов со всей страны. Кима и Высоцкого, по слухам, задержали в Москве органы. Окуджаву не ждали. Прибыло 27 человек. Билеты продавались заранее. Я купила билеты на концерт в Доме ученых, а на открытие не купила. Выступление 27-и певцов меня не прельщало. Стоя в очереди за билетами в Дом ученых, я наизусть читала "На смерть Пастернака". Но когда наступило время открытия фестиваля, меня заело. Пошла. Стою перед стеклянной стеной вестибюля концертного зала. За стеклом Галич, уже без пальто, идет с Голенпольским, моим другом, профессором английского языка. Голенпольский познакомил меня с Галичем, купили мне билет. "Я слышал о вас от Елены

Сергеевны Вентцель, – сказал Галич, – скажите, какие песни можно, по-вашему, спеть?" "К чести вашей должна сказать – ни одну из известных мне песен спеть нельзя. Спойте "На смерть Пастернака" и "Под Нарвой". Он спел их и "Балладу о прибавочной стоимости". Три четверти зала аплодировали стоя. Он выступал на концерте в Доме ученых и на банкете, устроенном в честь бардов в Доме ученых. Там Делоне сказал, что Галич вернул поэзии свойство хлеба. Мне бы следовало молчать, но просили выступить. Я сказала, что присутствую здесь с двойственным чувством. Мы приобщены к таинствам свободы. Миллионы за стенами дворца, где мы вкушаем ее, лишены даже крох. Подумаем о них. И еще я сказала, что наш пир – пир во время чумы.

Когда выпито было уже немало, зазвучал гневный голос. Не выступление, а частный разговор. Женщина с белыми глазами, как потом называл ее Галич, кричала подвыпившему Галичу, что он воспевает Пастернака, Зощенко, Цветаеву, Мандельштама, а тех, кто на полях сражений отстоял Родину и встал на защиту социализма, не воспевает, что он пасквилями занимается... Я вмешалась. "Вы нарушаете правила честного боя, – сказала я женщине с белыми глазами. – Имя вашего противника известно вам, а ваше имя неизвестно ему и никому из присутствующих. Назовитесь." Ее ярость обрушилась на меня, но мне как с гуся вода.

Мы проводили Галича в полночь в гостиницу, и я отправилась домой. То, что могло стать перлом моей биографии, я проспала. За Галичем пришли в два часа ночи, открыли зал кинотеатра "Москва", и ученики математической школы Академгородка заполнили его. Галич пел им. На другой день был его персональный заключительный концерт. Перед началом концерта я стояла в вестибюле. Подошел Галич. Анонимный звонок предупредил его, что два автобуса с рабочими Севзапсельмаша отправлены из Новосибирска в Городок на его выступление. Рабочие забросают его – "жидовскую морду, антисоветчика" – школьными чернильницами-непроливашками. "Я не боюсь. Я как пришел на своих ногах, так и уйду, но что будет с теми, кто приглашал меня и устраивал фестиваль?" "Я старая женщина, – сказала я ему, – но если кто-либо в моем присутствии позволит себе словесный выпад, не то что бросить в вас чернильницу, я, не задумываясь, буду бить его по морде. И таких, как я – только к тому же молодых и сильных – в зале будет 90 процентов. Эти поборники советской власти делают свои дела в приемной у начальства или с оружием в руках во время обысков и арестов. Никто из них не решится даже пикнуть." Так и было.

Галич пел у меня дома. Он рассказывал, что его вызвали в спецотдел Президиума Академии и проводили с ним воспитательную работу, упрекая его в антисоветской пропаганде. Он защищался, говорил, что он сатирик, поэт... Фестиваль был концом карьеры Галича. Набор его книги песен рассыпан. Его исключили из Союза писателей и из Союза работников киноискусства. Даже членом Литфонда ему не довелось остаться, как это посчастливилось Пастернаку. Галич пел о Пастернаке: "да и сам у судьбы не пасынок, член Литфонда, усопший смертный", –

издеваясь над объявлением о смерти Пастернака в газете. Пастернак именовался не поэтом, не членом Союза писателей, а членом Литфонда. Из Союза он был исключен. Литфонд – кормушка для наисмирнейших – продолжал оказывать ему свои услуги. Газета, сообщая о смерти члена Литфонда Пастернака, переплюнула анекдот: "Вот идет Пастернак с каким-то членом Союза писателей." Перед тем как "пасынка" Галича принудили эмигрировать, я виделась с ним в Москве и в Ленинграде. Мне он рассказывал о заседании, где его "прорабатывали" с целью изгнать из Союза писателей. Его разочарованию в собратьях по перу не было границ. "Нет, – восклицал он, – ведь он же все понимает, как мог он так нагло лгать..." Я говорила ему, что нет худа без добра: ему разыграли великолепную пьесу. Один в возмущении говорил: "Ну пусть бы пел сочиненную им галиматью у себя дома. Так ведь нет! Одно публичное выступление за другим! Ему мало собственного несогласия с властью Советов, ему нужно убеждать других в своих антисоветских взглядах. Вот эту антисоветскую пропаганду и осуждает теперь наш коллектив." "Ты имеешь свое мнение, ты не согласен с государственным устройством твоей Родины, – говорил другой, опоздавший, – так выступи открыто, честно. А Галич распространял плоды своего творчества тайно, прячась по углам, в темных закоулках... И за это он достоин нашего и всеобщего осуждения." Когда больной, истерзанный Галич рассказывал мне о заседании, ему было не до смеха.

Вадим Делоне происходит из замечательной семьи. Начало родословной бесславно. Прадед прадеда Вадима был комендантом Бастилии. В день штурма его сбросили на штыки повстанцев. Его сын, врач в войске Наполеона, попал в России в плен, женился на дворянке и основал славную династию. Два его правнука, его правнучка и ее сын – гордость этой династии. Правнуки, родные братья – Борис Николаевич Делоне, геометр, академик и Лев Николаевич Делоне, знаменитый цитогенетик; правнучка, их кузина, Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева, по второму – Скобцова. Даровитая художница и поэтесса, она эмигрировала во Францию и постриглась в монахини. Немецкая оккупация застигла ее в Париже. Она – Мать Мария – и ее сын Юрий спасали евреев, раздобывали им свидетельства о крещении. В 1945 г. их арестовали. Они погибли в лагерях смерти. Мать Мария при последнем отборе не попала в число обреченных. Она поменялась местами с женщиной, отправляемой на убой. Математик Делоне, учитель А.Д. Александрова – дед Вадима.

Вадим Делоне до моего знакомства с ним провел год в Лефортове. Арестовали его во время демонстрации протеста против ареста Гинзбурга. Его судили, зачли ему год пребывания в тюрьме. Александров, в это время уже лишившийся своего поста ректора Ленинградского университета, взял его к себе в свой прекрасный новосибирский коттедж и выхлопотал ему возможность учиться в Новосибирском университете. Пребывание в Университете – короткая передышка в каторжной жизни Делоне. Осенью того же 1968 года он стал одним из участников демонстрации протеста против ввода войск в Чехословакию и был осужден на три года лагерей. Теперь он в Париже – поэт, эмигрант, тоскует

по родине. Живя в Академгородке, он не терял связи с теми, с кем вместе протестовал против ареста Гинзбурга и был в курсе свободолюбивых действий среди молодых и старых. Не будь его, письмо 46-и, может быть, и не было бы написано никогда.

27 марта 1968 года письмо было передано по "Голосу Америки". Перечислены все фамилии тех, кто подписал, их должности и институты. Газета "Нью Йорк Таймс", по слухам, напечатала его. На другой день стало известно, что нас будут "прорабатывать". Мы писали, что опасаемся возвращения полного бесправия 1937 года. Теперь на собственной шкуре нам предстояло убедиться, сколь основательны наши тревоги.

Все семь писем посланы с извещением о вручении, на всех в качестве обратного адреса стоял мой адрес, и я получила все семь подтверждений, что письма вручены. "Секретарь Райкома Можин утверждает, что письмо никуда кроме ЦРУ, направлено не было. По его мнению, адреса, указанные в тексте письма, – камуфляж клеветнической фальшивки", – сказал мне молодой человек, мой "соподписант". Я его раньше никогда не видела, как и большинство тех, кто подписал. Решено сделать фотокопии извещений о вручении и вручить Можину и тем, кого еще предстояло "прорабатывать". Публичные казни должны происходить во всех институтах одновременно, чтобы разобщить тех, кого ставили к позорному столбу. Но иные директора, как на грех, отсутствовали: отпуски, командировки, конференции – их приходилось подождать, а иные не торопились карать. Но Беляев торопился. Его звездный час настал.

"Я приду на заседание, только если объявление и повестка будут вывешены в вестибюле института", – сказала я Беляеву в ответ на его сообщение, что мне предстоит чистка. На следующий день я получила повестку с приглашением на закрытый Ученый совет. На нем я должна присутствовать по долгу службы. Вход в Институт разрешен только по пропускам. Вахтер, проверяющий пропуска в вестибюле, получил распоряжение не пропускать студентов университета в тот день, когда заседал закрытый Ученый совет. Мотивировка? Мотивировка всегда найдется. Она заготовлена заранее, одна и та же для магазинов, ресторанов, исследовательских институтов – санитарный день. Звучит двусмысленно. Беляев боялся миазмов бунта.

Я привожу в качестве приложения стенограмму заседания слово в слово, как она записана мною во время исполнения пьесы и перепечатана затем на машинке одним из моих молодых друзей.

Никому из генетиков я не предложила подписать протест вместе со мной. Генетики и так натерпелись, навлекать на них еще и этот удар (я предвидела его) я не считала нужным. Я получила несколько упреков: уже после разгрома люди выражали сожаление, что не поставили свою подпись. Один из них перепечатал мою запись. В конце он приписал от себя: "Заседание продолжалось 5 ч. 30 мин.: с 16.00 до 21.30."

Художник Михаил Алексеевич Кулаков жил в Академгородке и изображал его. "Город-театр" назвал он серию картин, посвященных призрачному творению царя Никиты.

Мне видится моя пьеса на сцене театра. Два яруса. Вверху те, что правят, внизу заседает Ученый совет. Веревки соединяют тех, кто вверху, с марионетками. Правители дергают за веревки, подавая сигнал к выступлению. Беляев дублирован. Он председательствует, и он же там, наверху – последняя спица в колеснице. Нет веревок только у двух персонажей. Артачится подсудимая и с безумной смелостью вступается за право иметь собственное мнение Зоя Софроньевна Никоро. Одна она. В остальном все идет как по маслу. Раушенбах, безукоризненный образец советского человека, исполняет роль безукоризненно. Мелочи не в счет, он врет слишком уж грубо, это мелочь. Антипова напрасно говорит о какой-то закрытой информации, полученной ею в ее бытность в Германии в последние годы. Уж не на кровавые ли события она намекает, не имеет ли она в виду восстание рабочих в Восточной Германии 17 июня 1953 года, когда тысячи были арестованы за попытку сбросить иго советского коммунизма? Об этом восстании, в отличие от событий в Венгрии, мало кто знал, я узнала только очутившись здесь, на Западе. Не промах ли слова Христолюбовой, ее упоминание "Белой книги"? Присутствующие должны делать вид, что им ничего неизвестно ни о процессе Синявского и Даниэля, ни о стенограмме процесса, ни о тех, кто оповестил мир о процессе. Газетные статьи не привлекли их внимания. Они узнали о существовании Гинзбурга и Галанскова впервые из вступительных слов Беляева и Монастырского. И Салганик выдает себя с головой, делясь с присутствующими своими тайными переживаниями. Неслыханная дерзость! Он не только слушает "Голос Америки", но и осмеливается открыто признаваться в этом. Это все мелочи, не способные нарушить божественную гармонию спектакля. Только одно замечание вносило диссонанс. Николай Николаевич Воронцов сказал, что письмо могло попасть на Запад через редакцию "Комсомольской правды". Отложим обсуждение этого важного вопроса, а пока обратим внимание на самый драматический момент спектакля. Марионетки вышли из повиновения. Далеко не все, но монотонное подергивание веревок сразу же сменилось лихорадочной возней. Они отказались голосовать. В их унизительном положении они цеплялись за право молчания, за право иметь свое индивидуальное мнение, хоть чуточку отличающееся от мнения, продиктованного свыше. Голосовать "за" они не хотели, "против" – боялись. Не лучше ли ограничиться товарищеским обсуждением? Беляев не растерялся. Он раскрыл карты. Он заговорил о преступлении, за которое по закону полагается семь лет лагерей с последующим поражением в правах. Подтекст его окрика таков: раскрыта подпольная организация. Ее цель – передача клеветнических сведений подрывным силам Запада. Гражданский долг обязывает нас передать преступника карающим инстанциям, чтобы с ним расправились по закону. Я же предлагаю проголосовать за резолюцию – осудить безответственность, выразившуюся в подписании письма... Я делаю это с единственной целью спасти преступника. Голосовали все. Все, кроме Никоро, за осуждение.

Голосование, в котором участвуют самые свободные, самые информированные, самые добродетельные люди, имеет столько же, если не больше, недостатков, сколько достоинств.* Голосование по принуждению с предрешенным исходом – профанация демократии.

Теперь вернемся к странной реплике Воронцова, на которую никто не реагировал. Обида Воронцова на редакцию "Комсомольской Правды" имела глубокие корни. Конец царствования Никиты Хрущева ознаменовался не одними реорганизациями аппарата управления экономикой страны. Все шло на слом – искусство, юриспруденция, наука. Одной из жертв атаки на науку стал Воронцов. "Комсомольская Правда" подняла на смех его кандидатскую диссертацию, посвященную эволюции пищеварительной системы грызунов. Выхода в практику работа – плод титанического труда – не имела, значит, не имела права на существование. Время и место, чтобы сводить счеты с редакцией газеты, Воронцов выбрал самое неподходящее. А Беляев, говоря об обращении ученых в Правительство и отказавшись указать повод обращения, никакой ошибки не совершал. Все знали, о чем шла речь. Ученые просили принять меры к охране крупнейшего в мире хранилища пресной воды, озера Байкал. И текст и подтекст выступления Беляева, с помощью которых он принудил голосовать заартачившихся, ничего кроме лжи, не содержали. Пьеса проиграна заранее до конца персонажами верхнего яруса. В финале пьесы я должна сесть за решетку. Беляев передал меня карающим инстанциям, чтобы они расправились со мной.

События следовали друг за другом в головокружительном темпе. Стало известно, что Президиум Сибирского отделения Академии вынес постановление о переводе гуманитарного отделения Новосибирского университета в Красноярск вместе со всеми преподавателями и студентами. Гуманитарное отделение сочли за главный очаг крамолы. Постановление свидетельствовало о переходе заболевания из фазы субклинической в фазу клиническую. Университет Академии не подчинен, а находится в ведении Министерства высших школ. В состав Сибирского отделения Академии входил ректор Новосибирского университета и бывший ректор Ленинградского университета, и они отлично знали, что постановление решительно никакой силы не имеет. Студенты Университета, прослышав о грозящей катастрофе, собрали подписи под прошением, чтобы преподавателей изгнали, а их оставили бы учиться в Академгородке. Райком комсомола приостановил сбор подписей. Штатного философа Университета, доцента Алексеева, после проработки за безответственность, выразившуюся... и т.д., постановили, было, уволить. Ректор Университета торопился уйти раньше конца заседания,

---

* Поясню. Согласие большинства – не критерий истины. В идеале – решение каждого вопроса – дело знатоков, результат квалифицированной экспертизы. Наладьте анализ нужд всех людей, безотносительно к численности, и выдвижение экспертов, умеющих делать дело, – получите идеальную демократию.

попросил учесть его поддержку самых суровых кар, приоткрыл дверь, снова закрыл ее, вернулся и склонил членов Совета не принимать против Алексеева никаких карательных мер и спустить это дело на тормозах. За дверью стояли студенты, готовые грудью защищать любимого учителя. Это были не те, конечно, кто собирал подписи под прошением изгнать преподавателей-подписантов. Предотвратить появление студентов в здании института можно, а в здании университета нельзя. Увольнять преподавателей стали выборочно, а не всех подряд. Особенно сурово расправлялись с преподавателями Физико-математической школы. Ночной концерт Галича отягощал их вину. Сибирский Президиум Академии отказался от проекта перевести гуманитарный факультет в Красноярск. На заседании, где выносили приговор преступникам, нам ставили в вину связь с подрывными организациями Запада, в частности, с ЦРУ. Нам, оказывается, не пришлось ни объединяться в подпольную группу, ни писать письмо. Нас объединило ЦРУ, и письмо написано за нас. Мы подписывали чистый лист. Агенты ЦРУ созвали морально неустойчивых обитателей Городка и предложили им расписаться на чистом листке. "А какую клевету я напишу, это уж мое дело", – сказал нам, согласно версии Райкома партии, агент ЦРУ. Секретарь излагал именно так – агент ЦРУ сам назвал свою будущую писанину клеветой, хотя подумайте, дорогой читатель, не вероятнее ли было бы, если бы он назвал ее ну хотя бы святой истиной. И ведь не перед неграмотными мужиками излагалась история нашего грехопадения, а перед действительными членами Академии Наук. Согласно версии Секретаря Райкома, мы подписали с лакейской готовностью тот чистый лист. Нам лишь бы клеветать, а какая клевета больше устраивает ЦРУ, ему – ЦРУ – видней.

Александр Данилович Александров, бывший ректор Ленинградского университета, несостоявшийся Президент Сибирского отделения Академии Наук, член КПСС, мой друг и покровитель, ученик деда Делоне и опекун внука Делоне, чтобы сохранить возможность хоть как-то отстаивать гибнущих подписантов, выступил в печати со статьей, осуждающей их действия. Статья эта обязывала его молчать, когда Секретарь Райкома излагал на заседании Президиума подробности изготовления той фальшивки, которая, якобы, напечатана в "Нью Йорк Таймс", а затем прозвучала в эфире. Но, видно, взыграло ретивое. Александров прервал секретаря на полуслове. "Вам отлично известно, – сказал он, – что извещения о вручении письма всем семи адресатам получены Раисой Львовной Берг. Фотокопии извещений переданы в Райком."

Дни мои в Академгородке были сочтены. Узнав о статье Александрова в "Новосибирской Правде", где он выражал свое возмущение нашим поступком, я порвала с ним знакомство. Я вернула ему мое расположение после того, как в ущерб мне он заступился за истину.

Пятилетний срок моей временной прописки в Академгородке истек. Институт в таком случае подает прошение в милицию района о продлении прописки, и милиция продлевает. Замдиректора Привалов, член КПСС, которого на зарплате, и на очень высокой зарплате, в институте в

качестве заплечных дел мастера держали, сообщил мне, что Институт ходатайствовать о продлении прописки не будет. Беляеву, значит, приказано отдать меня органам для расправы, а для этого ему нужно только через Привалова отказать мне в продлении прописки и отказать временно, так что уж и вовсе никакой вины за ним числиться не будет.

Я уехала в Ленинград на конференцию по медицинской генетике. Заседала она в Институте экспериментальной медицины, но открытие и пленарные заседания происходили в здании Президиума Академии на набережной Невы. Это очень старое и очень роскошное здание – лучшее украшение архитектурного ансамбля Университетской набережной. Из двух роскошных дверей роскошного, в тот миг безлюдного вестибюля вышли мне на встречу перед началом одного из заседаний Эфроимсон и Беляев. Экспансивный Эфроимсон бросился целовать мне руки и вдруг заметил Беляева. "Простите, –сказал он ему, – я не поздоровался с вами, я вас не заметил."

Совершенно случайно я встретила Калинина, того самого Олега Михайловича Калинина, который участвовал в моей Камчатской экспедиции и выбыл из нее вместе с Люсей Колосовой, соблазнившись восхождением на Авачу. Наша дружба не прерывалась ни на миг. Узнав о моих злоключениях, он велел не унывать. Он работает в Агрофизическом институте и сейчас же поставит в известность директора, что специлист в области популяционной генетики собирается переехать из Новосибирска в Ленинград. Лаборатория математической популяционной генетики института заинтересована в экспериментаторе. Назавтра мне позвонил директор и попросил прийти. Я предстала перед ним и перед его заместителем и дала согласие организовать экспериментальную работу в лаборатории, возглавляемой заместителем директора. Все складывалось отлично. Однако мое диссидентство – подводный камень – могло потопить корабль. "А вы не боитесь нанимать такую крамольную личность, как я", – спросила я. "А мы сами крамольные личности", – воскликнул директор. Потом я поняла, что мы говорили о разных вещах. Директор имел в виду генетику. Агрофизический институт находился в ведении Академии Сельскохозяйственных Наук. В тот год, когда меня вербовали, чтобы укрепить лабораторию популяционной генетики, во главе Академии стоял Лобанов, бесславный председатель той самой Августовской сессии, во время которой генетике в СССР пришел в 1948 году всесоюзный конец. Перед его лицом и двадцать лет после сессии и директор, и его заместитель, и я были крамольными личностями. О моем диссидентстве они не знали, я не знала, что они не знают. Приглашение было подтверждено.

В Городке, только я переступила порог своего дома, как Маша и ее Саша подали мне незапечатанный конверт. Они вынули его из почтового ящика. Адреса на нем нет. Только инициалы и фамилия. По виду Маши и Саши видно: содержание конверта им известно и дело дрянь.

Официальная бумага в царстве бюрократии имеет строго установленный вид. Она напечатана на бланке, имеет печать, подпись или несколько подписей и на ней стоит дата. Если учреждение типографски

отпечатанными бланками не располагает, ставится штамп учреждения. Бумажка, полученная мною, ничего кроме подписи начальника милиции, не имела. Ни штампа, ни печати, ни даты. Лихо наискосок под текстом, напечатанным на машинке, начертана подпись – Лихолетов. Бог шельму метит – для начальника милиции фамилия самая подходящая. Ничего, кроме лиха, бумажка не предвещала. Вот ее текст:

"Копия. Розе Львовне Берг

Начальнику милиции города Ленинграда

Просьба выписать гражданку Розу Львовну Берг с занимаемой ею площади, т.к. она имеет постоянную прописку в Новосибирске."

Именовалась я Розой, мой ленинградский адрес не указан. И на том спасибо судьбе. Пока будут искать несчастную Розу, чтобы засадить ее в тюрьму, я успею выписаться из Новосибирска, вернуться в Ленинград и поселиться в своей квартире. Прописку тогда уже никто отнять у меня не сможет, и в тюрьму меня не посадят.

Да причем тут тюрьма! – восклицает читатель в недоумении.

Заметьте, что бумажка указывала, что я имею постоянную прописку в Новосибирске. Между тем, я постоянной прописки никогда не имела, была у меня временная, совместимая с постоянной пропиской в Ленинграде. Теперь не было и временной. Партитура для концерта в исполнении трио – начальник милиции, Беляев, я – создавалась КГБ. Ни репетиций, ни дирижера не требовалось. Уметь надо партитуры заготовлять! Дирижер, конечно, был – закулисный. Увертюра – отказ от ходатайства о продлении прописки и бумажка. Ни один мало-мальски разумный человек не откажется по собственной воле от ленинградской прописки, даже если взамен ее он получит златые горы за его пределами. Москва, Киев еще могут прельстить, но уж никак не Академгородок близ Новосибирска. Согласно замыслу, получив бумажку, я устремляюсь в Ленинград. Но бумажка уже сделала свое дело. Проходит три дня. Я живу без прописки. Штраф. Еще три дня. Прописки нет. Штраф. Еще три дня. Финал: тюрьма за нарушение административных правил.

Так было бы, будь композитор выдающийся деятель советской культуры. Но композитор – гений. Подстроив мне такую гадость, Беляев рисковал. Престиж его среди академиков мог пострадать, его репутация борца за истинную науку могла пошатнуться. А ему еще предстояли выборы в действительные члены Академии наук. Благо были бы научные заслуги, но и научных заслуг еле на кандидата натянет. Репутация среди академиков держится на тонком волоске. Огласка неизбежна.

Я получила приглашение явиться к заместителю директора Привалову. Настал момент отменить прежнее решение не давать мне ходатайства о временной прописке в Академгородке. В сочетании с бумажкой, посланной начальнику милиции города Ленинграда, прошение Института дела не меняло. Меня хотели оставить, меня не увольняли, обо мне хлопотали. Я сама уволилась, уехала в Ленинград, и там меня арестовали,

пойди разбери почему, за связь с подрывными организациями Запада, вернее всего. Беляев тут уж и совсем ни при чем. Я получила от Привалова ходатайство о временной прописке. Делами прописки работников института ведает отдел кадров. Мне предложено идти в милицию самой. С бумажкой, подписанной Лихолетовым, и с ходатайством я отправилась в милицию. Обращаюсь к секретарше, бумажку показываю. "Скажите, когда был послан этот документ?" – спрашиваю. "Да какой же это документ? Ни печати, ни числа, ни штампа." "Это копия, на подлиннике был, надо думать, штамп и была печать." "Копия документа – такой же документ, – поясняет мне секретарша. – Лихолетов занят, идите к заместителю." "Вот, – говорю я заместителю кротким голосом, – ошибка вышла. Институт ходатайствует не о постоянной, а о временной прописке. Прошу прописать меня временно, а начальнику милиции города Ленинграда отправить бумагу, оповещающую его об ошибке." Величайшее изумление изобразилось на лице зама. "Дали ходатайство", – прошептал он. Он снял трубку телефона: "Роза Львовна Берг у меня. Возмушена! Жду." Он не успел договорить, как я сказала все тем же кротким голосом: "Не только не возмущена, а польщена. Я прошу временную прописку, а вы гарантируете мне постоянную." Он не успел ответить. Лихолетов явился в сопровождении прокурора. Я чуть было не написала, что в комнату вошло полтора человека. Нет, их было два. Все, что отнято у одного, придано другому. Прокурор предельно худ, Лихолетов предельно грузен. Черная суконная рубашка с ремнем подчеркивала худобу прокурора, милицейская форма делала начальника милиции еще более массивным. В довершение сходства с половиной человека прокурор оказался одноруким. Пустой от плеча рукав заткнут за пояс. Лихолетову не хватало только третей руки, чтобы сойти за полтора человека этой фантасмагорической пары.

Я повторила свои просьбы. Насколько я помню, полтора человека не проронили ни слова. Половина кричала. Трио сменил квартет. Прокурор – дело не шуточное. "Вы уже нарушили закон! – кричал гневно концертант. – Вы живете без прописки. Эти ученые воображают, что законы пишут не для них. Вы больше положенных семидесяти двух часов живете без прописки. Мы вас научим уважать закон!" "Нервничать в сложившейся ситуации надлежит мне, а вам зачем же? – сказала я. – А ситуация сложилась по вине дирекции института. Задержка вышла с выдачей мне бумаги." И я повторила мои просьбы. Прокурор внезапно успокоился. Кричал он, видно, чтобы вывести меня из себя, тогда можно пришить еще и дельце об оскорблении представителя социалистической законности. "Мы отказываем вам в прописке. А бумагу, направленную в Ленинград, мы отзовем, но при одном условии. Напишите, что в недельный срок вы обязуетесь выехать из Новосибирска." "Да как же я могу выехать в недельный срок? Я курс в университете читаю. Я профессор." "Никакой вы не профессор. Увольняйтесь и уезжайте." Спорить не приходилось. "Вот, на обороте этого документа напишите: 'обязуюсь в недельный срок выехать из Новосибирска'. " Документ – та самая копия, где стояла лихая подпись Лихолетова. Я

повиновалась. Лихолетов взял бумажку, стукнул по стене рукой, тотчас же открылась оклеенная обоями дверца, обнаружилось замаскированное окошечко, и бумажка полетела в комнату, отделенную, как казалось, глухой стеной от кабинета зама. С превеликой тоской смотрела я, как исчезает в недрах бюрократической клоаки бумажка – великолепный образец бюрократической стряпни, перл в архиве историографа. Она исчезала по программе. Оставить ее в моих руках! Как бы не так. Партитуру писал гений, исполнители гениями не были, раз допустили, чтобы вместо меня страдала в Ленинграде бездомная Роза, но тут не сплоховали.

Когда в Институте я подавала заявление об увольнении по собственному желанию, Беляев изобразил неподдельное изумление. Без артистизма не быть бы Беляеву ни директором, ни академиком.

Думаю, что никто и не собирался отзывать бумажку. В Ленинграде меня разыскивала милиция и разыскала. Мне сказала об этом паспортистка домоуправления, когда я уже жила в своей ленинградской квартире и работала в Агрофизическом институте. Прописки меня не лишили. Новосибирская прописка аннулирована. Штамп в паспорте стоит – выписана из Новосибирска и все тут.

В Новосибирске приняты меры. Я получила административное взыскание за проживание без прописки. Меня оштрафовали. Я должна явиться в милицию, где административная комиссия проводит воспитательную беседу и налагает штраф. Женщине, которая пришла оповестить меня о сроке этого нового судилища, я сказала, что на административную комиссию не пойду. "Я дала все объяснения начальнику милиции и прокурору. Задержка произошла не по моей вине. В прописке мне отказано. Я по требованию милиции уезжаю. Штрафовать меня не за что. Штрафуют пьяниц, проституток, а я профессор, общесвенного порядка не нарушала, у меня две дочки, внучка. Дайте я напишу, что недоразумение улажено, а то вам неприятности будут, скажут – вы меня не оповестили." Женщина заплакала, сказала, что у нее тоже дети и вот приходится работать и всякие гадкие поручения выполнять, и чтобы я на нее не сердилась, она тут не при чем. Комиссия заседала в мое отсутствие, штраф вычла бухгалтерия Института при окончательном расчете. Бухгалтер, товарищ Монахова, взяточница и подхалимка, по моему настоятельному требованию дала мне справку о том, что я оштрафована за "проживание" без прописки. Она сопротивлялась с решимостью отчаяния. Еще бы! Ведь штрафовала меня за "проживание" в Новосибирске без прописки почти та самая милиция, которая сообщала в Ленинград, что я у них прописана и притом постоянно. Справка, выданная бухгалтершей, аннулировала ту мудрейшую, сакраментальную бумажку!

Что это за непонятное "почти", ввернутое автором в предпоследнюю фразу? – восклицает читатель в недоумении. Милиция, как и все учреждения Советского Союза, построена иерархически. На ступенях лестницы в восходящем порядке стоят районное, городское, областное, республиканское отделения милиции. Пирамиду венчает Управление

Милиции Союза ССР. Действия нижестоящей инстанции можно обжаловать в инстанцию вышестоящую. И мы, советские граждане, все ходим и ходим вверх и вниз. Так вот. Бумажку изготовлял районный отдел милиции с Лихолетовым во главе. А штрафовал меня городской отдел, и женщина привозила мне вызов на административную комиссию за тридцать километров из Новосибирска, куда я должна была явиться на судилище. Ни малейшей несогласованности действий районного и городского отделений милиции не было.

Действия Лихолетова вынуждали меня устремиться в Ленинград, чтобы там играть свою партию в финале концерта. Ну, а если я откажусь уехать, дорожа постоянной пропиской в Городке, за меня возьмется городское отделение. Три дня. Взмах дирижерской палочки за кулисами. Штраф. Еще три дня. Взмах. Штраф. Финал – тюрьма. Выдать мне справку о штрафе, чтобы я могла жаловаться в Москве на незаконные действия нижестоящей инстанции! Нет! Но я настояла. Справку я хотела иметь для коллекции. Оспаривать штраф я не собиралась. Лишь бы ноги унести из Новосибирска. А в Ленинграде я буду под охраной бедной бездомной Розы, безропотно ожидающей удара.

Слух о том, что я устроилась на работу, достиг Академгородка. Други и недруги спрашивали меня очень настойчиво, в каком институте я получила место. Я говорила: "Не спрашивайте. Знать это не в ваших интересах. Как только место моей будущей работы станет известно партии и правительству, из Института туда полетит донос – характеристика, и я лишусь этого места, а подозрения в разглашении тайны падут на вас." Ни один человек не знал, я никому не поведала тайну. Уезжать я не торопилась.

Меня оповестили бумажкой, что я исключена из делегации в Токио, на Двенадцатый Международный Генетический Конгресс. Но предстоял Международный Энтомологический Конгресс в Москве. Я готовилась к нему. Чтобы усовершенствоваться в английском языке, я поехала в круиз по Оби по маршруту Новосибирск-Сургут и обратно. Поездку организовал Голенпольский. Мы изучали английский язык методом погружения. 36 учеников. 35 из Академгородка, один с завода Севзапсельмаш – инженер. Завод производит сельскохозяйственные машины. Он эвакуирован в начале войны из Ленинграда. Новосибирск – детище войны. Он возник благодаря эвакуации. Часть города, где живут рабочие завода с семьями, насчитывает около трехсот тысяч жителей. Инженер этого завода рассказывал мне, как выносили осуждение лицам, передавшим клеветнические сведения за границу. Хотели было привлечь к вынесению резолюции рабочих. Но потом решили ограничиться инженерами. Двести человек никак не могли понять, что именно произошло, да и мало интересовались, в голосовании участия не принимали, не воздерживались, а просто игнорировали. В протоколе заседания сказано, что резолюция, осуждающая подрывную деятельность подпольной группы интеллигентов, принята единогласно. И к этой лжи отнеслись индифферентно. И рассказывал инженер вяло. Он не подозревал, что разговаривает с одним из подрывников.

Возникает вопрос – зачем понадобилась верхам вся эта шумная возня? Мы не скрывались. Наши фамилии стояли под обращением. Письмо прозвучало по "Голосу Америки". Проще простого вызвать немедленно и одновременно всех 46 человек к 46-ти следователям, допросить и сличить показания. Инициаторы, намерения, связи были бы выявлены безошибочно. Ничего этого сделано не было. Травля интеллигенции – самоцель. Надо натравить рабочих на интеллигенцию. Борис Львович Астауров предсказал, что я стану жертвой. Однако гнева рабочих ни мне, и никому из пострадавших испытать не пришлось. Рабочие в это время находились под подозрением вместе с интеллигенцией.

"Пражская весна", весна Москвы, Ленинграда, Академгородка – вот объяснение истерических действий, жертвами которых мы стали. "Танки на чужой земле" (это строка из стихотворения Галича: "Граждане, Отечество в опасности – наши танки на чужой земле") и проработки, преследования, ложные обвинения, фиктивные суды на своей земле – явления одного порядка. Всесоюзный санитарный день.

Пока милиция выбивалась из сил, разыскивая несчастную Розу Львовну, чтобы лишить ее ленинградской прописки, моя новосибирская жизнь шла своим чередом. Я дочитала курс по теории эволюции до конца.

Не обошлось без потрясений. Я уже знала, что студенты подписывают прошение. Я пришла читать очередную лекцию. В аудитории вместо обычных сорока-пятидесяти человек – пять-шесть. "Что сей сон значит?" – спрашиваю присутствующих. Курс сдает экзамен по английскому языку, задержались. Они придут. Моя лекция начинается не в час, а в час двадцать. Меня оповестили о часах моих лекций неправильно по просьбе курса. Студенты жертвовали своим перерывом, чтобы слушать меня двадцать минут сверх положенного. "Ладно, подождем." Проходит двадцать минут. Число присутствующих достигло семи-восьми человек. Я взошла на кафедру. "Дорогие мои, – сказала я этим семи-восьми студентам, – я не имею к вам никаких претензий – вы здесь. Я не собираюсь метать громы и молнии в адрес отсутствующих на головы присутствующих. Я прошу передать тем, кто не пришел на мою лекцию, что я рассматриваю их отсутствие как демонстрацию солидарности с авторами прошения об изгнании преподавателей-защитников прав человека. Читать я вам больше не буду." Я покинула аудиторию. Один из студентов догнал меня. – Это недоразумение, они даже не знали о существовании прошения, никогда, никогда они не стали бы бойкотировать мои лекции. "Посмотрим, – сказала я, – я читаю студентам вечернего отделения и буду продолжать читать им, и они придут на мои лекции все как один. Студенты дневного отделения могут при желании присоединиться к вечерникам." Студент обещал передать.

"Почему генетики не борются за свободу науки? Ведь писатели боролись. Даже в тюрьмах сидят. Значит можно." Мое сердце всецело принадлежало людям, от которых я услыхала эти слова. Студенты вечернего отделения – измочаленные труженики, потомки таких же беспросветных бедняков, как и они сами. Дети партийной знати на вечернем

отделении не учатся. Когда я пришла в крошечную аудиторию, чтобы читать моим вечерникам, я нашла на двери объявление: лекция перенесена в аудиторию номер такой-то. В этой аудитории было полно народу, больше суммы слагаемых. Экзамены я принимать не стала. Я люто ненавижу принимать экзамены, вершить судьбы людей. Я читаю не для того, чтобы поучать. Все, что я делаю, бесцельно. "В Райке энтелехия бушует", – говорил про меня ангел небесный Симочка. Он иронизировал, не считая мир достойным проявлений его многочисленных исключительных дарований. Энтелехия – сокращенная греками греческая фраза. Значит она – имеющее цель в самом себе. Я пела, но не так, как соловей. Его песня – заявка на охотничью территорию со всеми на ней находящимися козявками. Моя песня ни на что никакой заявки не содержит. Могу я ставить оценки? От оценки зависит, получит студент стипендию или не получит, от стипендии зависит, учиться или не учиться. С моей точки зрения – дилемма, равная быть или не быть. Может быть, кому-нибудь и доставляет удовольствие подписывать смертные приговоры. Мне не доставляет. Экзамены за меня принимали мои сотрудники. Они не свирепствовали.

Пароход, где происходило под мудрым водительством Голенпольского погружение в английский язык, звался "Михаил Калинин", а Голенпольский звался "Гальюн польский". Он сам наверняка сочинил. Очень на него похоже сочинить про самого себя такое. В Колпашеве я решила погулять – районный центр, как никак. Пароход стоит полтора часа. Иду по деревянному настилу вдоль домиков, глазею. Бабы в кирзовых сапогах, в платках, подвязанных по русскому стародавнему образцу под подбородком и в наимоднейших плащах-болоньях, похожие друг на друга, как близнецы, несут на плечах на коромыслах бидоны с молоком. Баб только что у меня на глазах выгрузили из огромной лодки. Они ездили доить коров на тот берег Оби. Кордебалет медленно распадается на маленькие цепочки, на единицы. Я остановилась на миг у большого окна. Кенгуру с кенгуренком в сумке выглядывали из окна. Буйно цветущая розовая герань расплющивала об стекло соцветия, прекрасно декорируя игрушку. Из дома вышла женщина, молодая и нарядная. "Зайдите. У нас гостья – она вас знает". Я зашла. Я очутилась в комнате, где за пиршественным столом сидела одна только женщина – старуха. На стене – реклама грузинского ансамбля песни и пляски. Огромный грузин, чуть не в натуральную величину, или мне так казалось – старуха была очень маленькая, – делал залихватское па, паря в воздухе. "Мы вас решили обмануть, никто вас не знает, хотим вас угостить. Водки, пива, браги – что вам налить?" Молодая женщина – племянница старухи – приехала из Новосибирска навестить тетю. По этому случаю и пируют. Редиска со сметаной, которой они угостили меня, не оставляла желать лучшего. Они заручились обещанием, что я загляну к ним на обратном пути. Я зашла на обратном пути. От веселья остался один грузин, танцующий в небе свою нескончаемую лезгинку. Старуха сидела у стола на том же месте, что и тогда. Перед ней лежало нераспечатанное письмо. Старуха радости при моем появлении

не изъявила. Мы распечатали тут же письмо, и я прочла ей его. Писала ее дочь из тюрьмы, из больницы. Ноги распухли, обуви нет, денег, чтобы купить обувь, нет. Мама, спасай. Мама поведала мне, что была ее дочь стюардессой, споили, сгубили ее злые люди, дружки-собутыльники. Сын ее в детском доме, приходит к бабушке, только дать ему нечего. К счастью, у меня были с собой деньги. Я написала под диктовку матери письмо и заторопилась идти на пристань. "Михаила Калинина" и след простыл. Темнело. Я отправилась на спасательную станцию. Догнать "Михаила Калинина" на моторной лодке можно в два счета. Начальник станции оказался в дымину пьян. Бензина нет. Чтобы снять лодку с прикола нужен ключ, а он у сотрудника станции. Пошли к сотруднику. Ключ у него, и бензин найдется. Только сотрудник, по его собственному признанию, так пьян, что лучше в путь не пускаться. Они отвели меня на пристань, и мы узнали, что завтра утром будет "ракета" – моторная лодка, на которой я доеду до Магочина или до Молчанова, где и буду ждать свой пароход. Предстояло переночевать на пристани в ожидании ракеты. План верен. Ракета делает 75 километров в час, "Михаил Калинин", идя против течения, – от силы 15. Не стоило труда рассчитать, где обгонит его ракета и до какой станции мне надлежит брать билет. В гостиницу я и не совалась. Пристань запружена народом. В помещении вокзала огромный диван. Сидеть на нем воспрещается. Женщина с мальчиками-близнецами попыталась уложить детей на диван. Ее согнал сторож. Я этой сцены не видела, мне рассказала о ней мать. Мальчики, заслышав рассказ, отвернулись, прикрыли каким-то очень необычным образом глаза рукой и заплакали. Действовали они, как по команде. Я пошла разыскивать начальника вокзала. Цыгане расстелили перины на полу вокзала и располагались с комфортом. Их тьма тьмущая. Тут около меня оказался маленький, рыжеватый, коренастый, цветущего вида молодой человек. "Идите в гостиницу, – сказал он мне, – вам место будет." Я пошла и получила место: кровать в комнате, где стояла еще одна пустая кровать. Я вынесла матрац и подушки в коридор, чтобы близнецы могли спать на полу в коридоре. Мне никто не препятствовал. Утром я пошла в кассу. Билет до Молчанова. Не тут-то было. Я точно знала, что происходит. Положение мое критическое, билет мне нужен до зарезу, это известно всем и каждому. Деньги в сумме стоимости билета мне надлежит дать кассиру или начальнику вокзала. Он их положит в карман и "устроит" меня на ракету, а билета никакого мне не надо. Но я боялась, что деньги возьмут, а потом не пустят на лодку без билета. Я просила дать билет, говорила, что мне сидячего места не нужно. Я на палубе постою. Тут около меня снова возник тот коренастый, рыжеватый. Он привел начальника вокзала. Мне по всем правилам продали билет, и я потекла в потоке пассажиров ракеты. Контролерша, проверяя билеты, концентрировала все свое внимание на мне. "Идите по дорожке, всю палубу нам перепачкаете!" – кричала она мне, хотя я, и одна только я, ни на сантиметр не уклонялась от половика. "Сидячего места вам не будет!" – кричала она. Я не претендовала на свое законное сидячее место. Я стояла у борта и не отрываясь смотрела

на пену и брызги, вздымаемые винтом мотора к утреннему небу навстречу чайкам. Около меня и тут очутился тот самый коренастый, рыженький... "Ваше место свободно, – сказал он мне. – Пойдемте." Я с сожалением покинула бушевание пены и заняла комфортабельное кресло в стеклянном салоне ракеты. Рыженький оказался моим соседом. И тут прозвучала сакраментальная фраза, вполне разъяснившая поведение незнакомца: "Я им сказал, кто я." Мне он не сказал – кто он. Это сквозило между словами, рвалось наружу, как признание, как раскаяние, как прощание с прошлым. Он говорил, что окончил спортивный институт, работал инструктором в какой-то спортивной организации. Но это в прошлом. Теперешняя его работа ему опротивела, он хочет стать юристом, поступить на юридический факультет Ленинградского университета. "А вы разве не замечали меня на "Михаиле Калинине"?" "Нет, я не замечала." "Я теперь вернусь на этой ракете в Новосибирск, – говорил он, – а когда "Калинин" пришвартуется в Новосибирске, я вас встречу." На пристани в Новосибирске я его не видела. Но он приходил ко мне и в Новосибирске, и в Ленинграде. Ему не удалось стать юристом, уж очень сер. Он женился на ленинградке, получил право жить в Ленинграде и работал в ресторане официантом. В последний его визит он принес мне проект рационализации строительства зданий, написанный его другом. Он просил найти компетентных людей, которые могли бы оценить проект. Его друг обращался в Совет Министров, в Академию, его везде отвергали. Он жаловался в ЦК, его жалобы игнорировали, он просил помощи у А.Д. Сахарова. Сахаров отказался принять его. Я нашла компетентных людей. Они сказали, что проект – продукт больного воображения.

Чехословацкие события застали меня в Академгородке. Я отправлялась заказывать контейнеры. Стук в дверь. Молодой человек, которого я едва знала, сам не свой. "Скорее, скорее, спрячьте меня, за мной гонятся с собаками." "Да что случилось?" "А вы выгляните в окно, тогда и поймете, что случилось. Мы дом ваш и много других домов лозунгами покрыли: "Свободу Социалистической Чехословакии!", "Оккупанты, руки прочь от Чехословакии!", "Свободу народу братской Чехословакии!" Теперь солдаты надписи замазывают, а милиция с собаками за нами охотится. Сейчас за мной сюда придут." "Раздевайтесь, – сказала я, – спать вас уложу. Придут, скажу вечером не поздно вы пришли, на голову жаловались, теперь спите. Жар у вас был. Теперь, кажется, температура спала." Его одежду я свернула и положила в стенной шкаф, где у меня хранились краски. Термометр рядом с ним положила, таблетки. Никто не приходил. "Мне надо в Новосибирск ехать, контейнеры заказывать. Вставайте, – говорю, – одевайтесь, – одежду ему даю Сашину. – Идемте." Мы вышли. Двор запружен солдатами, милиционерами. Собак нет. "По сторонам не смотрите, улыбайтесь, не торопитесь." К остановке напротив моего дома подходил автобус. Ехать на нем можно не из Академгородка в Новосибирск, а только несколько остановок до конечной остановки в конце Жемчужной улицы. "Теперь

бежим, – сказала я. – Бежим, сядем в этот автобус." На конечной остановке я сказала ему: "Вы обойдете Городок лесом, сядете за городом в автобус и уедете в Новосибирск." Он и никто из тех, кто разукрасил Академгородок, не был пойман. Их переловили всех до единого потом. Кто-то стукнул.

Когда я прятала одежду молодого человека туда, где хранились краски, я не заметила, что краски исчезли. Молодые свободолюбцы выкрали их у меня и разрисовали ими стены дома, где я жила. Прятать одежду в пропахший краской шкаф, что мне казалось верхом находчивости, – сущая глупость. Собакам давали нюхать лозунги, и они гонялись за краской. Они привели милиционера в квартиру Славы Воронина, художника, обладателя тех же красок, что и мои. Он к надписям никакого отношения не имел и был, слава Богу, вне подозрения. Появись милиционер с собакой в моей квартире, одежда мнимого больного была бы тут же обнаружена со всеми вытекающими последствиями. Мы сами расставили себе капкан и сами положили в него приманку. Но пронесло.

В институтах шли митинги солидарности с теми, по чьей вине наши танки очутились на чужой земле. Явка обязательна. Мало явиться, изъявлять солидарность должен каждый. Только что написанные стихи Галича о молчании устарели безнадежно.

"Помолчи, помолчи, помолчи,
Так легко пройти в первачи,
Так легко пройти в палачи..."

Молчание оказалось под запретом. Я не присутствовала ни на одном заседании. Меня уволили.

Делоне уехал из Академгородка в Москву за месяц до чехословацких событий, вышел на Красную площадь с пятью другими смельчаками, чтобы протестовать против ввода войск в Чехословакию, и был арестован. Протестовали, кроме Делоне, Литвинов, Лариса Богораз, Горбаневская, Файнберг и Дремлюга. Седьмой участник демонстрации, если и протестовал, то разве что против мокрых пеленок. Горбаневская пришла на демонстрацию со своим грудным сыном. В его коляске привезли на Красную площадь к Лобному месту плакаты. Я видела Осю Горбаневского в Париже восемь лет спустя. "Приветствую участника демонстрации протеста против ввода войск в Чехословакию", – сказала я ему. Мы подружились. Он исполнял мне балетную сюиту собственного сочинения. Называлась она "Нашествие и разгром немцев". Под музыку, кажется, это была увертюра "1812 год" Чайковского, он один с превеликим искусством и с вдохновением изображал наступающие армии, конные бои, дезертиров, пленных. Хореографию дополнял текст: русские и немецкие команды.

ДЕЛА СЛУЖЕБНЫЕ

Работа с мухами не прекращалась ни на миг. Блаженные времена, когда мутации возникали с поразительной частотой, остались давно позади. Наступил долгий, бесконечно долгий период низкой мутабильности. В 1969 году мучения кончились. Мутации снова повсеместно стали возникать в огромном количестве. Тогда, до 1941 года, мутанты в большинстве случаев были желтыми. В 1969 году мутанты не отличались цветом тела от своих нормальных собратий. Они имели уродливое брюшко. Щегольские черные полосы брюшка самки перекошены, безобразна нарушена симметрия, куски хитинового покрова отсутствуют. Блестящая черная поверхность кончика брюшка самца исковеркана, искромсана, выщерблена, обесцвечена. Золотые рыцари не имели ни малейших шансов оставить потомство. Мутационный процесс поставлял их, естественный отбор выметал их из популяции. Вероятность встретить желтого самца среди обычных самцов строго соответствовала частоте мутирования гена. Мухи с уродливым брюшком, по всей видимости, извлекали какую-то выгоду из своего недуга. Естественный отбор оказался на их стороне. Из года в год вероятность встретить муху с уродливым брюшком все возрастала. Мутационный процесс и отбор действовали рука об руку. До 1969 года мухи с ненормальным брюшком встречались с частотой 1-2 на тысячу. В 1969 году их можно было найти 10-20 на тысячу. В 1972 и 1973 годах больше половины мух имели ненормальное брюшко, на тысячу их было в некоторых популяциях 500-600. Наследственная болезнь спасала мух от какой-то еще большей напасти, чем она сама. Вспышка мутабильности комплекса генов, ведающих развитием хитинового покрова брюшка, не успела заглохнуть, как в 1973 году другой комплекс генов пришел в лабильное состояние. Мухи с опаленными щетинками, носители мутации singed стали попадаться с невиданной до тех пор частотой. Преимуществ в борьбе за жизнь мутация "опаленные щетинки" не давала. Картина ее распространения в популяции очень напоминала мутацию "желтую" и отличалась от картины распределения в пространстве мутации "ненормальное брюшко".

Настырная Раиска, Райка с ее бушующей энтелехией не унывала. Осенью 1968 года экспедиция выехала из Ленинграда. Финансировал ее Агрофизический институт. В 1969 году я была приглашена читать "Введение в медицинскую генетику" в Медицинский институт города Фрунзе. Часть расходов по моей экспедиции брал на себя Медицинский институт, а часть – Агрофизический институт.

В 1970 году меня из Агрофизического института уволили. До Президиума Академии Сельскохозяйственных Наук дошло – потенциальных уведомителей предостаточно, реальный нужен один, – кому дал приют в своем институте его директор.

В 1970 году финансировать экспедицию брался Медицинский институт города Фрунзе и лаборатория популяционной генетики Академгородка. Ее возглавила Зоя Софроньевна Никоро. Выехать из Ленинграда в Умань оказалось не так-то просто. На Украине свирепствовала холера. Без командировки ехать я боялась. Меня могли задержать. Дать командировку даже с обозначением "без оплаты" Педагогический институт, где я читала лекции, не находясь в штате, наотрез отказался. Пошла в Зоологический институт к директору Быховскому. "От Зоологического института командировку не дам. Получите от Президиума Академии Наук, приходите туда, командировку велю приготовить к вашему приходу." Я получила командировочное удостоверение с обозначением, что оно "без оплаты", за подписью академика-секретаря, т.е. главы Биологического отделения Академии наук. В следующие два года я ездила без командировки. Фрунзе и Академгородок финансировали экспедиции. Беляев смотрел сквозь пальцы.

В 1972 году его попустительству пришел конец. Я докладывала в Институте цитологии и генетики результаты моих исследований по генетике человека. Небольшой зал института, человек на 250, был полон. Я только что приехала в Городок в составе экспедиции и обрабатывала экспедиционный материал. В докладе речь шла о распределении дат рождения больных, отягощенных наследственным недугом. Беляев нервничал. Он то и дело прерывал меня. Ему хотелось ввести мое изложение в русло официальной идеологии, до которой мне решительно не было никакого дела. Я описывала родословные больных. Нам важно знать, унаследовал больной свою болезнь от родителей или его заболевание ни у кого из членов его семьи раньше не наблюдалось. Я говорила о маниакально-депрессивном психозе. Одним из симптомов заболевания является самоубийство. Я сказала: "Само по себе самоубийство не является показателем психического расстройства. Вопрос чести может толкнуть на самоубийство как раз сверхнормального человека. Только в сочетании с другими симптомами..." Беляев прервал меня: "Без душевного заболевания нет самоубийства." "Может быть, нет и чести?" – спросила я при гробовом молчании зала. Заключительное слово председателя Беляева изобличало его невежество. Он потерял над собой контроль. В частных разговорах я осуждала его действия по отношению к Гольдгефтеру, которого нещадно прорабатывали и изгнали из Института, узнав, что он собирается эмигрировать в Израиль, и взвалив на него обвинения в уголовных преступлениях, которые он не совершал. Беляеву донесли. Он вполне владел собой, когда пришел в лабораторию и в присутствии Ксаны Соколовой – она тогда была студенткой, ныне она сотрудница Института и жена Володи Иванова – в ее присутствии сказал, что Институт не располагает средствами, чтобы оплачивать мое участие в экспедициях. Я сказала, что дорогу оплачивает Медицинский институт города Фрунзе, а Институт из лабораторных средств платил мне "полевые", всего рублей 80 я получила. "Да, деньги небольшие, – очень иронически сказал Беляев, – но и тех впредь не будет." Ксана плакала.

В 1973 году я не поехала в экспедицию. Мух из Никитского Ботанического Сада, из Еревана и Дилижана мне привезла моя бывшая сотрудница по Агрофизическому институту, моя верная Галя Иоффе. Среди них и их потомков я и обнаружила курчавых самцов, носителей мутации "опаленные щетинки". В 1974 году Галя снова привезла мух, и до последнего дня моего пребывания в Ленинграде я занималась ими.

Я перестала ездить в экспедиции не только из-за отсутствия денег. Мне надоело терпеть их тяготы. Экспедиция – изолят, как бы парадоксально это ни звучало. Болезненные явления, свойственные всякому изолированному человеческому скоплению, присущи и экспедиции. Ощущение несвободы, протест против принуждения, чаще всего мнимого, взаимное недовольство участников экспедиции нарастают лавинообразно. Начинается бегство в болезнь, поиски поводов для ссор, центробежные силы грозят каждую минуту взять верх над разумом. Я отправлялась в экспедиции, зная наперед исход неизбежной бури в стакане воды. Но, наконец, все это мне осточертело. Да и диссидентство мое не улучшало, само собой разумеется, положения. Диссидентство, положение гонимого – лакмусовая бумажка человеческих отношений. Я видела много проявлений благородства, доброты, самоотверженной помощи, молчаливо оказанной в знак солидарности. Но и зло обострилось. Кому и без диссидентства по отношению ко мне по причине бессовестности все позволено, теперь позволено уж решительно все. К внутренним побуждениям присоединились внешние.

В 1969 году жить бы и радоваться. Работа есть, мухи мутируют. Мы в Армении, в Бюракане. Большой и Малый Арарат на горизонте. Оказалась, однако, и в этой бочке меда ложка дегтя. В составе экспедиции обкомовская дочка, Тамара Загорная. Дочь члена Обкома по папиной протекции занимает должность младшего научного сотрудника. Дочка дочке рознь, и я не чуяла беды, хотя предупреждали умные люди. В составе экспедиции – Кентавр, ее пламенный поклонник, аспирант и старший научный сотрудник в одном лице, фантастическая химера тайного диссидентства с карьеризмом, пассивного диссидентства с активным карьеризмом, успешный претендент на созданную мной лабораторию. Последнее не преминуло выявиться в самом ближайшем будущем. Еще были две Гали – Галя Иоффе и другая, аспиранта-Кентавра, влюбленная в него упорно, тайно. Поступала она ко мне, но, увидав Кентавра, решила посвятить ему свою одинокую и бесперспективную жизнь.

Мы гнездились в Астрономическом институте Академии Наук Армянской республики. Шофер института воспылал нежными чувствами к Тамаре Загорной. Остановить ухаживания армянина ничего не стоит. Начинает он с разведки боем. Очень энергично и бесцеремонно он заявляет о своих недвусмысленных намерениях. Прелюдия – испытание доступности. Дама демонстрирует недоступность. Кавалер немедленно отступает и принимает позу оскорбленной невинности. Каким грязным воображением надо обладать, чтобы принять его почтительное поклонение красоте за домогательство! Реакция дамы решает дело.

Шофер – мужчина взрослый. Тамара Загорная не девочка. Не знаю, на каком этапе находился их роман, когда он пришел расточать свои любезности. Институт и обсерваторию возглавляет Виктор Амазаспович Амбарцумян, действительный член Академии Наук СССР и Президент Академии наук Армянской ССР. Роскошь зданий, прилегающего парка, внутреннего убранства института поражает. В одном из зданий института мы оборудовали лабораторию. Сюда и пришел шофер поклоняться красоте. Жили мы в гостиницах обсерватории – я в одной, все другие – в другой. Горячая вода – редкость даже в помещениях, предназначенных для иностранцев. Может, для них специально греют, но в тот год иностранцев не было. Визит шофера и горячая вода в моей гостинице совпали. Мы с утра решили, что все будут мыться по очереди. Я прервала излияния шофера и напомнила Тамаре, что ей время идти ко мне в гостиницу мыться. Идти ей не пришлось, появилась Галя Иоффе с известием, что вода кончилась. Вечером произошел грандиозный скандал. Накануне Тамара попросила у меня марку – маме письмо отправить. Как сейчас помню я марочку, которую я несла Тамаре, – рысь с рысятами – прелестный символ материнской любви. Оказалось, что аспирант-химера, его Галя и, прежде всего, сама Загорная смертельно оскорблены мною, Загорная – за себя, они – за нее. Я предлагала шоферу идти ко мне в комнату с Загорной. Им известно все. Не только мое сводничество, но и его корыстная подоплека: мне нужен автобус института, чтобы совершать туристские поездки по Армении и, соответственно, его шофер. Загорная – мой аванс в счет будущей оплаты услуг шофера. Подоплеку разгадал химерический аспирант. Судил он, очевидно, по себе. Приписывал он мне не только моральную, но и физическую нечистоплотность. Он не побрезговал бы спать в постели после шофера и Загорной. Рассчитывать на смену простынь в гостинице не приходилось.

На следующий день оскорбленная Дочь Обкома покинула мою экспедицию. Вскоре покинули ее и оба аспиранта – руководитель и его Галя. Игра в Агрофизическом институте, подходила, видно, к концу.

Бюракан и его директор были предельно гостеприимны. Виктор Амазаспович заинтересовался моей работой. Он хотел, чтобы параллельные исследования мутабильности производились не только на дрозофиле и на человеке, но и на микробах. Один из "сахаровских птенчиков" возглавлял лабораторию генетики в Институте микробиологии Академии наук. Он согласился руководить темой. Из президентского фонда выделены две штатные единицы для проведения темы. Генетикой человека должен заняться Медицинский институт. Амбарцумян сам созывал на совещания лиц, с которыми я хотела войти в контакт.

Я докладывала на Ученом Совете Астрономического института. Я говорила о вспышках мутабильности, о первой из них, обнаруженной мной в 1937 году, когда, по-видимому, менялась не одна дрозофила, но и человек стал жертвой глобальных сил. "Скажите, связываете ли вы обнаруженные вами явления с событиями 1937 года?" – полушутливо в этой полуэвфимистической форме спросил меня заместитель

директора. Он имел в виду террор. Я познакомилась потом с его матерью – глубокой старухой. Во время погрома, когда полвека тому назад турки уничтожали армян, ее семья спаслась. Их спрятал у себя в доме грузин. Она в то время уже была замужем. Ее "мальшик" – ныне замдиректора – тогда еще не родился. В 1937 году все мужчины в семье были уничтожены. Другим грузином – замечу от себя в скобках. Мать замдиректора в политические оценки не вдавалась. Проскользнуло только, что уничтоженные были членами партии, а один из уничтоженных – брат ее мужа – перевел с немецкого на армянский "Капитал" Маркса. На вопрос "мальшика" я ответила, следуя его шутливому тону: "Конечно, связываю. Не только тогдашняя, но и нынешняя вспышки мутабильности совпали с ужасными событиями. Студенческие волнения происходят во Франции, в Германии, в Италии. Из Беркли, из США письмо только что получила. Майкл Лернер пишет, что на его курс по социальным вопросам генетики и эволюционной теории записалось более восьмисот человек. Зал, в котором он должен начать читать, сгорел. Его подожгли бастующие студенты." "А как вы относитесь к прогнозу, что в восьмидесятых годах восстания будут происходить в детских садах?" – спросил Амбарцумян. Все засмеялись.

Моя связь с Арменией не установилась. Очередное сокращение штатов смело все планы. Предоставленные для проведения моей темы штатные единицы сыграли положительную роль, спасли от сокращения двух сотрудников "сахаровского птенчика". Незамещенные единицы ликвидировали под видом сокращения штатов.

Когда я вернулась осенью 1969 года из экспедиции, завлаб и замдиректора, премилый Ратмир Александрович Полуэктов, был в отпуске. "Вы – мишень для стрельбы, требуют вашего увольнения. Могут из-за вас ликвидировать всю лабораторию. Не лучше ли уволиться пока это не произошло, чтобы отвести от нас огонь", – сказал мне Кентавр. Я рассказала об этом Симу. "А не кажется ли тебе, что твой Кентавр – c'est une femelle du chien?" – самка собаки, – сказал Сим. Об истории с Загорной Сим не знал. Я рассказала о предложении Кентавра Борису Соломоновичу Мейлаху. "Напишите статью в ленинградскую газету о вашем Институте и изобразите дело так, чтобы работа вашей лаборатории выглядела как неотъемлемая часть тематики Института. Тогда будет трудно уволить вас из-за ликвидации темы", – сказал Борис Соломонович. Как только Ратмир Александрович вернулся, я изложила ему предложение Кентавра и совет Мейлаха. Статья за двумя подписями – Полуэктова и моей – под заглавием "Биология и кибернетика" появилась в "Ленинградской правде". Мы писали об управляющих механизмах живой природы, о необходимости знать их, чтобы не губить природу неумелым вмешательством. В ответ на неумелое вмешательство управляющие механизмы либо возвращают природу в исходное состояние, либо сходят на нет вместе со всей системой. Мы писали о механизмах, управляющих внутривидовым разнообразием, и о разнообразии как об условии поддержания устойчивости вида. Было и о

роли математических моделей в прогнозировании хозяйственной деятельности. Говорилось об анализе корреляций и о корреляционных плеядах – всем этим занималась наша лаборатория.

Два телефонных звонка раздались немедленно после выхода в свет статьи. Редакция газеты просит подробно осветить вопрос о корреляциях. Запрашивает редакцию ТАСС. Статьей заинтересовались в США. Второй звонок от кинодраматурга Зильберберга. Он написал заявку на киносценарий. Основываясь на нашей статье, он повествует об охране природы. Ему нужен отзыв ученых на его проект.

Всего года два прошло с тех пор, как я имела случай заступиться за озеро Байкал. Его охране было посвящено совместное заседание Президиума Академии наук и Президиума Сибирского отделения Академии. Весь Ученый Совет Сибирского Отделения, членом которого я состояла, был в сборе. Обсуждение продолжалось и после заседания на банкете в просторном кабинете Беляева, отлично приспособленном для такого рода приемов. Присутствовала я на банкете не в качестве члена Ученого Совета и не в качестве лимнолога – историка лимнологии СССР, а как дама. Дамы нужны для парада. Обсуждали опасность, грозящую Байкалу. Бумажный комбинат строился на его берегу, отходы неизбежно должны спускаться в кристальные воды Байкала. Академик-секретарь Биоотделения Академии Наук Борис Евсеевич Быховский на прямой вопрос кого-то из самых-самых чиновных о вреде замялся и сказал, что им надо развернуть в Зоологическом институте Академии, где он директор, экспериментальную работу. Год-два и они смогут сделать прогноз. "Да ведь у вас лаборатория гидробиологии испокон веков существует, – сказала я. – Георгий Георгиевич Винберг ее возглавляет – мировая величина. Так неужели знаний не накопили, достаточных для прогноза? А через два года прогнозировать будет поздно." Дама вместе дамской молчаливо-прекрасной роли играла роль андерсеновского-шварцевского мальчика. Король был гол.

Заявка на сценарий Зильберберга добра не сулила. Он принес заявку мне домой. "Тезка у вас есть. В журнале "Знание-Сила" его очерк опубликован, "Чем отличается кошка от собаки". Читали? Вот мастер писать! И природу, видно, любит." "Не только читала, но и писала. В редакции журнала "Знание-Сила" очень горды тем, что "выпустили меня на панель", согласно их определению журнальной деятельности." "Значит, я ваш клиент!" – воскликнул Зильберберг. Его заявка принята. Я назначена научным консультантом фильма. Сценарий написан. Я получила гонорар. На том дело и кончилось. Фильм зарезали в каких-то инстанциях. Угроза гибели нависла, по собственным признаниям американцев, над природой США. В СССР же никакого загрязнения среды нет и не предвидится. Сценарий Зильберберга – клевета. Зильберберг слег с тяжелым инфарктом.

Мое увольнение к этим историям никакого отношения не имело. Президиум Академии Сельскохозяйственных Наук приказал, директор повиновался. Из штата меня вывели. Но у меня договорная тема – анализ корреляционных плеяд. Финансировал ее факультет прикладной

математики Ленинградского университета. По этой теме снаряжалась экспедиция на Курильские острова, изучать корреляции между отдельными поведенческими актами у морских котиков. Директор Агрофизического института самовольно покровительствовал теме и экспедиции, благо они не обременяли его бюджет. Курильские острова – пограничная зона. Нужно разрешение на въезд от КГБ. Разрешение получено, подготовка идет полным ходом. Но кто-то стукнул, директора телеграммой вызвали в Москву к начальству, и он получил приказ прикрыть и эту тему, а деньги вернуть Университету. Сделать модель мужа, на этот раз не с помощью цветочков, а используя столь близкий к человеку материал – гаремы морских котиков, – мне не пришлось.

Кентавр возглавил лабораторию, и теперь уже обе Гали оказались в его полном распоряжении. Я лишилась зарплаты и лаборатории, но не лишилась возможности работать. Лабораторию мне предоставляли мои ученики. Я читала лекции в Педагогическом институте имени Герцена и в Психо-неврологическом институте в Ленинграде, в Университете в Риге, в Медицинском институте во Фрунзе. Приглашения организовать и возглавить лабораторию популяционной генетики следовали одно за другим.

Николай Николаевич Воронцов всю жизнь мечтал стать директором института, членом-корреспондентом, а затем и действительным членом Академии наук. В Новосибирске он очутился в странном и двусмысленном положении. На его пути стоял Беляев – его антипод. Беляев в научном отношении сущий ноль. Его гипнотизерские способности граничат с немыслимым. Воронцов – настоящий ученый, обаятельная личность, но обаяние выявляет в личном контакте. Гипнотическим даром он не владеет. В Новосибирске он занял позицию Ученого секретаря Биологического отделения Президиума Академии Наук. В качестве чиновника Президиума он оказался начальником Беляева. В Институте цитологии и генетики от Беляева зависело дать или не дать Воронцову лабораторию, и он лабораторию ему не дал. Он сделал его главой группы, а группу влил в мою лабораторию. У Воронцова в Институте оказалось два начальства – Беляев и я. Беляев действовал по принципу: разделяя, властвуй. Он думал, что объединяя меня и Воронцова в одну административную единицу, он создает все условия для конфликта. Он ошибся. Конфликта не последовало. Мы существовали как две независимые, самостоятельные лаборатории. Отношения между нами отличные.

К тому времени, когда меня выгнали из Агрофизического института, Воронцов добился поста директора. Узнав, что я без работы, он пригласил меня в свой Институт, во Владивосток. Я должна явиться для предварительных переговоров. Нотариальную копию трудовой книжки следует выслать предварительно. Мотивировка моего увольнения могла послужить непреодолимой преградой к зачислению. Мало ли что они там написали. Уволен по статье такой-то. Увольняемый понятия не имеет, что это значит, но секретарь парторганизации, завотделом кадров, завспецотделом отлично знают. Воронцов просил кроме копии трудовой книжки справку из нотариальной конторы с расшифровкой мотива увольнения. Статья номер такой-то, по которой меня

уволили, ничего зловредного не содержала – тема ликвидирована и только. Вслед за бумажной стаей отправилась и я. Лететь предстояло с двумя пересадками: в Москве и в Хабаровске. В Хабаровске выяснилось, что Владивосток самолеты не принимает. Снежные завалы. Я отправилась поездом. Я шла по заснеженному перрону, когда прозвучала по радио фраза: "Профессор Раиса Львовна Берг, вас ждут в справочном бюро вокзала." Мне оказывали царские почести. Но что-то неладное чувствовалось. Похороны не похороны – юбилей, во время которого юбиляра выпроваживают на пенсию. Вечером в номере гостиницы все разъяснилось. Президиум Дальневосточного Отделения Академии Наук наотрез отказался предоставить для меня штатную единицу. Удар нанесен не только мне, но и престижу нового директора.

Двум актерам – Воронцову и мне – предстояло играть с глазу на глаз. Сцена потребовала переоборудования. Молча, не посвящая меня в смысл своих таинственных действий, Воронцов взялся за дело. Он сместил диск телефона и укрепил его в смещенном состоянии с помощью надломленной спички. Поверх телефона он положил подушки. Потекла беседа. Телефон, по идее, не мог выполнять теперь ни одну из своих функций. Мне показалось, что выражение ужаса на лице Воронцова и приглушенный подушками телефонный звонок не звенья одной причинно-следственной цепи – выражение ужаса не запоздало ни на секунду. Водружая подушки, Воронцов сбил надломленную спичку, диск вернулся в то состояние, в котором ему надлежало быть, чтобы телефон мог выполнять свою обыденную унылую повинность, но и другая его пикантная миссия была восстановлена. Я достала из-под подушек телефонный аппарат. Кто-то ошибся, набирая номер. К тому времени надобность в надломленной спичке миновала. Оставшись одна, я из чистого любопытства позвонила Президенту Дальневосточного Отделения Академии Наук. Возглавлял Отделение географ Капица – сын того самого академика Капицы, которого Леон Абгарович Орбели ставил мне в пример, уговаривая продолжать мои популяционные исследования дома. Я и Президент – потомки строптивых академиков. И он, и мой отец, и я сама – географы. Меня разбирало любопытство узнать реакцию Президента на мое простодушное обращение к нему. Я собиралась играть роль непуганной. Чтобы оберегать высокопоставленных лиц от просителей, в местах присутственных есть секретари, дома – жены. Пробиться к Президенту мне не удалось.

На следующий день директорская машина доставила меня на аэродром. Провожала меня только Клара, Клара, которая Катя, прекрасная спутница многих моих экспедиций. Она работала теперь в одном из дальневосточных институтов, не в том, где мне не удалось возглавить лабораторию популяционной генетики. Оттуда не пришел никто. Николай Николаевич после эпизода со спичкой долго не показывался мне на глаза, а когда мы увиделись с ним через два года, он уже не занимал пост директора. Его сместили. Ни членом-корреспондентом, ни действительным членом Академии он не стал, но, может быть, еще станет. Его антипод – Беляев – давно избран действительным членом Академии Наук.

Приглашение создать и возглавить лабораторию популяционной генетики в Институте медицинской генетики в Москве обставлено с чрезвычайной помпой. Баснословные почести оказывает мне и Институт этнографии Академии Наук, приглашая приехать для переговоров. Я точно знала, чем дело кончится, и беспросветная скука владела мной, когда я отправлялась на переговоры. Должность заведующего лабораторией – номенклатурная. Утверждением кандидатов занимается Отдел Науки при ЦК. Отклоняя кандидатуру, Отдел Науки в объяснения не вдается. Изобретать фиктивные поводы отказов предоставляется директору. Не буду описывать, как выкручивались из затруднительного положения те, кто хотел, но не мог помочь мне.

Царские почести, которыми обставлялись приглашения, – функция страха. Когда вам по междугороднему телефону звонит из Москвы директор академического института собственной персоной, это означает, что он стремится обойтись без секретаря, избегает свидетелей, бумажной документации, огласки. Отказывали мне через секретарш. Директор сперва сам назначает прием, а когда я являюсь, секретарша говорит: "Директор занят. Принять вас не может. У него немцы, или французы, или югославы." Разговор окончен, дело сорвалось. Секретарше Барояна, директора Института микробиологии и вирусологии Академии Медицинских Наук, у которого при вышеописанных обстоятельствах были французы, я сказала: "Приходит наниматься на работу Пастер, а ему говорят: 'Извините, директор занят, у него французы'. Это не про меня – анекдот такой есть." Секретарша не поняла. Не обязана она знать, кто такой Пастер. К Барояну я наниматься не собиралась, истинный доброжелатель послал меня к нему. Бароян – махровейший цветок политого кровью цветника – мог помочь, по мнению доброжелателя. Ко времени моего визита Бароян, по-видимому, убедился, что помочь он не может. У него есть вертушка – прямой провод в Кремль, а доброжелатель этой привилегией не пользуется – не положено. У доброжелателя, когда я пришла к нему попрощаться, были немцы.

Во время одного из моих визитов в Москву, после моего доклада, меня посадил в такси Александр Александрович Малиновский и увез в неизвестном мне направлении. По его инициативе состоялось мое знакомство с Львом Николаевичем Гумилевым – сыном Ахматовой и Гумилева. В Москве жила его жена, и летом он жил в ее комнате в коммунальной квартире, а зимой – в своей комнате тоже в коммунальной квартире в Ленинграде. Работал он в Ленинградском университете на Географическом факультете и читал курс народоведения. По мнению Александра Александровича, мне и Гумилеву надлежало поделиться друг с другом мыслями. Пульсации в истории человечества, смена коротких периодов народной активности и периодов застоя, быть может, имеют, по мысли Гумилева, биологическую природу. Вспышки активности связаны с массовым появлением на свет лиц с повышенной энергией. Гумилев называет их пассионариями. Это не гении, не обязательно положительные персонажи, они не ведут за собой массы, они подталкивают процессы переустройства или экспансии, усиливают их, доводят

до кондиции исторических событий. Завоевания Чингис-хана, Александра Македонского, освобождение испанцев от арабского ига, становление Киевской Руси, американская революция, положившая начало США, – дело рук не одних лидеров, но и пассионариев. Без сгущений их рождения во времени история имела бы совсем иное течение. По мнению Малиновского, обнаруженные мной вспышки мутабильности должны заинтересовать Гумилева. Малиновский видел в них возможный механизм массового появления пассионариев на коротком отрезке времени. Раз рождалось много людей, отклоняющихся от нормы в отрицательном направлении, могли в то же время рождаться и люди с повышенной энергией, лидеры, военачальники, гении. Тем более вероятной кажется связь, что и всплески народной активности и вспышки мутабильности носят глобальный характер. Сходные явления происходят в областях, заведомо изолированных друг от друга.

Наши отношения с Гумилевым сложились вполне ассиметрично. Мне казалось, что неравномерность исторического процесса и наблюдаемые мной явления могут иметь что-то общее. Гумилев, пребывая во власти туманных ламаркистских идей, отвергал не то что вспышки мутабильности, а всю генетику в целом. В его воззрениях сквозило нечто астрологическое, для меня совершенно неприемлемое. Дружбе нашей разногласия не мешали, и сопоставлять результаты своих и моих изысканий он не отказывался. Три потомка корифеев русской культуры – Гумилев, Малиновский и я – отлично ладили – гонимые, истерзанные потомки гонимых, истерзанных предков. Визит к Гумилеву вместе с Александром Александровичем весьма скрасил мои неудачные скитания по канцеляриям.

В Ленинграде мы с Гумилевым выступали с докладами на заседании, устроенном Факультетом прикладной математики Ленинградского университета. Слушатели валили валом. Критики предостаточно, весьма острой и остроумной, но велась полемика не с марксистских позиций. Словно попали мы с толпой молодежи в оазис в пустыне декретированной науки.

На самое почетное приглашение я даже не откликнулась. В 1968 году, сразу после Международного Энтомологического Конгресса меня пригласили занять Кафедру генетики Университета в Горьком. До 1948 года ее возглавлял Сергей Сергеевич Четвериков. Как случилось, что Кафедра пустовала, не знаю, только я убоялась ее окружения. Дурная слава Факультета гремела. Один заведующий Кафедрой дарвинизма Мельниченко чего стоил! Те, кто изгнал Четверикова, продолжали вершить судьбы Факультета. Я не стала подавать на конкурс.

Я была уже на пенсии, когда меня пригласили в Горький, но не для того, чтобы стать профессором его Университета, а для участия в конференции памяти Четверикова. Ученики Четверикова – Астауров, Рокицкий, Никоро, Эфроимсон, Кирпичников – приурочили к конференции открытие памятника на могиле Сергея Сергеевича. Заправилы Факультета все тут как тут. Не молчат – выступают. Эфроимсон слушал, стиснув зубы, как былые преследователи восхваляют научные заслуги

своей жертвы. Четверть века назад они кормились его гибелью, теперь – его славой. В самой большой аудитории Университета перед многосотенным наплывом слушателей Борис Львович Астауров рассказал о трагической судьбе основателя новой отрасли науки – экспериментальной популяционной генетики. Блистательно выступал Эфроимсон. Доклад он посвятил популяционной генетике психических заболеваний. Я говорила об изменении частоты возникновения мутаций в популяциях дрозофилы и человека. Я уже знала, что и у мух, и у человека частоты мутаций имеют волны, подъемы и спады этих волн имеют глобальный характер, и на гребне волны каждого периода мутации повсеместно одни и те же. Каждый подъем мутабильности индивидуален. Гребни волн выносят на поверхность мирового океана времени всякий раз новые мутации. Какое значение имеют эти подъемы и спады в появлении новшеств для преобразования вида в геологическом времени? Они – причина пульсаций эволюционного процесса. Благодаря им эволюция непредсказуема. Она непредсказуема и закономерна. Не только изобретательство инженера и технолога диктуют законы эволюции. Сам процесс наследственной изменчивости имеет свои законы. Эволюция – номогенез. Но она в то же время и неогенез – порождение нового. Будущее человечества непредсказуемо. Заботу о благе будущих поколений следует ограничить охраной природы. Охранять надо прежде всего природу самого человека. Посмотрите, что остается в веках незыблемо прекрасным, входит в сокровищницу мировой культуры. Создатели прекрасного творили для своих современников, и все последующие поколения наслаждаются их творениями. Рим, Ленинград, Рига, Флоренция... "Гении, сидящие здесь в зале, – обращалась я к присутствующим, – не навязывайте будущим поколениям ваши этические и эстетические каноны, творите для нас – ваших современников, и мы, и будущие поколения будем благодарны вам. Мир прекрасен своим разнообразием. Будущее непредсказуемо." Я рассказала о неравномерности исторического процесса, о периодах ускорения и замедления, о глобальных независимых вспышках человеческой активности, о которых говорят Тайяр де Шарден и Гумилев. Сессия юбилейная – полемики не полагается. Я не слышала сама, мне рассказывали, что квадратнолицые заправилы факультета с возмущением говорили о моем докладе. "Попадись она нам, мы пообломали бы ей рога", – так звучала заочная научная полемика. Я не попалась им. Глупа-глупа, но что ждет меня в Горьком, я предвидела отлично и в пекло не совалась.

ФИНАЛЫ

После того, как я подписала вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым прошения об отмене смертной казни и об амнистии политзаключенным, мои шансы получить штатное место упали до нуля. Возможности печататься, преподавать, работать, не пребывая в штате, все сокращались и сокращались.

Меня часто спрашивают, много ли в Советском Союзе диссидентов. Явных мало. Тайных – множество. Деятельность тайных ограничивается жадным чтением произведений самиздата и помощью тем, кто уже попал на заметку карателей. Тонкие связи личных симпатий и тайного диссидентства, на которых держалась моя судьба, рвались и рвались.

Финал моего существования "на панели", т.е. моей журналистской деятельности, ознаменовался отказом редакции журнала "Знание-Сила" напечатать мой очерк "Наследуются ли признаки, приобретенные в индивидуальном развитии". Редакция сама заказала. В полемику с Лысенко я не вдавалась, но очерк мой, конечно, антилысенковский. О каком наследовании приобретенных признаков может идти речь, когда признаки вообще не наследуются. Из поколения в поколение передаются не признаки, а гены. Ген может и не проявиться, не подать ни малейших признаков своего присутствия, если его действие подавлено его более активным партнером. Передача гена следующему поколению не зависит от того, осуществил ген свое действие или нет. Оба задатка передадутся следующему поколению с равной вероятностью. Молекулярный уровень хранилища наследственной информации, нет, лучше сказать информационный принцип передачи признаков из поколения в поколение исключает наследование приобретенных в индивидуальном развитии признаков. Один умный грек, не помню кто, сказал, что верить в наследование того, что само не унаследовано от родителей, нелепо. Всякий знает, что если из свежего дерева выстругать скамейку и сучок прорастет, то вырастет дерево, а не скамейка. Канал прямой связи от гена идет к признаку. От признака к гену сигналы на протяжении жизни индивида не поступают. Сколько корову не дои, ее дочери, вопреки мнению Шаумяна, не станут от этого рекордистками. А если гены знают, как делать свое дело, чтобы организм выжил и оставил жизнеспособное потомство, так знают они, потому что кто из генов не знал – погиб. Гибель неумелых, преимущественное размножение умелых генов совершенствует гены, а мутационный процесс делает гены разнообразными, так что есть чему соревноваться и есть из чего отбирать. Значит, сигнал обратной связи все же поступает от признака к гену? Да, поступает, но совершается передача информации по каналу обратной связи в процессе смены поколений через отбор наилучших генов. Обладатели "глупых" генов погибли, обладатели "умных" выжили и передали их своим детям. Гибель одних, воспроизведение других – это и есть сигнал обратной связи. Он достигает потомков, и потомки

имеют в среднем более "умные" гены, чем их предки. Отбор стоит на страже соответствия между геном, признаком и средой.

Знать истину в этом вопросе важно не только тем, кто работает с животными, растениями, микроорганизмами, приспосабливая их к разнообразным нуждам человека, но и врачу и его пациенту. Врач и больной должны знать, что исцелив наследственный недуг, а все больше врожденных болезней поддается лечению, врач не предотвращает передачу болезни следующему поколению. Приобретенный признак – здоровье – достояние исцеленного и по наследству не передается. Дети, если они унаследуют болезнетворный задаток, потребуют того же лечения. Важно? Важно. Идея наследования признаков, приобретенных в индивидуальном развитии, чисто алхимическая. Я особенно гордилась тем, что разгадала, почему идеи алхимиков давно отошли в прошлое, а их биологический аналог продержался до двадцатого века.

Не содержание статьи оказалось причиной отказа, а биография ее автора. И всю-то жизнь я держала одну ноздрю над водой и не тонула за счет беспорядка, грандиозной энтропии, рассогласованности отдельных звеньев системы. Порядок возрастал.

Финал моей педагогической деятельности, а заодно и работы с мухами, произошел по причине психического заболевания одного из студентов Педагогического института имени Герцена, тезки Герцена – премилого Саши.

Лабораторию, где мне предоставлялась возможность считать мух, и факультет повышения квалификации учителей-биологов, где я читала лекции, возглавляет Петр Яковлевич Шварцман, мой ученик, как он называл себя, хотя только слушал мои лекции. Невозможно представить себе существо более обаятельное, чем Петя Шварцман. Красотой он не блещет, смахивает на шимпанзе, но изумительный, мужественный голос, умная, все понимающая улыбка, излучающая доброжелательность, весь строй его речей и действий покоряют. Необходимость платить дань подхалимства за возможность возглавлять лабораторию причиняла ему ужасные мучения.

Он был черный, когда рассказывал мне о заседании, где Ефима Григорьевича Эткинда, красу и гордость Института, профессора, обожаемого студентами, изгоняли и лишали всех степеней и званий. Я рассказывала о его отчаянии Ефиму Григорьевичу. "Голосовал-то он за изгнание", – сказал Ефим Григорьевич. "Откуда вы знаете?" – спросила я. "Постановили отчислить и ходатайствовать о лишении степеней и званий единогласно."

Петя Шварцман чуть не плакал, прося меня больше не приходить в лабораторию. Он получил приказ не пускать меня. Он мне даст бинокуляр, пробирки с кормом для мух мне будут домой приносить, но пускать меня в лабораторию он не может. "Сволочь я, – говорил он, – но не о себе одном думаю. Лабораторию закроют – сколько людей пострадает."

А поводом к приказу изгнать меня послужил телефонный звонок безумного Саши. Заболел он манией преследования. Родителям своим

и брату он заявил, что считает их заботу о его здоровье происками КГБ, к психиатру обратится, только если я сочту это нужным. Я узнала все это от его матери. По моей просьбе мои знакомые психиатры положили его в клинику Института имени Бехтерева, и оттуда мне звонил дежурный врач, прося уговорить Сашу принимать лекарства. В ответ на мои уговоры Саша нес нечто для телефона совершенно неподходящее, но настолько откровенно патологическое, что всякому идиоту должно было быть ясно, что говорит больной человек. Те, кто подслушивал, пардон, кто прослушивал телефонные разговоры в Институте имени свободолюбца Герцена, в тонкости психиатрии не вникали. Грехов и без Саши за мной числилось предостаточно. Сашин бред привлек их внимание ко мне.

Не стало и дачи. Кто только не отнимал ее у меня! В Комарово дачи давали не только академикам, но и писателям. Рассказывали, что Ахматова, получив не в личное, а в пожизненное пользование дачу, сказала: "Я домовладелец. Бред". Я владела дачей 24 года. И это бред, и то, что отняли ее у меня, – бред.

Начали ее отбирать у меня еще до того, как я ее получила. Меня уведомили, устно само собой разумеется, что постановление о праве академиков передавать дачи по наследству отменено, что дача будет заселена до того, как я вступлю в права владения ею. "Мы разорим вас, мы заставим вас заботиться о благоустройстве дачи, вы на юристе разоритесь", – кричал не кричал, а говорил с металлом в голосе начальник хозяйственного отдела Академии из породы квадратнолицых. "Разрешите познакомить вас с моим юристом", – вежливо сказала я и представила ему милейшего Марголина. Я законы сама отлично знала, а Марголина держала в качестве пугала против стервятников. Отлично действовало. Я случайно оказалась в 1964 году в Москве, когда после смерти Шмальгаузена ту же процедуру пытались проделать с его дочерью. Я отправилась в Президиум и без помощи юриста в два счета обтяпала все дело, и Ольга Ивановна не знала хлопот.

Я выкупила две трети дачи у мачехи и Сима и вступила в права наследования. Я жила в Новосибирске, когда на даче моей произошел пожар. Дело было зимой. Пожар произошел по вине Яши Виньковецкого, единственного обитателя дачи, художника, курившего среди ведер с такой краской, которая, по его словам, воспламеняется немножко хуже пороха, но немножко лучше бензина. "Будем радоваться, что из того, кто рисует, вы не превратились в то, чем рисуют", – писала я из Новосибирска, имея в виду уголь, сажу и жженую кость. Из искры этого пожара возгорелось пламя вражды в нашем неустанно разрушаемом мачехой семействе. Яша, получая страховку, выяснил, что дача в Жилищном отделе Райисполкома числится за тремя наследниками. Потребовали от Сима и мачехи заявлений, и бюрократическая ошибка дала мачехе повод оспаривать мое право на дачу. Сим защищал меня. Дело дошло до суда. Мачеха хлопотала не о себе. Был еще один родственник, о котором я предпочитала умалчивать в моем повествовании и которого и сейчас введу в него только в связи с дачной эпопеей.

Мачехе за восемьдесят, она дрожащей рукой пишет заявления в суд, что отец лишил меня наследства. Родственник писал прямо в ЦК: дачу у меня следует отнять по причине моей антисоветской деятельности. Гинзбург и Галансков, осужденные судом праведным, злоумышленники против партии и правительства – вот кого я защищала. Ни мачеха, ни Родственник ничего не добились. Удивление вызывал тот факт, что дело восемнадцатилетней давности суд принял к рассмотрению. Не обошлось и без драматических моментов. Адвокат Родственника, а Родственник представлял интересы мачехи, не выдержал. "Я не могу участвовать в этом негодяйстве", – сказал он, пожал мне руку и вышел из зала суда. Нужны чрезвычайные обстоятельства, чтобы старик Горнштейн, прославленный юрист, проявил такую несдержанность. Решение суда мачеха и Родственник обжаловали. Мне пришлось побывать и в Прокуратуре РСФСР, и в Прокуратуре СССР. Мне навсегда запомнились некоторые персонажи в приемной этого последнего учреждения. Средних лет мужчина-эстонец, латыш или финн, судя по синеве его глаз и пшеничной белокурости, в синем, очень чистом рабочем комбинезоне стоял неподвижно, как изваяние. Лицо его выражало непоколебимую решимость. Ирония судьбы делала его великолепным образцом для статуи латышского стрелка. Он знал, чего хотел. А огромная старуха – крестьянская баба, одетая до ужаса бедно и совсем не по-городски, видно, знала только свою обиду, а кому и как жаловаться, понятия не имела. Она было ушла, пришла снова и снова ушла. Она ни к кому не обращалась, и никто не предложил ей помощь. За спиной у нее мешок, не вещевой мешок, а простой – из дерюги. Содержимое мешка кровоточит, и пятно свежей крови увеличивается. Она, видно, разжилась мясом в гастрономе, не завернутое в пергамент мороженое мясо оттаяло и мешок промок. Лицо старухи выражало беспредельную покорность судьбе. В Прокуратуре СССР я узнала об обращении Родственника в ЦК. Жалобу на мои подрывные действия из ЦК переслали в Прокуратуру, а Прокуратура направила ее в районный суд, где слушалось дело. Там мы с Лизой и списали ее не без удовольствия. Дело длилось годами. Ни Сим, ни мачеха не дожили до развязки. Сперва умер Сим, а потом и мачеха.

Главная опасность моему владению грозила со стороны Академии и ее членов – академиков. Наследников с первого дня вступления в права наследования брали на мушку и так и держали. Снайперов – несметное количество: Жилищный отдел Академии, Правление Поселка академиков, куда входят академики, избранные общим собранием академиков-домовладельцев, и Василий Филатович. Самый искусный снайпер – Василий Филатович, Филатыч. Он начальник домоуправления, его функция следить за исправностью водопровода, электросети, дорог, принимать квартирную плату. Чего, казалось бы, скромней. И одет соответственно, бедновато. По слухам, он сказочно богат. Взятки текут к нему рекой. Он всесилен – кому хочет поможет с ремонтом дачи, кому хочет – откажет. Да что там ремонт! От него зависит объявить любого из нас нарушителем советских законов и административных правил и призвать нас к порядку через весь гигантский, все никак не

желающий идти по пути отмирания аппарат принуждения: милицию, налоговую инспекцию, пирамиду Исполкомов. Кто у кого служит приводным ремнем – он у них или они у него, – это еще вопрос. Правление академиков безропотно танцует по его указке. Его панически боятся. "Он – агент КГБ", – сказал мне шопотом у себя на даче академик, к которому я обратилась с просьбой написать отзыв на автореферат кандидатской диссертации Люси Колосовой.

По степени уязвимости наследники делятся на четыре категории. Наименее уязвимы вдовы, далее идут в возрастающей последовательности прямые потомки, дальние родственники и лица, в родстве с академиком не состоящие. Академик Герман – мой сосед по даче – завещал дачу своей домработнице. Востоковед-академик, князь Щербатский женился на своей экономке. Сын сенатора, Президента Географического общества, прославленного ученого и сам прославленный ученый и поэт, переводчик Горация, Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский оказался законным мужем своей кухарки Натальи. Академик Герман не женился, завещал домработнице дачу, благо закон тому не препятствовал.

Цель санкций против наследников – заставить их продать дачу Академии, а по уставу только Академии и могут быть проданы элитные дачи, где академики вкушают покой. Вот тогда-то дача, купленная по казенной цене, поступит в собственность очередного академика, жаждущего ее иметь. Подачка в виде дач, как сказал бы поэт, одноактная комедия, разыгранная Сталиным в строгом соответствии с классическим каноном единства времени и места. Однажды одарили – и все. Вновь избранные академики щелкали зубами, вожделея.

В феодальной структуре советского общества бывшая домработница, владеющая академической дачей, – существо предельно уязвимое. Санкции против наследников экономические. Им строжайше запрещено сдавать дачу, хотя прочие граждане права сдавать излишки жилплощади не лишены. Плати налог и сдавай. Академики сдают и налога не платят – деньги к деньгам. Наследник – не академик, содержать ему дачу не по карману. Образцом санкций может служить бумажка: "Правление Академического поселка предлагает вам в кратчайший срок отремонтировать жилые строения, гараж и забор вашей дачи. Ваша дача не служит украшением Поселка академиков. Правление предлагает снять пристройки и перегородки, возведенные вами с целью спекуляции жилплощадью. Невыполнение постановления карается по закону." Я неоднократно получала такого рода бумажки, хотя никаких пристроек и перегородок не воздвигала и дачу держала в полном порядке. Запрещали поливать сад – воды может не хватить академикам. Постоянно грозили отключить свет и воду. Что делает при этих условиях несчастный наследник? Пускает жильцов под видом родственников и платит Филатычу и его секретарше-паспортистке, мордатой Надьке (это, конечно, за глаза, а так – Надежде Михайловне) взятку. Мало дал – правление академиков – не Филатыч – требует доказательств, что жильцы – кровные родственники, а не седьмая вода на киселе. Можно за взятку и такую

бумажку раздобыть, но ведь чтобы платить, надо деньги иметь! Заколдованный круг. Экономические санкции применялись все энергичнее, и все больше денег выкачивалось из наследников. И вот нас созвали на общее собрание домовладельцев. До тех пор на общем собрании присутствовали одни академики, а наследники права голоса не имели. Президиум собрания – академик Наливкин и Василий Филатович. Наливкин сообщил приятную новость: наследница Германа продала дачу Академии. Это результат тех разумных мер, которые принимало правление, чтобы охранять покой академиков. Жильцы наследницы шумели. Он лгал со слов Филатыча. Мои соседи буквально не подавали признаков жизни. "Суровые меры будут применяться и впредь. Не лучше ли расстаться с дачей до того, как нагрянет беда." Приятная новость потрясла наследников. Они приняли ее в штыки. Запахло разоблачением. Кристально-прозрачные голубые глаза Филатыча замутились. Нос его непристойно алкоголично покраснел и набух. Идеальный квадрат его лица вытянулся и перекосился. Племянник покойной вдовы Полканова сказал, что наследница Германа, видно, не имела средств содержать дачу, он же их имеет, переехал в Ленинград из провинции, законно вступил в права наследования, знаком с правилами сдачи в наем излишков жилплощади, нарушать их не собирается, никакой другой площадью не обладает и не видит никаких оснований расстаться с дачей. Внук академика Порай-Кошица говорил, как государственный деятель. Привилегии, так щедро предоставляемые академикам правительством, не дают им права нарушать законы и самовольно ставить себя в еще более привилегированное положение, чем их ставит законная власть. Академики компрометируют себя, отдавая менее состоятельных людей на произвол начальника домоуправления. Он говорил спокойно, как будто не он жертва притеснений. Так мог бы говорить в зале суда адвокат. А сын академика Баранникова кричал с перекошенным бледным лицом и дрожащими губами: "Пусть подумают академики, что и они смертны. От закона естественного отбора не уйдет никто. Сегодня ты, завтра я. Сегодня академики и этот вот тип, – он ткнул в Василия Филатовича, – травят нас. Завтра точно так же будут травить их наследников. Не хотите думать о нас, думайте о себе и своих близких." Меня особенно поразила аппеляция к естественному отбору. Баранников отождествлял его со смертью. Я взяла слово последней и сказала, что охрана наших прав в интересах академиков, как правильно сказал Баранников. Академикам, претендующим на наши дачи, лучше всего объединиться и войти в Совет Министров с ходатайством, чтобы им выделили участок, где они могли бы выстроить себе дачи. А нас пусть оставят в покое. И про ничуть не дефицитную на Карельском перешейке воду сказала. Не проще ли рыть на средства, которые мы платим в виде квартплаты, артезианские колодцы, чем запрещать одним поливать цветы, чтобы воды хватило другим. И про несуществующие перегородки сказала. Я предложила, чтобы в состав правления поселка обязательно ввели представителя наследников и назвала Порай-Кошица. Очень меня подмывало назвать Баранникова, но удержалась. Предложения мои приняты не были. Травля только усилилась.

Я решила эмигрировать и встал вопрос о средствах. Взять их неоткуда. Решила продать дачу. Решение совпало с постановлением об оплате образования теми, кто покидал Родину. Об отмене постановления по требованию мировой общественности, и в виду крайней необходимости закупать за границей хлеб, мы и не мечтали. Какое счастье, что Советский Союз нуждался в американском зерне, чтобы кормить им итальянских коммунистов. Скандал с продажей кормового зерна итальянцам тогда проник даже в советскую печать. К тому времени, когда я собиралась уезжать, постановление либо отменили, либо перестали применять. Шансов уехать, будь оно в силе, у меня не было никаких. Пенсионеры, а я в их числе, от оплаты за образование не освобождались, хотя, казалось бы, долг государству выплачен. Пенсии отъезжающих, как теперь лишают, так лишали и тогда. Никаких денег, вырученных от продажи дачи, не хватило бы для оплаты моего образования – университет, аспирантура, докторантура, тринадцать лет государство тратило на меня средства. Мне предстояло выплатить десятки тысяч. Торопиться с отъездом я не могла. Уехать без журналов моих экспедиций для меня равносильно самоубийству. Я два года потратила на подведение итогов и изготовление микрофильма. Тем временем произошло два события: на мою дачу нашелся покупатель и постановление об оплате образования перестали применять.

Покупатель – академик Канторович, законный претендент на элитную дачу. Началась невообразимая канитель. Чем законнее требования, тем меньша шансов. Взяткой не пахнет. Летом 1973 года дело сорвалось. Зимой на даче произошел пожар. Загорелась она ночью, когда никого из нас не было.

Мои мытарства при расследовании дела изобиловали юмористическими деталями и совпадали с мытарствами Акакия Акакиевича после похищения его многострадальной шинели. Сразу после пожара правление поселка и хозяйственное управление в качестве великой милости дали разрешение Канторовичу купить дачу. Я сбавила цену и мы отправились в Райисполком за разрешением на сделку. Оказалось, что Райисполком уже имеет заключение инспектора, что дача не существует, ибо уничтожена пожаром. Напрасно я говорила, что я получила страховку в ничтожной сумме. Напрасно жена Канторовича демонстрировала фотографии дачи, снятой ею с четырех сторон. И напрасно я говорила снова, что на участке два строения. Кроме самой дачи есть еще гараж и сторожка, двухкомнатная с водопроводом, и они не пострадали нисколько. Постановление Райисполкома предписывало Василию Филатовичу дачу у меня изъять, отключить свет и воду, чтобы я не могла пользоваться сторожкой, а мне сдать Райисполкому участок в "освобожденном от мусора виде" – снести строения и убрать с участка пыль и прах моего домовладения.

Две секретарши вели протокол заседания. Они как-то недоуменно притихли, и в них появилось то самое нечто от выеденного яйца, что было в старушке-библиотекарше, когда она по приказу свыше заливала тушью имя Вавилова.

Чтобы снести два дома, нужны средства, намного превышающие те, что выплатила мне страховая касса. Я заикнулась об этом. На меня кричали. Их это не касается. Я обжаловала решение в Горисполком. И там на меня кричали, как и на других посетителей. Я обжаловала решение обоих Исполкомов – районного и городского – в Совет Министров, чтобы меня не принуждали ломать здания и убирать щебень. Представляю, каких усилий потребовала бы уборка мусора! Без постановления Райисполкома о предоставлении участка для свалки не обошлось бы. А грузовики, шоферы, грузчики? Я улизнула, не дождавшись решения Совета Министров и не очистив участок.

Уголовный розыск не стал затруднять себя выяснением того, как ночью в пустом доме возник пожар. А один мой знакомый выяснил. Потомки академиков – не дети, а внуки, – развлекались мелкими кражами и насмешками над мещанскими замашками домовладельцев. Они не столько крали, сколько разрушали презренный уют – били зеркала, гадили на стол. Набег на мою дачу был вторым. Первый раз, не обнаружив регалий богатства, резвящиеся внуки похитили было статуэтку Дон Кихота, но и ту бросили в снег, где ее в мое отсутствие обнаружила ищейка. Мне позвонили из милиции и сказали, что Дон Кихот у них. Я могу за ним приехать. Я сказала, что красть на моей даче нечего, а Дон Кихота я жертвую в дар милиции.

Во второй раз воришки украли несколько ценных книг: Андрея Платонова, Камю на французском языке и, по-видимому, нечаянно обронили спичку в кладовке, где свет не горел. Точно известно, кто это был. Дела выяснение истины не меняло. Дачи не стало.

МОЙРЫ

Мойры – богини судьбы. Они рождены по одной версии Фемидой – богиней порядка, по другой – Ананке – богиней неизбежности. Три мойры моей судьбы могли с равным правом быть дочерьми как той, так и другой. Три пожилые женщины, низкорослые, плотные, с зачесанными назад волосами, собранными на затылке в маленькую тугую фигу для порядка. Они по внешности не отличимы друг от друга, разве только малиново-желтые разводы кровоподтека вокруг глаза одной из них выделяют ее из унылого ритма. Образ не точен. Мойры пряли, тянули, обрывали нить жизни. Моя жизнь представляется мне не нитью, а пряжей, сетью, и я слышу, как рвутся ее петли.

Первая из Мойр – моя Атропа (имя ее означает по-гречески неотвратимая) – оборвала одну из нитей. На одном конце была я, на другом – Юра Вальтер. С Юрой Вальтером мы учились в одной школе в параллельных классах, он – на русском, я – на немецком отделении. Это его топографические карты висели на выставках лучших ученических работ, подписанные моим именем. Сочинений я за него не писала. Его одноклассница Милуша Денисова, пожелавшая дружить с девочками моего класса, представила его мне. Он попросил ее об этом. Ему импонировала роль рыцаря, если не принцессы, то дочери прославленного ученого и путешественника. Знатным, однако, из нас двоих был он. Он рос в прекрасной семье ученого-лесовода – норвежца, уж не знаю как занесенного на русскую землю. Отец Юры – Карл Вольдемар Вальтер жил с красавицей женой Люцией Густавовной, с сыном и тремя дочерьми в той же квартире, что и до революции на Офицерской улице – теперь она называется улицей Декабристов, – в том самом доме на углу набережной реки Пряжки, где жила воспетая Блоком Кармен. Из огромных окон огромных комнат виден за липами, по ту сторону Офицерской, дом, где жил и умер Блок. Квартира, где обитала семья Вальтеров, – там еще тетушки жили в большом количестве, – казалась мне волшебным царством. Я помню ее запах, голоса Люции Густавовны и всех трех сестер. Я робела перед седыми бакенбардами юриного отца, видела его считанные разы, и ничего кроме его симпатичного облика моя память не сохранила. Люция Густавовна и тетушки говорили с легким акцентом, а Юра и его сестры совершенно чисто. Прекрасные венецианские люстры, серебро и хрусталь убранства обеденного стола, фазаны и красавицы в пышных одеждах, веранды дворцов, пальмы и кипарисы на прекарсных картинах, золоченые рамы картин, корешки старинных книг в застекленных шкафах красного дерева, ничего общего с мещанством не имели. Роскошь была здесь привычкой – не целью. Здесь я впервые увидела тех аристократов, которых Тимофеев-Ресовский называл антиподами мещан. Аскетическая обстановка квартиры, где росла я, контрастировала с убранством дома, где рос Юра, в той же мере, как и весь

уклад жизни наших семей друг с другом. После Революции даже в самые благополучные времена юрина семья с единственным кормильцем во главе голодала. В нашей семье после введения НЭПа воцарился превеликий достаток. Няня тайком подкармливала нас с Симом. Я тайком отдавала свои роскошные завтраки Юре, а меня кормили "девочки". Юра мог позвать в гости и представить своим родителям свою новую знакомую. Мне и в голову не могло прийти пригласить к чаю Юру и посадить его за один стол с отцом и мачехой. Рыцарь, стремившийся поклоняться прекрасной даме, был интеллигентным отпрыском любящих интеллигентных родителей. Дама – обитателем задворок новой семьи очень знаменитого отца, помехой, которую едва терпели. Юра оказался обладателем бантика одной из моих косичек. "Это лялин?" – спросила Люция Густавовна, случайно увидев бантик в ящике юриного стола. "Нет, это мой." Разговор закончился. Так поведал мне Юра. Невозможно даже представить себе весь ужас моего положения, случись что-либо подобное со мной.

В своем развитии дама, чей бантик лежал в столе ее рыцаря, далеко отставала от своего поклонника. Надо думаать не без влияния родителей до сознания Юры уже тогда, в конце двадцатых годов, доходил весь ужас происходящего, и он понимал, где правда, а где ложь. Мое сознание едва пробуждалось. Главное, что должно было разочаровать рыцаря, – полнейшее отсутствие гордой неприступности. Неприступность нужна, как воздух. Без нее нет роли рыцаря прекрасной дамы. Гордости во мне предостаточно, но моя гордость лишена женственности. В дамы я не годилась. Замордованная мачехой, нищенски, издевательски, безобразно одетая, лишенная какого бы то ни было домашнего воспитания и образования, я бравировала своим босячеством, пренебрежением к земным благам, своей непоколебимой уверенностью, что я самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи, пробьюсь к светлому будущему.

Мне было 15 лет, а ему 17, когда Милуша Денисова познакомила нас. Наш роман был платоническим, и это зависело в той же мере от него, как и от меня. Мы решили пожениться через пять лет, когда завершим образование. "Выполним пятилетку в четыре года", – говорил он, смеясь. День свадьбы назначен. Шестое июля 1934 года. К барьерам, разделявшим нас, присоединился и еще один – воздвигнутый строящимся социализмом. Я, как дочь преподавателя университета, имела право поступить в университет. А Юра попал в категорию тех, кого карали за социальную неполноценность их родителей. Я ушла из дома, зарабатывала и готовилась поступать в университет, не зная, что детям социально полноценных родителей не грозит проверка знаний, а Юра в качестве топографа, уехал сперва на Север, а потом на Тянь-Шань с экспедицией Крыленко и стал специалистом по топографии ледников. Он открыл неизвестный ледник, и Крыленко присвоил этому леднику имя своего молодого спутника. Я была на первом курсе университета, когда пришло от него письмо, возвещающее наш разрыв. "Твои взгляды совершенно чужды мне. Будто смотрим мы на луну и ты утверждаешь, что это не луна, а луковица." Он имел в виду мою веру в торжество

коммунизма. Он перечислял мои недостатки – песчинки, перетирающие мельничные жернова, по его выражению. Во время войны с финнами он был ранен в ногу. "С полваленка крови вытекло", – писал он Люции Густавовне из госпиталя. "Благодарите Бога, что так случилось, – сказала я ей в ответ на ее сетования. – Предстоит грандиозная война. Миллионы матерей потеряют своих сыновей, а ваш сын останется невредимым." Видно, что-то неладно срослось после операции – Юра вынужден был расстаться со своей профессией. Он стал проектировщиком железных дорог. Он женился. Потом дошло до меня известие, что он развелся. Мы не встречались и не переписывались. На то его письмо, где было про луковицу, я не ответила. Ни это гадкое письмо, ни разлука, которой не видно было конца, ни женитьба его не способны изменить моего чувства, победного, радостного, всемогущего. Порог реагирования недосягаемо высок. Декларация разрыва, разлука, сама безнадежность – подпороговые раздражители, не способные вызвать даже малейший спад, уменьшить накал. Есть в безнадежности великая целительная сила. Гибель надежды рождает свободу. Свободу человек обретает в старости, и в старческом знании недосягаемости блаженства заключен элемент блаженства. Старческую свободу я обрела из рук моего былого рыцаря в 18 лет. Мне нечего терять. Все потеряно навсегда, навеки. Все, кроме моего бессмертного чувства. Гордая неприступность, женственная затаенность чувств. Кому они теперь нужны? Чему они могли способствовать, что разрушить? "Любить всей силою тщеты", – поэт писал про меня. "Я знаю – он жив, он дышит, он смеет быть не печальным", – не про меня, не для меня. С восторгом и упоением я читала его письмо, а ведь это был камень, метко пущенный мне в сердце. Его письмо... Счастье – знать: он жив, он дышит... Я – его паладин и ношу на рыцарском шлеме цвета моего божества. Все, кто окружал меня, знали. Я говорила: "Когда я умру, положите меня в гроб. Пусть он войдет – я встану." Я никому не давала инструкции, я воспевала мое чувство, давала ему точное описание. Я нисколько не заботилась о впечатлении окружающих. Любое их отношение попадало в категорию подпороговых раздражителей. Он не любил меня, я любила его и за это. Он не мог любить, снисходя, выкованный из единого куска драгоценного металла. Для построения моей теории корреляционных плеяд он не годился. Духовное и физическое начала согласовались в нем в божественной гармонии, где мне не нашлось места.

Мы встретились через 23 года после рокового письма. Он – разведенный, бездетный мужчина. Я – разведенная женщина, мать двоих детей. Он жаловался на нервное расстройство, лежал перед тем в клинике моей давней знакомой Нины Александровны Крышовой, о соавторстве с которой я тогда еще и не помышляла. Мы жили в трех кварталах друг от друга, но он писал мне письма, упрекая всех и меня в равнодушии к его страданиям. Одно из писем он написал на бересте. Оно дошло чудом. Он ошибся, надписывая адрес. На спасения кумира были брошены все силы, все средства, все связи. "Спроси Нину Александровну, можно ли мне жениться", – сказал он, когда лечение подходило к концу. Нина

Александровна сказала, что можно. Он исчез. Прошло два года. Приглашение прийти исходило от его сестры. Не от Ляли – от Нины. "Рая, – услыхала я в телефоне, – мама умерла, мы хотим, чтобы вы побыли с нами." Я сделала ветку из листьев моего тропического сада, завернула ее в одеяло, чтобы уберечь от мороза, и пошла. Люция Густавовна лежала на кровати, очень красивая, очень молодая. Мы положили рядом с ней ветку. "А теперь идемте", – сказала Нина. Меня повели в другую комнату. Там на стуле сидела немолодая, низкорослая, плотная женщина в больших очках в роговой оправе и кормила из рожка младенца. Ребенок, видно, родился совсем недавно. Мне казалось, что очки и рожок как-то связаны друг с другом. Женщина, казалось, так стара, что не то что кормить ребенка грудью, а даже разглядеть его без очков не может. Она тоже занималась проектированием железнодорожных линий, они встретились в Китае, разъехались потом по разным городам, она уехала в свой, он – в свой, он съездил за ней в ее город и вот – результат.

Мы встретили счастливую пару в Филармонии на концерте. Мы – это моя мачеха Марьмиха и я. Никогда, ни у одного человека я не видела на лице выражения такого явного, такого безудержного злорадства, как на лице Марьмихи, когда Юра подошел, чтобы представить ей свою жену. Мне казалось, что не только сам факт женитьбы, но и еще кое-что питает это упоенное злорадство. Знаки внимания я получала со стороны Юры и Нины, живя в Ленинграде, и потом, в Новосибирске. Уже после моего изгнания из Академгородка и из Агрофизического института, в тот период, когда еще не закрылись передо мной все двери, я получила приглашение посетить Вальтеров в их новой квартире. По настоянию жены квартира в доме, где жила воспетая Блоком Кармен, покинута, и они живут в двухкомнатной квартире в новом районе. Потолки там низкие, мебель пришлось новую купить, и люстры тоже нельзя повесить. Зато дом на пустыре, можно любоваться закатом. Девочку они оставили с Ниной на старой квартире. Последнюю тетку, единственную оставшуюся в живых, отдали в инвалидный дом. Нить тетушкиной жизни там и оборвалась. Все это сообщила мне Нина.

Я явилась к Вальтерам прямо из института после финальной лекции с букетом нераспустившихся алых пионов, подаренных мне слушателями, – одни тугие шарики и листья.

Юра один, жена еще не пришла с работы. Он кормил меня чем-то очень диетическим – живот у меня болел. Мы переговорили о многом. Сочувствие, истинную боль за меня Юра выражал с предельным тактом. О политике – ни слова. Речь шла о событиях моей жизни в самые последние годы. О моем участии в демократическом движении не сказали ни слова. У меня осталось впечатление, что Юра не знает. Пришла жена. Юра накрывал на стол, подавал ей еду, она принимала как должное. Все ее внимание обратилось на меня. "Рая, – сказала она, – я все знаю. Я вас, Рая, осуждаю." "За что же?" "Правительство надо любить." "За что же нам его любить?" – спросила я, недоумевая и уже чуя приближение моей победы, моего поражения. "Оно нас кормит, защищает", –

сказала Атропа твердо. "А по-моему, это мы его кормим, и неплохо кормим, и защищаем. Вот Юра с полваленка крови потерял, защищая правительство." Он не спросил, откуда я знаю про то, сколько крови он потерял, и почему выражаю меру в столь необычной форме. Он не издал ни звука. Он стоял у меня за спиной, готовясь подать жене через стол очередное блюдо. Она твердо, прямо и коренасто сидела напротив. С этой минуты и до моего ухода телесная субстанция Юры Вальтера и его властной, его верноподданной жены исчезает из моей памяти. Ни выражений лиц, ни прощальных слов, ни рукопожатий. Пустота. Меня провожали пылающий закат над пустырем, красные шарики моих пионов, резьба низенького, роскошного трюмо в крошечной передней, единственной вещи, перенесенной сюда с Офицерской. Больше я не видела его никогда. Он не подавал признаков жизни. Имя богини неизбежности я забыла, будто и не знала его никогда. Ах, Юра Вальтер, Юра Вальтер... Он нашел то, что искал.

От всемогущего закона корреляционных плеяд не ушел никто: ни Сим, ни отец, ни все понимающий с детства Юра Вальтер, бедный хромой неудачник, муж Мойры, мое божество.

Вторая Мойра – она промелькнула и исчезла – персонаж пьесы, где главное действующее лицо и режиссер, Мария Ивановна – моя соседка по коммунальной квартире, юрист с высшим образованием, супруга пожарника-стукача. Что вызвало в тот раз нападки Марии Ивановны – не помню. Показалось ли ей, что крышка моего помойного ведра неплотно прилегает или что из моих комнат идет вонь, только я сказала ей: "Оставьте ваши вытребеньки." "Вытребеньки" – украинское слово, означает настойчивые, но неосновательные требования. "Будьте свидетелями! – закричала юристка соседкам-свидетельницам. – Мы привлечем ее, – т.е. меня, – к ответственности за матерную брань." Я ретировалась без слов, и последние слова супруги матерщинника летели уже мне вдогонку. Меня ужасно смешила избирательность слуха юристки – до нее дошли одни "ебеньки" – смешили меня и сами эти "ебеньки", не числящиеся, по моим, правда, скудным, сведениям, в арсенале матерной брани. Через пару дней Мария Ивановна представила мне на кухне низкорослую, коренастую, старообразную женщину – представительницу домоуправления. Свидетельницы были тут же. "Прежде чем дело о матерной брани будет передано в товарищеский суд домоуправления, потрудитесь дать объяснения." Я сказала, что предлагаю представительнице домоуправления выслушать показания истца и свидетелей в мое отсутствие, а затем прийти ко мне в комнату для разговора, и ушла. Мойра явилась. Усадив ее на диван, я обратила внимание на ее короткие ноги, обутые в стоптанные полуботинки, когда-то черные, теперь серые, под цвет всему остальному. "Какое именно матерное ругательство я употребила по свидетельству Марии Ивановны?" – спросила я блюстительницу порядка. "Вы сказали 'ваши вытребеньки'." "Где же матерщина?" "А что значит вытребеньки?" – спросила она. "Требования." И я рассказала ей некоторые из выходок Марии Ивановны и ее мужа. Вернее, пыталась рассказать. Она прервала меня и с наставническим

вздохом спросила: "Как же дальше жить будем?" "А как жили, так и будем жить. Деваться-то ведь некуда." Она потеряла всякий интерес к разговору. И по тому, как она заторопилась уйти и отказалась, в ответ на мой вопрос, назвать свое имя, я поняла, что она не представитель домоуправления, а Мойра, подосланная Марией Ивановной с целью... я могу только догадываться о цели ее прихода, – припугнуть меня, спровоцировать скандал, выведать кое-что о моих планах на будущее... Дверь за Мойрой закрылась. Занавес упал. И эта дочь Фемиды перерезала нить. Нет, не нить – канат якоря.

Третья Мойра – инспектор учреждения по имени Соцобес: Отдел социального обеспечения. Ее имя Прохорова. Ее обязанности – оформление пенсий. Оформление пенсии – один из самых ярких эпизодов моей жизни там. Он ярок – этот эпизод, но его участники, мои товарищи по несчастью – пенсионеры, представляются мне бледными тенями. На их зыбком фоне четко рисуются служащие Соцобеса – вампиры, налитые кровью своих изможденных жертв. Жизненные соки жертв поступают кровопийцам в виде взяток.

Вымогают здесь взятку с предельной виртуозностью. Да и как не вымогать! Выход на пенсию всегда фиаско. Куда, кому пойдет жаловаться отжившая свой век тень? От нее уже нигде ничего не зависит. Даже малейшая опасность, что тени объединятся для отпора вымогателям, в принципе исключена. Никому ни до чего, кроме своей рубашки, которая ближе к телу, дела нет. А дать на лапу прямой резон. Будущий пенсионер должен представить груду бумаг, освещающих во всей полноте его трудовую деятельность. Получение этих бумаг связано подчас с невероятными трудностями. Учреждение, где трудились те, кто вчера еще были людьми, а сегодня превратились в обитателей царства теней, раскинуты по всей необъятной стране. От инспектора зависит принять бумажку или отвергнуть. А время идет. Нигде время не играет такой драматической роли, как в Отделе социального обеспечения. Посудите сами. Я претендую на пенсию в 160 рублей. Чтобы получить эту грандиозную пенсию, – а больше получают только члены-корреспонденты и действительные члены Академии, – нужно иметь степень доктора наук, стаж работы после получения степени не менее двадцати лет, зарплату не менее четырехсот рублей, должность не ниже профессора или заведующего лабораторией, последний год работы без единого бюллетеня, освобождающего от работы по болезни. Несоблюдение любого из пунктов влечет снижение пенсии на десятки рублей. Меня особо поражает последний пункт. Ведь не от хорошей жизни уходит человек на пенсию. Он стар и болен. Так нет же! Изволь представить справку, что в течение последнего года ни один день не пропущен по болезни. Мне все казалось, что я ошибаюсь, брежу, что это сон. Нет. Оказывается, все так. По понятиям инспектора я сказочно богата. Зарплата инспектора 90-100 в месяц. Ворох бумаг, который мне надлежит представить, дает инспектору почти неограниченную власть надо мной. Задержка с оформлением пенсии влетит мне в копейку. Задержит инспектор выдачу на три месяца – я потеряю 480 рублей. Не проще ли сразу дать инспектору 100?

Я начала хлопоты еще в Новосибирске, зная, что хорошего ждать не приходится. Оказалось тогда – мне не хватает полутора лет для достижения потолка. Теперь были и эти недостающие восемнадцать месяцев.

Твердо-натвердо постановлено: не страдать, приглушить все рецепторы, вроде как в детстве, когда приходилось принимать касторку. Ничего из этого не выходит. Смыкание обыденности со стихией потустороннего обостряет восприятие до предела. Я помню каждую деталь моих посещений царства теней. Соцобес находится в здании Райисполкома на Садовой улице, где мне пришлось не раз побывать. Дом старый, барский, безвкусно построенный. Первая преграда – гардероб. Надо снять пальто. Гардеробщик – вратарь преисподней – ведает впуском на берег Стикса. Он вознесен на пьедестал нелепым устройством барского дома. Стоит очередь – вешать пальто некуда, никто не уходит, номеров все нет и нет. Я иду в пальто. Мы тени преисподней, но от нас воняет. "Не входите в пальто. И так тут дышать нечем", – командует инспектор. Я возвращаюсь. Гардеробщик, оказывается, смилостивился. Он разрешает положить пальто на балюстраду, и она увешана уже рубищами теней. И я кладу свое пальто на перила. Но меня выделают. Чтобы я не лишилась своего имущества, гардеробщик сворачивает его, кладет на свой стул и садится на него.

Я могу пройти. Я жду приема, и тени окружают меня, тени униженных и оскорбленных, жертвы политэкономии социализма. Меня впускают в кабинет инспектора. Прием предыдущего посетителя не закончен. Жертва задерживается, спорит. Женщина-инспектор не торопится приостановить поток жалоб и со смаком демонстрирует свою приверженность букве закона. Я стою у двери, лиц собеседников мне не видно, но я слышу каждое слово жуткой словесной схватки потустороннего мира с полнокровной советской действительностью. "Печать была разборчива, выцвела, сорок лет бумажку берегу, какая тогда краска была, сами знаете. И учреждения того нет больше." "Нас это не касается. Годы, указанные в этом документе, не могут быть приняты в расчет при начислении пенсии." Стон, плач, скрежет зубовный. Тени скрежещут тенями зубов. И все правильно, в соответствии с буквой закона. Почему я не вступилась за жертву? Стоило мне сказать: "Дайте, я попробую расшифровать печать", и дело могло принять другой оборот. Я молчала: тень в стаде теней, подчиняясь щелканью вполне реального бича, скованная душевным параличом – спутником страха. Сцена разыгрывалась инспектором у меня на глазах не без умысла, если можно назвать умыслом инстинкт стяжательства. Ее подтекст: "Смотри и слушай. Чем больше сочувствия ты испытаешь к жертве, чем больше владеет тобой страх попасть в ее положение, тем шире ты раскроешь кошелек, чтобы заранее поблагодарить инспектора за расшифровку неразборчивых печатей на *твоих* документах." И вот я предстаю перед Мойрой по имени Прохорова. Она не лишена красок и своеобразных изломов линий. На ней черный сарафан, перешитый из платья, когда протерлись рукава. Углы ее губ и глаз отогнуты книзу. Один из глаз окружен кровоподтеком.

Его малиновые и желтые разводы наискось перечеркнуты полоской пластыря, книзу продолжающей бровь. Она богиня неизбежности, неизбежности отказа. Пока только отсрочка. Меня вызовут, когда будет вынесено решение. Упоенный своей царской милостью гардеробщик достает из-под зада мое пальто. Мало того, он встает, ухарски разворачивает пальто и подает его мне, и стоит, как вкопанный, пока я достаю из рукава шарф и шляпу. Я даю ему двугривенный, то, что раньше так унизительно называлось "на чай", а теперь превратилось в знак пролетарской солидарности, в свидетельство того, что мы по достоинству оценили друг друга. Он благодарит. Дело не в деньгах. Мы достаточно пообщались друг с другом, чтобы между нами завязались человеческие отношения.

Гроза разражается при следующем посещении. Не дождавшись вызова, я иду на прием к Прохоровой. Синяк поблек. Разводы желтовато-зеленоватые. Пластырь еще не снят и все так же устремлен вместе с углами глаз книзу, усиливая унылость лица. Мне отказано. Не окончательно, конечно, а до той поры, пока я не представлю справку, что моя должность заведующего лабораторией соответствует квалификации доктора наук. Им известно, что в ВУЗ'ах заведующие лабораториями не то что степеней, а даже диплома о высшем образовании не имеют и иметь не обязаны. Они вроде диспетчеров – ведают отправкой лабораторного оборудования в ремонт. Начинается бесконечный спор. "Я заведовала лабораторией в академическом институте, – речь идет о Новосибирске, конечно же, о Новосибирске! Он за тридевять земель. – Я имею диплом доктора наук, его копия среди бумаг." "Хорошо, представьте справку, что Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Академии Наук не учебное заведение." Это уже просто курам на смех. Справка-отрицание. Однако здесь без шуток. Дело грозит затянуться. От тени требуется напряжение всех душевных сил. Так, меня не вызвали повесткой, чтобы не документировать старт волокиты. Они знали – я приду без вызова. Тени обязаны направить в ядовитое русло Стикса бесконечный поток справок. Вымогатели обходятся звуковой сигнализацией. Я иду к начальнику царства мертвых. Аидоней, разбитной, налитый украинским салом, говорящий с украинским акцентом представитель советской элиты отнюдь не тень. Он, как и его греческий аналог, бог подземных богатств и плодородия. Я застаю его за оживленной беседой в кругу сослуживцев. Подсолнухи у него на даче растут. Одни высоченные, а не плодоносят, другие маленькие, дают урожай. Мое дело будет передано старшему инспектору. Я снова на приеме. Дело возвращено Прохоровой, мне надлежит слушаться ее. Надо принести справку. "Лиза, – говорю я моей старшей, – идем в Соцобес. Ты постоишь рядом, пока я с Прохоровой буду говорить. Будто чужая. Я ей скажу, что жаловаться буду, тебя спрошу: "Согласитесь ли вы быть моим свидетелем?" Ты согласишься. Но до этого не дойдет. Достаточно тебе проявить интерес, и Прохорова не посмеет делать свои беззакония. Справку, что я не верблюд, раздобывать не придется." Лиза говорила, что лучше дать взятку, все дают или действуют через уполномоченных

своего учреждения, или через юристов. Но пошла. Как я и предвидела, угрозы и присутствие посторонней Лизы подействовали на Мойру, и она провела нить моей жизни через превратности бюрократического бытия.

Мойры! Неотъемлемая черта советского ландшафта. Заодно с Марией Ивановной, Филатычем и многими, многими другими, кто втайне держат нити наших судеб в театре марионеток (я запрокидываю голову, чтобы разглядеть их, – мой взгляд уходит за облака), Мойры не только рвали нити и перерубали канаты моих якорей. Они – ветер, что надувал паруса корабля, унесшего меня за океан. Им я обязана решимостью вырваться. Они спасают меня от ностальгии. Я не хочу туда, где паутиной, сотканной ими, опутано все, от чего я оторвалась. О дорогих моему сердцу молчу, пока они живы. Они там – в паутине. Нитью Мойр зашиты мои уста.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стенограмма заседания закрытого Ученого Совета Института цитологии и генетики Сибирского Отделения АН СССР от 4.4. 1968 г.

Участники: Д.К. Беляев – председатель Ученого Совета, директор Института, беспартийный.

Л.А. Антипова – ученый секретарь Института, член КПСС.

О.А. Монастырский – младший научный сотрудник лаборатории экологической генетики, секретарь партбюро.

Р.И. Салганик – заместитель директора по научной части, заведующий лабораторией, член КПСС.

Г.Ф. Привалов – то же.

Члены Ученого Совета, заведующие лабораториями или руководители групп:

Члены КПСС:

Ю.Я. Керкис
В.Б. Енкен
И.И. Кикнадзе
В.В. Шумный
О.И. Мойстеренко
В.Н. Тихонов
Г.А. Стакан

Беспартийные:

Н.Б. Христолюбова
В.В. Хвостова
А.Н. Мосолов
Л.И. Корочкин
Н.Н. Воронцов
А.Н. Лутков
З.С. Никоро
Ю.О. Раушенбах
Р.Л. Берг

Приглашенные:

В. Терновская – председатель месткома Института.

Н. Дымшиц – секретарь комсомольского бюро Института.

Н.В. Тряско – старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики (зав. лаб. – Д.К. Беляев), районный депутат.

Беляев. На повестке нашего сегодняшнего закрытого Ученого Совета стоит один вопрос: письмо, написанное несколькими сотрудниками институтов Сибирского отделения, в том числе Раисой Львовной Берг, по поводу процесса над четырьмя лицами, осужденными за антисоветскую деятельность и за валютные операции. Письмо это попало на Запад и было передано по "Голосу Америки". Как этот последний факт, так и само письмо осуждены партийными инстанциями. Информацию более подробную даст Олег Александрович Монастырский.

Монастырский. С 8-го по 12-е января 1968 г. в Москве проходил процесс над четырьмя лицами: Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой. Эти лица были осуждены за валютные операции, за связь с подрывными антисоветскими организациями Запада, в частности, с террористической организацией НТС. 16-го января в "Известиях" была помещена информация о том, кто эти люди, и была разоблачена их связь с Брукс-Соколовым – подрывником из НТС. 18-го января в "Комсомольской правде" была помещена характеристика общественно-политической деятельности этих людей и раскрыто их политическое лицо. 29-го января та же газета поместила подборку писем читателей. 27-го марта в "Литературной газете" дана оценка деятельности этих лиц, приведены отзывы о процессе людей, присутствовавших на нем: профессоров, научно-технических работников, рабочих. 26-го марта американские газеты, в их числе "Нью Йорк Таймс", поместили содержание петиции, подписанной 46-ю сотрудниками Сибирского отделения АН, проживающими в Академгородке, с требованием отменить решение суда. 27-го марта петиция была передана по "Голосу Америки" (читает текст, вместо слов "по недоказанным обвинениям" читает "по незаконным обвинениям").

Берг. Ваш текст содержит опечатку. В письме сказано "по недоказанным обвинениям", а не "по незаконным". Это меняет дело.

Монастырский. (Кивает) Гинзбург и Галансков судились и раньше по уголовным делам. На этот раз они были осуждены за связь с подрывными организациями Запада, которым они передавали антисоветские материалы, извращая нашу советскую действительность. Черносотенные журналы "Посев", "Грани" печатали эти материалы. Реакционные радиостанции, такие как "Голос Америки" и другие, передавали их. Они оказали серьезную помощь антисоветской пропаганде. На днях в "Комсомольской Правде" помещен доклад Михалкова, в котором сказано, что эти лица не писатели. Леонид Ильич Брежнев в докладе на партактиве высказался по их адресу и резко осудил их. В "Правде" помещена статья Мстислава Всеволодовича Келдыша с резким осуждением петиции. На заседании Президиума СОАН и на пленумах Райкома партии присутствовавшие осудили письмо и тех, кто подписал его. Рабочие и инженерно-технический персонал Сибакадемстроя, 100-го почтового ящика, многих предприятий Новосибирска на многолюдных митингах единодушно осудили тех, кто подписал письмо.

Беляев. Сколько ученых подписало письмо?

Монастырский. 4 доктора и 9 кандидатов.

Беляев. 13 ученых, остальные кто?

Монастырский. Аспиранты, лаборанты, инженеры. Многие подписи были неразборчивы.

Берг. Никаких неразборчивых подписей у вас нет. Подписи во всех письмах, кроме подлинника, направленного в прокуратуру, напечатаны на машинке.

Мойстеренко. Раиса Львовна, было ваше письмо направлено в райком?

Монастырский. Нет, письмо в райком направлено не было.

Беляев. Получено ли оно в Правительстве?

Монастырский. Нет. Письмо зарегистрировано в канцелярии Генерального прокурора, подлинник. В остальных инстанциях его нет.

Берг. Я получила почтовые извещения о получении от всех семи инстанций, куда письмо было послано.

Тихонов. Не подложное ли это письмо?

Монастырский. Это письмо по мнению Райкома настоящее.

Керкис. Раиса Львовна, сколько экземпляров вы подписали?

Берг. Один.

Керкис. Существует версия, что в процессе изготовления письма многия товарищи отговаривали писать. Так ли это?

Монастырский. Да, такой разговор был. Отговаривали солидные люди, говорили – попадет за рубеж.

Керкис. Враги знали, где искать!

Берг. Что вы имеете в виду?

Керкис. Поясню в свое время.

Терновская. Каково было участие Раисы Львовны в этом деле?

Беляев. Дайте нам объяснения. Наше обсуждение носит товарищеский характер.

Берг. Может ли вызвать тревогу осуждение четырех молодых людей, обвиняемых в связи с антисоветскими организациями Запада, в спекуляции валютой, в подрывной деятельности? Обстоятельства дела вызывают сомнения. Год они находились под следствием. В Москве была демонстрация протеста против их ареста. Информация об этой демонстрации проникла на Запад. Молодые люди – участники демонстрации – были арестованы. Их держали под следствием более, чем полгода. Над ними состоялся суд. Они были осуждены. Информация об их судьбе проникла на Запад. И вот, после всего этого, является свидетель Брукс-Соколов в качестве связного между подрывными организациями Запада

и молодыми людьми, которые вот уже год находятся в тюрьме, и выступает в качестве основного свидетеля обвинения. Это возбуждает сомнения. Само описание суда не дает убедительной юридически обоснованной картины событий, ни состава преступления, хотя известно, что Гинзбург и Галансков не признали свою вину, ни описания мотивов их действий, ни выступлений защитников. Односторонний характер освещения возбуждает сомнения. То, что доходило до меня по слухам о Гинзбурге, не рисовало его как корыстного человека, и обвинение в валютных операциях не вяжется с теми сведениями, которые я имею. Он представляется человеком самоотверженным, а отнюдь не преступным. Письмо, котороя я отправила в высокие инстанции, выражает тревогу, что за закрытыми дверями может произойти беззаконие. Был ли этот суд открытым? Можно сделать суд открытым и преградить доступ на него всем нежелательным элементам. Сам интерес к суду может бросить тень на того, кто им интересуется. Сделайте всякого, кто пойдет на суд по собственной инициативе, черненьким, а приглашенных беленькими, и зал суда превратится в собрание ангелов. Я хорошо знакома с судом над Бродским и с тем, как был освещен в печати процесс. Мне могут возразить, что в юридическом деле нельзя судить по аналогии. Бродский мог быть ни в чем не виноват, а Гинзбург, Галансков и другие – виновны. Но там, где дело идет о возможном попрании прав, аналогии совершенно оправданы. Если могли больного, ни в чем не повинного молодого человека, единственного сына двух тружеников, признанного в литературных кругах поэта и переводчика обвинить и осудить на пять лет ссылки и принудительного труда по указу о тунеядцах, значит беззакония возможны, значит, любя свою Родину, болея за нее, ревностно относясь к ее престижу, можно просить о внимании к делу, которое фактически происходило за закрытыми дверями.

Сегодня судят одного и все молчат, завтра судят еще одного, все снова молчат, потом в тюрьме оказываются многие. Следующее поколение осудит тех, кто молчал.

Можно ли обратиться в Верховный суд и Центральный Комитет с требованием пересмотреть дело, которое вызвало сомнение? Таково право каждого гражданина, и никто это право не оспаривает, и не само обращение послужило поводом для созыва этого закрытого Ученого Совета.

Допустимы ли коллективные действия граждан? Смотря какие. Коллективные преступные действия наказуемы. Но любые объединения людей, преследующих любую законную цель, предусмотрены законом и являются условием демократии. Коллективная просьба или совместное требование, если они справедливы, не могут быть осуждены.

Можно ли возлагать ответственноть на советских людей за то, что их петиция или письмо оказалось достоянием зарубежной прессы или радиостанции?

Утечка информации всегда возможна. Речь идет не о разглашении государственной тайны, не о сведениях оборонного значения. Здесь нужно различать две возможности. 1. Человек сам передал сведения.

2. Они попали помимо него. Подход должен быть разный. Но и первое не является само по себе уголовно наказуемым делом. Второе и подавно. Теперь представим себе человека, который боится поднять голос против беззакония, потому что боится утечки информации за границу. Но тогда вообще нет возможности бороться со злом. Нарушение закона внутри страны для нас во сто крат страшнее всей пропаганды врагов. Наши принципы незыблемы и не зависят от того, что говорят наши противники.

Нас обвиняют в том, что мы передали письмо в стан врагов, письмо, в котором выражалось коллективное недоверие советскому суду.

Могу говорить о себе. Я не вижу особой беды в том, что письмо прозвучало в эфире. Запад не состоит из одних врагов, все антикапиталистические силы за нас, и нужно заботиться о том, чтобы не отталкивать их. Неужели не процессы над Бродским, над Синявским и Даниэлем, над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским, над Буковским, Хаустовым, Делоне и Кушевым, не осуждение в свое время Пастернака, роняют престиж нашей Родины, а обращение в ЦК и Суд группы ученых с одним только требованием гласности суда? Мне кажется дело обстоит так, что друзья Советского Союза убедились, что демократические принципы в нашей стране находятся в действии. Граждане пользуются всеми преимуществами свободы. Они совершенно безнаказанно могут объединяться и выражать свой протест сколь угодно высокой инстанции. Им не грозит ни арест, ни ссылка, ни увольнение с работы, никто не будет натравливать на них их товарищей, их гражданское чувство не будет затронуто никакими разбирательствами. Их требование будет удовлетворено, и я с нетерпением жду ответа на наше послание.

Я вполне признаю всю обоснованность интереса, с которым пришли сюда товарищи, чтобы узнать, что побудило меня поставить свою подпись под письмом. Это была тревога за демократические принципы. Я видела, как они могут быть в наше время попраны. Но я видела и то, как они восстанавливаются. Бродский живет со своими родителями в Ленинграде, и его стихи и переводы печатаются. Я надеюсь, что просьба наша будет удовлетворена, и письмо наше сыграет ту роль, ради которой оно было послано.

Салганик. Аналогия с Бродким ведь только аналогия. Как ученый, вы не имеете права пользоваться ею.

Беляев. Процесс над Бродким был открытым или закрытым?

Берг. Это был фактически закрытый процесс, проводившийся под маской общественного суда.

Беляев. А как вы попали на него?

Берг. Я пришла с родителями Бродского.

Беляев. Вас никто туда не приглашал. Значит процесс был открытым и не о чем больше разговаривать! Нас Бродский здесь не интересует.

Раушенбах. И все присутствующие на суде над Бродким пришли по собственному желанию. Раиса Львовна хочет уверить нас, что ей предъявляли пригласительные билеты и мандаты. Раиса Львовна, вы допускаете, что они делали валютные операции и передавали клеветнические сведения на Запад?

Берг. Процесс был фиктивный. Галансков и Гинзбург собрали материалы дела над Синявским и Даниэлем, и эти материалы попали на Запад. Валютные операции сводились к размену 50-долларовой бумажки, которую Добровольский получил из религиозных кругов.

Хвостова. Какие еще там религиозные круги?

Раушенбах. Откуда вам это известно?

Берг. От знакомых.

Раушенбах. Вы, значит, признали, что они получали деньги за сведения, которые они передавали врагам, что они занимались валютными операциями, что они вели подрывную деятельность. Тем не менее вы требовали отмены приговора на том основании, что обвинения незаконны. Что же, судить, по-вашему, никого не нужно? Нет, вы не отпирайтесь, по-вашему, так получается.

Берг. Если это извращение каждого слова и приписывание мне того, что я не говорила, носит название товарищеского обсуждения, я отказываюсь отвечать. Юлий Оскарович провоцирует меня. Я прошу удалить его, иначе я уйду.

Раушенбах. (умолкает, но с довольным видом остается).

Антипова. Когда после войны я работала в Германии, я имела возможность проверить, что и как пишут в газетах и передают по радиостанциям разных стран о тех событиях, которые происходили у меня на глазах и о которых я имела сведения на основании закрытой документации. Я убедилась, что самая умная, честная, самая точная и полная документация – советская. Я знаю, что сотрудники НТС – антисоветские люди, они и к нам проявляли внимание, они охотились за нами, хотели завербовать. Одна связь с НТС характеризует этих товарищей, которых судили.

Хвостова. Какие они нам товарищи!

Антипова. ...этих граждан, этих осужденных, и, конечно, они нам не товарищи.

Беляев. Раиса Львовна, вы раскаиваетесь?

Берг. Нет. Я жалею, что письмо попало за границу. Но я подписала бы снова, если бы надеялась, что смогу помочь этим молодым людям. Газета "Нью-Йорк Таймс" не имела права публиковать письмо, не адресованное ей. Я готова заявить протест.*

---

* Доверчивость – родная сестра правдивости. Правдивого куда легче обмануть, чем лжеца. Я верила, что газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала наше письмо. Потому я и сказала, что готова заявить протест

Раушенбах. Ха-ха-ха!

Хвостова. Смешно!

Берг. Дмитрий Константинович, попросите Юлия Оскаровича уйти.

Раушенбах. (умолкает и остается).

Беляев. Весь вопрос имеет дурную окраску. Мы воспитываем и должны воспитывать наших товарищей в плане коммунистической морали. Каждый из нас несет ответственность за взгляды другого. Один за всех и все за одного. Вот так! Мы несем ответственность за политический курс нашей страны. И если кто-либо пишет, в этом нет ничего плохого, но важно по какому поводу писать. А вы протестовали против ареста национального героя Греции Манолиса Глезоса? А по поводу процесса над Споком в Америке вы протестовали?

Кто хочет сказать свое слово о письме, которое было подписано? Зоя Софроньевна, может быть вы хотите?

Никоро. Нет, я подожду.

Хвостова. Хи-хи...

на международной арене против его опубликования. Сомнение закралось в мою душу, когда человек, заслуживающий доверие, сказал мне, что "Нью Йорк Таймс" публикует документы, только располагая оригиналами. Оригинал нашего письма был один, и он был послан Руденко – Генеральному Прокурору СССР. Значит, если письмо попало в редакцию "Нью Йорк Таймс", оно было передано туда из канцелярии Руденко. Версия эта казалась правдоподобной. Публикация за рубежом давала повод к уголовному делу и могла быть сфабрикована. Мне известен случай, когда "Голос Америки" передал текст письма, направленного в Верховный Суд, в Верховный Совет и в ЦК. Автор письма принял меры, чтобы письмо не попало за границу, и не то что иностранным журналистам, а родной матери не поведал не то что текст, а сам факт написания письма. Мне он рассказывал всю историю, когда письмо прозвучало в эфире. Патриотизм руководил им – готовность скрывать преступления своей родины от глаз мира. Письмо этого человека и наше послание похожи, как две капли воды, и протестовал он, как и мы, против отсутствия гласности политических процессов, а не против факта их существования. Иного способа, помимо правительственной провокации, попасть за границу это письмо не имело. Однако "Голос Америки" это одно, а "Нью Йорк Таймс" – другое.

Очутившись в США, я решила познакомиться с этой публикацией. В отличие от Публичной Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, куда я с таким трудом проникала ради повествования купца Кривожихина о его злоключениях во время плавания по Аральскому морю, Публичная Библиотека Медисона без малейшего для меня затруднения предоставила мне микрофильм газеты. Газета не содержит этой публикации. Сообщение Монастырского оказалось воспитательной уткой.

Кикнадзе. Скажите, в каких коммунистических газетах вы, как вы пишете, черпали информацию?

Берг. В "Морнинг Стар", в "Унита". "Морнинг Стар" от 20 января 1968 г. писала, что на процесс не был допущен ни один из корреспондентов коммунистических газет и что процесс фактически был закрытым.

Беляев. И хорошо, что корреспондентов не допустили!

Кто еще хочет высказать свое мнение?

Керкис. Вы понимаете, товарищи, разговаривать на эту тему нелегко. Я к Раисе Львовне ничего кроме добрых чувств не питал и не питаю. И я, узнав, что такое случилось, разволновался. Для меня несомненно, что по любому вопросу можно обращаться в любую инстанцию и что в этом нет ничего предосудительного, но в данном случае у меня нет никаких оснований сомневаться в правильности квалификации деяний этих людей со стороны органов нашей прессы. Многие мне хорошо известные люди не выражали сомнений в правильности публикации. Раиса Львовна располагает сведениями из "ОБС" ("одна баба сказала") и, притом, в обстановке большого базара. Надо меры принимать, чтобы никому не было известно, что послано в правительство, из рук в руки передавать. Я верю, что попало не туда, куда надо, не по вашей вине, но я не зря сказал, что американская контрразведка знала, где искать компрометирующие сведения. Она искала в вашем окружении. Вас подвела ваша склонность к меценатству. Раиса Львовна концентрирует вокруг себя тех, кто считает себя непризнанными литераторами, обиженными. Я слышал на банкете вашего Делоне, когда он сказал, что Галич вернул поэзии свойство хлеба. Так я его хотел по морде бить.

Беляев. По другому месту...

Берг. Дмитрий Константинович в своем репертуаре.

Керкис. Самое страшное, что письмо попало за границу. Если попадают пасквили, каждый человек должен стремиться это предотвратить. У нас очень много недостатков и, в частности, по линии гласности. Так эти вопросы надо ставить внутри страны, а не за рубежом. Я отношусь к вашим действиям самым отрицательным образом. Вы вот уголовный кодекс читали, а мне вот уголовный кодекс до лампочки, и вы бы лучше наукой занимались.

Енкен. Все правильно говорил Юлий Яковлевич. Сейчас существуют два мира. Все там делается, чтобы нам причинить неприятности по линии идеологической. Надо так себя вести, чтобы наше поведение укрепляло представление о том, что у нас все правильно делается. Не так уж и строго этих проходимцев, прохвостов наказали, надо было большие сроки дать. Все ваши источники информации основаны на мнениях, а мнения основаны на политических взглядах. Надо было иметь уверенность, что утечки информации за рубеж не будет. Попадание этого письма подрывает наш авторитет, нашего Института, всего Академгородка. Создали ученым город, а они что делают: пишут письмо, которое один вред нанесло. Зачем вы, крупный ученый, который обязан разбираться,

за явных прохвостов заступились, поощряли спекуляцию валютой, публикацию пасквилей на советскую власть. Вы опекаете угнетенных...

Беляев. Каких там угнетенных! Тех, кто считает себя угнетенными.

Хвостова. Вадим Борисович имел в виду угнетенных в кавычках.

Енкен. Нужно было направлять письмо через Обком Партии, чтобы исключить возможность попадания его в Америку.

Беляев. Кто хочет высказаться?

Берг. Вы разыгрываете разученную пьесу. Сейчас выступит Вера Вениаминовна, конспект выступления уже настрочила.

Хвостова. Нет, не строчу конспект, вот что делаю (показывает бумажку – на ней рисунок митоза в анафазе).

Берг. Если я виновна, за это по кодексу судить нужно, а такие разбирательства сами по себе незаконны и непрофессиональны, и не профессионалы на них права не имеют. Устроили тут судилище!

Шумный. Здесь собрались не для того, чтобы судить. Заявление Раисы Львовны оскорбительно для присутствующих. Здесь многие за правду постоят.

Хвостова. И стояли!

Шумный. Нужно кричать, если делается несправедливость, но тут не тот случай, из-за которого нужно будоражить общественное мнение. Если бы они были честными людьми, Америка не вступилась бы за них. Они пошли на связь с НТС, а ведь там бывшие гестаповцы работают. Суд имел все основания судить их. Что с того, что зал был маленький.

Хвостова. По мнению Раисы Львовны они достойны Дворца Съездов.

Шумный. По вине Раисы Львовны получилось нехорошее дело. Американцы вбили клин между нашими рабочими и интеллигентами. Раиса Львовна поддалась своему стремлению быть революционной.

Хвостова. Какая там революционность, это мы всегда стояли за правду.

Никоро. Разрешите мне сказать. Мне совершенно не ясно, что это за люди, но и пресса не дает информации. Вопросы идеологического характера должны освещаться полно, а не так, как был освещен этот процесс. Создается впечатление, что валютные операции, связь с антисоветскими организациями притянуты, чтобы скрыть истинные мотивы расправы. Когда за границей что делается, нам сообщают, а про наши дела мы не знаем. У этих людей были защитники, но о защите в газетах ничего нет. Считать информацию, которая была в газетах, исчерпывающей нельзя. Если 70-я статья, при чем тут валютные операции?

Хвостова. Да что за 70-я статья такая! Объясните вы мне!

Беляев. Дайте говорить Зое Софроньевне!

Никоро. Мы хозяева свой жизни, и мы вправе иметь информацию, и не от журналиста, а от судебных органов. Если бы ко мне пришли с этим письмом, я подписалась бы под ним. Я считаю, что то, что советские граждане обращаются к своему правительству, делает честь советским гражданам.

Беляев. Рабочие придерживаются другого мнения.

Никоро. Не говорите, Дмитрий Константинович, за рабочих, говорите от своего имени. При Никите Сергеевиче Хрущеве меня прорабатывали. Теперь вспомним эту проработку. Стыдно должно быть тем, кто ее устраивал. Этот материальчик нашего Совета пусть бы попал за границу. То-то бы враги радовались. Так не делайте того, за что потом приходится краснеть!

Беляев. Не имея информации, как могли бы вы подписать письмо, в котором в категорической форме высказано требование отменить приговор, вынесенный на основании "незаконных обвинений".

Берг. Вы цитируете с опечаткой, которая меняет дело.

Никоро. Почему бы подписала? Часто вижу незаконное дело и ничего не делаю. Когда коллективное письмо пишут, нельзя создать формулировку, которая удовлетворила бы всех. Когда другие уже подписали, изменить уже нельзя. Раз я в принципе согласна, я подписала бы и примирилась бы с формулировками письма.

Берг. Почему вы, Дмитрий Константинович, извратили смысл письма?

Беляев. Конспект ведете вы, Раиса Львовна, а другие не ведут.

Христолюбова. Я не подписала бы этого письма. Люди, написавшие "Белую книгу", мне не симпатичны. Нужно все делать внутри страны. Часто в газетах читаешь о несправедливостях, и эти несправедливости исправляются. Но эти люди искали читателей за рубежом. Пропаганда, которую ведет "Голос Америки", может кончится войной. Мне неприятно было услышать имя Раисы Львовны, переданное по "Голосу Америки". Нужно заявить протест против публикации письма за рубежом.

Керкис (ехидно). Через нашу печать, в открытой форме через партийные инстанции!

Дымшиц. Раиса Львовна подумает, что я запрограммирован. Но то, что я скажу, – это голос молодежи. Я консультировался в Комитете Комсомола. Молодежь верит, что мотивом письма была забота о демократии. Но люди, которые делали 37-й год, могут на этом сыграть, они живы, и они готовы действовать.

Тихонов. Письмо и все действия, с ним связанные, – передача за границу и все – заслуживают самого товарищеского осуждения. Всякий промах советских людей, людей всех демократических стран привлекает злостное внимание врагов. Это письмо льет воду на мельницу наших врагов. Оно путает молодых людей, особенно молодежь. То, что письмо ушло за границу, – не случайность.

Кикнадзе. Я должна заявить, что я порываю на некоторое время знакомство с Раисой Львовной и Зоей Софроньевной. Они всех нас оскорбили. Я не хочу, чтобы ко мне относились, как к серой овце, я себя серой овцой не считаю. Процессы над литераторами тревожат меня, и что-то надо менять. Здесь сложный конфликт, связанный с взаимоотношением политики и искусства. Но письмо не вскрывает его. Оно не содержит фактов. Либо на фактах нужно было обосновать незаконность действия суда и прессы, либо просить об информации. Требовать информации нельзя.

Я тоже хочу участвовать в борьбе за правду, но это письмо я не подписала бы. Видно, что в недобрых целях используют это письмо. Раиса Львовна уважаемый человек, но этот ее легкомысленный поступок я осуждаю, и меня сердит, что она не хочет прислушаться к голосу товарищей.

Лутков. Я скажу несколько слов. В 1956 г. я подписал письмо в связи с разоблачением деятельности Лысенко. Но я имел полное понятие о том, что я пишу. Раиса Львовна поступила легкомысленно. Подписание этого письма – ошибка. Я бы такого письма с требованием, а не с просьбой, не подписал бы.

Воронцов. Александр Николаевич вспомнил письмо по поводу Лысенко. Таких писем было пять. Сотни человек, и в их числе Раиса Львовна, подписывали. Все они были адресованы в ЦК. Речь шла о вещах, более важных, чем этот процесс, – о восстановлении целой науки, о судьбах сотен тысяч людей, о преподавании насущно важных научных фактов, которые извращались. Сам Курчатов передал письма в ЦК. Информация о них на Запад и за океан не просочилась. Письма возымели действие. Был снят Опарин и назначен Энгельгардт. В Ленинградском университете была организована кафедра генетики. Сначала под руководством М.С. Навашина, а затем Лобашева, и только когда в США появилась статья Циркля с описанием судьбы генетики в нашей стране, положение снова ухудшилось. Этой статьей воспользовались враги науки за рубежом и у нас в стране, чтобы ударить по генетике и по людям науки. Есть у нас за рубежом враги, есть и друзья. Враги рады нас ссорить друг с другом. Вот Юлий Оскарович и Раиса Львовна заняли в отношении друг друга непримиримые позиции. Ия Ивановна не хочет иметь дело с Раисой Львовной и Зоей Софроньевной. Но распря ширится за пределы Института, за пределы Городка. Новосибирск не привык к Городку. Это не Москва и Ленинград с их столетними культурными традициями. Новосибирск нас ненавидит, и сейчас этим письмом воспользовались, чтобы выразить свое недовольство нашим привилегированным положением.

Никто не застрахован от ошибок, но у меня нет уверенности, что письмо попало за рубеж по вине кого-либо из подписавших его. Возможно, оно было переправлено из редакции "Комсомольской Правды".

Я считаю, что нужно направить протест против печатания письма без разрешения авторов в зарубежной прессе.

Раушенбах. Раиса Львовна неправильно отнеслась к моим и не только к моим улыбкам по поводу ее предложения заявить протест против опубликования письма в буржуазной прессе. Если врагу вложено в руки оружие, он им пользуется. Мне не понятно как, зная о валютных операциях, о передаче за границу сведений, порочащих нашу систему, Раиса Львовна могла писать это письмо. Идет битва напряженная, бомба не средство в этой борьбе, главное – идеологическая борьба. Очень плохо, что это письмо попало в лапы врагов, хотя Раиса Львовна считает, что ничего плохого не случилось. Как наивно, смешно даже думать, что оно не будет использовано. Вы сами рассказали нам о преступной деятельности этих людей и, зная все это, вы считали возможным требовать, чтобы их освободили.

Салганик. Раиса Львовна считает, что мы запрограммированы, но в действительности запрограммирована она и, притом, неточной программой, составленной ею самой. Вы считаете, что мы ретрограды, а вы одна способны взойти на костер. Без сведений, заранее считая, что эти люди не виновны, вы подписали письмо в их защиту. Мы не сомневаемся, что вы сделали это без злого умысла.

Беляев. Возмущает безответственность.

Салганик. Вы выразили недоверие суду, правительству. Нужно было слышать, с каким злорадством передавалось по "Голосу Америки" это сообщение. Напишите в газету протест против опубликования вашего письма.

Беляев. Кто хочет что-либо добавить? Нет желающих? Нет, по-видимому. Нет, так нет. Несколько слов скажу я. Вопрос довольно ясен. Поводом для письма явился процесс. Почему-то осуждение антисоветчиков вызвало сомнение в демократии. Я думал, Раиса Львовна располагает сведениями, но, оказалось, сведений у нее нет. Она думает, что она одна имеет гражданские чувства. А мы разве не граждане?

Керкис. С ее точки зрения мы крысы низшего ранга.

Берг. Нет, высшего.

Беляев. В свое время я с группой товарищей протестовал против ареста, суда и осуждения на пять лет Н.Г. Портновой. Мы все ее знали. Она была зоотехником. Дело было пересмотрено, ей дали вместо 5-ти лет 15 и судили уже по политическому делу. Времена были не такие, как сейчас. Товарищ Сталин был жив. Я виделся с ней в тюрьмах. Мы продолжали хлопотать, и через три года она была освобождена. Сейчас она работает по соболю.

Подтекст письма, которое подписала Раиса Львовна, ясен. Под сомнение берется сама судебная система с целью ее опорочить. У меня нет ни малейшего основания сомневаться в информации, которая была в газетах. Информация Чаковского исчерпывающая. Можно ли писать в категорической форме? Они не просят, они требуют. Они это делают потому, что ни судьба Галанскова и Гинзбурга, ни информация их не интересуют. Им нужно бросить тень на нашу судебную систему. Вот в чем цель. Вот так, если хотите знать.

Нет у Раисы Львовны никакой доброты – одна безответственность руководила ею. Если бы письмо не попало за границу, мы смотрели бы на дело иначе. Известно, как письмо попало за границу. Приезжали какие-то двое из Москвы, создали здесь групповщину. Вот где была программа. Кто-то повез письмо в Москву. Ясно, что первичный адрес, который имели в виду организаторы, и был тот, по которому оно попало.

Есть информация, что Паустовский, лежа в больнице, подписал аналогичное письмо, но, выйдя из больницы, снял свою подпись. Я понимаю Ию Ивановну, но все же разговариваю с Раисой Львовной по-товарищески. Но мы будем говорить совсем иначе, если Раиса Львовна не переменит своего мнения.

Хвостова. Как смела Раиса Львовна нас оскорблять (кричит). Вы институт подвели своей безответственностью, глупостью.

Керкис. До тех пор пока вы будете думать, что здесь запрограммированные действия, вы не поймете ничего.

Берг. Известно, что пьеса, которую вы играете, имела репетицию.

Беляев. А вы 46 не сговаривались? Если вы не перемените вашу позицию, это хорошим для вас не кончится. Мы осуждаем поступок как безответственный, мы просим пересмотреть вашу позицию, но мы будем разговаривать иначе, если вы будете упорствовать. Теперь будем голосовать. Кто за резолюцию: осудить безответственные действия, выразившиеся в подписании письма?

Воронцов. Мы собрались не для того, чтобы голосовать.

Хвостова. Давайте голосовать.

Никоро. Я не выставляю свое мнение на голосование, но если голосование будет, я заявляю особое мнение и буду просить внести его в протокол.

Мосолов. Вы сами сказали, что это товарищеское обсуждение, при чем же тут голосование?

Беляев. Мы все осуждаем – единогласно против одной Зои Софроньевны. Это заседание Ученого Совета и вас, Александр Николаевич, повесткой приглашали на него. Получили повестку? Послана была повестка? (Антиповой).

Мосолов. Получил.

Антипова. Послана.

Керкис. Зоя Софроньевна имеет особое мнение. Она согласна с Раисой Львовной. Как же не голосовать. Нужно внести в резолюцию пункт об открытом письме в наши газеты с осуждением буржуазной газеты, поместившей письмо. Пусть Раиса Львовна пишет.

Беляев. Мы установили, что со стороны Раисы Львовны были допущены безответственные действия, поддержка тех, кто фабриковал фальшивку для Америки, скрывая ее под личиной обращения в ЦК.

Берг. Вы не имеете права судить людей за уголовные преступления, не было преступления, в соучастии в котором вы меня подозреваете. Вы можете высказать подозрение и осудить меня, если суд подтвердит, что ваши подозрения основательны.

Никоро. Имеем ли мы право судить, хотя Раиса Львовна не руководствовалась дурными целями? Мы можем выразить несогласие.

Раушенбах. Дмитрий Константинович говорит, что письмо продиктовано желанием подорвать советскую систему. Как же не осуждать?

Берг. Учтите, что Раушенбах поднаторел в такого рода делах. Не он ли в 37 году давал заключения о врагах народа, нанесших непоправимый вред коневодству. Он засвидетельствовал, что враги народа распространяли под видом прививок заразу.

Беляев. Ну вот, вы еще такие вещи будете нам подбрасывать!

Берг. А вы не думаете, что так начинался тот массовый психоз, вершиной которого и был 37 год?

Хвостова. Да вы же и виноваты. Кто же по-вашему еще виноват? Вы – старый ребенок.

Беляев. Я предлагаю резолюцию: осудить политическую безответственность, выразившуюся в подписании письма. Кто за? Все, кроме Зои Софроньевны. Кто против? Одна Зоя Софроньевна.

У нас, конечно, ощущается в стране недостаток информации, но он будет нашим руководством преодолен. Уже есть перемена к лучшему. В институте хороший здоровый коллектив, хорошая молодежь. Мы все за советскую систему. Нам всем ясна подоплека этого письма. Это подрыв доверия к советской власти. Сегодня они сомневаются в законности советского суда, завтра – в однопартийной системе руководства.

Керкис. Нужно проводить разъяснительную работу среди молодежи. Недостаток информации может дать повод для брожения.

Беляев. Трофимук и еще два товарища обращались по одному делу с закрытым письмом к Брежневу, и это была большая смелость, не то что ваше жалкое обращеньице, и по серьезному поводу, а не из-за антисоветчиков.

Берг. Что же за повод был?

Беляев. Я сказал: закрытое письмо. Так вы и бросились все выведывать. Почему это вам нужно знать? (Кричит.) С какой это целью? Вы вот пишите, и если эта информация попадет за границу, тогда уже будем знать, кто передавал.

Монастырский. Партийные органы Городка вошли с ходатайством в Обком с просьбой ходатайствовать перед ЦК об увеличении объема информации.

Берг. Вы протестовали против несвободы печати?

Монастырский. (Не замечает вопроса.)

Керкис (всплеснув руками). Однако вы, Раиса Львовна, опасный ребенок!

Беляев. Вы уже говорили, что я приспосабливаюсь к Советской власти.

Берг. Нет.

Беляев. Да, и не про одного меня говорили. (Отечески.) Заседание было закрытым. Учтите это, Раиса Львовна, при распространении информации о нем.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

